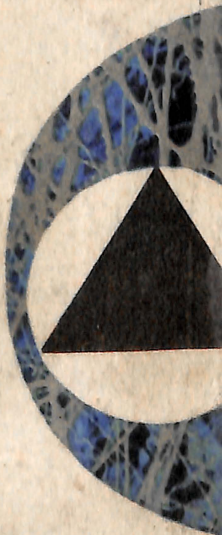


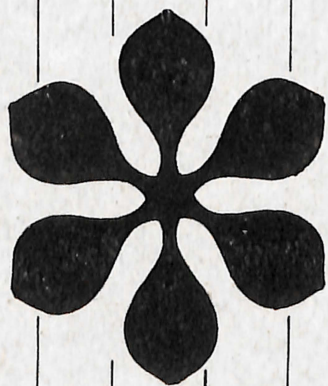


Вторжение в Персей



Вторжение в Персей











ЕВГЕНИЙ БРАНДИС И
ВЛАДИМИР ДМИТРЕВСКИЙ
*„Мир, каким
мы хотим
его видеть“*

Сергей Снегов
„Люди как боги“.
Роман.
Книга вторая

*Рассказы и
повести*
ГЕННАДИЯ ГОРА
АЛЕКСАНДРА ШАЛИЧОВА
ОЛЬГИ ЛАРИОНОВОЙ

ПИСАТЕЛЬ ЛЕВ УСПЕНСКИЙ
И КРИТИКИ ЮРИЙ КОВАЛЕВ
И ГРИГОРИЙ МИШКЕВИЧ
РАССКАЗЫВАЮТ ОБ УЭЛЛСЕ





Винограду

в Перси



Е. Брандис, Вл. Дмитриевский

мир, каким мы хотим его видеть

Уверен я, что за годов грядой
Весь станет мир одним
вселенским домом,
Мир человеческий, свежий,
молодой!

Н. Тихонов

I

Облик грядущего! Именно так Герберт Уэллс, травмированный растущей угрозой фашизма и лихорадочной подготовкой к новой мировой войне, назвал свой киносценарий, написанный в 1935 году и поставленный знаменитым английским режиссером Александром Корда.

В этом сценарии Уэллс представил мир, растерзанный многолетними бесчисленными войнами, пораженный смертоносными эпидемиями и чудовищной нищетой, мир, который по своему экономическому потенциалу и уровню культуры оказался отброшенным на столетия назад, мир, раздробленный на крошечные, враждующие между собой государства, управляемые жестокими и тупыми диктаторами.

Но если в негативной части сценарий Уэллса в известной степени оказался пророческим, — ведь уже в 1939 году Гитлер двинул свои армии на завоевание

Европы, — то в позитивной писатель проявил себя недальновидным мыслителем, предположив, что строительство новой цивилизации окажется по плечу лишь небольшой группе уцелевших техников, инженеров и авиаторов. Именно потому сконструированный Уэллсом «научный общественный строй» — «Крылья над Миром» выглядит как некая социологическая абстракция, больше всего напоминающая красивые декорации для балетного спектакля.

Великий английский писатель, «моделируя» в своих социально-фантастических романах и полемических статьях мир будущего, пытался создать некий сплав из идей американского экономиста Т. Веблина о господстве технократии и реформистских взглядов фабианского общества, к которому сам Уэллс примыкал на протяжении нескольких лет.

Социалистическая революция в России, наложившая неизгладимый отпечаток на всё последующее творчество Уэллса, заставила его серьезно задуматься о проблематической возможности наилучших общественных отношений, при которых не будет никаких социальных антагонизмов и исчезнут противоречия между личностью и обществом. «Кремлевский мечтатель» начертил перед ним грандиозные планы превращения нищей, изголодавшейся России в процветающее социалистическое государство. Картина, нарисованная Лениным, показалась Уэллсу еще более фантастической, чем его собственные фантастические романы. И в то же время, увидев в Москве и Петрограде ни с чем не сравнимый революционный энтузиазм, не подвластный ни голоду, ни холоду, писатель совершенно искренне и без всяких предубеждений попытался понять, что же произошло в России и куда идет эта загадочная страна. Один из первых среди крупнейших писателей Запада он осознал всемирно-историческое значение Октябрьской революции и заговорил о жизнеспособности Советской власти.

Репортаж Уэллса «Россия во мгле», нам кажется, может служить ключом для верного понимания лучшей из его утопий «Люди как боги» (1923) — последней из великих утопий, созданных на Западе, сыгравшей свою роль в утверждении этого жанра в советской фантастической литературе («Следующий мир» Э. Зеликовича,

«Страна счастливых» Я. Ларри, «Туманность Андромеды» И. Ефремова, роман С. Снегова, смело озаглавленный «Люди как боги» и др.). Ни в одной другой книге Уэллса контрастность сопоставления реально существующего с желаемым не достигает такой резкости, как в этом романе. Жителям Утопии, создавшим «просвещенное научное государство», решительно противопоставлена группа консервативных, отягощенных предрассудками англичан, попавших каким-то чудом на эту счастливую планету, где давно уже не существует ни классовых противоречий, ни государственных границ. Помимо отдельных, иногда очень тонких, замечаний относительно разных сторон жизни утопийцев, якобы опередивших людей Земли по уровню развития на три тысячелетия, очень интересен и фантастический очерк истории этой планеты, пережившей свои «Темные века», «Век открытий» и «Век разрушений», прежде чем восторжествовала высшая справедливость.

И тут же мы видим очень странное сочетание патриархальной идиллии с отвлеченной наукой, которая не уродует ни физической, ни духовной красоты человека и сохраняет природу в ее первозданном виде. В утопии «Люди как боги» сверхурбанист Уэллс неожиданно возвращается к Вильяму Моррису, к тому самому Моррису, который в романе «Вести ниоткуда» старательно ограждал своих «утопийцев» от индустриальной техники.

Противоречия и резкие повороты, сопровождающиеся отрицанием сказанного год или два года назад, в творчестве Уэллса не редки. Он вечно был в поисках, и развитие его как мыслителя шло зигзагами, хотя главное всегда оставалось: увлечение социализмом.

«Я всегда был социалистом, еще со времен студенчества; но социалистом не по Марксу, а скорее по Родбертусу», — писал он в 1908 году в предисловии к первому русскому собранию своих сочинений.

Уэллс был в разладе с научным коммунизмом, но его вера в силы разума и прогресса помогала ему не только сокрушать и ниспровергать, но и стремиться к идеалу, рисовать облик грядущего таким, каким он хотел бы его видеть.

В середине тридцатых годов, когда в Советской России утвердилась социалистическая система, он сказал

советскому послу И. М. Майскому: «Мне хотелось несколько напугать моих современников и таким образом заставить их подумать, как предупредить подобный ход развития... Когда я писал «Машину времени», развитие человечества к «элоям» и «морлокам» казалось мне неизбежным. Сейчас я этого не думаю. Такой неизбежности нет, но есть такая опасность. Ее, однако, можно предупредить, если человечество примет необходимые меры».

На вопрос одного из собеседников, какие следовало бы принять меры, Уэллс ответил: «Я об этом достаточно много писал... Мое лекарство — всемирное государство, плановое хозяйство, социализм. Вот почему последние тридцать лет я трачу так много времени и энергии на пропаганду этих идей»¹.

2

За последние пять-шесть лет советские читатели получили возможность обстоятельно познакомиться с творчеством современных писателей-фантастов США, Англии, Франции и других капиталистических стран. Мы уже неоднократно пытались в прежних статьях проследить некие закономерности в развитии научно-фантастической литературы Запада, сильной в критике противоречий капиталистической действительности и удивительно беспомощной в попытках нарисовать облик грядущего мира.

О каком бы писателе ни шла речь: будь то талантливый лирик Рэй Бредбери, вглядывающийся в мир с иронической и печальной улыбкой, или Клиффорд Саймак, пытающийся утопить в блистательном юморе острую тревогу и неудовлетворенность существующим порядком вещей, или Айзек Азимов, известный ученый и один из самых здравомыслящих фантастов наших дней, или англичанин Джон Уиндэм, прозванный «современным Уэллсом», — все они в своем видении будущего уступают великому предшественнику, как в масштабности, так и в глубине социальных обобщений. Либо они переносят через века и тысячелетия, а заодно

¹ «Иностранная литература», 1963, № 1, стр. 247.

уж и через беспредельные пространства космоса, привычные и, видимо, представляющиеся нерушимыми признаки существующего правопорядка (материальное неравенство, эксплуатация большинства меньшинством, жестокая власть денег, постоянная угроза безработицы и т. п.), либо «моделируют» будущее согласно новомодным социологическим теориям «излечения» капитализма, вроде «мэнеджериальной революции» (Дж. Барнхэм) и так называемой конвергенции капитализма и социализма с их последующим превращением в «единое индустриальное общество».

Даже в лучших фантастических рассказах английских и американских писателей, представленных, к примеру, в десятом выпуске «Библиотеки всемирной фантастики», трудно найти сюжеты, обещающие человечеству какой-то реальный выход из тупика. Вот, скажем, широко распространенная в западной литературе тема «первого контакта». Читатели помнят, как трактует ее Мюррей Лейнстер в своем известном рассказе, который так и называется «Первый контакт»: «Если чужие узнают о существовании людей, возникнет дилемма — торговать или сражаться».

В рассказе Пола Андерсона «Поворотный пункт» американские космонавты, попавшие на планету Джорил, населенную миролюбивыми дикарями, обладающими огромным интеллектуальным потенциалом, ставят под сомнение целесообразность дальнейшего развития контактов. Первое, что приходит им в голову, — опасность последующего захвата и порабощения джорильцами Земли. Не лучше ли, пока не поздно, уничтожить обитателей зоны, куда опустился звездолет? Или, может быть, для предотвращения «угрозы» стерилизовать всех джорильцев? В конце концов космонавты принимают более «гуманное» решение — взять с собой на Землю удивительно смысленную девочку Миерну: «Строго говоря, дорогая ты моя малышка, ну и грязную же шутку мы с тобой сыграем! Подумать только — вырвать тебя из этой патриархальной дикости и швырнуть в горнило гигантской бурлящей цивилизации! Ошеломить нетронутый мозг всеми нашими техническими штуками и бредовыми идеями, до которых люди додумались не потому, что умнее, а потому, что занимались этим немного дольше вас. Распылить десять миллионов джорильцев

среди наших пятнадцати миллиардов! Конечно, вы клюнете на это. Вам с собой не совладать, да и соблазн велик. А когда вы наконец поймете, что происходит, будет поздно отступать, вы окажетесь на крючке».

Когда буржуазные фантасты переносят в далекое будущее поклонение золотому тельцу («Кимон» Клиффорда Саймака), неотвратимую угрозу безработицы («Пурпурные поля» Роберта Крэйна) или гибель цивилизации после третьей мировой войны («Нулевой потенциал» Уильяма Тэнна), то это не значит, конечно, что они действительно хотели бы увековечить социальную несправедливость и политические противоречия наших дней. Напротив, каждый из этих авторов в прозрачной аллегорической форме обнажает все худшие стороны современной капиталистической действительности. Подобные произведения для того и пишутся, чтобы выразить критическое отношение к существующему порядку вещей. Но вся беда в том, что в этих фантастических аллегориях и сатирических образах почти невозможно уловить каких бы то ни было жизнеутверждающих позитивных идей.

Нам хотелось бы в связи с этим обратить внимание читателей на одно любопытное явление. В своих публицистических высказываниях американские и английские фантасты несравненно более дальновидны и даже «революционны», нежели в произведениях, которые они сами создают.

На страницах «Иностранной литературы», 1967 г., № 1, опубликованы ответы на весьма элементарный вопрос редакции: почему вы избрали в своем творчестве жанр научной фантастики?

А. Азимов отвечает так: «Поскольку фантастика повествует о будущем, о других мирах и, может быть, о других системах мышления, в ней вполне возможны такие движения мысли, которые нам, живущим в этом мире и в эту эпоху, чужды (и подчас даже не столько чужды, сколько непривычны!). А это значит, что научная фантастика свободнее, чем любая другая область литературы».

Фриц Лейбер утверждает: «Научная фантастика учит смелее, глубже, острее видеть и воспринимать предельные развития явлений больших и малых, материаль-

ных и бестелесных, устоявшихся и едва пробивающихся, почти бесспорных и почти невозможных... Научная фантастика позволяет созерцать весь мир, больше того, всю Вселенную. Она дает нам возможность освободиться от национальных и идеологических ограничений».

Как это ни парадоксально, но именно «освободиться от национальных и идеологических ограничений» в своем фантастическом видении будущего западные писатели как раз и неспособны, хотя искренне убеждены, что в воображаемых путешествиях по Времени — Пространству достигли той самой философской и духовной свободы, которой лишены те, кто пригвожден к реальной действительности.

«Современный мир похож на летящий вперед экспресс, в котором нет машиниста и все пассажиры сидят против хода поезда! — восклицает Деймон Найт, президент Общества научных фантастов США. — Пожалуй, одни фантасты вот уже без малого век смотрят не назад, а вперед. Мы не пророки и не можем с точностью определить будущее. Но мы, по крайней мере, можем сказать: „Возможности таковы. Выбирайте”».

Увы, возможности выбора будущего, предложенные человечеству западными фантастами, более чем ограничены: избежать угрозы глобальной термоядерной войны или, на худой конец, попытаться из тлена и радиоактивного пепла воссоздать какую-то новую цивилизацию; вступить в ожесточенное сражение с мыслящими механизмами, поправшими власть человека, этими чудовищами, символизирующими мировой технический прогресс, развивающийся экспоненциально; довериться безупречной логике электронного «сверхмозга», заменившего собой все правительства и общественные институты Земли; укрыться от электрических вихрей, машинного грохота, всё нарастающего напряжения и неведомых опасностей, сопровождающих приход неведомого будущего, за чахлым заборчиком давно уже утерянной буколички. Или, наконец, окончательно потеряв веру в разум и здравый смысл человечества, надеяться, что спасение придет извне, что какие-то высокоразумные и абсолютно справедливые существа из иных звездных систем вторгнутся на Землю и помогут людям навести порядок в их собственном доме.

Существуют еще и другие варианты «моделирования» как приближенного, так и далекого будущего, которыми располагают западные фантасты, но принципиального отличия от приведенных выше они не имеют.

Облик Грядущего в произведениях современной фантастической литературы Запада тревожит воображение, представляя мир растерянным и непрочным.

3

Трилогия Алексея Толстого «Хождение по мукам» кончается описанием того неоспоримо главного, что произошло на Восьмом Всероссийском съезде Советов, где принимался план ГОЭЛРО.

Тогда, может быть впервые, строители новой России — делегаты съезда, а вместе с ними герои трилогии и сам ее автор осознали величие и масштабность предстоящих работ, определенных Коммунистической партией и ее вождем В. И. Лениным.

В пятиярусном зале Большого театра было холодно, как в погребе. Докладчик — Глеб Максимилианович Кржижановский, в шубе, с кием в руке, стоял перед картой Европейской России, свешивавшейся с колосников в глубине сцены.

«Поднимая кий, он указывал на будущие энергетические центры и описывал по карте окружности, в которых располагалась будущая новая цивилизация, и кружки, как звезды, ярко вспыхивали в сумраке огромной сцены. Чтобы так освещать на коротенькие мгновения карту, понадобилось сосредоточить всю энергию московской электростанции, даже в Кремле, в кабинетах народных комиссаров, были вывинчены все лампочки, кроме одной — в шестнадцать свечей.

Люди в зрительном зале, у кого в карманах военных шинелей и простреленных бекеш было по горсти овса, выданного сегодня вместо хлеба, не дыша, слушали о головокружительных, но вещественно осуществимых перспективах революции, вступающей на путь творчества...»¹

¹ А Толстой. Хождение по мукам, кн. 3. М., 1957, стр. 384.

Толстой не только с большой художественной силой воссоздал и донес до наших дней атмосферу вдохновенной убежденности и энтузиазма бойцов революции, впервые ощутивших себя инженерами и прорабами будущего общественного устройства, но и очень точно охарактеризовал перспективы революции как головокружительные, но одновременно и вещественно осуществимые.

Многომиллионный народ на территории, составляющей одну шестую земного шара, приступил к практическому решению грандиозной задачи превращения своей страны — экономически отсталой, почти нищей, обескровленной долголетней войной — в первое в мире государство социализма. «У нас есть материал, — писал В. И. Ленин, — и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция, — чтобы создать действительно могучую и обильную Русь»¹.

Итак, пятьдесят лет тому назад, в результате самого революционного взрыва в истории человечества, начался великий поход в будущее.

По мере наступления движения приходилось очищать настоящее от прошлого и подчинять это настоящее задачам грядущего дня. Поход в будущее был одновременно и поиском, неустанным, напряженным поиском во всех сферах экономики, социологии, психологии и нравственности. Новый общественный строй создавался, по существу, на гладком месте, так как был беспрецедентен по отношению ко всей истории возникновения и распада различных социальных формаций.

И наступило наконец время, когда даже весьма далекие от марксистско-ленинского учения мыслители были вынуждены признать, что коммунизм — будущее человечества. «Грядущему же он принадлежит, — писал Томас Манн, — поскольку мир, который будет после нас, в котором будут жить наши дети и внуки и который уже начинает вырисовываться, трудно представить себе без коммунистических черт, то есть без принципа общественного владения благами земли, без последова-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 134—135.

тельного стирания классовых различий, без права на труд и обязанности трудиться для всех»¹.

Возникла существенная необходимость увидеть облик Грядущего не только в чертежах, но и в зрительных образах, соответствующих мечте, которую носит в своей душе каждый из нас.

4

На первый взгляд это может показаться неправдоподобным, но представления о будущем, о жизни в коммунистическом обществе складываются у миллионов советских людей в значительной степени под воздействием прочитанных научно-фантастических книг.

Это обстоятельство и по сей день недооценивается, а то и попросту игнорируется нашей литературной критикой.

Между тем, на наш взгляд, давно пора отказаться от ставшего консервативным, узкоограниченного взгляда на научную фантастику как на литературу, несущую в себе некую сумму научно-технических идей, нанизанных на приключенческий стержень. Советская фантастика прежде всего литература мировоззренческая, воспитывающая подростков и молодежь в коммунистическом духе.

Каждому мыслящему человеку свойственно задумываться над будущим, близким и далеким, над будущим, уготованным его детям и внукам, его соотечественникам и, наконец, всему человечеству. Человеку трудно жить без надежды на то, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего.

Каждый из нас хочет мысленным взором увидеть дали Грядущего и соотнести субъективные представления фантастов с тем проектом грандиозных архитектурных работ, который разработан Коммунистической партией на основе теоретических положений марксистско-ленинского учения и уже пятидесятилетнего практического опыта строительства социализма и коммунизма в нашей стране.

¹ Томас Манн. Антибольшевизм — главная глупость нашей эпохи. «Литературная газета», 1967, № 8.

Нам представляется интересной и весьма верной точка зрения Даниила Гранина, высказанная в статье «И все же..» («Иностранная литература», 1967, № 1). «Будущее, — пишет он, — испытало на себе всякое — и оптимизм, и безрассудную слепую надежду, и безысходное отчаяние. Ему угрожали кликуши и точные расчеты, его пытались отравить и попросту уничтожить, повернуть вспять, вернуть в пещеры. Оно выжило. Появилась возможность серьезного, вдумчивого изучения его. Сейчас, может быть как никогда еще в истории человечества, будущее зависит от настоящего и требует нового подхода к себе. Оно чревато кризисами, соизмерить которые мы не в состоянии. Кризисы, связанные не только с иным понятием свободы, но и с понятием индивидуальности. Мыслящая материя Земли, она дискретна. Потребность ее единства и своеобразие человеческой личности — это тенденции противоположные. С одной стороны, расцвет личности, с другой — ее ассимиляция. Ее самовыражение и ее существование в процессе сплочения миллиардов. Путешествие в страну Будущего никогда не было бесплодным занятием. Великие утопии помогали человечеству вырабатывать идеалы. А это именно то, в чем сегодня нуждается мир, может, больше, чем прежде».

Да, утверждение идеалов — вот, пожалуй, самое высокое, самое непосредственное, самое важное назначение литературы о будущем!

Если говорить о современной западной фантастике в ее массовых проявлениях, то это — вопль отчаяния: как непознаваем и ужасен в своей непознаваемости мир. И попытки самоутешения: уж коли мне суждено исчезнуть, пусть исчезнет вместе со мной и всё человечество, и чем скорее, тем лучше. И холодный расчет: если электрические и природные ресурсы будут уничтожаться пропорционально росту народонаселения, то к такому-то году люди превратятся в «робинзонов». И прокламация бессмысленности любого прогресса: рано или поздно всё должно якобы кончиться самоуничтожением...

А если и остаются крохотные островки надежды, то это извечная любовь к женщине, мужская дружба или подвиги одиночек во имя внесоциальных этических принципов...

Уэллс, создавший фантастику «предупреждения», не отделял ее от антиутопии. Водораздел обозначился позднее. Он проходит по мировоззренческой линии. Антиутопии пишутся с завуалированно реакционных или откровенно антикоммунистических позиций, и отпочковались они от фантастики Уэллса не как прямое ее продолжение, а как боковая ветвь. Задачи, которые ставил перед собой Уэллс даже в первых, пессимистических романах, отделяют его от авторов позднейших антиутопий. Тема «предупреждения» может преломляться в разных аспектах. Но как только исчезают или теряются из виду гуманные стимулы, «предупреждение» сливается с антиутопией.

В современной западной фантастике антиутопия стала модным жанром, вытеснившим из литературы утопию, объявленную архаическим пережитком. В противоположность этому утопический жанр, и это вполне закономерно, успешно развивается в социалистической научной фантастике.

5

В 1957 году вышел в свет научно-фантастический и социально-философский роман И. Ефремова «Туманность Андромеды». Он переведен на двадцать три европейских и азиатских языка, а тираж его уже исчисляется несколькими миллионами.

Продолжая традицию великих утопических произведений прошлого, утверждавших конечное торжество разума и гуманности, Ефремов в то же время выступил и как подлинный новатор. Он всецело подчинил замысел своего произведения научно-материалистическим философским представлениям о законах природы и общества. Он поставил величайшие завоевания науки и техники будущего в прямую зависимость от социального прогресса. Он, наконец, впервые попытался нарисовать широкую и разностороннюю панораму высокоразвитого коммунистического общества, объединившего всё человечество и установившего связь с инопланетными цивилизациями.

Почти одновременно с «Туманностью Андромеды» вышел в свет и роман польского писателя Станислава

Лема «Магелланово облако», а несколькими годами позже «Возвращение (Полдень. 22-й век)» Аркадия и Бориса Стругацких, романы Георгия Мартынова «Каллисто» и «Гость из бездны», Георгия Гуревича «Мы — из Солнечной системы», повесть П. Аматоуни «Парадокс Глебова» и некоторые другие научно-фантастические произведения, подчиненные всё той же благородной задаче — изобразить грядущий мир таким, каким мы хотели бы его видеть.

Минувшее пятидесятилетие не было прогулкой по широкой, хорошо утрамбованной дороге. Мы прошли сквозь эти годы в непрерывных тяжких боях, ломая сопротивление старого, яростно оборонявшегося мира. На нашем пути были и армии интервентов, и голодная блокада, и чудовищная разруха и бесчисленные заговоры, организованные империалистами, и невиданное единоборство с фашизмом, и длительная, изнуряющая силы «холодная война». Наши победы и успехи перемежались с поражениями, неудачами и ошибками, неизбежными в процессе становления новых общественных отношений. Вся наша страна являла собой гигантскую лабораторию, в которой на основании теоретической разработки, сделанной основоположниками научного коммунизма, ставился фантастический по своей грандиозной дерзновенности и новизне социальный эксперимент.

Конечная цель этого эксперимента была много лет назад сформулирована Марксом. «На высшей фазе коммунистического общества, — писал он, — после того, как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством к жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: Каждый по способностям, каждому по потребностям»¹.

¹ К. Маркс. Критика Готской программы. Госполитиздат, 1959, стр. 21.

Так разве же не справедливо, не естественно наше желание представить себе цель, к которой мы стремимся, заглянуть в отдаленное будущее глазами тех, кто владеет даром облекать свои представления в художественные образы, пленяющие наше воображение и волнующие чувства!?

Нас не может не радовать, что советская научно-фантастическая литература в основном своем потоке жизнеутверждающа и оптимистична. Ей чужды страх и неуверенность перед наступающим будущим. Она не декларирует бессилие человека в его извечной борьбе с природой, общественным неустройством и с самим собой. Она не теряет веры в Разум и Добрую волю, которые в конце концов помогут людям навести порядок в их собственном «Вселенском доме». Источник ее вдохновения не отрицание во имя отрицания, но утверждение или же отрицание во имя утверждения.

В одной из своих ранних работ Маркс писал, что «Коммунизм есть положительное утверждение как отрицание отрицания, и потому он является действительным, для ближайшего этапа исторического развития необходимым моментом человеческой эмансипации и обратного отвоевания человека. *Коммунизм* есть необходимая форма и энергический принцип ближайшего будущего»¹.

Но при этом наши писатели, исходя из современного понимания непрерывности исторического развития, представляют себе коммунизм как общественную формацию, пребывающую в постоянном поступательном движении, как смену фаз в дальнейшем совершенствовании человеческого общества и человеческой личности.

В то же время всё это вовсе не означает, что мир будущего, создаваемый воображением наших фантастов, являет собой некий застывший образец совершенства — «рай на Земле», лишенный каких бы то ни было недостатков, бесконфликтный, втиснутый в узкие рамки заранее заданной схемы.

Ведь даже генеральные закономерности, открытые как в сфере естественных наук, так и в области социо-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., Госполитиздат, 1956, стр. 598.

логии, в некоторых своих конкретных проявлениях дают непредвиденные всплески и зигзаги.

Совершенно очевидно, что и в дальнейшем неожиданное будет подстерегать нас, ибо естественно, что будущее в своих деталях непредсказуемо.

Футурология, как нам представляется, должна включать в ряды исследователей не только философов, социологов и экономистов, но и писателей-фантастов — вдохновенных разведчиков грядущего.

И перед ними возникает двойная задача: изображать желаемый облик Грядущего и всесторонне исследовать те пути, которые к нему ведут.

Именно задаче исследования непредвиденного посвящены произведения научной фантастики, которые мы относим к жанру «предупреждения».

Путь человечества к лучшему будущему тернист и неровен. Мы должны предвидеть, какими опасностями нам угрожают нынешние политические противоречия — расистская идеология, возрождающийся фашизм, мешанская рутинка, — все химеры старого мира, которые не уйдут в прошлое без длительного и упорного сопротивления.

В таком плане мы воспринимаем, к примеру, те из фантастических повестей-предупреждений братьев Стругацких, в которых отчетливо расставленные социальные акценты не могут и не должны давать повода ни для каких двусмысленных толкований («Попытка к бегству», «Далекая радуга», «Трудно быть богом»).

Поэтому мы должны еще раз провести водораздел между темой предупреждения в фантастике советской и западной.

Принципиальное различие заключается в том, что, предупреждая о сакраментальных трудностях, угрозах и катастрофах, которыми может быть чревато будущее, западные писатели не видят выхода из тупика, который рисуется их воображению.

Советские писатели не только видят цель и сознают трудности, стоящие на пути ее достижения, но и верят, что цель эта будет достигнута.

«...Не может быть ни тени сомнения, — писал Ленин, — в том, каково будет окончательное решение мировой борьбы. В этом смысле окончательная победа

социализма вполне и безусловно обеспечена»¹. Но в то же время он никогда не переставал предупреждать о величайших трудностях и опасностях, возникающих перед строителями нового мира.

Естественно, что мыслящий о грядущем человек будет пытаться предугадать препятствия и преграды, подстерегающие нас на дорогах борьбы за желаемое завтра. Но видеть в теме «предупреждения» чуть ли не единственное назначение научной фантастики — значит превращать средство в самоцель и, следовательно, стрелять мимо цели.

Нельзя не согласиться с точкой зрения, высказанной недавно нашим крупнейшим писателем-фантастом И. А. Ефремовым. «Главенствующую роль в мировой литературе, — утверждает он, — должна занять советская научная фантастика с ее позитивным взглядом в будущее, уверенностью в торжестве доброго начала в человеке и в конструктивном значении социальных преобразований. Мне хотелось бы, чтобы в нашей фантастике меньше места уделялось обрисовке мрачного будущего, как «предупреждения», чтобы наши молодые писатели меньше увлекались кафкианством и фрейдизмом, а больше разрабатывали бы свое, марксистское видение будущего. Литература предостережения ценна лишь тогда, когда в ней наряду с опасностями социальных и научных ошибок рассматривались бы пути победы над ними, поворотные точки от трудностей прошлого к светлым далям будущего. Иначе можно потерять цель и смысл движения вперед».

Тревога автора «Туманности Андромеды» вполне своевременна.

Кое-кто из советских фантастов склонен объявить социальные утопии бесполезным, устаревшим жанром, пригодным разве что для детей и подростков, а заодно, утвердить и антиутопию. Но отнюдь не как средство разоблачения уродств и зловещих несообразностей настоящего и будущего капиталистического общества! Нет, эти «теоретики» готовы перечеркнуть черной краской вообще всё будущее. Как тут не вспомнить поучений автора злобнейшей антиутопии «Мы» Е. Замятина! В одной из своих статей («О литературе, революции,

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 458.

энтропии и прочем») он утверждал: «Вредная литература полезнее полезной, потому что она — антиэнтропийна...»

Конечно, проказа ужасная болезнь. Но принесет ли пользу человечеству тщательное, пусть даже высокохудожественное, описание физических страданий и сознания обреченности больных, медленно погибающих от проказы?!

Совершенно очевидно, что предупреждение не должно повисать в воздухе, как невеста откуда возникший и тут же оборвавшийся сигнал «SOS». Это не «викторина», заставляющая поломать голову над невыристой задачей. Предупреждение может тогда действительно ограждать от опасностей, если подобно свету маяка или лучу радара, будет указывать путь избежания этой опасности.

«Я не вижу границ возможностям науки, искусства и гуманности, — пишет академик А. Несмеянов. — Человечество должно больше и больше осуществлять эти возможности. Но для этого оно должно уцелеть! И в ближнем будущем — от глобальных войн, и в далеком — от истощения ресурсов, в еще более далеком — от истощения энергии Солнца. Задачи для науки не слишком легкие, но надо их успевать выполнять, надо расти качественно, надо завязать сношения с другими культурными мирами Вселенной»¹.

Как мы видим, ученый вовсе не склонен смазать или преуменьшить поистине огромные трудности, громоздящиеся на пути человечества в будущее, но в то же время он убежден, что гуманность, наука и искусство в своем благородном сплаве станут именно тем оружием, которое принесет окончательную победу.

6

Полстолетия в развитии научно-фантастической литературы — срок, конечно, не малый. Но развитие не было прямолинейным и не шло по непрерывно восходящей линии. Если представить этот процесс в виде графика, он был бы зигзагообразным.

¹ «Литературная газета», 1967, № 1.

Двадцатые годы характерны для всей советской литературы выдвижением совершенно новых тем, порожденных революционной действительностью, и поисками доселе не изведанных средств выражения. Научная фантастика в этом смысле не составляла исключения. Появлялись книги очень разные по жанровым признакам и художественной манере. Наряду с традиционной приключенческо-познавательной, географической фантастикой В. А. Обручева — космические пророчества К. Э. Циолковского в форме популярных очерков и несложных по сюжету рассказов. Рядом с первыми в советской литературе коммунистическими утопиями В. Итина и Я. Окунева — памфлетно-фантастические или откровенно пародийные авантюрные романы М. Шагинян, В. Катаева, Вс. Иванова и В. Шкловского. После блистательных дебютов в научной фантастике А. Толстого — первые книги «русского Жюль Верна» А. Беляева, гротескно-сатирические пьесы и поэма «Летающий пролетарий» В. Маяковского, фантастические повести Александра Грина.

И независимо от того, что в ту пору выходило немало второсортной фантастической беллетристики и порою наблюдались досадные идейные срывы, двадцатые годы можно считать первым взлетом в истории советской научной фантастики — периодом вдохновенного поиска.

Важно отметить, что в эти годы наша фантастическая литература, несмотря на свою молодость, по многообразию творческих направлений и художественных форм почти не уступала зарубежной, имеющей за собой давно уже сложившиеся традиции и многолетний опыт.

К сожалению, с начала тридцатых годов наступает период резкого спада. Руководство РАППа, а позже вульгарно-социологическая критика объявили научную фантастику «вредным жанром». Примитивное понимание требований «социального заказа» привело к плачевным результатам. В 1931 году вышли только четыре новые книги советских авторов, в 1933—1934 годах — по одной новой книге и только в 1935 году научная фантастика была «реабилитирована», да и то лишь как познавательное чтение для детей и юношества. Александр Беляев и его последователи (С. Беляев, Г. Адамов,

Г. Гребнев, В. Владко) при всем различии своих творческих индивидуальностей создавали в общем однотипные произведения.

Не отличалась разнообразием и советская фантастика сороковых—пятидесятих годов. Господствующее положение занимали «производственно-индустриальные» фантастические романы, в которых технические преобразования, переделка природы и климата на обширных пространствах нашей страны осуществлялись в жесточайшей борьбе безупречно положительных героев с плакатно обрисованными агентами международного империализма. На этом однотонном фоне только изредка появлялись по-настоящему яркие произведения, вроде социально-фантастических памфлетов Л. Лагина.

Сейчас не приходится доказывать, какой вред причинила советской научно-фантастической литературе, к счастью, давно уже канувшая в Лету «теория ближнего прицела», одним из адептов которой был, как известно, В. Немцов.

Отдавая должное наиболее значительным произведениям тех лет, в том числе и романам А. Казанцева, мы никак не можем признать их каким-то вневременным эталоном, на который должны равняться писатели-фантасты наших дней.

Мир, в котором мы живем, оказался куда более сложным, нежели это представлялось пятнадцать—двадцать лет назад и политическим деятелям, и ученым, и писателям. «Миллиарды граней будущего», по образному выражению И. Ефремова, раскрываются постепенно и в изучении природы, и в социологических исследованиях, и в литературе, которая делается более сложной, обогащаясь новыми проблемами и художественными открытиями, что само по себе отражает усложнившееся мировосприятие человека второй половины XX века.

Поэтому нам кажутся странными и даже консервативными попытки некоторых литераторов старшего поколения и выражающих их взгляды критиков повернуть литературное движение вспять — в русло фантастики сороковых—пятидесятих годов, объявить несостоятельными и ошибочными творческие достижения талантливых молодых писателей, зачеркнуть всё лучшее, что

появилось в нашей фантастике за последнее десятилетие. Дело доходит до того, что термины «интеллектуальный роман», «интеллектуальная литература» употребляются в пылу полемики почти как бранные выражения. И под тем предлогом, что произведения «молодых» якобы не доходят до массового читателя, эти критики готовы приклеить ярлык формализма к любому творческому эксперименту и опорочить любую нестандартную книгу. А между тем ни для кого не секрет, что именно произведения «молодых» получили за последние годы широкое признание.

Разумеется, мы не должны делать никаких скидок ни на возраст, ни на литературный стаж, ни на «специфику жанра». Тем более мы не можем оправдывать идейной путаницы, модернистских увлечений, подражания далеко не лучшим англо-американским «образцам», ведущего порой к откровенному эпигонству. Но это относится скорее лишь к отдельным произведениям, требующим внимательного и объективного критического разбора.

В целом же интеллектуальное направление в советской научной фантастике, основоположником которого является И. Ефремов, свидетельствует о ее несомненном росте и стремлении ответить на актуальные вопросы современности.

И если до недавнего времени в нашей фантастической литературе преобладало три-четыре сюжетных и жанровых стереотипа, то в наши дни ее диапазон бесконечно расширился. Писатели-фантасты, стремящиеся раскрыть свои представления о будущем мира и человечества, опираются на последние достижения точных и естественных наук, используют и методы социологического моделирования, и приемы психологического анализа, и футурологические исследования, и новейшие философские концепции, развивающие марксистско-ленинское учение в новых исторических условиях.

Всё это неизмеримо усложнило творческие задачи писателей и вывело научную фантастику на новые рубежи.

Чтобы пояснить эту мысль, остановимся на нескольких произведениях, отвечающих теме нашей статьи.

Прежде всего — о философско-фантастических повестях и рассказах Геннадия Гора, направленных против бездумной веры в «беспорные» истины.

Чем глубже постигаешь мир, тем больше возникает сложностей. Писатель утверждает веру в бессмертие творческого разума, способного соединить мгновение с вечностью, преодолеть бездны времени и расстояний. В произведениях Гора причудливо совмещаются события прошлого, настоящего и будущего, ибо его героям доступны разные способы преодоления временных преград.

В каждой из повестей Гора — «Докучливый собеседник», «Странник и время», «Кумби», «Скиталец Ларвеф» — действие происходит на Земле, в наши дни, в XVIII веке или в эпоху палеолита, но постоянно присутствует и второй план — далекие миры, где существует гармонический мир красоты и целесообразности, где люди находятся в таких идеальных условиях, что могут раскрыть до конца и проявить в действии все свои лучшие задатки.

Гор — сторонник антропоцентрических представлений. Он сознательно не допускает возможности существования иных биологических форм высокоразумной жизни лишь по той причине, что эта точка зрения близка ему как художнику. Ведь прекрасная планета Анеидау, где «труд превратился в творчество, в соревнование деятельных и смелых душ», и воображаемая Дильнея, откуда явился скиталец Ларвеф, — псевдонимы Земли и людей, перенесенные в далекое будущее, в эпоху всепланетного коммунизма.

«Мир бесконечен, но он един, — говорит герой «Докучливого собеседника». — И единство связывает всех, кому природа и история дали разум. Единство связывает их, где бы они ни были — здесь или за много парсеков отсюда, сейчас ли они живут, или будут жить через миллионы лет после нас». И Путешественник, оказавшийся на Земле накануне ледникового периода, совсем одинокий в прекрасном, но еще девственно молодом мире, среди физически сильных людей с цепкой кон-

кретной памятью и душою младенца, убежден, что им, землянам, предстоит пройти за сотни тысяч лет громадный путь, отделяющий первобытное человечество Земли от сияющих вершин Разума, которые достигнуты на его родной планете Анеидау.

Свойственная Г. Гору метафоричность художественного видения раскрывается в иных аспектах в его новых повестях и рассказах («Имя», «Сад», «Минотавр» и др.), где писатель, отвлекаясь от научных и технических гипотез, модифицирует приемы романтической литературной сказки. Но и здесь «второй», философский, план подчинен поэтическому утверждению тех же идей о единстве конечного и бесконечного, взаимосвязанности времени и пространства, взаимообусловленности даже самых парадоксальных явлений окружающего нас материального мира и самого человека, постигающего тайны бытия.

Фантастика Геннадия Гора проникнута философским и социальным оптимизмом. В его творчестве ярко представлено то самое *интеллектуальное направление*, которое получило развитие в литературе последнего десятилетия и проявляется по-разному в книгах писателей-фантастов «призыва 1957 года» — Аркадия и Бориса Стругацких, Анатолия Днепров, Генриха Альтова, Севера Гансовского, Ариадны Громовой и других.

В недавно опубликованной повести Александра и Сергея Абрамовых «Хождение за три моря», имеющей в своих научно-фантастических предпосылках нечто схожее с известным романом Азимова «Конец вечности», журналист Громов, став объектом сложнейшего эксперимента, обретает возможность заглянуть и на несколько лет, и на двадцатилетие, и, наконец, на целое столетие вперед. Не только «заглянуть», но и стать активно действующим лицом в каждом из этих временных отрезков.

Во всех трех случаях место действия остается одним и тем же. Это — Москва. Но всякий раз она меняется. Сперва чуть-чуть, потом значительно и в дальнейшем — неузнаваемо. И эти изменения не ограничиваются внешними признаками: архитектурой зданий, модернизацией всех видов транспорта и т. п. Претерпевают изменения и человеческие отношения, меняются характер и масштабы задач, которые берется разрешить общество,

иными становятся конфликты, психика и эмоциональный тонус человека.

И когда наступает миг расставания Громова с прекрасным, отважным и умным миром будущего, достигшего «вершин коммунистического общества», Эрик, человек из этого «завтра», справедливо возражает: «Коммунизм не стабильная, а развивающаяся формация. До вершин нам еще далеко. Мы делаем сейчас гигантский скачок в будущее... Ваш мир тоже его сделает, когда вы сумеете воспроизвести запечатленные в памяти формулы нашего века. Пусть пока еще встречаются только мысли, а не люди, но эти встречи миров обогащают, движут вперед мечту человечества».

Более многогранным и всеобъемлющим предстает перед нами облик Грядущего в большом романе Сергея Снегова «Люди как боги». (Мы уже довольно подробно говорили о первой части этого произведения в предисловии к сборнику «Эллинский секрет».)

Этот «космический» роман, поражающий неистощимостью фантазии, может быть отнесен одновременно и к утопическому жанру, и к жанру «предупреждения».

В нем рисуются многообразные, впечатляющие картины далекого будущего Земли. Нет надобности подробно останавливаться на внешних признаках этого гармоничного мира. В конце концов в любом научно-фантастическом произведении, моделирующем желаемое будущее, мы найдем однозначные признаки: всё более глубокое проникновение в тайны природы и обуздание ее стихийных сил, великолепный расцвет науки и искусства, высочайший технический потенциал, поразительные достижения в области биологии, медицины и т. п.

Пожалуй, стоит лишь упомянуть один интересный допуск, сделанный Снеговым. Благодаря «эффекту Танева» человечество получает возможность пробиться в глубины космоса, и звездные корабли землян, превращающие пространство в вещество, достигают скорости в сотни раз превосходящей световую. Устанавливается прочный постоянный контакт с цивилизациями Веги, Сириуса и т. д.

Но не только смелые допуски и сюжетные хитросплетения приковывают внимание к роману. Нас прежде всего интересует его идейное наполнение.

В бесконечном океане Вселенной, раскрывшемся за пределами Солнечной системы, существуют три противоборствующие цивилизации — земная, персейская (разрушителей) и галактов.

Доброе начало воплощено в человечестве, преодолевшем на своем гигантском историческом пути кровопролитные войны, ожесточенные классовые битвы, социальные катастрофы, упорное сопротивление защитников старого, несправедливого мира. Новое общество, построенное во всепланетном масштабе, несет на своем знамени и на деле осуществляет выдвинутое Марксом положение: *коммунизм равен гуманизму*.

Именно этот реальный гуманизм заставляет человечество прийти на помощь слабейшим — тем цивилизациям, над которыми нависает угроза уничтожения со стороны негуманоидной расы разрушителей, обитающих в «звездных теснинах» Персея. Моральный принцип нашего времени: человек человеку друг, товарищ и брат — получает новое расширенное толкование: человек всему разумному и доброму во Вселенной — друг.

Это органическое чувство ответственности за всё происходящее в галактическом мире заставляет человечество, которое уже пятьсот лет не знало, что такое война, вступить в битву с теми, кто поставил своей задачей уничтожение разумной жизни. Человечество борется не за себя. За других! За конечное торжество созидания над разрушением.

Правда, существует и иная возможность. Отгородиться от событий, бурлящих в большом космосе. Воздвигнуть могучее оборонительное кольцо — систему крепостей-спутников вокруг Солнечной системы и до поры до времени благоденствовать на уютном, обжитом пятачке Вселенной. Именно так, собственно, и поступили галакты — могущественная гуманоидная раса, населяющая несколько «нейтральных» планет в том же Персее. Достигнув высочайшего уровня развития, поборов биологическую старость, прекрасные и бессмертные, как олимпийцы, галакты живут только для себя, «добру и злу внимая равнодушно». «Великолепное мгновение» они пытаются превратить в «великолепную вечность», или, иными словами, «консервируют однажды достигнутое счастье». И потому их бытие, запрятанное в скорлупу эгоцентризма и имеющее своей конечной целью

оберечь бессмертие каждого индивида, становится медленным умиранием общества. Сняв с себя ответственность за происходящее вне их планет, галакты тем самым теряют стимул для дальнейшего движения вперед.

Обращаясь к ним с призывом принять участие в борьбе с разрушителями, представитель землян адмирал Эли говорит: «Посмотрите на мир — насколько он шире и многообразнее вашей схемы. Он весь — противоречия и многообъемность, а вы его выстраиваете в линию. Он разнонаправлен, он раздирается внутренне и, как при взрыве, летит во все стороны, а вы замечаете лишь тот крохотный его осколок, что ударился в вашу грудь».

Судьбу галактов, этих «гонимых богов», отступивших под напором ими же когда-то созданной биомеханической цивилизации разрушителей, следует рассматривать как предупреждение. Вот путь, на который не может, не должно стать человечество! Но именно потому, что Снегов противопоставил ограниченным и застывшим идеалам галактов идеалы людей, главная сила которых не в технической мощи и не в высочайшем уровне материального благосостояния, а в том, что «они даже к нечеловекам относятся по-человечески» и завоевывают не чужие планеты, а чужие сердца, — предупреждение становится и утверждением.

Мы меньше всего склонны рассматривать роман Сергея Снегова как некий эталон социально-фантастических произведений о грядущем. Но, по нашему убеждению, автор нашел новые грани в изображении мира будущего и дополняет новыми интересными подробностями ту картину, которая создается у нас после прочтения «Туманности Андромеды» и других уже упоминавшихся романов.

Мир будущего, изображенный Снеговым, остается ареной драматических столкновений, тяжелой борьбы, поражений и побед, но всё дело в том, что трагизм личности не перерастает здесь в трагизм общества, доброе начало не отступает перед злом, и облик Грядущего предстает перед нами не прозрачно-голубым и не беспросветно-черным, а многокрасочным, противоречивым и всё же великолепным, ибо в нем торжествует гуманный Разум.

Недавно мы перечли небольшую книжку, изданную в Канске, в 1922 году. Напечатана она газетным шрифтом на желтоватой, ломкой бумаге и давно уже стала библиографической редкостью. Это — «Страна Гонгури» Вивиана Итина, талантливого сибирского писателя-большевика, сражавшегося в рядах Красной Армии против Колчака. Его книга — едва ли не первая социальная утопия послеоктябрьской эпохи.

Герой повести — молодой боец Гелий, приговоренный колчаковской разведкой к расстрелу, в ночь перед казнью видит удивительный сон. В облике гениального ученого Риэля он живет, работает и любит в непостижимо прекрасной стране Гонгури, где давно уже восторжествовали светлые идеалы коммунизма.

Повести Итина предпослано короткое предисловие. «В наше время столкновения двух миров, — говорится в нем, — отчаянной войны за коммунизм против капиталистического произвола, когда всё внимание поглощается этой гигантской битвой, особенное внимание мы должны отдать тому роману, где автор сквозь дым повседневности различает видения грядущего строя. «Откуда же было в такой стране начать социалистическую революцию без фантазеров», — говорит тов. Ленин, учитывая роль страстной мечты о «Стране Грез» в борьбе передового авангарда пролетариата с могущественной буржуазией всего мира. Чтобы бестрепетно умирать во имя светозарного идеала, надо не только ненавидеть прошлое, но и представлять себе ясно конечную цель. Такое представление может дать только искусство»¹.

Пусть язык предисловия немного наивен, неуклюж и старомоден. Но оно словно озаряет нас чистым и грозным пламенем первых лет битвы за коммунизм.

«Страна Гонгури» была опубликована всего лишь пять лет спустя после Октябрьской революции. Но и тогда уже Вивиан Итин, отвечая стремлению миллионов людей в простреленных окровавленных шинелях, кожанках и рабочих блузах «представить ясно конечную цель», попытался нарисовать облик Прекрасного Грядущего.

¹ Вивиан Итин. Страна Гонгури. Канск, 1922, стр. 4.

В наши дни, когда за плечами уже целое пятидесятилетие борьбы и труда, социально-фантастические произведения, помогающие зримо и образно представить воплощенную мечту, увидеть мир таким, каким мы хотели бы его видеть в будущем, — приобретают еще большее значение. А это значит, что советская научно-фантастическая литература берет на себя немалую ответственность перед миллионами пытливых умов и сердец, ибо она одна ведет разведку во Времени.



Сергей Снегов

Люди как боги

К Н И Г А
В Т О Р А Я

**В ЗВЕЗДНЫХ
ТЕСНИНАХ**



Вестник беззвучный восстал и войну многослезную
будит.
С башенной брови, о Кирн, вспыхнул дозорный
костер...
Что же, мужайся! Взнуздать торопись ветroveкующих
коней!
Грудью о грудь на коне встретить хочу я врагов.
Близится пыль их копыт. До ворот они быстро
доскачут.
Если очей моих бог не обуял слепотой...

Феогнид из Мегары (VI век до н. э.)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

вторжение в персей

I

Всё повторилось, всё стало другим.

В прошлый раз я летел на Ору с чувством первооткрывателя. Звездный мир, вспыхивавший на полусферах стереозэкрана, был первозданно ярок. Сейчас мы мчались проторенной дорогой, десятки кораблей впереди, десятки кораблей позади. Хорошо известные звезды неслись навстречу и погасали в отдалении — нового не было ничего. Я торопился на Ору. Я больше не хотел быть звездным туристом. Сейчас я был воином величайшей армии, когда-либо собранной человечеством, — и опаздывал на призывной пункт!

— Не понимаю тебя, — сказала Мэри, хмуря широкие брови. Я как раз сетовал на задержку: пятьдесят кораблей, готовых в поход, почти месяц томились на

Первая часть романа Сергея Снегова «Люди как боги» напечатана в сборнике «Эллинский секрет», Лениздат, 1966 г. (Примеч. ред.).

Плутоне из-за обнаруженной на одном неисправности. — Без тебя в Персей не уйдут — зачем, нервничать? И неужели красота мира становится меньше, если ты раз уже любовался ею?

— Она перестает быть неожиданной, — пробормотал я. Мы сидели в обсервационном зале, я мрачно взирал на Альдебаран, он всё не увеличивался.

В Мэри что-то общее с Верой, хотя внешне они не схожи. Та прямолинейная, сухая логика, что зовется женской, у них, во всяком случае, одинакова.

— Красота — это совершенство, то есть максимум того, что всегда ожидается и всегда желается, — сказала Мэри голосом МУМ. — Желаемая ожидаемая неожиданность — согласись, это нелепо, Эли.

— Согласись и ты, Вера... — начал я запальчиво и в ужасе запнулся.

Мэри рассмеялась.

— Я видела твою сестру лишь на стереоэкранах, — сказала она. — Но ты уже не в первый раз называешь меня Верой. И ошибаешься ты, лишь когда неправ и собираешься оправдываться. Разве не так?

Я поцеловал Мэри. Поцелуи, кажется, единственное занятие, что не требует ни обоснований, ни оправданий.

Мэри всё же пожаловалась:

— Я думала, ты будешь мне гидом на первой моей звездной дороге. Когда-то поездки молодоженов назывались свадебными путешествиями. У меня впечатление, что наше свадебное путешествие тебе наскучило.

Пришлось ее разуверять. Я стал вспоминать всё, что знаю о светилах, рассказал о полете в Плеяды и Персей.

— Звездная бездна со всех сторон, и мы куда-то падаем в ней, — сказал я с невольным волнением. — Это нужно почувствовать, Мэри: звездная бездна — и ты в ней всё падаешь, падаешь, падаешь...

— Звездная бездна, и ты в ней падаешь, падаешь, — повторила Мэри тихо. Она склонила лицо, я не видел ее глаз.

2

Ора открылась не одна, их были сотни — каждый из галактических крейсеров, сконцентрированных у Оры, сверкал, как маленькая планетка.

Нас встретило так много друзей, что я устал обниматься, хлопать по плечу и жать руки. Рядом с Верой стоял Ромеро — как обычно, изящный и холодно-подтянутый. Он ограничился тем, что крепко пожал мне руку.

Тут же произошла сценка, в сущности пустяковая, но порядком попортившая мне настроение.

С Мэри Ромеро разговаривал по-иному, чем со мной. Даже знакомый с Ромеро человек явственно различил бы иронию.

— Вас можно поздравить, дорогая Мэри? Насколько я понимаю, осуществились ваши заветные мечты?

Если раньше я опасался, что Мэри влюблена в Ромеро, то сейчас мне показалось, что она его ненавидит, так раздраженно заблестели ее глаза.

— На этот раз, к удивлению, вы угадали, Павел. Самые заветные из моих мечтаний!

Он почтительно развел руками, церемонно склонил голову, — так, наверно, в древности выражали поздравления.

— Что это значит? — спросила Вера. Она с недоумением переводила взгляд с меня на Мэри и с Мэри на Ромеро. — Случилось что-нибудь важное, брат?

— Для меня — важное! — Я взял Мэри за руку. — Познакомься с моей женой, Вера.

Я всегда удивлялся скорости, с какой женщины сдруживаются. У мужчин мгновенное взаимное понимание не развито, мы раньше обмениваемся приветствиями, часы, а то и недели, присматриваемся, принимаемся и прищупываемся, прежде чем смутно начинаем соображать, кто мы такие и чего нам друг от друга надо. Условности поведения у нас сильнее, чем у женщин, мужчины и доныне жертвы этикета. Я бы на месте Веры часок потолковал с Мэри, потом взял ее дружески под руку. Вера же просто шагнула к Мэри, а та бросилась к ней в объятия.

— Наконец-то, Эли! — возгласила Вера, отпуская Мэри. — И ты, кажется, сделал удачный выбор, брат.

— Не очень удачный! — возразил я. — Справочная предрекла нам развод на третьем месяце брачной жизни. Правда, уже идет четвертый...

Вера увлекла Мэри в сторону, а я поступил в безраздельное обладание приятелей.

Пополневшая Ольга сердечно пожелала мне счастья, Леонид добавил своих поздравлений, Аллан похвастался, что никогда не изменит корпорации холостяков, а Лусин, глядя с нежностью, словно я был выведенным в его институте крылатым человекобыком, вдруг проговорил:

— Хочешь, подарю? Изумительный дракон! Летай с Мэри. Райское счастье.

— На огнедышащих драконах летать только в ад, а это я погожу, — сказал я.

Прилетевший Труб увеличил общую сумятицу. Я выбрался из его крылатых объятий основательно помятый. Прошло не меньше часа, прежде чем установился упорядоченный разговор, взамен сплошного смеха и выкриков.

Я спросил Ромеро:

— Вы не сердитесь на меня, Павел? Я имею в виду мой совет насчет Оры...

— Я благодарен вам, Эли, — сказал он без обычной напыщенности. — Я был слепец, должен это с прискорбием признать. Наше примирение с Верой было так неожиданно быстро...

Я не удержался от насмешки:

— Не верю в неожиданности, особенно счастливые. Хорошая неожиданность требует солидной организаторской подготовки. Этой, как вы помните, предшествовала наша добрая ссора в лесу.

— Неожиданности здесь у вас будут, — предрек он уверенно. — И очень скоро, любезный друг.

Вера с Мэри, по-прежнему обнявшись, подошли к нам. Вера сказала:

— Нам нужно наедине поговорить о походе в Персей. Может быть, сделаем это, не откладывая?

Я удивился, почему о походе в Персей мне нужно беседовать с Верой наедине, но Вера не захотела разъяснять.

— У меня обязанности гида, Вера. Мэри впервые на Оре.

— Тогда приходи после прогулки в мой номер.

Вера ушла с Ромеро, за ними Леонид с Ольгой, Осима, Аллан, Спыхальский, — у каждого были дела на планете.

Лишь Лусин с Трубом не оставляли нас. Лусин объ-

явил, что не успокоится, пока не продемонстрирует зверинца, вывезенного с Земли. Мы с Мэри не стали огорчать Лусина и пошли к его питомцам.

Пегасов одних было не меньше сотни — черные, оранжевые, желтые, зеленые, красные с белыми искрами, белые с искрами красными — в общем, всех поэтических красок, воинственно ржущие, непрерывно взлетающие, непрерывно садящиеся...

Труб, скрестив на груди крылья, с насмешливой неприязнью следил за сутолокой у летающих лошадей.

— Неразумный народец, — проворчал он на вопрос, как ему нравятся пегасы. — Не умеют ни читать, ни писать. Я уже не упоминаю о том, чтобы говорить по-человечески.

В первый год пребывания на Земле Труб справился с азбукой, а перед отлетом на Ору сдал экзамен за начальную школу, а там интегральное исчисление и элементарная теория вещества, включая и ряды Нгоро. На Оре Труб устроил для своих сородичей училища. У ангелов обнаружились недюжинные способности к технике. Особенно они увлекаются электрическими аппаратами.

— Это же только лошади, хотя и с крыльями, — сказал я.

— Тем непростительней их тупость.

Я подмигнул Мэри. Было забавно, что один из любимцев Лусина поносит других его любимцев. Лусин от ангела, однако, легко сносил то, что не потерпел бы от человека.

— Расист, — сказал он и так ухмыльнулся, будто ангел не ругал, а превозносил пегасов. — Культ высших существ. Детская болезнь развития.

В отделениях за конюшней пегасов нас заинтересовал один крылатый огнедышащий дракон.

Он был такой огромный, что походил скорее на кита, чем на дракона. Он лежал, пламенно-рыжий, в толстенной броне, из ноздрей клубился дым, а когда он выдыхал пламя, проносился гул. Полуприкрыв тяжелыми веками зеленые глаза, крылатое чудовище надменно посматривало на нас. Казалось невероятным, что эта махина может парить в воздухе.

— У него корона! — воскликнула Мэри.

— Разрядник! — с гордостью объявил Лусин. — Испепеляет молниями. Хорош, а?

На голове дракона и вправду возвышалась корона — три золоченых рога. С рогов срывались искры, красноватое сияние озаряло голову чудища. На молнии, испепеляющие врага, искорки похожи не были.

— Проверь! — сказал Лусин. — Кинь камень. Или другое.

— А почему сам не кидаешь камней? Твое создание, ты и проверь.

— Жалко, — признался он, улыбаясь. — Не могу.

На прибранной Оре найти камешек не просто. Я метнул в дракона карманный нож.

Дракон рывком повернул голову, глаза остро блеснули, туловище хищно изогнулось, а молния, вырвавшаяся с короны, ударила в ножик, когда тот еще летел, — ножик бурно вспыхнул, превращаясь в плазму. И тотчас же вторая молния, еще мощней, разрядилась прямо мне в грудь.

Если бы жители Оры не защищались индивидуальными полями, все мы безусловно были бы ослеплены вспышкой, а сам я так же безусловно разлетелся бы плазменным облачком.

— Может сразу три молнии, — восторженно пояснил Лусин. — По трем направлениям. Имя — Громовержец.

— Не хотел бы я схватиться с Громовержцем в воздухе, — сказал потрясенный ангел.

Мне кажется, что Труб не так испугался, как позабавовал Громовержцу: ангелы возятся с приборами, изготовленными людьми, а дракон производит электричество самостоятельно.

Дракон успокаивался — приподнявшееся тело опадало, над короной плясали синеватые огни Эльма, тяжелые веки прикрывали потухавшие зеленые глаза.

— Громовержец так Громовержец, — сказал я. — Существо эффектное. Но зачем нам в Персее Громовержцы с пегасами?

— Пригодятся, Эли.

Я тогда и понятия не имел, как жестоко Лусин будет прав!

Мы с Мэри вышли наружу, оставив Лусина с его созданиями и Трубом.

Был вечер, искусственное солнце погасало.

— Одни! — воскликнул я. — На Оре — и одни, Мэри!

Мэри упрекнула меня:

— До сих пор ты больше стремился к своим друзьям, чем к одиночеству со мной.

Я рассмеялся. Нигде мне не бывает так хорошо, как на Оре!

— Ты, кажется, приревновала меня к Лусину и Трубу? Пойдем я покажу тебе Ору.

Мы долго гуляли по проспектам планеты, заходили в опустевшие звездные гостиницы.

Я рассказывал Мэри, как познакомился с альгаирцами, вегажителями, ангелами. Прошедшее нахлынуло на меня, призраки, живые, как во плоти, двигались рядом. Я вспомнил и об Андре. Здесь он совершал великие открытия, а я зубоскалил, придирался к мелким ошибкам. Пока он жил среди нас, мы недооценивали его, я больше других был этим грешен.

Внезапно я увидел слезы в глазах Мэри.

— Я чем-то расстроил тебя?

Она быстро взглянула на меня и спросила почти враждебно:

— Ты не замечаешь во мне перемен?

— Каких?

— Разных... Ты не находишь, что я подурнела?

Я смотрел на нее во все глаза. Она никогда еще не была так красива. Она отвернулась, когда я сказал ей об этом, долго молчала. Погасшее было солнце разгорелось в луну — на Оре по графику было полнолуние.

— Ты странный человек, Эли, — заговорила она потом. — Почему, собственно, ты в меня влюбился?

— Это-то просто. Ты — Мэри. Единственная и неповторимая.

— Каждый человек единствен и неповторим, двойников нет. Ты по-настоящему любишь только двоих в мире. У тебя дрожит голос и блестят глаза, когда ты вспоминаешь их.

— Ты говоришь об Андре?

— И о Фиоле!

— Не надо, Мэри! — Я взял ее под руку. Она отстранилась. Я попытался обратить размовку в шутку. — Они очень мне близки, Андре и Фиола, правильно,

я волнуюсь, когда говорю о них. Но если бы мы с тобой были в разлуке, как бы я волновался, вспоминая о тебе! Я вот сейчас подумал, что мы могли бы очутиться врозь, и у меня задрожали коленки.

— Но голос у тебя не дрожит, — возразила она печально. — Ты говоришь о дрожи в коленках очень спокойным голосом, Эли. Ладно, тебе пора к Вере. Обещай отнестись серьезно к тому, что она сообщит.

— Ты знаешь, о чем она собирается говорить?

— Вера скажет об этом лучше, чем я.

— Везде загадки! Ромеро грозит неожиданностями, Вера может беседовать только наедине, ты тоже на что-то намекаешь. Сказала бы уж прямо!

— Вера скажет, — повторила Мэри.

3

— Ты, конечно, удивлен, что наша беседа наедине, — так начала Вера. — Дело в том, что речь пойдет о личностях. По решению Большого Совета я должна посоветоваться с тобой, кого назначим адмиралом нашего флота. Требования к адмиралу иные, чем к командирам кораблей и даже эскадр.

Я пожал плечом:

— Я раньше должен услышать, что это за требования.

— Во-первых, общечеловеческие — смелость, решительность, твердость, целеустремленность, быстрота соображения... Надеюсь, не нужно подробней? Во-вторых, специальные — умение командовать кораблем и людьми, хорошая ориентировка в галактических просторах, понимание противника и его приемов борьбы. И, наконец, особенные качества — широкий ум, острота мысли, ощущение нового, а также живое, доброе, отзывчивое сердце, глубокое понимание наших исторических задач... Ибо этот человек, наш адмирал, будет верховным представителем человечества перед лицом пока малознакомых, но, несомненно, древних и мощных галактических цивилизаций.

Я расхохотался.

— Ты нарисовала образ не человека, а божества. Сусальный лик, а не лицо. К несчастью, люди не боги.

— Нужен лишь такой человек. Никому другому люди не могут вручить верховное командование.

Мы стали перебирать кандидатуры.

Ни Ольга, ни Леонид, ни Осима, ни Аллан не подходили, это было ясно. Я упомянул Веру, она отвела себя. Я сказал, что, если бы Андре не был в плену, он всех лучше бы подошел. Вера отвела и его: она считала, что у Андре ум остр, но не широк.

Я рассердился: эта игра в кандидатуры начала мне надоедать. Мне всё равно, кто будет мною командовать. Пусть обратятся к Большой — бесстрастная машина даст точный ответ.

— Мы обращались к Большой.

— Что-то не слыхал.

— Это держалось в секрете. Мы предложили машине проверить правильность нашей кандидатуры, принятой единогласно Большим Советом. Машина подтвердила наш выбор.

Я был уязвлен, и даже очень. Что-что, а решение Большого Совета от меня могли не таить, кое-что и я смыслю в делах Персея.

Я спросил сухо:

— Кто же этот удивительный человек, так совершенно наделенный прописными достоинствами, что вы единогласно прочите его в свои руководители?

Она сказала спокойно:

— Этот человек — ты, Эли.

Я был так ошеломлен, что даже не возмутился. Потом я стал доказывать, что их решение — вздор, ералаш, чепуха, ерунда, нелепость и недомыслие, она может выбирать любое из этих определений. Себя-то я знаю отлично. Ни с какой стороны я не вписываюсь в нарисованный ею силуэт идеального политика и удачливого военачальника.

Она заранее подготовилась к спору. Мои аргументы отскакивали от нее, как горох от стены.

— Ты, кажется, вообще отрицаешь какие-либо достоинства у себя?

— Кое-какие хорошие человеческие недостатки у меня есть.

— Не очень основательно, хотя и хлестко, Эли.

— Уж каков есть.

— Я выслушала тебя внимательно, но не услышала

ничего дельного, — объявила Вера. — Если ты будешь упорствовать, твое сопротивление вызовет недоумение и обиду. Зачем оскорблять поверивших в тебя?

Подавленный, я молчал. Как и в детстве, когда она меня распекала, я не находил сейчас защиты от ее настояний. Но и радости не было.

Я припомнил, как возмутился спокойствию Ольги, когда ее назначили командующей эскадрой. Былая наивность основательно повыветрилась из меня — я не ликовал, а страшился огромной ответственности.

— И долго ты собираешься так молчать? — иронически спросила Вера.

— Рассмотрим еще разок другие кандидатуры, Вера.

— Большой Совет рассматривал их. Государственная машина придирчиво исследовала каждого человека на годность в командующие. Капитаны кораблей пришли в восторг, узнав о решении Большого Совета. Тебе мало этого?

Я понял, что выхода мне не оставили.

— Согласен, — сказал я.

Она хладнокровно кивнула головой. Иного она и не ждала.

— Теперь сообщу о других назначениях. У тебя будут два заместителя и три помощника. Заместитель по государственным делам — я. Заместитель по астронавигации — Аллан Круз. Помощники, командующие тремя отдельными эскадрами, — Леонид, Осима и Ольга. Возражений нет?

— Нет, конечно.

— Еще один пункт. Ты когда-то был моим секретарем, правда, не очень удачным. Теперь тебе самому нужно иметь секретаря. В секретари предлагают...

— Надеюсь, не тебя! — сказал я с испугом.

— Я твой заместитель, а это выше, чем секретарь.

— Извини, я не силен в рангах. Так кого определяют мне в секретари?

— Павла Ромеро. На него возложены также функции историографа похода. Но если ты возражаешь, мы подберем другого.

Я задумался. Взаимоотношения с Павлом были слишком сложны, чтобы ответить простым «да» или «нет». Я не знал другого человека, столь резко отли-

чавшегося от меня самого. Но может быть, несхожесть характеров и требовалась для удачной совместной работы?

Вера спокойно, слишком спокойно, ожидала моего решения. Я улыбнулся. Я видел ее насквозь.

— Разреши задать один личный вопрос, Вера.

— Если о моих отношениях с Ромеро, то они сюда не относятся. Действуй так, словно Ромеро мне незнаком.

— Павел, вероятно, будет лучшим секретарем, чем я командующим. Я принимаю его с охотой. Теперь можно задавать щекотливые вопросы?

— Теперь можешь задавать любые. — Вера явственно испытывала облегчение.

— Я никогда не вмешивался в твою жизнь, Вера, но один раз я позволил это себе. Должен ли я извиниться?

— Скорее, я должна благодарить тебя за вмешательство.

Мне не хотелось говорить об этом, но оставлять что-либо недосказанным было еще хуже.

— Павел передавал тебе, при каких обстоятельствах произошла наша последняя беседа?

— Чуть не превратившаяся в драку, — это ты о той? Я знаю обо всем: как он чуть не влюбился в Мэри, и как ты стал на его дороге, и как Мэри, перед тем праздником в лесу, призналась Павлу, что любит тебя и любит давно, с какой-то вашей встречи в Каире. И если бы не опьянение, Павел поздравил бы тебя там же, у костра, а не полез в драку, во всяком случае, он так собирался...

— А вот я этого не знал. В Каире Мэри обругала меня, как если бы возненавидела с первого взгляда. И в те несколько месяцев, что мы провели вместе, она ничего не говорила о Каире.

— А мне сказала сегодня, что ты так беспомощно взглянул, когда она обозвала тебя грубияном, что у нее застучало сердце. Тебе повезло, Эли, и я хочу, чтоб ты знал: я очень люблю твою жену.

Я встал.

— Я тоже, Вера. У нас с тобой не так много было случаев, когда бы мы сходились во мнениях. Можно уйти?

— Теперь ты должен мне разрешать или не разрешать, — педантично напомнила она.

— В таком случае я разрешаю себе уйти, а тебе разрешаю остаться.

4

Я и не представлял себе раньше, как трудно командовать. Если бы мне предстояло выбирать сызнова, я взял бы подчинение, а не командование. Я отвечал за всё, а был сведущ лишь в ничтожной частице этого «всего». Профессиональный военный посмеялся бы над моими попытками организации. От позора меня спасало лишь то, что настоящих военных давно не было.

Одно вскоре мне стало ясно: флот не готов к далекому походу. Так мы и доложили Земле по сверхсветовым каналам: требовался, по крайней мере, еще год подготовки.

Однажды Ромеро обратился ко мне с просьбой:

— Дорогой адмирал, — он и Осима теперь называли меня только так, Осима серьезно, а Ромеро не без иронии, — я хочу предложить вам ввести в свой распорядок дня новый пункт: писать мемуары.

— Мемуары? Не понимаю, Павел. В древности что-то такое было — воспоминания, кажется... Но писать в наше время воспоминания?

Ромеро разъяснил, что можно и не диктовать, а мысленно вспоминать, МУМ сама запечатлеет мысли. Но зафиксировать прожитую жизнь нужно — так поступали все исторические фигуры прошлого, а я теперь, несомненно, историческая фигура.

— После похода, если вернемся живыми, я продиктую все важные события, которые случатся там с нами.

Ромеро настаивал на своем. Историограф похода и без меня опишет все важные события. Мне надо рассказать о своей жизни. Моя жизнь внезапно стала значительным историческим фактом, а кто ее лучше знает, чем я сам?

— А Охранительница на что? Обратитесь к ней, она такое насообщит, чего я и сам о себе не знаю.

— Именно, — сказал он, — вы и сами того не знаете, что она хранит в своих ячейках. Нас же интересует, что вы считаете у себя значительным, а что — пустя-

ком. И еще одно. Охранительница — на Земле, а ваша внеземная жизнь, неизвестная Охранительнице, как раз всего интересней.

— Вы не секретарь, а диктатор, — сказал я. — Отдаете ли вы себе отчет, что в мемуарах мне придется часто упоминать вас? И мои оценки, боюсь, не всегда будут лестны...

Ответ его прозвучал двусмысленно. Временами Ромеро был для меня загадкой.

— Человеку Ромеро они, возможно, покажутся неприятными, но историограф Ромеро ухватится за них с восторгом, ибо они важны для понимания вашего отношения к людям.

В этот же день я стал диктовать воспоминания. В детстве моем не было ничего интересного, я повел рассказ с получения первых известий о галактах.

Случилось так, что в эту минуту мимо моего окна пролетел Лусин на Громовержце, и я вспомнил другого дракона, поскромнее — на том драконе Лусин тоже любил кататься, — и начал с него.

С тех пор прошло много лет. Я давно забыл те мемуары, ту первую книгу, как называет ее Ромеро. Я диктую сейчас вторую — наши мытарства в Персее.

Передо мною — лента с записью, рядом с ней та же запись в форме пяти изданных по-старинному книг, пять толстых томов в тяжелых переплетах — официальный отчет Ромеро об экспедиции в Персей, там много говорится и обо мне, много больше, чем о любом другом. А если я пожелаю, вся эта бездна слов, сконцентрированных в отчете, зазвучит в моих ушах голосом Охранительницы, живыми образами засветится на экране.

Я хочу поспорить с трудом Ромеро. Я сам хочу рассказать о себе. Я не был тем властным, неколебимым, гордым, бесстрашным руководителем, каким он меня изображает. Я страдал и радовался, впадал в панику и снова брал себя в руки, временами я казался себе самому жалким и потерявшимся, но я искал, я неустанно искал правильного пути в положениях, почти безысходных, — так это было. Я буду опровергать, а не уточнять Ромеро. Я продиктую книгу не о наших просчетах и конечной победе: такую книгу уже создал

Ромеро — другой не надо. Нет, я хочу рассказать о муках моего сердца, о терзаниях моей души, о крови погибших близких, мутившей мою голову...

Нелегким он был, наш путь в Персеел!

5

Доклад о том, что эскадры не готовы в дальний поход, породил на Земле тревогу. Веру и меня вызвали на заседание Большого Совета. Я пошел к Мэри попросить ее сопровождать нас на Землю. Мы с Мэри теперь не виделись неделями: я пропадал на кораблях, перебираясь с одного на другой, а Мэри нашла себе занятие в лабораториях Оры.

Мне показалось, что она больна. Я знал, конечно, что на Оре, как и на Земле, болезни невозможны. Но у Мэри был такой грустный вид, так блестели глаза, а припухшие губы были такие сухие, что я встревожился.

— Ах, да ничего со мной, здорова за двоих, — сказала она нетерпеливо. — Когда вы отлетаете?

— Может, все-таки — *мы* отлетаем? Зачем тебе оставаться на Оре?

— А зачем мне лететь на Землю? Тебе надо, ты и лети.

— Такая долгая разлука, Мэри...

— А здесь у нас не разлука? За последний месяц я видела тебя три раза. Если это не разлука, то я радуюсь твоему удивительному чувству близости.

— На корабле мы будем всё время вместе.

— Ты и там найдешь повод оставлять меня одну. Не хочу больше уговоров, Эли!

Я молчал. Она сказала мягче:

— Кстати, я дам тебе поручение — список материалов для моей работы в лаборатории. Привези, пожалуйста, всё.

Мне пришла в голову одна мысль и сгоряча показалась хорошей.

— На Вегу идет галактический курьер «Змееносец». Ты не хотела бы прогуляться туда? Экскурсия на Вегу займет месяца три, и на Ору мы вернемся почти одновременно.

Еще не кончив, я раскаялся, что начал этот разговор. У Мэри вспыхнули щеки, грозно изогнулись брови. В гневе она хорошела. При размолвках я иногда любовался ею, вместо того чтобы успокаивать, это еще больше сердило ее.

— Ты не мог бы сказать, Эли, что я потеряла на Веге?

— На Веге ты ничего не потеряла, но многое можешь найти.

— Под находкой ты, по-видимому, подразумеваешь Фиолу?

— Поскольку ты хотела стать ее подругой...

— Этого ты хотел, а не я. Вот уж никогда не было у меня желания выбирать в подруги змей, даже божественно прекрасных! И особенно — возлюбленную змею моего мужа!

Я сокрушенно покачал головой:

— Ах, какая пылкая ревность! Но как же быть мне?

Мне предстоит распространять благородные человеческие порядки среди отсталых звездоджителей, а моя собственная жена вся в тенетах зловредных пережитков. Какими глазами мне теперь смотреть на галактов и разрушителей? Какие евангелия им проповедовать?

— Когда ты так ухмыляешься, мне хочется плакать! — объявила она.

— Тебе это не удастся, — заверил я. — Через минуту ты будешь хохотать, я вижу это по твоим глазам.

Хохотать она не стала, но плохо начатый разговор закончился мирно.

Список материалов был так обширен, что еле уместился на метровой ленте. Мэри провожала меня на «Волопас», мы обнялись и расцеловались.

В салоне Вера сказала:

— Мэри хорошо выглядит, Эли. И здоровье у нее, кажется, крепкое?

— Здорова за двоих, так она сама сказала.

Вера внимательно посмотрела на меня, но разговора о Мэри не продолжала. Все дни в полете были заполнены бесконечными совещаниями с Верой и ее сотрудниками. Их у нее была добрая сотня, и весь этот коллектив — а в придачу к нему и корабельная МУМ — разрабатывал детали вселенской человеческой политики.

На одном из их симпозиумов о природе галактического добра и зла я, почти обалдев, выпалил:

— Что толку копать в частностях? Мне бы встретиться со зловредом нос к перископу, а там я соображу, как действовать.

— У тебя нет жилки политика, — упрекнула Вера.

— Сухожилья, а не жилки, Вера. Ибо ваши ученые речи так сухи, что я испытываю от них жажду буянить и ниспровергать добро.

— С результатами наших разработок тебе всё же придется ознакомиться, — предупредила Вера.

С того дня я не ходил на совещания у Веры, а перед прибытием на Землю прочитал ее доклад Большому Совету — длинный список политических предписаний на все случаи похода. Ни один не поразил меня новизной. Все их можно было свести к нехитрой формуле: ко всем разумным существам Вселенной относиться по-человечески, по-человечески поддерживай добро, по-человечески борись со злом. Мне кажется, не стоило так много трудиться, чтобы в результате выработать такой бесспорный катехизис.

— Я очень рада, что ты не нашел ничего нового, — заявила Вера хладнокровно.

— Что ж тебя радует?

— А вот именно то, что наша галактическая политика тебе кажется бесспорной. Согласись, было бы печально, если бы руководитель величайшего похода человечества усомнился в его цели и задачах.

Какой-то резон в ее словах был. Во всяком случае, Большой Совет с энтузиазмом воспринял ее доклад «Принципы галактической политики человечества», аплодировал ей, как на древних митингах и съездах. Впрочем, и мне похлопали, хотя я расписывал не благородные цели, а материальные затруднения и не так воодушевлял членов Совета, как грозил им провалом всего похода, если безотлагательно не примут энергичных мер.

После заседания члены Совета разъехались по производственным планетам — торопить отстающие космические заводы, а мы с Верой стали готовиться обратно. Несколько дней ушло на сбор материалов для Мэри. Я успел еще забежать к Ольге, она незадолго до нашего отлета на Землю уехала сюда рожать и те-

перь возилась с прехорошенькой дочкой Иринкой. Она возвращалась на Ору вслед за нами.

За четыре месяца разлуки Мэри очень пополнела, порывистая ее походка превратилась в неуклюже осторожную. Я в изумлении сперва свистнул, потом схватил Мэри на руки.

— Осторожней! — сказала она. — В прогнозе беременности таскания на руках не предусмотрены.

— Отшлепать тебя, Мэри! — высказался я, бережно ставя ее. — Хоть бы словечко! И Вера хороша, она-то, наверно, знала!

— Она знала, а ты должен был догадаться! — весело возразила Мэри. — И потом я же сказала тебе, что здорова за двоих; простой человек, не адмирал, сообразил бы в чем дело. А молчать мы условились с Верой, на Земле тебе хватило забот и без тревог о моем состоянии.

Я засыпал Мэри вопросами, кого она ждет, когда роды, как они пройдут. Мэри умоляюще подняла вверх руки. Давно я не видел ее такой довольной.

— Не всё сразу, Эли! Через месяц получишь сына, срочно придумывай имя. Скажи теперь, как с моими поручениями?

— Сто тяжелых ящиков — вот твои поручения. Старинные ядерные бомбы в музеях легче твоих грузов. Я чуть не надорвался, когда поднимал самый маленький ящик.

Мэри рассмеялась.

— В ящиках тоже бомбы, но распространяющие жизнь, а не смерть.

— Жизнь, ты сказала?

— Да, жизнь. Что тебя удивляет? Наша женская судьба — порождать жизнь. Разрушение — древняя привилегия мужчин. И если у зловредов...

— Не надо меня агитировать, Мэри. На матриархат я не соглашусь. Максимум моих уступок в этом отношении — равноправие. Тебе привет еще от одной распространительницы жизни. У Ольги дочь Иринка. Прогнозы исполнились прямо блестяще, роды прошли хорошо.

— Рада за Ольгу. Но, кажется, состояние других женщин тебя интересовало больше, чем состояние жены?

— Другие женщины не так скрытны, особенно их мужья. Когда один командир эскадры срочно просится на Землю, а второй чуть не каждый час прибегает на станцию сверхсветовой связи, то командующий, хочет он или не хочет, должен поинтересоваться, что случилось с его помощниками. С ближайшим курьером и тебя отправим рожать на Землю, как велит традиция.

— Положим начало новой традиции — я буду рожать на Оре. Я просила уже об этом Спыхальского, и он согласился меня оставить здесь. Не делай огорченного лица, здесь мне будет не хуже, чем на Земле.

— Тогда назовем сына Астром, — сказал я торжественно. — Раз наш сын будет первым человеком, рожденным на иных звездах, то и имя у него должно быть звездное.

6

МУМ предсказала, что роды будут нелегкими, и роды были нелегкими.

В эти трудные дни я часто вспоминал об Андре: он тревожился о Жанне, а я посмеивался, ибо знал, что новый человек появится на свет в предсказанный срок и с предсказанным благополучием. Сейчас я тоже знал, что Астру гарантировано удачное рождение, но волновался не меньше Андре.

Он был, конечно, отличный паренек, наш Астр, пять килограммов мускулов и обаяния, он засмеялся, чуть раскрыв глаза, радостно задрывал ножками — ему показалось хорошо на свете!

Так говорили в голос и Вера, и Ольга, дежурившие у постели Мэри.

— Он ударил меня ножкой в грудь, и, знаешь, было больно, — с восторгом утверждала Вера. — Скоро мы покажем его тебе, посмотришь, какого родил озорника.

— Он похож на тебя, Эли, — добавила Ольга. — Он так же хохочет, как ты, у него твое умное, насмешливое лицо, а когда ему что-то не понравилось, он нахмурился не хуже тебя.

А потом примчались поздравления с Земли, и первое от Альберта. Этот мальчишка поздравил нас с Мэри по-своему.

Он предложил Большой просчитать, какие космоло-

гические проблемы будут мучить нарождающееся поколение людей, и Большая выделила два вопроса: проникновение в загадочное ядро Галактики, скрытое от нас темными туманностями, и продолжающееся выпадение Гиад из нашего мироздания: теперь уже не подлежало сомнению, что звезды Гиад с нарастающей скоростью рушатся в какую-то яму в космосе, в бездну в метрике, разверзшуюся словно специально для них.

Астру надлежит первому из людей броситься в провалы этой звездной пропасти, пророчествовал Альберт, он первый из людей исследует, вправду ли она бездонна.

Я не мистик и не ясновидец, я не мог догадаться в то время о судьбе, уготованной Астру, но хорошо помню, каким зловещим холодом повеяло на меня от астрологической шутки Альберта.

И, сообщая Мэри о поздравлениях, посыпавшихся на Ору от друзей, лишь об этом, о поздравлении Альберта, я умолчал.

Мэри, когда меня пустили к ней, выглядела такой веселой и красивой, точно вернулась с прогулки, а не выкарабкалась из болезни.

— Я знала, что Астр будет похож на тебя, — сказала она. — У меня были его гороскопические фотографии уже на третьем месяце беременности, но тебе я не показала, я была тобой недовольна. Не оправдывайся. Лучше скажи, когда выступление?

— Уже скоро. Ты хочешь присутствовать при нашем отлете или возвращаешься на Землю раньше?

— Я хочу лететь с тобой! — выпалила она.

— Чепуха, — сказал я великодушно. — Я знаю, у молодых матерей бывают странные причуды.

— О всех моих причудах ты и не догадываешься, — заметила она. — Придется тебе взять нас с Астром с собою.

Я переубеждал ее. Я привел в пример Ольгу. Ольга — известнейший галактический капитан, кому-кому, а ей раньше всех нужно идти в экспедицию. А она попросилась в резервную третью эскадру, стартующую с Оры года через три, — так ей хочется побыть со своей Ириночкой подольше. О том же, чтобы тащить девочку в опасный поход, ни она, ни Леонид и не помышляют.

Материнство, сказал я, это древнейшая из человеческих профессий, все мы должны считаться со священными обязанностями матери даже и в наше время, когда детишкам в яслях куда удобнее, чем у подола родительницы.

— По-моему, я не хуже тебя знаю профессию матери, — возразила Мэри, хмурясь. — Уговоры бесполезны, мы летим с тобой.

— Но почему? — воскликнул я. — Объясни по-человечески, для чего тебе подвергать себя и Астру превратностям дальнего путешествия?

На это она ответила так:

— Где ты, Кай, там и я, Кая.

Я не понял, почему она назвала меня Каем, а навести потом справку у МУМ как-то не удосужился.

Я подошел с другой стороны. Хорошо, ты член экспедиции, как и я, ты имеешь право участвовать в походе. Но зачем брать малыша? Вдруг с ним что-либо случится! Время отвезти его на Землю и затем вернуться еще есть.

— Нет, нет, нет! — стояла на своем Мэри. — Я не хочу разлучаться ни с Астром, ни с тобой. И что с ним может случиться? Детские болезни давно отменены, разве ты этого не знаешь?

— Ты хочешь, чтобы я внес Астру в списки экипажа?

— Не иронизируй. Я именно этого хочу.

Я прошел к Астру. Малыш дрыгал ногами и пускал пузыри. Он поглядывал осмысленными глазами и невнятно проговорил: «Бы!» Он вовсе не спал, отрешенный от окружающего, как любят проделывать другие человечки его возраста, он отнюдь не был еще некой «вещью в себе», он уже жил, уже энергично барахтался в этом новом для него мире.

И когда я схватил его под мышки и поставил ножками на перину, он не сжал безвольно коленки, не повис беспомощно в воздухе, а энергично ударил подошвами в одеяльце. Я знаю, что это звучит фантастически, но я веду строжайше реалистический рассказ, и тем более во всем, что касается Астры, не позволю себе преувеличений.

Астр отталкивался от постели, уминал ее ножками, бил меня пятками в грудь, порывался идти. Он без-

звучно хохотал, ловил пухлыми ручками воздух, — нет, повторяю, он не покоился в этом мире, сонно набираясь сил, а действовал в нем, упругий, звонкий, всем своим существом радующийся тому, что существует.

— Астр, собирайся в поход! — сказал я, ликуя. — Надевай доспехи и собирайся в поход, маленький человек Астр!

Он проговорил гораздо отчетливее и громче прежнего: «Бы!»

...У меня сжимается сердце, когда я вспоминаю тот день и что произошло потом. Даже случайные обстоятельства складывались так, что все они, как лучи, отраженные от вогнутого зеркала, собирались в одном зловещем фокусе, и в фокусе том была — неизбежность.

7

Мы шли двумя эскадрами, по сто звездолетов в каждой, любой из кораблей был раз в пятьдесят мощней, чем прежний сверхмогущественный «Пожиратель пространства». Я поднял свою адмиральскую антенну на «Волопасе» — флагманском крейсере Осимы. На «Волопасе» поселились также Вера и Лусин. На «Скорпионе», командирском корабле Леонида, разместился Аллан со своим штабом.

Известия, полученные с Земли перед выступлением, не обнадеживали. Сверхсветовые локаторы Альберта не обнаруживали перемен в звездных теснинах Персея. Земля, превращенная в величайшее Ухо и Глаз Вселенной, напрасно всматривалась и вслушивалась в два звездных кулака, столкнувшихся в гигантском космическом ударе, — из Персея не доносилось новых звуков, в нем не вспыхивало новых картин.

Лишь одно загадочное явление произошло незадолго до старта, но в тот момент мы не придали ему значения, а если бы и поняли, что оно таит в себе, вряд ли это могло бы сказаться на наших дальнейших действиях. Альберт сообщил, что внезапно пропала одна из звезд скопления Хи, светило с единственной планетой, по-видимому населенной разрушителями, — «зловредное» светило, по нашей терминологии.

— Взяло и пропало, было и не стало, — докладывал мне Альберт по СВП. — А звездочка неплохая — гигант класса К, абсолютная светимость около минуса пяти — в десять тысяч раз поярче Солнца! На фотографиях видна отчетливо, за шестьсот лет фотографирования ни на йоту не изменила блеска, такая трогательная постоянность. И внезапно — нету! И что всего забавней — исчезла из этого мира за считанные секунды, без потускнений и угасаний. Провалилась, как в люк, из бытия в небытие, иного слова не подберу.

— Может, аннигиляция? — спросил я. Меня встревожило сообщение Альберта. Если разрушители овладели искусством превращения вещества в пространство, то главное наше военное преимущество перед ними утрачивалось. — Вы не проверили, не расширяется ли скопление?

Альберт успокоил меня:

— Вы плохо относитесь ко мне, Эли, если думаете, что я немедленно не исследовал именно это — не появились ли каверны новых пустот? Никакого дополнительного пространства в Персее! Говорю вам, звезда просто пропала — и всё.

— Наблюдения велись при помощи СВП?

— За каких невежд вы нас принимаете, Эли? В оптике эта звездочка — мы ее назвали Оранжевой — будет мирно светить еще, по крайней мере, пять тысяч лет. Она исчезла в сверхсветовой области.

Станции волн пространства и на звездолетах и на Оре были слишком слабы, чтобы зафиксировать пропажу и появление Оранжевой, зато мы хорошо рассмотрели ее в оптике.

Звезда была эффектна — ярко-оранжевая, неистово пылающая, она затмевала своих соседей мятежным сверканием. Я и раньше замечал, что разрушители облюбовывают для своих селений именно такие звезды-гиганты поздних спектральных классов. Родная сестра Угрожающей, сказал я Осиме об Оранжевой.

Мы рассматривали ее со сложным чувством восхищения и недоброжелательности: сражения в районе Угрожающей еще были свежи в памяти.

Через три дня после первого сообщения Альберт передал, что Оранжевая появилась на прежнем месте и светит так же мощно и мирно.

История с пропажей Оранжевой занимала нас недолго и особенно не встревожила никого. Ромеро предположил, что причина в неполадках на СВП. Он так и написал в отчете, что локация на пространственных волнах — дело неиспытанное и, очевидно, не звезда занялась цирковым иллюзионом, а возникли неожиданные помехи в сверхсветовом приеме.

Мы были поверхностны в суждениях, сейчас это надо признать. Никто не знает своего будущего. Не знал его и я. Нельзя требовать от человека больше того, что свойственно человеку.

Я не буду описывать движения к звездным скоплениям Персея, об этом лучше моего рассказал Ромеро. Упомяну лишь, что каждый из кораблей был быстроходней «Пожирателя пространства», но флот в целом двигался медленнее, чем тот галактический разведчик. Мы не могли рассчитывать, что такая армада подберется незамеченной к крепостям разрушителей, — нужно было принять меры, чтобы вражеская атака не застигла нас врасплох в пути.

И хоть злореды и не осмелились напасть в рейсе, а придумали похитроумней средства защиты, я и поныне не жалею, что не дал воли нетерпению иных капитанов, настаивавших на стремительности полета.

Мы неслись в две кильватерные струи, осмотрительно и надежно страхуя себя спереди, с боков и сзади.

Астру пошел шестой год, когда перед нами, на всё звездное небо, раскинулись гигантские скопления светил Персея.

8

Нас ожидали.

Еще издавек мы стали расшифровывать сообщения, посылаемые нам друзьями, и о нас — врагами. И снова, как во время разведки на «Пожирателе пространства», в космосе забушевала буря помех.

Посторонние шумы забивали информацию галактов, а внутренние депеши разрушителей были так невняты, что расшифровка их не дала ничего ценного.

Мы подошли к поясу космической пустоты, разделявшему оба скопления: ближнее Аш и дальнее Хи. Расстояние между скоплениями было около сотни

парсеков — пустяк по масштабам Галактики, но вовсе не пустяк для наших кораблей. Некоторые капитаны настаивали на обследовании ближнего — Аш, но я повернул в Хи, где мы уже побывали однажды: там нас поджидали хорошо подготовленные к встрече враги, но также и несомненные друзья. Неведомые друзья уже пытались нам в прошлый прилет помочь, были основания надеяться на их новую помощь — и гораздо более эффективную.

Вскоре справа и слева остались окраинные пустые звезды, и мы очутились в области, где светила густо теснились одно к другому.

Каждая эскадра двигалась самостоятельно — строем тарана, в восемь слоев с острием. В эскадре Осимы острие тарана составлял «Волопас», за ним шел «Гончий Пес», а вокруг «Гончего Пса», по кольцу, располагались двенадцать других звездолетов. Дальше этот слой из тринадцати звездолетов, один в центре и двенадцать по окружности, повторялся семь раз с одним изменением — диаметр окружности от слоя к слою увеличивался.

Колоссальный конус из ста двух кораблей штурмовал тенета неевклидовости, чуть не запутавшие когда-то «Пожирателя пространства». По расчету МУМ, этой мощи было достаточно, чтобы преодолеть любые возмущения метрики.

А на удалении в несколько световых недель точно такой же отряд звездолетов под командованием Аллана и Леонида прокладывал собственный туннель в неевклидовости. Первые депеши Аллана говорили, что всё идет хорошо.

Мы не сомневались в успехе.

Я хорошо помню день, когда эта уверенность в легкой победе была разметена.

В тот день мы сидели вчетвером в командирском зале — Осима, Вера, Ромеро и я.

Свет звезд был так ярок, что я различал лица друзей. Эскадра, пожирая пространство, неслась на желто-красное светило с одной планетой. Это была Оранжевая — звезда, внезапно исчезнувшая из Персея перед нашим выступлением с Оры и так же внезапно потом появившаяся.

Альберт назвал ее мирной. Мне она мирной и с

Оры не показалась: ее иступленное сияние тревожило, а не успокаивало. Это, конечно, были эмоции, а не расчеты, тем более — не факты, но о фактах рассказал Ромеро, я же описываю свои ощущения, и тут ничего не поделаешь — Оранжевая меня беспокоила...

— Пока, кажется, всё удачно? — прервала молчание Вера.

Ей ответил Ромеро. В те первые дни он глядел оптимистом.

— Думаю, разрушителям на этот раз не удадутся нехитрые приемы, которыми они чуть не запутали Ольгу с Леонидом.

— И меня, — коротко напомнил Осима.

— И вас, уважаемый капитан Осима, — хладнокровно добавил Ромеро. — Я хорошо помню, что и вы были в числе трех командиров, сломя голову бежавших из Персея. И я очень рад, что именно вы командуете победоносным возвращением.

Я наблюдал в это время Оранжевую. Волны пространства, локировавшие странную звезду, преобразовывались в приборе в обычный оптический спектр, — я видел ее не той, какой она была месяцы и годы назад, а какой она была сейчас, в данную минуту. И я ожидал от нее удивительных перемен — вспышек, гигантских протуберанцев, бешено разлетающихся туманностей. Если бы она на моих глазах превратилась в сверхновую, я не удивился бы.

— Почему ты так впился глазами в Оранжевую, Эли? — поинтересовалась Вера.

— Что-то произойдет, — сказал я. — Это ведь не просто светило, а звездное оружие зловредов... Как бы оно не грянуло в нас ошеломляющим залпом разрушительных частиц и испепеляющих полей.

— Пусть попробуют, адмирал, — отозвался Осима. — Наши средства защиты от частиц и полей вполне надежны.

И, как бы накарканные мною, вскоре произошли перемены, но не те, каких мы ожидали. Оранжевая не вспыхнула, исполинский взрыв не превратил ее в сверхновую, исторгнув массы испепеляющего излучения. Она стала тускнеть, просто тускнеть. Пораженные, мы молча переглянулись в звездной темноте. Что-то в этом ослаблении блеска звезды было нехорошее.

— Сообщение от Аллана! — быстро сказал Ромеро. — Прошу внимательно слушать МУМ. Кажется, рапорт о полной победе!

Но это был рапорт о неудаче, а не о победе. Впоследствии таких рапортов я получал много и сам отправлял такие же на Землю — и понемногу мы к ним привыкли. Но в тот день слова депеши звучали похоронными колоколами.

Попытка эскадры Леонида вторгнуться внутрь скопления окончилась крахом. Повторилось то, что проделали с «Пожирателем пространства», с той разницей, что тогда нас не выпускали из скопления, а сейчас не пустили в него.

И хотя сейчас в звездную ограду врага врубалось свыше ста сверхмощных кораблей, а тогда в его лабиринте метался лишь один неосторожный галактический разведчик, перемен не произошло. С той же стремительностью, с какой Леонид ударил тараном эскадры в звездные стены противника, отряд звездолетов выворачивало назад: задние слои тарана еще штурмовали окраинные звезды скопления, а острие, флагманский корабль «Скорпион», вылетел наружу, в свободный от светил космос.

Звездные проходы в скопление Хи были закрыты.

— Вчера отсюда не было выхода, сегодня сюда нет входа, — невесело сформулировал я положение.

— Но мы движемся пока вперед, адмирал! — воскликнул Осима. — Мы пока атакуем. И что не удалось эскадре Леонида, может, удастся моей!

Оранжевая всё больше тускнела. Я уже понимал, что это как-то связано с искривлением пространства. Скоро, очень скоро и мы, вслед за Алланом, должны были, как шар под гору, покатиться по предписанной кривизне наружу.

— Ты чего-то ожидаешь, Эли? — спросила Вера.

— Да, Вера. Ожидая, что нас вышвырнет отсюда так стремительно, что мы не успеем даже сбросить скорости. Пулей полетим, как выражались предки.

МУМ вскоре информировала о нарастающей кривизне в пространстве. Нас выбрасывало наружу.

— Разрушители пока действуют по шаблону, — заметил Ромеро. — Не противоборствуют нашему движению, а спокойно меняют его направление. Вы не

собираетесь поискать новых вариантов, дорогой адмирал?

— Уже ишу...

— Ну, и?..

— Если они повторяют удавшийся им прием, то почему нам не повторить удар Ольги по планетке? Аннигилируем подходящий объект на окраине скопления и ворвемся в созданные нами ворота пустоты.

Осима передал командование автоматам, мы зажгли в зале свет.

На полусферах засветились карты скопления Хи. Оно не было таким компактным, как шаровые скопления на окраинах Галактики, здесь имелись и одинокие звезды с планетками и темные космические шатуны, уныло странствующие вокруг скопления. Нужно было подобрать планету поближе к крепостям врага, чтоб их искривляющие механизмы не успели ввести созданную нами пустоту в свои пространственные поля.

В том районе, куда подошли обе эскадры, имелось около десятка планет вокруг одиноких звезд и примерно столько же галактических шатунов с массой покрупней планетной, но значительно меньше звездной.

Каждый из этих объектов мог быть использован для прорыва.

— Надо смотреть в глаза неприятным фактам: атака в лоб не удалась. И не удастся, сколько бы мы ее ни повторяли, — подвел я итоги обсуждения. Я говорил так резко для упрямого Осимы. — Конечно, новый вариант потребует месяцев, может быть лет. Но если прямые пути перекрыты, ничего не остается, как идти в обход.

9

Я прошел к Мэри в лабораторию. Она занималась выводением простейших жизненных форм для разных условий питательной среды, гравитации, температур и давления. Именно для этой работы я и доставил Мэри материалы с Земли.

Я равнодушно поглядел, как Мэри возится с прозрачными колбами. В колбах плескалось что-то мутное.

— Неинтересно, правда? — спросила Мэри, засмеявшись.

— Неинтересно, — согласился я. — Жиденькая грязца.

— А если я тебе скажу, что одной капли этой грязцы, пролей ее случайно из колбы, будет достаточно, чтобы полностью уничтожить весь наш звездолет, — тоже неинтересно?

Я посмотрел колбу на свет. Это, несомненно, была колония бактерий. Но о бактериях, уничтожающих корабли, мне еще не приходилось слышать. Я попросил разъяснить, как могли попасть на звездолет такие опасные препараты.

— Они занесены в списки корабельного имущества в соответствии с требованиями закона, — успокоила меня Мэри.

— Но они грозят разрушением. Руководителю экспедиции полагается знать, для каких целей на корабле появляются предметы, таящие в себе гибель.

— Разве мало у вас здесь предметов, потенциально опасных? В сравнении с аннигиляторами, уничтожающими планеты, мои микробы — стая ос рядом с тигром.

Из объяснений Мэри я понял, что на Земле были недавно синтезированы удивительные тельца — микроскопические атомные заводы. При достаточном притоке энергии извне, а иногда и за счет внутренней энергии процесса они перестраивают ядра атомов, входящих в состав их пищи.

— Вот эти крохотульки питаются чистым железом, — сказала Мэри, любуясь колбой. — И после их работы железа уже нет, а есть кислород и водород, кремний и углерод... Если мы где-нибудь натолкнемся на планету из чистого железа, я заражу планету этими бактериями, и через несколько тысячелетий на безжизненном металле появится разрыхлительный слой, вполне пригодный для питания растений.

Я сказал, удовлетворенный:

— Можешь возиться со своими крохотными страшилами, звездолету они не опасны. Железо для постройки кораблей давно не применяется.

Мэри лукаво смотрела на меня:

— У меня еще десятка два похожих на эту колбу и в каждой точно такая же грязь... Но она разъедает уже не железо, а другие элементы.

К нашей беседе прислушивался Астр. Куда Мэри

ни идет, он бежит за ней. Сейчас он сидел на полу и возился с отказавшим игрушечным драконом.

— Папа, почини гравитатор, — попросил Астр. — Я уже два раза плюхался на пол.

У игрушечного дракона были плохо подогнаны гравитационные контакты — обычная беда этих игрушек.

Я прочистил щеточкой излучатели, и Астр стал носиться по лаборатории, то взлетая под потолок, то гремя крыльями у моего уха.

— И тебе не страшно, что он разобьется? — упрекнула меня Мэри. — Я обрадовалась, когда этот противный ящер отказал. Хоть день прошел бы без царапин и синяков.

— Мальчик без царапин и синяков немного стбит, — отозвался я, искоса наблюдая, не нужно ли снешить Астру на помощь.

— Если маме не нравится мой зверь, я попрошу Лусина покатать меня на Громовержце! — крикнул с потолка Астр. Он уцепился руками за плафон, а ногами удерживал рвавшегося вперед дракона. Если бы игрушка проскользнула между ног, Астру оставалось бы только падать.

Я прикрикнул на него. Он опустился на пол.

Мэри вскоре догадалась, что меня что-то гнетет.

— Кое-что новое есть, — ответил я. — Дороги внутрь скопления закрыты основательно. Будем менять метод, каким Ольга воспользовалась при бегстве из Персея.

Я говорил тихо, но у Астра был отличный слух.

— Вы хотите аннигилировать звезды?

Дальше секретничать не имело смысла.

— Ну уж — звезды! Ограничимся планетоподобными шатунами. Зрелище будет красочное, тебе понравится, Астр.

Он объявил с гордостью:

— Я видел в стереоэкрane, как ты с капитаном Ольгой Трондайк аннигилировал зловредную Золотую планету. Отличный был удар, такого до вас никто не наносил!

— Нам тоже досталось, сын. Но ты прав: аннигиляция удалась, выход пустого пространства был максимальным.

Мэри и раньше без одобрения прислушивалась к

нашим разговорам с Астром, а сейчас что-то вывело ее из себя.

— Иди к себе, Астр! — сказала она резко.

Когда Мэри говорила таким тоном, спорить с ней не следовало. Астр покорно убрался.

— Чувствую, чувствую, что мне за что-то достанется! — сказал я, посмеиваясь.

— Ты не знаешь меры в своем обожании сына! — с негодованием воскликнула Мэри. — Как ты с ним разговариваешь?

— Нормально. Говорю, как с тобой или Ромеро.

— Именно. Но мы с Павлом взрослые люди, а он ребенок! Жалею, что на звездолетах нет земных интернатов, некоторые родители портят своих детей! Ты из таких родителей.

— Сюсюкать с ним, как древние няньки?

— Не сюсюкать, нет! Но и не объясняться с малышом так, словно перед тобой Ньютон или Эйнштейн.

— С Ньютоном или Эйнштейном я бы не объяснялся, как с Астром, — отпарировал я хладнокровно. — Они бы не поняли меня. Эти люди были научными великанами, но многое знали хуже Астра. Наш шестилетний малыш куда образованней Ньютона или Эйнштейна!

Раздражение Мэри превратилось в смех. Такие переходы с ней бывали часто.

— Я устала от твоих парадоксов! — объявила она потом.

— Где ты нашла парадоксы? Все тривиально. Ньютон был гениален, но ничего не знал об электричестве. Астра же окружают электрические игрушки, электрические машины, он бредит стереоэкранами, передачами, сигналами, электричество его согревает и освещает, он способен сам привести в движение и остановить гигантские электрические моторы. Ньютон в ужасе бы отпрянул, если бы перед ним показалось какое-нибудь электронное страшилище, на котором раскатывает наш Астр! Теперь поговорим об Эйнштейне.

— Эли, довольно! Тебя не переспорить!

— Нет уж, поговорим! Эйнштейн создал современную теорию гравитации, но что он знал о переходе отрицательной энергии полей тяготения в положитель-

ную энергию отталкивающихся полей? А ведь это та операция, которую Астр совершает простым поворотом рычага! Постой, я не кончил! Скажи по-честному: сумел бы великий Эйнштейн одним нажатием кнопки взлететь на воздух и мотаться где-то под потолком? Сумел бы он рухнуть с высоты, не повредив ни единой косточки? А наш малыш проделывает это запросто! Не говори мне после этого, что с Астром нельзя потолковать серьезно!

10

Проклятые разрушители были умнее, чем нам того хотелось.

Ни к окраинным звездам скопления, ни к плането-подобным шатунам прохода не было. Чуть мы нацеливались на какой-либо из этих объектов, как пролетали мимо. Мы атаковали раз за разом, день за днем, месяц за месяцем — неевклидова сеть сперва прогибалась, потом, пружиня, выбрасывала нас обратно.

Гигантское скопление, мощно пылавшее прожекторами звезд, было в ином мире, по ту сторону досягаемости.

Альберт с Земли насчитал шесть светил, подобных Оранжевой, наша старая знакомая Угрожающая тоже принадлежала к этой грозной стае звездных крепостей. Каждая защищала свой участок, а все вместе они были расположены так умело, что закрывали скопление, как стеной.

Если бы я диктовал роман в манере предков, а не правдивые мемуары, у меня нашлось бы много захватывающе интересного материала. Одно описание погонь за одинокими небесными телами, пропадавшими в момент, когда мы направляли на них аннигиляторы, составило бы авантюрную повесть. А наши разочарования, неизменно заканчивавшие кратковременные надежды на успех! А ярость против предусмотрительных разрушителей, безошибочно парировавших любой наш выпад! А тающие запасы активного вещества, сжигавшегося без норм и меры! И, быть может, самое непонятное и тягостное, сперва недоумение, потом возмущение — ни одна из «неактивных» звезд, населенных галактами, не откликнулась на наши призывы, ни одна

не пообещала и не оказала помощи! Если на подходе к Персею мы как-то улавливали их передачи, то сейчас их не было, никаких передач от галактов не было!

Три полных года по земному счету прошло со дня, как мы подошли к теснинам Персея, а мы всё толкались у звездной околицы.

И тогда у меня возник проект, так разное потом оцененный историками. Я не хочу ни восхвалять, ни обвинять себя. Недавно я слышал лекцию, передававшуюся по системе Звездного Содружества, в ней с моего предложения датируется поворот во взаимоотношениях звездных народов. Трудно не усмехнуться. Потомки иногда презрительно отвергают твои достижения и увлеченно возвеличивают твои провалы, издавек твоё время видится иным, чем оно было для тебя.

Так вот, я утверждаю, что большей катастрофы, чем та, что обрушилась на нас в результате моего плана, нельзя было и ожидать. А если итог вышел иной, чем рассчитывали разрушители, то это была не их вина и не моя заслуга. В нашу взаимную отчаянную борьбу непредвиденно вмешалась иная сила.

Буду рассказывать по порядку.

На «Волопас» прибыли Аллан, Леонид и другие командиры — вести межкорабельный совет на просторных волнах я не решился.

Вкратце мое предложение сводилось к следующему.

Обе эскадры соединенной армадой атакуют неевклидовость неподалеку от Оранжевой. Отразить удар такой силы разрушители смогут, лишь форсировав защитные механизмы Оранжевой. А в это время три корабля, во главе с «Волопасом», ударяют с другой стороны, где в момент атаки основных сил флота защита, несомненно, будет ослаблена. Три корабля вторгаются внутрь, а по открытому ими пути туда же устремляется весь флот. МУМ просчитала этот план и признала его реальным.

Я ожидал возражений, и возражения посыпались. Аллан сказал:

— Альберт сообщает, что резервная эскадра Ольги наконец заполнила все трюмы активным веществом. Не лучше ли подождать подхода Ольги?

— Третья эскадра арифметически добавит мощи, но МУМ не дает гарантии, что этой добавки хватит, —

возразил я. — Корабли Ольги появятся не раньше, чем через три года. Зачем терять эти три года? Разрушителей надо взять не силой, а обманом. Обмануть их можно и без крейсеров Ольги.

— Риск поражения, конечно, есть, — закончил я речь. — Всякая война — риск. Я не требую немедленно-го согласия — подумайте, посоветуйтесь с экипажами. А завтра радируйте на «Волопас» коллективные решения: «да» или «нет».

Пока командиры разъезжались, я поговорил с Леонидом и Алланом. Леонид был мрачен, Аллан весел. Я не помню, чтобы Аллан когда-либо терял доброе настроение. Он был идеальным руководителем для экспедиций, попадающих в беду. Я сказал им:

— Командовать кораблями, идущими в прорыв, буду я. Руководство объединенным флотом примет Аллан. Не вешай носа, Леонид. У нас с тобой бывали и хуже положения.

У Леонида раздраженно побелели синие белки глаз.

— Хуже, чем сегодняшнее положение, — да. Но я не уверен, что через неделю «Волопас» не запутается в треклятой неевклидовой улитке. Риск неизвестности — самый страшный риск. Как бы наш обман не натолкнулся на встречный обман.

— А есть другой риск, кроме риска неизвестности? — спросил я. — Пусть тогда Павел разъяснит нам философскую природу понятия «риск».

Ромеро припомнил смешную историю. Когда древние греки поднялись на таких же древних персов, божественный оракул на просьбу дать официальный прогноз войны вдохновенно изрек: «Большое царство будет разрушено», не уточнив, однако, какое царство — греческое или персидское.

Ловкий ответ оракула привел Аллана в восторг:

— Не возражаю, чтоб и нам дали такой же результативный прогноз. Царство будет разрушено — значит, никаких ничьих, никаких идеологических сосуществований. А наше уже дело — чтобы разрушалось царство врага, а не свое!

Так, посмеиваясь, он и умчался с хмурым Леонидом.

Я прошел к Вере. У нее сидела Мэри.

— Тебе придется разлучиться с Павлом, — обратился я к сестре. — Операция «Волопаса» — чисто

военный маневр, незачем рисковать в ней судьбой политического руководителя экспедиции. Павел едет со мной, а ты переберешься к Аллану.

— Если надо, значит надо, — сказала она.

Ей, похоже, понравилась моя категоричность, раньше она часто выговаривала мне, что я сам не знаю, чего хочу, и без рвения добиваюсь желаемого.

— Ты и Астр поедете с Верой, — сказал я Мэри.

Мэри наотрез отказалась.

— Ладно, оставайся на «Волопасе», — сдался я. — Но зачем брать малыша? Поручим Астру заботам Веры. Если с ним что-нибудь случится, мы же себе не простим этого, Мэри!

Когда Мэри что-нибудь задевало, она становилась невероятно упрямой. Мне нужно было отложить этот разговор. Потом, остывшая, она решила бы по-иному. Это был тяжкий мой просчет — я стремился сразу ставить точку над «и», а надо было маневрировать.

— Что может случиться с ним, что не случилось бы с нами? — опять, как перед отлетом с Оры, спросила она. — Что, я спрашиваю? Ты уже несколько лет разговариваешь с Астром, как со взрослым, почему ты отказываешь ему в праве действовать по-взрослому? Нет, послушай теперь меня, я не кончила. Я жена твоя, он твой сын — мы разделим твою судьбу, какой она ни будет.

Я больше не стал спорить.

Со всех кораблей радировали: «Да». Ни один экипаж не постановил: «Нет», ни один не воздержался. Санкция на обманный маневр была единогласной.

II

«Волопас» сопровождали «Гончий Пес» и «Возничай». Мы ждали лишь известий от Аллана, что атака всем флотом начата. Аллан сообщил, что и новая попытка прорыва развивается неудачно. Неевклидова улитка выворачивала назад один за другим все звездолеты.

— Пора! — передал я на мои три корабля, и мы ринулись вперед.

Мы сидели втроем — Осима, Ромеро и я. Осима

командовал, мы с Ромеро наблюдали. На оси полета сверкала Оранжевая, в умножителе был виден и шарик ее планеты. Если там обитали злореды, они должны были принять какие-то защитные меры, пусть неэффективные, но немедленные. Мы летели, всё убыстряя ход, противодействия не было — ничто не показывало, что нас раскрыли.

Три звездолета вторгались в скопление, как в открытые ворота.

— Слишком хорошо, чтоб было хорошо, — прервал молчание Ромеро. — Оранжевая как бы распахивает нам объятия. Если бы у меня была хоть капля суеверия наших добрых предков, я добавил бы к этому, что она коварно улыбается.

Если злореды и готовили нам пакость, то пока это еще не было ясно. Мы продолжали лететь в ненарушенном просторе.

— Среди прочих вариантов мы рассматривали и тот, что разрушители будут нас заманивать, — высказался Осима. — Не кажется ли вам, адмирал, что осуществляется именно этот вариант?

Аллан передал в это время, что Оранжевая действует очень энергично. Лишь на направлении прорыва не было признаков активности — вариант, что нас заманивают, делался достоверным.

И вместе с тем я не мог в это поверить. Нужно было обладать мощью, несравненно превосходящей нашу, смелостью, граничащей с безрассудством, чтоб без сопротивления пропустить в свои тайники три звездолета после того, что наделал у них один «Пожиратель пространства». Враги шли на огромный, не поддающийся исчислению риск. В моем сознании не укладывалось, что они способны на него.

— Пока всё развивается по плану. Разрушители захвачены врасплох, — сказал я Осиме.

Мы пронеслись мимо окраинных одиноких звезд. Уже не только впереди, но и по бокам густо засверкали светила.

Мы наконец были внутри Персея.

Корабли Леонида, не дожидаясь приказа, уже спешили в район прорыва.

В сверхсветовых передачах мы увидели десятки ярких точек. Они приближались, количество их умножа-

лось, а в пространстве по-прежнему не появлялось возмущений.

— Кажется, растерявшиеся противники упускают последний шанс на действенное сопротивление, — оценил положение Ромеро, и мы с ним согласились, я — с торжеством, Осима — с удивлением.

Усталый, я задремал в кресле и увидел бредовый сон, первый из серии удивительных снов, так часто посещавших меня впоследствии.

Я был в огромном зале, темный купол блистал звездами, но это был экран, а не небо, и я хорошо знал, что это проекция наружных звезд на потолке, а не сами звезды. Я блуждал, то шел, то бежал вдоль стены по окружностям, радиусы окружностей уменьшались, меня по спирали выносило в центр зала, я туда не хотел, там реял меж полом и потолком полупрозрачный шар, я почему-то боялся этого шара, а меня неотвратимо толкало к нему. В тоске, молчаливо поднимая руки, я вглядывался в потолок, чтоб только не смотреть на страшный шар, а на потолке, среди ярких естественных звезд беспокойно сновали звезды еще ярче, искусственные, я знал, что это не звезды, а наши эскадры, Аллан упрямо штурмовал скопление, а его так же упрямо вышвыривало назад. Я присутствовал как раз при такой неудачной попытке Аллана.

— Кажется, я попал во сне в наблюдательную рубку зловредов, — сообщил я, пробудившись, Осиме и Ромеро. — Вам, историографу экспедиции, нужно бы заинтересоваться дурацкими видениями, которые появляются временами в мозгу.

Они не были расположены разгадывать сны.

— Действительность фантастичней бреда, адмирал, — мрачно отозвался Осима. — Послушайте депешу Аллана.

МУМ передавала, что корабли Леонида, уже далеко проследовавшие по проложенному нами пути, натолкнулись на неевклидову метрику и вынуждены возвратиться обратно. Ворота, пропустившие три звездолета, наглухо захлопнулись для остальных.

— Вторая новость еще интересней, — проговорил Ромеро. — Посмотрите на экран, дорогой друг.

Я глядел на экран со стесненным сердцем. Несколько минут назад, во сне, я видел примерно такую

же картину: множество подвижных светил среди неподвижных. Но в видении подвижные огни были дружелюбны — наши собственные корабли, здесь же это были крейсера врага, сферой окружавшие нас.

— Около двухсот кораблей против трех, — сказал Осима. — Боятся они нас основательно, адмирал!

— И мы докажем им еще раз, что нас надо бояться. Приготовьте корабль к бою, Осима. Передайте это же распоряжение на «Возничий» и «Гончий Пес».

Мы понеслись навстречу эскадрам противника.

12

— Скучная история, — проговорил Ромеро, зевнув. — И выхода из нее я не вижу.

Прошло уже много дней с момента, когда мы ринулись в лоб на противника, а столкновение всё не удавалось. Преследуемые корабли врага бросались наутек, зато нас настигали те, от кого мы в это время удалялись. Когда же мы поворачивали на них, удирали и они, а недавние беглецы превращались в преследователей. Тактика противника была проста: нас не выпускали, но сражения с нами не завязывали.

— Хотя бы одна неактивная звезда отозвалась! — воскликнул я с досадой. — Неужели в скоплении не осталось ни одной звезды, населенной галактами?

Ромеро промолчал, но я разбирался в его мыслях: мы явились сюда не как туристы, мы освобождали родственные народы, попавшие в беду, — народы эти могли бы отозваться на поданный им клич освобождения. Нас всё больше тяготило различие между тем, что происходило во время полета «Пожирателя пространства», и тем, что мы встретили сейчас.

Тогда неактивные звезды, не умевшие менять метрики, отчаянно зывали к нам, предупреждали об опасностях, восхищались нашим успехом. А враги с энергией подавляли их передачи — межзвездные просторы были полны сигналов и шумов, волны боролись с волнами.

Сейчас пространство было мертво. Мы без устали, всей мощью генераторов, пробивались к друзьям вслепую, а друзья не хотели и сообщить, где их искать.

— За сферой вражеских звездолетов проглядывается темный шатун, — сказал Осима, указывая на карту. — Если оседлать его, получим свободу действий.

— Созовите командиров кораблей, будем совещаться без передач в пространстве, — сказал я.

Осима приказал кораблям выброситься в эйнштейново пространство. Вскоре «Возничий» и «Гончий Пес» появились в оптике. Мы остановили сверхсветовой бег, и вслед за нами в отдалении замерли крейсера врага.

К «Волопасу» понеслись планетолеты. «Возничим» командовал Камагин; второго капитана, Артура Петри, я знал меньше. Аллан говорил, что после Спыхальского Петри больше всех налетал парсеков в Галактике.

— Нужны большие решения, — сказал я на совещании командиров. — Вам не меньше моего надоело бесцельное мотание вокруг Оранжевой.

— У меня возражения против нового плана, — объявил Камагин, когда я закончил сообщение. — наших запасов активного вещества недостаточно, чтоб настичь и разметать неприятельский флот. Сомневаюсь, изменится ли что-нибудь от захвата шатуна.

— Вы против овладения шатуном?

— Нет, Эли. Но я против того, чтобы использовать захваченную планету для новой бесперспективной погони за вражескими кораблями.

— А если мы истратим его на выход к дружеской звезде?

— Можете ли вы указать координаты такой звезды? Нет? Тогда разрешите вам сказать: прорыв вслепую не лучше блуждания вслепую.

— Если так, зачем же нам захватывать шатун?

— Чтобы бежать к своим, — холодно сказал Камагин.

— Вы отказываетесь развить успех удачного вторжения? — неприязненно спросил Осима. Среди нас он был настроен всех воинственней. На него не подействовали возражения Камагина.

Камагин живо повернулся к Осиме:

— Я отказываюсь считать вторжение удачным. Оно скорее похоже на провал, чем на успех. В чем была идея плана? В том, что вначале прорываются три звез-

долета, а за ними весь флот. А что получилось реально? Флот отброшен назад, а мы мечемся, как затравленные крысы в этой звездной крысоловке. Пора, пора убежать!

— Убегать? — переспросил Ромеро, усмехаясь. — Вы считаете, что у нас есть свободный путь для бегства, любезный капитан? Или вы собираетесь повторить эксперимент Ольги?

— Я повторил бы его, если бы был шанс на удачу. Но разрушители с тех пор поумнели. Они не подпустят нас к своим планетам и не примут сражения. Именно поэтому я голосую за захват шатуна.

Пока Осима спорил с Камагиным, а Ромеро с Петри подбавляли жару, я молча рассматриваю маленького капитана. И помню, в голове моей теснились мысли, имевшие мало отношения к теме дискуссии. Я размышлял о Камагине и про себя восхищался им. Характер и ум иной эпохи, он вписался в наше время, словно родился в нем. Он часто подчеркивал, вежливо и холодно, что не ему учить нас: он ровно на четыре с половиной века отстал от любого нынешнего человека, — и хладнокровно учил. Он чертовски быстро, за несколько лет, преодолел разделявшие нас столетия. В старинных журналах о нем писали, что он человек выдающегося ума и воли, один из крупных деятелей своей эпохи. Среди нас, опередивших его на полтысячелетия, он был человеком не менее выдающимся. Это не значит, конечно, что я готов был принять любое его предложение, но я прислушивался к его предложениям и размышлял над ними, это я и сейчас с охотой признаю.

Ромеро обратился ко мне:

— О чем так напряженно думает наш уважаемый командующий?

Я ответил в тон:

— Ваш уважаемый командующий согласен с капитаном Камагиным. У нас мало сил, чтоб господствовать в скоплении. Вторжение не удалось, пора возвращаться. Но для этого всё равно нужно овладеть одинокой планеткой.

Ромеро пишет в своем отчете, что приказ о бегстве из скопления был в общем стиле моих приказов — неожиданных, круто поворачивающих ход событий.

Я не помышлял, конечно, что разрушители легко отдадут неприкаянную планетку. Она мчалась меж их кораблей, как привязанная. В отчете Ромеро вы найдете подробные расчеты нашего обманного маневра. Там подробно рассказано, как три наших звездолета, мчавшиеся до того компактной группкой, вдруг ринулись в разные стороны, смяли стройную сферу вражеских крейсеров, а когда вновь пошли на соединение друг с другом, добрый десяток звездолетов противника вместе с темным шатуном оказался с трех сторон на оси нашего движения, и деться им было некуда.

К рассказу Ромеро я добавлю, что зрелище панического бегства врага было красочно. Их корабли мчались кто куда, лишь бы скорее удрать. Ни Осима, ни Петри не стали преследовать беглецов, но Камагин отомстил за предательское нападение на звездолет «Менделеев» в Плеядах. Один из крейсеров попал в прицельный конус «Возничего», и Камагин ни секунды не медлил.

Зажженное им солнце пылало недолго, но, не сомневаюсь, зловещий блеск нового светила нагнал еще страху в души беглецов. А затем наши звездолеты повисли над темной планеткой, осветив ее дальними проекторами.

Это был типичный шатун — каменистый шарик, размером раза в три побольше Земли, без атмосферы, без воды, без каких-либо признаков жизни. Его не жалко было уничтожить, и мы его спокойно уничтожили.

Я снова сошлюсь на отчет Ромеро: там хорошо описано, как мы расправлялись с планеткой, впервые используя в боевых действиях метод «медленной аннигиляции». В звездных окрестностях Солнца, где «взрывы по Таневу» строжайше запрещены, только этот метод, как известно, и применяется для ликвидации ненужных космических тел и восстановления пространства.

Планета таяла, источая вокруг себя пространство, как пар, она «газила пространством», по удачному выражению Ромеро. Всё происходило, как было задумано.

Мы стали независимы от нарушений метрики, создаваемых зловедами. Возмущения метрики — это перемена структуры уже существующего пространства, а тут пространство было еще в акте творения, его еще предстояло ввести в ту или иную структуру.

И оно росло, расширялось, мы мчались в этом своем непрерывно генерируемом защитном пространстве, как в беспрестанно возобновляемой скорлупке — какой бы ад ни кипел снаружи, какие бы мощные поля метрики ни формировали создаваемую нами пустоту, до нас эти внешние бури не доходили.

Я сказал — всё происходило, как было задумано. Теперь добавлю — кроме одного. Вырваться нам не удалось. Колыбелька автономного пространства была не больше чем колыбелькой. Мы лишь немного расширили объем скопления Хи, в одной его части появилась крохотная опухоль, а надо было взорвать исполинскую сферу, замкнувшуюся вокруг Оранжевой, — теперь мы знаем это хорошо. Люди крепки задним умом, ничего не поделаешь.

День за днем мы удалялись от Оранжевой, слой пространства, закрученного в неевклидову улитку, становился всё тоньше, мы уже видели корабли Аллана по ту сторону неевклидова забора, принимали депеши друзей, подбадривавших нас, — еще один-два хороших удара, еще одно отчаянное напряжение генераторов — и мы вырвемся на свободу, так это тогда нам представлялось.

И когда стали таять последние мегатонны захваченного нами планетного вещества, я, не колеблясь, отдал приказ готовить к уничтожению «Возничий» и «Гончий Пес».

— Лучше пожертвовать двумя звездолетами, чем успехом кампании! — сурово оборвал я запротестовавшего Осиму. — Прикажите капитанам эвакуировать на «Волопас» свои экипажи. Пусть корабельные машины просчитают, каковы наши шансы.

Все три МУМ подтвердили, что дополнительного вещества хватит на разрыв последнего слоя неевклидовости.

Тогда мы еще не думали, что сверхмудрые МУМ тоже способны ошибаться...

Один за другим планетолеты перебрасывали с обреченных звездолетов людей и ценное имущество. Командиры кораблей совещались в салоне, а я сидел с Мэри и Астром. Древние капитаны, отказывавшиеся брать в походы свои семьи, были мудрыми людьми, сейчас я это понимал особенно ясно.

Астр свободное время проводил в обсервационном зале. Когда мы встречались, он давал мне пылкие советы, советы были не хуже других, не хуже моих собственных решений. Пусть не поймут меня превратно, я не хочу сказать, что он был гениален, нет, напротив, все мы, участники экспедиции, были средними людьми, о чем ныне стали забывать, изображая нас чуть ли не титанами, — дорости до нашего уровня было не сложно.

— Ты напрасно взрываешь два корабля, отец, — убеждал меня Астр. — Так ослаблять свою ударную силу! Три корабля или один!

— Три корабля больше, чем один, — согласился я. — Но у нас нет другого выхода.

— Есть! Захватите корабли врага. Пусть они, а не мы, увеличивают собой мировое пространство!

Я любовался им. Стройный и сильный, он уже доставал головой мне до уха — веселый, живой, сообразительный мальчишка. И просто удивительно, как он походил на меня. Я иногда раскладываю на столе его фотографии и свои в том же возрасте, и сам затрудняюсь, где он и где я. Отличие лишь в том, что он красивей меня.

— Да, захватить корабли противника! — сказал я со вздохом. — Беда в том, что они не дают приблизиться к себе. Погуляй, сын, нам нужно с мамой поговорить.

— Я пойду в обсервационный зал, — сказал он. — Три крейсера противника в направлении на ядро Галактики недавно стали сближаться с нами. Я говорю о «Смирном», «Трусливом» и «Дрожащем». Проверю, продолжается ли сближение.

Он проворно убежал. Он знал в «лицо» все крейсера разрушителей, ни один из нас не мог похвалиться таким умением различать каждую из этих однооб-

разно зеленых точек. Он называл их по-своему насмешливо.

— Не скрывай ничего! — потребовала Мэри. — Дело идет к гибели, да?

— Кризис, Мэри, — сказал я. — После кризиса или спасаются, или погибают. Терять бодрость не следует, но и быть ко всему готовыми — надо.

Она обняла меня, прижалась ко мне.

— А если что-нибудь случится... — проговорила она изменившимся голосом. — Ты не простишь, что я взяла Астру!

— Астр такой же человек, как и все мы. И если придется умирать, он умрет не раньше нас с тобою.

Она оттолкнула меня, долго вглядывалась в мое лицо. В ней совершился очередной скачок настроения, я предчувствовал бурю. Но она сдержалась.

— Удивительный вы народ, мужчины, — сказала она только. — Всё у вас звучит математическими формулами. Умрет не раньше нас с тобою — это так утешительно, Эли!

— Если я скажу по-иному, ты мне не поверишь...

— Скажи, может, и поверю!

— Ты тоскуешь по неправде, Мэри? Жаждешь обмана?

— Какие напыщенные слова — тоскуешь, жаждешь! Ничего я не жажду, ни о чем не тоскую. Я боюсь, можешь ты это понять?

Я не стал продолжать этого разговора.

На улице внутри корабельного городка ко мне присоединился Ромеро, он тоже шел на совещание командиров. Думаю, он отлично разобрался в моем состоянии. Хоть слова его и были полны иронии, ни в голосе, ни в лице его иронии не было. И сказал он то, что я сам себе говорил:

— Дорогой Эли, не завидуете ли вы вашим воинственным предкам, воевавшим без семей?

— Может быть, — сказал я сдержанно.

Ромеро продолжал со странной для него настойчивостью:

— Я бы хотел опровергнуть вас, любезный Эли. Мы иногда судим о предках общими формулами, а не конкретно. Им часто приходилось сражаться, защищая своих детей и жен, и они тогда сражались не хуже,

а лучше — яростно и самозабвенно, жестоко и до конца, Эли!

Не убавляя шагу, я бросил на него быстрый взгляд. Вера была в эскадре Леонида. И детей у Ромеро не было, он не мог говорить о своих детях.

Он шагал рядом со мной, подчеркнуто собранный, жесткий, до краев напоенный ледяной страстью, он с чем-то яростно боролся во мне, а не просто беседовал, таким я видел его лишь однажды — когда он пытался завязать драку из-за Мэри.

Он поймал мой взгляд и не отвел потемневших глаз.

Я сухо проговорил:

— К сожалению, должен ответить вам общей формулой. Мы будем сражаться яростно и самозабвенно, жестоко и до конца, Павел. Но не за одних своих детей и жен, даже не за одно человечество — за всех разумных существ, нуждающихся в нашей помощи.

Я был уверен, что он обидится на такую бесцеремонную отповедь, но он успокоился. Если и был среди моих друзей непостижимый человек, то его звали Ромеро.

В салоне я прежде всего посмотрел на экран. Звездные полусферы пылали так, что глазам становилось больно. Красные, оранжевые, голубые, фиолетовые гиганты изливались в неистовом сиянии, а среди этих небесных огней сверкали искусственные, теперь их было больше двухсот — злоеющие зеленые точки, пылающие узлы сплетенной для нас губительной паутины. Оранжевая была в неделях светового пути, она казалась горошиной среди точек. Я хмуро любовался ею.

— Начинаем! — сказал я.

— Начинаем! — отозвались Осима и Петри.

Маленький космонавт молчал. Я уловил его скорбный взгляд, он глядел на два звездолета, недвижно висевшие в черной пустоте неподалеку от «Волопаса». Я до боли в сердце понимал страдания Камагина, они были иные, чем муки его товарищей. Этот человек, наш предок, наш современник и друг, командовал фантастически совершенным кораблем, в самых несбыточных свсих мечтах он раньше и помышлять не мог о таком. Мы были в конце концов в своем времени, а он превзошел границы свершений, отпущенных обы-

кновенному человеку. И сейчас он собственным своим приказом должен был предать уничтожению изумительное творение, врученное ему в командование.

Наши взгляды пересеклись. Камагин опустил голову.

— Начинаем! — сказал и он. Голос его был нетверд. Теперь медлил я.

Оставалось отдать последнее распоряжение: «Приступайте к аннигиляции». Я не мог так просто, двумя невыразительными словами, выговорить его. И не потому, что внезапно заколебался. Другого решения, как уничтожить две трети флота, не было, только это еще могло спасти нас. Я бы солгал, если бы сказал, что в тот момент меня тревожила собственная наша судьба: мы свободным решением избрали этот рискованный путь, неудачи, даже катастрофы были на нем возможностями не менее реальными, чем успех. Я думал о том, что будет после того, как нас, запертых по эту сторону скопления, не станет. Ответственности за судьбы находившихся вне Персея звездолетов с меня никто не снимал, — хоть формально, но я еще командовал флотом.

— Насколько я понимаю, вы собираетесь объявить миру ваше завещание? — уточнил Ромеро, когда я поделился с товарищами своими соображениями. — Не рановато ли, адмирал?

— Завещание — рановато. Но подвести итоги нашим блужданиям в Персее — самое время. Если мы погибнем, никто не сделает за нас эту работу.

Мысль моя сводилась к следующему. Вражеский флот долго не подпускал нас к одинокой планетке и, удирая, утаскивал и ее с собою в искусственно созданных разрывах пространства. Почему они так оберегались? Вероятно, опасались, что вещества планеты хватит на разрыв кривизны. Опыт врага нужно использовать для победы над ним. Стратегию вторжения пора менять.

— Составим депешу, — предложил Ромеро. — Я кое-что набросал, послушайте.

Я привожу здесь текст отправленной нами депеши — в варианте Ромеро почти ничего не пришлось менять.

«Человечеству.

Вере Гамазиной, Аллану Крузу, Леониду Мраве, Ольге Трондайк.

Адмирал Большого Галактического флота Эли Гамазин.

Вторжение трех звездолетов в скопление Хи Персея, возможно, окончится неудачей. Два корабля будут уничтожены нами самими, судьба третьего со всеми экипажами еще неясна. Вы должны считаться с тем, что нам, возможно, не удастся вырваться на свободу. Рассматривайте это обращение, как последний мой приказ по флоту.

Прямое вторжение в Персей отменяю, как недостижимое. В скопление надо проникать не тараном, а исподволь — разрушать, а не пробивать неевклидовость. Попытки захвата одиноких звезд и планет на периферии скопления, в зоне меняющейся метрики, успехом пока не завершились и вряд ли завершатся. Советую овладеть одинокими космическими телами вдали от скопления, где искривляющие механизмы не действуют, и постепенно их подтягивать, не выпуская из сферы влияния звездолетов. Лишь сконцентрировав достаточно крупную массу таких опорных тел у неевклидова барьера, переходите к следующему этапу вторжения — аннигиляции. При такой подготовке, время которой, возможно, исчисляется многими земными десятилетиями, можно рассчитывать, что откроются космические ворота, не подконтрольные противнику.

Подтвердите получение».

Сверхсветовые волны пространства трижды уносили наше послание из звездных бездн Персея в мировой космос. Мы не сомневались, что враги перехватят нашу передачу, но не считали нужным таиться, даже если бы могли сохранить секрет. Первое же действие Аллана, в соответствии с измененной стратегией, должно было раскрыть врагу природу нового плана — он держался не на скрытности, а на могуществе.

И еще не кончилась третья передача, как мы приняли ответ Аллана: «Приказ адмирала получен. Всей душой с вами. С волнением ожидаем результатов прорыва».

— Можно взрывать звездолеты, — сказал я друзьям.

План уничтожения звездолетов был итогом холодной работы ума, а не плодом вольного желания. Только одну уступку мы сделали чувству — не было никаких внешних эффектов: ни шаров испепеляющего пламени, ни снопов убийственной радиации, ни разлетающихся газовых туманностей, ни потоков космических частиц...

Звездолеты, черные, почти невидимые, просто таяли, истекая пространством, сперва один, потом другой, — и в этом темном новосотворенном «ничто» мощно неся «Волопас», снова превращая его во «что-то» — шлейф горячей, быстро остывающей пыли тянулся за ним, как за кометой.

Чтоб скорее привести Камагина в себя, я приказал первым аннигилировать «Возничего», в нервах Петри я был уверен больше.

В командирском зале распоряжался один Осима, обсервационный зал был забит эвакуированными с гибнущих звездолетов. В салоне среди других сидели Ромеро, Петри и Камагин. Здесь обзор был хуже, чем в обоих залах, но я пришел сюда, чтоб в эту трудную минуту не расставаться с капитанами. Петри кивнул мне головой, Камагин отвернулся. Я сел рядом с Камагиным и тронул его за локоть. Он повернул ко мне насупленное лицо.

— Как идет разрыв неевклидовости? — спросил я.

Он ответил холодно:

— Примерно в три раза слабее, чем нужно для успеха.

Ромеро показал рукой на экран:

— Флотилия врага закатывается в невидимость.

Я закрыл глаза, мысленно я видел картину совершающегося яснее, чем физически.

Гигантская буря бушевала снаружи, особая буря, таких еще не знали ни на Земле, ни на планетах, ни под нашими родными звездами, ни даже здесь, среди враждебных светил Персея. Вещество уничтожается и тут же заново создается, гигантские объемы нарождающегося аморфного пространства — мы неистово сейчас несемся в нем — мгновенно приобретают структуру, губительную для нас метрику, а мы всё снова и снова

оттесняем эту организованную пустоту своей, неорганизованной, хаотичной, первобытно аморфной... Корабли врага исчезли, даже сверхсветовые локаторы не улавливают их — так жестко скручено пространство, в котором они движутся...

— Идите в командирский зал, Эли, — посоветовал Ромеро. В последнее время он почти не называл меня по имени.

Вместе со мной поднялся Камагин. В коридоре он остановил меня. Он пошатывался, словно отравленный. Пожалуй, это было единственным, в чем он не мог сравниться с людьми нашей эпохи, — чувства, одолевавшие его, слишком бурно проявлялись.

Он заговорил хрипло, быстро, страстно:

— Адмирал, я не хочу при всех оспаривать ваши решения. Нас в далекие наши времена приучали к дисциплине, вам попросту непонятной...

Я прервал его, чтоб не дать разыгаться истерике:

— Вы исполнительный командир, я знаю. И претензий с этой стороны у меня к вам нет.

Он продолжал всё громче:

— Я больше не могу, адмирал, вы обязаны меня понять... «Возничий» уничтожен, очень хорошо, но «Гончий Пес» еще существует, он еще может сражаться. Неужели вы не видите сами, что жертва напрасна? Нам не уйти из скопления, но мы ослабляем себя, мы сами ослабляем себя, поймите же, Эли!

Я взял его под руку, и мы вместе вошли в командирский зал.

— Поймите и вы меня. Три звездолета или один, конечный итог — гибель. А здесь хоть и неверный, но шанс. Нам не простят, если мы его не используем. Неужели вы не хотите испытать все отпущенные нам возможности?

Его ответ был таков, что я перестал с ним спорить. Давно уже не существовало терминов «купить» и «продать».

— Сейчас я хочу лишь одного: подороже продать наши жизни!

Мы уселись рядом с молчаливым Осимой, я слышал в темноте, как тяжело дышит Камагин. Но вскоре забыл о нем.

На экране, отчетливый, распался последний обло-

мок «Возничего». Я всматривался в тающий звездолет. Последний шанс, думал я, последний шанс! У меня путались мысли.

Голос Осимы резко разорвал тишину:

— «Возничий» прикончен начисто, адмирал! МУМ сообщает, что преодолено не больше четверти пути наружу. Ваше решение — продолжаем аннигиляцию?

Пока он говорил, я очнулся. Я угадывал неуверенность в вопросе Осимы. Среди растерянности, постепенно становившейся всеобщей, я обязан был сохранять спокойствие ума и духа.

— Да, конечно, теперь очередь «Гончего Пса». Не понимаю вашего вопроса, Осима.

Осима справлялся со своими чувствами лучше Камагина.

— МУМ рекомендует ускорить аннигиляцию второго звездолета. Последуем ее расчету?

— Расчеты МУМ не безошибочны, но иных у нас нет.

На этот раз вспышки избежать не удалось, багровый шар забесновался на месте взорванного звездолета, и мы устремились в центр взрыва.

На стереоэкранах мира впоследствии, когда мы наконец вернулись из Персея, часто показывали картины аннигилирующегося темного шатуна, постепенный распад «Возничего», быстрое уничтожение «Гончего Пса». Каждый мог увидеть всё то, что видели тогда наши глаза, пожалуй, даже с большими подробностями, мы ведь не способны были взглянуть на это зрелище повторно.

Но сомневаюсь, чтобы кому-нибудь удалось хотя бы отдаленно испытать чувство, с каким мы смотрели на тающее плазменное облачко, — это был не просто гибнущий крейсер, а последняя гибнущая надежда, единственный оставшийся нам шанс на свободу. Шансов больше не оставалось, надежд не было.

— Всё, адмирал! — спокойно сказал Осима. — Прорвать барьер неевклидовости не удалось.

Мы долго молчали, покаясь в командирских креслах, командовать было нечем и незачем. На экране, замутненном взрывом «Гончего Пса», постепенно высветлялось пространство. Сперва блеснула Оранжевая,

затем появились другие звезды, потом засверкали зеленые огоньки неприятельского флота.

— Противник идет на сближение, — сообщил Осима. — Ваши распоряжения, адмирал?

— Готовиться к бою, — сказал я и вышел из зала.

16

За дверью я остановился, в изнеможении прислонился к стене.

У входа в командирский зал люди не прогуливались, здесь можно было побыть одному. Я боялся лишь встретиться с Ромеро и Петри; с ними надо было обсуждать положение, я не был сейчас способен на это. Не мог я оставаться и с Осимой и Камагиным, я весь сжимался при взгляде на страдальческое лицо и враждебные глаза маленького космонавта. А мысль, что попадетсЯ Астрили Мэри, приводила меня в ужас, такая встреча была всего непереносимей. Я не мог быть ни с кем, перенапряжение последних дней вдруг сломило меня.

— Нет, нет, нет! — бормотал я лихорадочно, я не знал, к кому направляю эти слова, я словно отстранялся ими от неслышимых упреков, от невысказанных обвинений. — Нет, нет, нет! — повторял я всё громче и, когда не выговорил, а выкрикнул «нет», вдруг очнулся. Я вытер пот со лба и быстро отошел от двери: мне почудились шаги выходящего Камагина. «Нет!» — сказал я себе, это было первое осмысленное «нет», я приказывал себе не торопиться, никто не должен был видеть, что я бегу.

Потом я разглядел, что иду в носовую часть звездолета. Я остановился и снова зашагал. Если мне и можно было где-нибудь сейчас находиться, то лучше всего здесь, где все помещения заняты механизмами и где почти не бывают люди.

Я шел по извилистым коридорам, едва не туннелям, передо мною бесшумно раздвигались двери, все охранные механизмы здесь были настроены на мое индивидуальное поле, я еще был адмирал Большого Галактического флота — для адмиралов на их кораблях не существует секретов. Адмирал! Ты еще адмирал, Эли! Я снова прислонился плечом к стене, перед глазами

прыгали глумливые огоньки, издевательски подмигивала Оранжевая, зловеще наливались блеском точки вражеских крейсеров. «Ты еще адмирал, Эли! — сказал я себе с гневом. — Борьба не кончена, нет!» Я дышал часто и глубоко, мне не хватало воздуха. Надо было обязательно успокоиться, пока я ни с кем не повстречался.

Я прошел в помещение МУМ, там никого не могло сейчас быть, лишь я один имел право входить сюда без разрешения командира корабля.

Свет зажегся, едва я ступил на порог; посреди комнаты стояло кресло. Я опустился в кресло, закрыл глаза. Я задышался всё больше, сердце гулко стучало.

— Тебе надо успокоиться! — сказал я вслух. — Слышишь, тебе надо успокоиться.

Я повторял это до тех пор, пока не сумел взять себя в руки.

Передо мною на столике с ножками, таящими в себе тысячи проводов к датчикам и анализаторам, возвышался ящик, за полированными стенками его были собраны редчайшей чистоты кристаллы, уникальные химические образования, в равной степени творение ума и рук мастеров и плод поисков космонавтов-геологов.

Я вспомнил зеленый камень с Меркурия, красовавшийся на платье Веры, он достался ей лишь потому, что его забраковали создатели этой машины, нашей корабельной МУМ, одной из многих сотен однотипных машин, рассеянных по планетам, смонтированных на галактических судах, тот удивительно красивый, самосветящийся камень был недостаточно хорош для МУМ, он годился лишь на украшения, а не на вычисления, мог стать элементом платья, но не уголком всепознающего мозга.

— Ты, сверхмудрая и безошибочная! — сказал я. — Ты, абсолютная, как выдуманный когда-то людьми господь, рассчитывающая миллиарды комбинаций в секунду, может быть, поделишься со мной итогом одной комбинации, той, что реально совершается снаружи — двести кораблей врагов против одного нашего?

«Поражение! — засветился в моем мозгу холодный ответ МУМ. Через секунду она уточнила: — Гибель «Волопаса» после гибели многих атакующих судов врага».

Я зло усмехнулся. Я ненавижу черствую машину.

— Подороже продадим наши жизни, так это называется на языке Камагина. А если без категорий купли и продажи? Согласись, всезнающая, та эпоха, когда всё продавалось и покупалось, в том числе и человеческие жизни, давно отжила.

«Вы воюете, а война древнее торговли. Раз явление древнее, термины, описывающие его, тоже не новы».

— Значит, иного выхода нет?

«Нет. Гибель».

— И твоя, стало быть, гибель, всепонимающая?

«Моя — в первую очередь. Если я попаду в руки врага, человечество потерпит больший урон, чем если им достанется живой кто-либо из вас или все вы разом. Для гарантии успеха вы обязаны демонтировать меня, не дожидаясь общей гибели».

— Дура ты! — сказал я. — Надменное и тупое вещество, имитирующее живой разум! Гарантия успеха... Ты будешь, конечно, демонтирована, это я тебе обещаю!

Я быстро вышел из помещения МУМ и прошел в отделение аннигиляторов Танева. Я блуждал по узким коридорам, пролезал в щели, поднимался на лесенки, задерживался на площадках — всюду вспыхивал свет, когда я приближался.

И всюду были машины, гигантские, огромней городских домов, механизмы, сотни, может быть тысячи, автономных машин, при всей своей величине не более чем крохотные элементы созидательного и разрушающего начала галактического корабля. Я дотрагивался до них, прислонялся к ним, любовался ими, печалился о них.

Может быть, только в мечте о всемогущем боге создавал до них человек нечто подобное, умеющее творить вещество из «ничего» и превращать вещество снова в «ничто». Но то представление о боге было мечтой, фантастично разыгравшимся воображением, а здесь присутствовало материальное создание человеческого ума — реальный аппарат творения и уничтожения.

Ни я, ни кто-либо другой из людей не знал этих машин во всем их многообразии, мы могли постичь их в деталях, но не в целом, даже МУМ не знала их все, она лишь управляла и командовала ими — они были

доступны в целом только коллективному разуму человечества. И сейчас я должен был их уничтожить, чтоб они не достались врагу. И это было много тяжелее, чем решиться на собственное уничтожение.

«Сентиментальный дурак! — сказал я себе с отвращением. — Недавно, не колеблясь, ты приказал уничтожить точно такие же механизмы на «Возничем» и «Гончем Псе». И сурово осудил колебания Камагина, а сам ныне раскис куда больше... Только ты погибнешь и твой корабль — человечество остается. Риск, на который ты шел, не вышел из границ расчета, наша гибель была одним из допущенных вариантов, — разве не так?»

Из отделения аннигиляторов Танева я завернул в общежитие ангелов.

У них шли занятия: ангелы обучались человеческому языку, нашим наукам и трудовым умениям. Мое появление прервало уроки, ангелы шумно сгрудились вокруг меня. Обрадованный Труб сжал меня крыльями.

Я извинился, что внес беспорядок, и увел Труба.

— Наши дела плохи, друг мой, — сказал я.

— Хуже, чем были в Плеядах, когда напали зловеды? — спросил он. События тех дней были для него как бы эталоном отличного поведения.

— Много хуже, Труб. Речь идет о наших жизнях — и прогноз МУМ отрицательный...

— Ты хочешь сказать, что мы погибнем в предстоящем сражении, Эли?..

— Именно это.

Он слушал, грозно хмурясь. Еще недавно он запальчиво напал бы на прогноз машины. Он уже не был тем первобытно наивным храбрецом, каким когда-то явился нам. И он уже не считал реально существующим одно то, что видели его глаза и до чего он мог дотянуться когтями, он знал теперь, что невидимое временами страшнее предметного.

Он громко всхлипнул и утер глаза.

— Тебе не хочется умирать, Труб? — Это был глупый вопрос, но умнее мне не пришло в голову.

— Не то, Эли. Я был уверен, что мы высадимся на зловедной планете и произведем там революцию.

— Революцию, Труб?

— Разве я неправильно произнес это слово? Мы

изучаем человеческую историю, — объявил он с гордостью. — И нам нравится, что люди, когда становилось невтерпёж, производили революцию. Хорошо бы произвести революцию у зловредов, освободив всех, кого они угнетают. Теперь этим мечтам — конец.

— История не кончается на нас. Нам не удалось — удастся другим людям и их друзьям.

От ангелов я пошел к Лусину. Для его конюшен был отведен посёлок на окраине городка. Лусин обучал Громовержца приемам воздушного боя. На дракона налетал отряд пегасов, крылатый ящер отбивался от воинственных лошадей. Меня удивило, что он не мечет молний, но Лусин разъяснил, что разряд даже малой интенсивности замёртво сшибает любого пегаса.

— Как снаружи? — спросил он потом. — Нас преследуют?

Я и ему рассказал, как сложилась обстановка, не скрыл и своих просчетов. Лусин с отчаянием посмотрел на своих драконов и пегасов.

— Все погибнут, Эли, скажи — все?

— Неужели ты надеялся, что кто-то из твоих тварей уцелеет в таком катаклизме?

— Не говори так, — сказал он с упреком. — Не твари. Разумные существа. Жалко до смерти.

И сейчас он думал не о себе, а о своих синтезированных чудищах. Три четверти его духовных помыслов сводились к заботе о них. Умом я понимал такое отношение, но чувство мое протестовало. Что-то от прежнего Ромеро, боровшегося против помощи звездожителям и превозносившего человека, сохранялось, видимо, и во мне.

Лусин с мольбой тронул меня за плечо:

— Их сохранить, Эли! Нас — много. Громовержец — один. Уникальный экземпляр. Пегасы — тоже редкие. Высадить на планете. Пусть размножаются. Пойми, Эли! А?

— Ты произнес большую и горячую речь, впервые слышу от тебя такую, Лусин, — сказал я. — Если бы можно было высадить где-нибудь пегасов, я и Астра добавил бы им в компанию, пусть уж и он спасется. Надежды нет, Лусин!

Я ушел, не дожидаясь, какую еще нелепость он сморозит. Я вдруг успокоился. Отчаяние, терзавшее

меня перед МУМ, едва не задушившее в помещении аннигиляторов, пропало, словно я передал его Трубу и Лусину. Я знал уже, чего хочу, и знал, что отстоять свой новый план перед помощниками и экипажами трех звездолетов легко не удастся, — и был готов страстно переубеждать противников и делать это быстро: нам было отпущено военной судьбой совсем мало времени.

Мое место было в командирском зале, я заторопился туда.

Осима встретил меня раздраженным восклицанием:

— Наконец-то вы появились, адмирал. Командующий вражеским флотом обратился с наглым посланием. Нужно составить достойный ответ.

17

Прежде чем ознакомиться с депешей разрушителей, я посмотрел на стереоэкран. Зеленые огоньки собирались в кучки, пылали раздражающе ярко. Что-то произошло новое — корабли противника пренебрегли дистанцией безопасности, недавно так строго ими соблюдаемой. «Почему они перестали нас бояться?» — думал я и выговорил мысль вслух.

— Оставшийся звездолет ровно в три раза слабее, чем три прежних, — отозвался Камагин хмуро. — И враги соответственно чувствуют себя, по крайней мере, в три раза храбрее.

Арифметического соответствия тут быть не могло, но я не хотел вступать в спор.

— Доложите послание противника, — приказал я МУМ.

Она заговорила громко:

— «Галактическому кораблю, вторгшемуся в наше звездное скопление. Попытка выброситься наружу вам не удалась. Подвергнуть распаду какой-нибудь из наших кораблей вам не удастся. Вы обречены на гибель. Предлагаем капитуляцию. Гарантируем жизнь. Орлан, разрушитель Первой Имперской категории».

Я обвел глазами помощников.

Ромеро отвел лицо, Петри угрюмо глядел на

вражеские корабли, Осима спокойно ждал приказа, чтобы тут же, не оспаривая, энергично проводить его в жизнь. Зато Камагин с вызовом глядел прямо на меня. Я знал, что он скажет.

— Ваше решение, адмирал! — потребовал Осима.

— Хочу сначала выслушать вас. Начинайте вы, Павел.

Ромеро часто хвалился своей мужской доблестью и в драках держался отлично, но стратегическим мышлением одарен не был. Современный бой на сверхсветовых скоростях с применением аннигиляторов был ему просто противен: в таком бою побеждал математический расчет, а не личная храбрость. Рыцарское представление о сражениях прозвучало и в его ответе:

— Надо ждать нападения противника, а затем обороняться, пока хватит сил.

— Петри? — сказал я.

— Сражаться, не отвечая на послание, — был его короткий ответ.

— Камагин?

— Напасть на врага! — воскликнул Камагин. — Посмотрите, Эли, они всё приближаются, будто мы уже обессилели, скоро, очень скоро они попадут в конус удара наших аннигиляторов. Если вы разрешите мне занять одно из командирских кресел, я выброшу на тот свет треть неприятельского флота, прежде чем они откроют нам самим дорогу туда.

— Ясно. Вы, Осима?

— Атаковать, потом погибнуть, — повторил он мысль Камагина. Вглядевшись в меня, он поинтересовался: — У вас другое решение, адмирал?

— Да, другое, — сказал я. — Мое предложение таково: капитулировать.

Все четверо разом вскрикнули. Громче других прозвучал возмущенный выкрик Камагина:

— Подумайте, что говорите! Сдаться в плен?

Я ответил не Камагину, но всем:

— Да, сдаться в плен! Именно это я и хочу предложить.

У моих помощников отнялся язык, они лишь с возмущением глядели на меня.

Первым обрел спокойствие Осима:

— Адмирал, уточните. Речь не только о наших

жизнях. Придется сдать врагу в сохранности звездолет — боевые и рейсовые аннигиляторы, МУМ.

— Сдать — да. Но не в сохранности, Осима. МУМ должна быть уничтожена, схемы аннигиляторов демонтированы. Это дело поручу Камагину и вам, Осима. Враг может любоваться видом наших механизмов, но не должен разобраться в их действии.

Камагин не выдержал. Сомневаюсь, чтобы его поведение соответствовало даже современным мягким правилам дисциплины, не говоря уже о дисциплине древней, приверженностью к которой он гордился.

Он вскочил, размахивал руками, гневно кричал:

— Безумец! Вы думаете, неприятель не выбьет из пленных понимания работы механизмов?

Вежливостью ответа я подчеркнул, что не принимаю такого тона:

— Знание всех схем работы аннигиляторов не является достоянием группы специалистов. Лишь все человечество в целом обладает таким знанием. Но человечество сегодня в плен не сдается, только три экипажа звездолетов.

Теперь я знал, что время эмоций прошло, на меня будут не кричать, а задавать осмысленные вопросы. «Половина дела сделана», — сказал я себе с облегчением.

После нового молчания заговорил Ромеро:

— Я вижу, у вас всё заранее продумано, пронизательный Эли. Не откажите сообщить, зачем вам понадобилось сдавать нас в плен вместе со звездолетом? Неужели жизнь в плену приемлемей почетной смерти?

Его вопрос воспламенил угасшего было Камагина:

— И пусть адмирал ответит еще на один вопрос! Не влияет ли на него то обстоятельство, что на борту звездолета находится семья адмирала?

Именно этого вопроса я и ждал.

— Да, влияет. Если бы на борту звездолета не находилась моя семья, я принял бы решение о капитуляции значительно раньше и без тех колебаний, которые меня одолевали.

— Вы сказали — решение? — спокойно поинтересовался Петри. — Разве это уже решение, а не свободная пока дискуссия?

— Выслушайте меня, — попросил я. — Только об одном прошу — выслушайте меня, а там решайте, прав

я или неправ. И пусть вместе с вами меня слушают через МУМ все на «Волопасе».

Я заговорил с волнением, я убеждал не только слушателей, но и себя, многое во мне самом протестовало против позорного плена.

Если говорить лишь о нас, сказал я, то честная гибель в неравном бою лучше рабского существования у разрушителей. Но мы не имеем права думать лишь о себе. Мы — первые представители человечества и его звездных друзей, попавшие в логово разрушителей, мы должны быть достойны самих себя. Умереть всякий может. Жить в тяжких условиях — подвиг. Я пекусь не о наших жизнях, даже не о том, чтобы мы познакомились с противниками изнутри, хотя и это может пригодиться, если нас вызволят.

Разрушители должны познакомиться с нами — вот главная задача. Великие идеи, воодушевившие нас на поход в Персей, живут, пока мы живы. Наши противники должны узнать, за что мы ратуем. Одни станут еще враждебней, другие задумаются, третьи начнут колебаться, а некоторые, пусть их вначале будет немного, примкнут к нам: ведь разрушители не только свирепый, но и разумный народ, никто их разума не отрицает... Нет, борьба с разрушителями не заканчивается с нашим пленением, она продолжается, но в иной форме, без аннигиляторов и взрыва планет. В старину называли такую борьбу идеологической, и хоть она шла без сверкания мечей, она не становилась от того менее ожесточенной. Гибель в бою — это легкий путь прекращения борьбы. Я уверен, что и более суровый жребий будет нам по плечу, я верю в себя, я верю в вас!

— А теперь решайте, и пусть МУМ суммирует ваши решения, — закончил я и закрыл глаза.

Несколько минут вокруг была тишина, потом ее прервал резкий звук. Я открыл глаза. Маленький космонавт порывисто вскочил и, не удержавшись, едва не упал. Он показал рукой на выход, хрипло сказал:

— Пойдемте, Осима, здесь больше нечего... Вы не забыли, что нам отдан приказ демонтировать МУМ?..

Осима стал медленно приподниматься. Я хотел посоветовать им не торопиться, ведь МУМ еще не объявила коллективного решения, но мне не дал договорить вопль Петри:

— Смотрите на экран! Смотрите на экран!

Картина была такая, будто звездолет попал в фокус взрыва. «Испепелены!» — услышал я потрясенный шепот Ромеро.

В пространстве бушевала световая буря, корабли противника ошалело метались меж звезд. Оранжевая расширялась на всю сферу, это было уже не далекое светило, а мчавшийся на нас исполинский космический крейсер.

— Адмирал, злореды гибнут! — радостно вскричал Осима.

— Совместная гибель, наша и злоредов, дорогой капитан, так вернее, — отозвался Ромеро.

Даже в этот страшный момент он не потерял способности иронизировать.

А затем неистовая вспышка озарила полутемный зал и мы, одновременно все, потеряли сознание.

18

Пришли в себя мы тоже разом.

Командирский зал был ярко освещен, на белых стереоэкранах погасли изображения звезд. Я приподнял голову, посмотрел на товарищей — все они были живы, потом перевел взгляд на вход в зал.

Там стояли три диковинных существа, одно впереди, два с боков чуть позади.

Они были похожи на людей. Было у них и сходство с захваченным невидимкой, но там выпирала голая конструкция, изготовленная по расчету, эти же были существами: туловище, две ноги, две руки, одна голова — всё то же, что у человека, но только не человеческое.

Стоявший впереди разрушитель проговорил на отличном земном языке:

— Адмирал Эли, прикажите открыть вход в ваш корабль. Я — Орлан. Командовать на «Волопасе» буду я.

Осима подскочил к Орлану, с силой толкнул его рукой в грудь. Рука Осимы свободно прошла сквозь тело разрушителя, словно ничего на этом месте не было.



Славьте меня! Я великим не чета.
Я над всем, что сделано, ставлю
«nihil»...

В. Маяковский

Христос сказал: убогие блаженны,
Завиден рок слепцов, калек и нищих.
Я их возьму в надзвездные селенья,
И сделаю их рыцарями неба
И назову славнейшими из славных...

Пусть! Я приму! Но как же те, другие,
Чьей мыслью мы теперь живем и дышим,
Чьи имена звучат нам, как призывы?
Искупят чем они свое величье?
Как им заплатит воля равновесья?
Иль Беатриче стала проституткой,
Глухонемым — великий Вольфганг Гёте
И Байрон — площадным шутом?..

Н. Гумилев

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

великий разрушитель

I

— Призрак! — вскричал Осима. — Адмирал, это видение!

Он снова ударил кулаком по диковинному существу, возникшему у входа, и, охнув от боли, отскочил: на разбитых пальцах выступила кровь. Камагин и Петри, собиравшиеся кинуться вслед за Осимой, медленно опустились в кресла. Ромеро переглянулся со мной, взгляд его сказал больше, чем любые слова. Я молчал, не двигаясь. В голове у меня молотом била мысль: «МУМ будет захвачена».

— Всем сидеть! — сказал Орлан. — Еще раз приказываю открыть входы.

Я лихорадочно пытался связаться с МУМ, она не откликалась. Все энергетические коммуникации на

звездолете были, вероятно, повреждены при ударе, лишившем нас сознания. Но звездолет был цел, входы в него задраены, сами мы живы — очевидно, и МУМ оставалась невредимой. Ужас в глазах Ромеро показывал, что и он понимал непоправимость случившегося. В плен попадали не одни наши маленькие жизни, но и сокровеннейшие секреты человечества. Никогда я так отчаянно не напрягал свой мозг в поисках хотя бы щели выхода, и никогда еще не были так пусты мои мозговые извилины.

— Откройте входы, или мы вас уничтожим, — повторил разрушитель.

Дальше молчать было нельзя.

— Вас не задержали закрытые входы, — сказал я.

— Меня — нет, но мои солдаты не могут проникать сквозь вещественные барьеры.

Я повернулся к Камагину:

— Эдуард, хоть и без сражения, но мы еще можем погибнуть, как вы призывали нас. — Я с ненавистью посмотрел на Орлана. — Убейтесь и можете уничтожить звездолет.

Ни один из разрушителей не пошевелился. Голос Орлана зазвучал мягче:

— Уничтожить вас мы сумеем и без разрушения корабля. Мы доставим его в целости на базу — с вами или без вас.

Я сразу не подыскал возражений. На помощь пришел Ромеро:

— Ваш приказ не может быть выполнен, завоеватель, уже по одному тому, что мы утратили командование механизмами корабля. Восстановите нашу связь с аппаратами.

— Чтобы вы попытались взорвать корабль? — В голосе разрушителя зазвучала вполне человеческая ирония. — Ваши аннигиляторы блокированы нашими полями.

— Тогда чего вам бояться? Другого пути к открытию входов в корабль не существует — для нас, по крайней мере.

Я добавил:

— И сделаем это мы лишь в том случае, если вы гарантируете всем, сдавшимся в плен, жизнь и свободу.

— Жизнь мы вам гарантируем, как обещали. Что

касается свободы, то я не волен давать или отнимать ее. Через три минуты, по вашему счету, обретете утраченную связь.

Я взглядом попросил у друзей совета, забыв, что при пропаже связи с МУМ могу прибегнуть к помощи наручного дешифратора ДН-2, последнего творения Андре. Мои помощники раньше обрели ясность сознания. Я расслышал внутренний, одними мыслями, шепот Осимы: «Адмирал, нам, кажется, дадут этот шанс. Я помню ваш приказ о МУМ!» И сейчас же во мне зазвучал голос Камагина: «Будьте покойны, Эли, мы с Осимой постараемся!»

Я закрыл глаза, чтоб разрушители не увидели, как они заблестели. Сердце билось во мне, как затравленное, я страшился, что неожиданные пришельцы услышат его стук.

Связь с МУМ восстанавливалась медленно, МУМ словно просыпалась от долгого сна, делала первые неуверенные шаги в яви, не сбросив полностью дремоты.

И когда я почувствовал, что порванные нити с мозгом корабля заново обретены, я судорожно, одной резкой мыслью, пытался связаться с аннигиляторами, но связи не получилось: аннигиляторы были прочно блокированы. Я не сомневался, что такие же попытки совершили мои друзья, у Камагина вдруг вырвался стон, Петри чертыхнулся.

— Почему так долго? — спросил Орлан.

— Плохое соединение, — ответил я.

У Осимы было сонное лицо, Камагин раскрыл рот от напряжения, глаза его, вдруг ослепшие, полубезумно вперлись в точку на экране. «Хорошо!» — подумал я с надеждой.

Из миллиардов возможных сочетаний элементов, составлявших МУМ, только одно делало ее работоспособной, — теперь сама МУМ, под диктовку Осимы и Камагина, составляла схему своей перемонтировки. Когда кто-то из них, Осима или Камагин, скажет: «Всё. Действуй», эта единственная комбинация будет заменена другой, любой возможной, случайной, бессмысленной, одной из многих миллиардов бессмысленных сочетаний.

— Всё! — воскликнул Осима, энергично поворачиваясь в кресле.

— Всё! — эхом откликнулся Камагин и радостно вскочил.

Я испытал болезненный удар в мозг и теле, по нервам промчался электрический разряд. Прежней разумной МУМ, хранильницы знаний всего человечества, больше не существовало. Была игрушка с бессмысленным сочетанием тысяч элементов — один возможный вариант из многих миллиардов бессмысленностей, творимых природой в каждом углу Вселенной...

— Адмирал! — торжественно проговорил Осима. — Приказ выполнен.

— Петри, откройте вход, — распорядился я. — Надо же выполнить условия капитуляции. Ручное управление помните?

— Справлюсь, — проворчал Петри, направляясь к двери. Он поманил пальцем разрушителей. — Призраки, пойдет кто-нибудь из вас со мной?

Один из разрушителей растаял — не исчез, не удалился, уменьшаясь, как люди, а потускнел и стерся. Оба других продолжали стоять на старых местах. Ромеро в восторге хлопнул себя ладонями по коленям. За всю нашу многолетнюю дружбу я не помнил у него такой несдержанности.

— Как дурачков! — лепетал он, давясь смехом. — Нет, как дурачков!..

— Радости мало, Павел! — возразил я печально. — Плен остается, звездолет захвачен. Да и нет комбинации, которую теоретически нельзя бы было восстановить...

Ромеро скосил глаз на молчаливых разрушителей и внушительно проговорил:

— Дорогой Эли, теоретически возможное на практике чаще всего неисполнимо. Один из древних мыслителей говорил: «Случайно могут выпадать любые комбинации, это бесспорно, но если мне скажут, что типографский шрифт, рассыпанный по улице, сложился при падении в «Энеиду», я и ногой не пошевелю, чтоб пойти проверить». Я думаю, этого мыслителя можно принять в качестве примера для подражания.

— Валом валят, твари, — сумрачно сказал возвратившийся Петри.

Оба разрушителя потеснились, словно пропуская кого-то в командирский зал, но новых фигур не появилось. Вместе с тем я с физической ясностью ощутил, что свободного пространства стало меньше.

— Невидимки! — предупреждающе сказал Ромеро.

До нас донесся бесстрастный голос Орлана:

— Вам разрешается идти к своим товарищам.

2

Ромеро направился в парк, мы четверо шли за ним. Из всех служебных помещений людей выгоняли зловреды. В коридорах мы их наконец увидели: бронированные опухолы с перископами вместо голов неуклюже шествовали от причальной площади, захватывая одно помещение за другим.

На площади стояли легкие корабли, похожие на наши планетолеты, из люков сыпались всё новые головоглазы.

Нам не дали смотреть, как оккупируется звездолет. Внезапно возник Орлан и приказал удалиться от площади.

— Настройте дешифраторы! — посоветовал Ромеро и, когда мы проверили свои наручные ДН-2, продолжал — уже одной мыслью: «Если у невидимок и нет тела, то уши, вероятно, имеются, а разобраться в индивидуальных излучениях им будет непросто».

И каждому, кого встречал, он говорил: «Настройте дешифратор».

В аллеях парка было полно народу. Вокруг каждого из командиров образовалась толпа, главным образом команда его звездолета. Меня расспрашивали меньше, чем Осиму, Петри и Камагина, я сел на скамью с Мэри и Астром, с другой стороны поместился Ромеро.

В парке по земному графику шла осень, меж деревьев шумел несильный ветер, на людей сыпались желтеющие листья.

— Нас будут убивать, отец? — спросил Астр. Он пристально смотрел на меня.

Я с усилием усмехнулся и отвел глаза.

— Зачем нас убивать? Разрушителям наши жизни сейчас нужнее, чем нам.

Астр нахмурился, размышляя. Над толпой появился Труб с Лусином на спине. Ангел приземлился около нашей скамейки, и Лусин соскочил на грунт.

Перья на крыльях ангела топорщились. Он поглядел на меня, как на изменника.

— Вы же люди, Эли! — В его голосе громыхали металлические раскаты. — Покориться без сопротивления!.. Эли, ангелы в плен не сдаются, нет, Эли!

— Всё, что я могу сказать, я уже сказал в обращении через МУМ, — ответил я и попросил их настроить свои дешифраторы. — Рассматривайте себя не как пленников, а как передовой отряд внутри вражеского стана, — объяснил я.

— Мы-то можем себя так рассматривать, но согласятся ли наши враги видеть в нас не жертвы их произвола, а действующий вражеский отряд в их лагере, — возразил Лусин, и я поразился, до чего он ясно выстроил это суждение. Со временем я привык, что косноязычный Лусин становится красноречив, если ограничивается мыслями без слов. Когда мы встречаемся с ним сейчас на Земле, мы надеваем дешифраторы, словно находимся по-прежнему в дальних странствиях: так, одними мыслями, нам объясняться легче.

— Поживем — увидим, — сдержанно сказал Ромеро.

Мэри молча прижималась ко мне плечом. Нам не нужно было обмениваться мыслями, чтобы понимать друг друга. Лусин, печальный, тихо разговаривал с Ромеро, Астр и Труб присоединились к кучке, обступившей Камагина. Листья падали всё гуще, и я вспомнил тот осенний день на недостижимо далекой Земле, когда на аллее Зеленого проспекта повстречал Мэри. Сейчас она была рядом, измученная, терпеливая, бесконечно близкая, тесно прижавшаяся ко мне, а я с нежностью думал о той, холодной, отстраненной, презрительно отвечавшей на мои вопросы...

— Не надо! — умоляюще прошептала Мэри, дешифратор передал ей мои мысли.

— Не надо, конечно! — повторил я со вздохом, и увидел идущего к нам Орлана, сопровождаемого теми же двумя призрачными разрушителями.

Впоследствии мы разглядели, что они не призрачны, а только очень уж «нечеловечны». Непохожесть на

людей становилась заметней, когда разрушители двигались; неподвижных, особенно издали, легко было спутать с человеком. Но движение выдавало их, они не шагали, а скорее, порхали, не сгибали колени при ходьбе, а легонько перепрыгивали, выбрасывая вперед, как костыли, то одну, то другую ногу. И при этом у них изгибалось всё тело, как у скороходов, побивающих рекорд быстроты, — они зато и передвигались много быстрее нас. Еще меньше человеческого было в их лицах: все они были безносы. На головах, по рисунку вполне человеческих, имелись и волосы, и уши, и глаза — тоже два — и рот, и подбородок, но вместо носа было круглое отверстие, прикрытое клапаном, похожим на хоботок, — клапан то вздымался, то опадал при дыхании. «Шевелят носами», — как-то сказал о разрушителях Ромеро. Лица их светились по настроению, то разгораясь, то погасая: были то белыми, то желтыми, то синими. Изменение блеска и окраски лиц не походило на удивительный цветовой язык вегажителей, скорее, напоминало наше покраснение и побеление, но только усиленное до зловещности.

Орлан поднял вверх голову — не повернул ее на шее спереди назад, как делаем мы, когда «поднимаем» голову, а именно приподнял: шея вдруг удлинилась и голова пошла вверх над плечами сантиметров на тридцать. Потом мы дознались, что таков способ приветствования у разрушителей: они учтиво вздымают головы, как наши предки приподнимали шляпы.

Не опуская головы, Орлан заговорил:

— Ни один из ходовых механизмов корабля не действует. Что вы сделали с ними?

— Виноваты в этом вы, ведь вы заблокировали наши аннигиляторы, — сказал я.

— Мы разблокировали их, но мы не знаем схем ваших аппаратов. Объясните, как обращаться с ними.

— Этого не будет, — объявил я. — Командующий ими корабельный мозг поврежден. Но если бы мы и знали, как обращаться с аннигиляторами без него, мы всё равно не раскрыли бы наших секретов.

Голова Орлана упала. Это было так неожиданно, что я вздрогнул, а Мэри вскрикнула. Шея исчезла вся, а голова наполовину провалилась в грудную клетку, при этом раздался звук, как при ударе хлопушкой. Над

плечами Орлана теперь торчали лишь лоб и два глаза, и эти не исчезнувшие остатки лица синевато пылали. Так мы впервые увидели, как разрушители выражают свое неодобрение и негодование.

— Я сообщу об этом Великому, — донесся из недр Орлана, словно из ящика, измененный голос.

— Пожалуйста, — сказал я.

Он собирался уходить, когда я задержал его:

— Можно задать несколько вопросов?

— Задавайте, — голова его возвратилась в естественное положение.

— Вопросы такие. Что вы собираетесь с нами делать? Кто такой Великий разрушитель? Откуда вы знаете, как меня зовут и кто я? Как вы обучились человеческому языку? Как вы проникли на наш звездолет?

— Ни на один из этих вопросов ответа пока не будет, — сообщил он, опять с хлопанием втягивая голову в плечи. Но тут же возвратил ее в прежнее состояние. — А получите ли вы ответ потом, решит Великий.

Я снова не дал ему уйти:

— Тогда скажите, что мы можем и чего не можем делать?

— Можете делать всё, что делали прежде, за одним исключением: доступ к механизмам корабля воспрещен.

— Раскройте стереоэкраны в обсервационном зале, — попросил я. — Надеюсь, вам не повредит, если мы полюбуемся светилами вашего красочного скопления?

— Светилами любоваться можно, — бросил он, упархивая.

3

В отчете Ромеро описаны те первые дни плена, когда мы еще находились на звездолете, — и наши тревоги, и недоумения, и овладевшее многими отчаяние, и бешенство, клокотавшие в других, и знакомство с суровыми стражами, и столкновения, неизбежно возникавшие между нами и ними.

Из тех дней я всего яснее запомнил, что меня непрерывно грызли жестокие вопросы, я непрестанно

искал на них ответа и ответа не находил, а на некоторые и сегодня, по прошествии многих лет, не могу найти ответа. И самым мучительным из вопросов была мера моей вины в том, что совершилось. Ни на кого ответственность я переложить не мог. Везде было одно: моя вина.

Временами от этих мыслей сохла голова.

Лишь двум друзьям я мог поверить свои терзания — Мэри и Ромеро, и оба спорили со мной. Мэри видела лишь катастрофическое сочетание несчастных обстоятельств, Ромеро твердил, что психологию нужно оставить историкам, а мое дело — анализировать положение.

— Я понимаю, вам странно, что именно я обращаюсь с призывом забыть о психологии, — сказал он как-то. — Друг мой, копается много в прошлом тот, кто пасует перед будущим, а ваша область — будущее, уж таков вы. Давайте же распутывать загадки, поставленные появлением разрушителей.

Больше Мэри с Ромеро разобрались в моем состоянии маленький космонавт с Астром.

Мы встретились с Камагиным возле обсервационного зала, и он остановил меня.

— Адмирал, — сказал он, волнуясь. — Вы имеете все основания быть недовольным мною...

Я возразил:

— У вас еще больше оснований быть недовольным мною.

— Нет! Тысячу раз — нет! — воскликнул он. — Даже МУМ не предвидела того, что совершилось, а человек, вы или я, не больше чем человек. Я давно собирался извиниться, Эли...

Я отошел от него растроганным.

В этот же день Астр сказал мне:

— Мне очень жалко тебя, отец!

Он сидел в моей комнате и смотрел стереоленту с видами Земли: пейзажи незнакомой ему планеты — Гималаи, Сахара, Восточный океан, стоэтажные здания Столицы.

— Почему? — спросил я рассеянно. Мне вообразилось, что слова его имеют отношение к картинам.

— Я подумал, что не ты, а я адмирал, и что я сжег два своих корабля, а третий сдал в плен... И мне не

захотелось жить, а тебе ведь хуже, ты — не играешь в адмирала...

— Играй, пожалуйста, в игры не выше солдата или инженера, — посоветовал я и вышел из комнаты. Я страшно разнервничался.

В обсервационном зале мы видели изо дня в день одно и то же: яркие звезды, зеленые огни эскадры.

То ли разрушители не хотели, чтобы мы разобрались в астрографии их полета, то ли механизмы корабля разладились, но трудно было понять, куда и с какой скоростью движется вражеская эскадра. Ясно было лишь, что наш звездолет несется в центре флота, на всех сторонах сферы сверкали вражеские крейсера.

Осима доказывал, что такая дислокация сделана не для охраны «Волопаса», а чтоб обеспечить его движение — чужие корабли своими полями тащили наш звездолет за собой.

Оранжевая понемногу отклонялась от оси полета. В зените появилась другая звезда, горячей, почти синяя, но неяркая. Со временем и она осталась в стороне, а приборы показали, что звездолеты выбрасываются в эйнштейново пространство.

Мы снова увидели — уже в оптике — малоприметное белое светило и темную планетку, ее спутника.

— Если здесь их база, то она хорошо укрыта, — заметил Камагин. — И белого карлика отыскать не просто в этом переплетении гигантов и сверхгигантов, а затерянный в темноте спутник просто неприметен.

4

Звездолеты врагов один за другим уносились в черноту, их пронзительные огни тускнели. Осталось около десятка кораблей, когда «Волопас» пошел на посадку.

День этот навеки остался в моей памяти. Наши галактические суда не умеют причаливать к планетам. А гигантские корабли разрушителей опускались на поверхность планеты с легкостью, словно авиетки. На плоской равнине в считанные часы возникла своеобразная горная страна. И на одной из долин между звездолетами врага плавно опустился «Волопас».

— Выходить! — приказал Орлан, появившийся в обсервационном зале, откуда мы наблюдали за посадкой. Он стоял с двумя неизменными телохранителями, бесстрашный, похожий на призрак, хотя теперь мы твердо знали, что и он, и его охрана вполне вещественны — уже не один Осима дотрагивался до них или сталкивался.

Я распорядился надевать скафандры.

Орлан отменил мой приказ:

— Излишне, адмирал Эли. На базе созданы условия, в которых вы нуждаетесь: атмосфера с азотом и кислородом, вода, привычные вам гравитация и температура, даже ваш любимый зеленый цвет. А что до радиации, — он показал на белое светило, — то она не опасна.

Из ворот «Волопаса» выкатили причальную площадку. Я вышел с Мэри и Астром. Астр радостно сказал:

— Отец, правда, эта планета напоминает Землю? Мама говорит, что нет, а по-моему, похожа!

Если планета походила на Землю, то так же, как сами разрушители копировали людей — призрачным, а не реальным сходством. Объяснять это Астру было напрасно: он видел Землю лишь на стереозэкране.

Крохотное белое солнце, висевшее над планетой, света давало ровно столько, чтоб видеть, но тепла от него не было. Земные лунные ночи больше напоминали местный полдень, чем земные дни, — в небе планеты сумрачно посверкивали звезды. Планета была зеленой, но зеленью холодной, с металлическим отблеском. Вверху, затмевая звезды на белесом небе, висели облачка, они тоже были едко-зеленые.

— Металлическая! — грустно сказал Лусин. — Незнакомый металл, Эли.

— Отлично известный металл: никель, — поправил его Камагин. — В мое время после железа никель являлся главным конструкционным материалом. Ручаюсь, что вся эта зелень — соли и окислы никеля.

Лишь наш совершенно черный звездолет нарушал однотонную зелень никелевой планеты.

По зеленой поверхности струились зеленые реки, реки впадали в зеленые озера, над озерами нависали зеленые холмы. Я потрогал рукой одно из зеленых

растений, оно было неживое, просто гроздь кристаллов, мутноватых, скользких. Я зачерпнул ладонями жидкости в речке, это тоже были никелевые растворы, неприятно и остро пахнувшие, они окрасили мою руку в зеленый цвет, такой равномерно прочный, что казалось, я надел зеленую перчатку.

Потом мы шли по аллее металлических деревьев, стволы блестели синевато-бело, а кроны, тоже металлические, покрывали зеленые осадки — металлические ветви качались, ветер, то усиливаясь, то спадая, рвал металлическую листву — на почву глухо рушились созревшие зеленые кристаллы. Неприятный запах никелевых соединений, исходивший от всего в этом металлическом лесу, становился непереносим.

— Зеленая тоска, дорогой Эли! — со вздохом проговорил Ромеро. — Быть по-волчьи...

Во время высадки мы увидели своих стражей — головоглазов. На звездолете они охраняли служебные помещения и на глаза старались не попадаться. Здесь они были везде — на причальной площадке, у гравитационного эскалатора, перебрасывавшего нас с корабля на планету.

И прежде чем мы попали в металлический лес и на берега солевых речек, нам пришлось пройти через молчаливые аллеи стражей, бдительно наблюдавших, чтобы мы не приблизились к их кораблям: если пленник слишком отклонялся, его возвращали на предписанную дорогу увесистыми гравитационными оплеухами. Мне первому досталась такая пощечина, и я уже не повторял столкновения со стражами. Так держали себя и другие люди, но с ангелами головоглазам пришлось повозиться.

Труба с его крылатыми сородичами высало на планету по тому же силовому транспортеру, что и нас, но на почве ангелы повели себя по-иному. Труб взлетел, а за ним с гамом устремились другие ангелы. Головоглазы заматались, их перископы страшно засверкали, но сила гравитационных ударов квадратно уменьшалась с отдалением, и ангелы быстро усвоили эту нехитрую истину: они взлетали повыше и там, недоступные для кары, дико резвились.

Вскоре в их пеструю толпу шумно ворвались пегасы, а за пегасами, огромный и величественный, вы-

неся Громовержец с Лусином на спине и круг за кругом стал уходить всё выше. Драконы поменьше бросились за своим вождем, и образовалась трехэтажная суматоха. Выше всех, полностью недоступные для головоглазов, тихо реяли крылатые драконы, пониже снова ангелы, а под ними бесновались летающие лошади, ошалевшие от вольного воздуха после тесных конюшен звездолета.

Кое-кого из пегасов зловедам удалось сшибить, но и эти, побегав по грунту, вновь с радостным ржанием уносились к своим.

Стоявшие возле меня Камагин и Осима обменялись взглядами.

— Только без слов! — предупредил я мысленно. — А также без молчаливых рассуждений. Мы не знаем, какая техника подслушивания на базе. И не жестикулируйте, пожалуйста.

Они продолжали объясняться восхищенными взглядами, выразительно кривили лица, но рук из карманов не вынимали, чтобы не привлечь внимания резкими жестами. К ним присоединились Ромеро и Петри, и беседа безруких и глухонемых стала такой оживленной, что я опять встревожился.

Развязка затянувшейся неразберихи была крутой. В одном из звездолетов засверкало желтым огнем пятно, и пляска в воздухе оборвалась. И лошади, и ангелы, и драконы, и Лусин верхом на драконе покатались вниз.

Если бы я мог любоваться этим зрелищем взглядом постороннего наблюдателя, оно, вероятно, показалось бы забавным. И ангелы, и пегасы с прежней энергией махали крыльями, но летели вниз, как лыжники с трамплина.

Ромеро приподнял и опустил бровь. Код его мимики был недопустимо прост.

— Ну, что ж — звездолеты! — пробормотал мыслью Камагин. — Не везде же будут эти чертовы машины!

Передние углубились в лес. К нам, обгоняя задних, добрались Труб и Лусин. Труб был сконфужен неудачным весельем в воздухе, а Лусин сиял. Громовержец показал свои лётные способности, и это почти примиряло Лусина с пленом.

— Хорошо, а? — похвастался он вслух.

Я промолчал, а Камагин, подкрепляя мысль взглядом, ответил через дешифратор:

— Отлично, Лусин. Твои крылатые друзья облегчат нам заключение.

Я обратился к Трубу, уныло поджавшему крылья:

— Как летается на высоте? Отвечай через прибор.

В отличие от Лусина, обретавшего красноречие при мысленных объяснениях, Труб сразу начинал мекать, чуть переходил на прямую мысль. Он был из тех, кого Ромеро называет косномысленными.

— Леталось... видишь ли, Эли... вроде на Земле! Лучше Оры... Выше — труднее... Быстрое разрежение — вверх...

— Падалось легче, чем поднималось, — добавил Ромеро.

Из объяснений Труба я уяснил себе, что тяготеющее поле планеты сконструировано не по Ньютону.

За поворотом металлической аллеи открылось металлическое сооружение в зеленой чешуе окислов, в оползнях солей. Внутрь него вел туннель. Я остановился и оглянулся.

Позади меня двигались все три экипажа звездолетов, за ними то шагом, то короткими взлетами, то отставали, то торопились ангелы, шествие завершали пегасы и драконы. Немыслимо было и думать, что такую ораву пленных можно втиснуть в приземистое помещение.

— Нас приглашают, и пока вроде вежливо. — Ромеро кивнул на охранников, усиленно мотавших в сторону дома мерцающими перископами.

— Подождем Орлана, — решил я.

Пока мы ждали, зеленая тучка, приползшая в зенит, пролилась зеленым дождем из солей никеля. Сперва падали отдельные капли, быстро запятнавшие нас, потом хлынул ливень, наподобие тех, что устраиваются на Земле в дни летних гроз. В потемневшем небе за сверкали молнии, темно-красные, и не ослепительно яркие, как у нас, а тусклые.

Я отыскал Мэри и Астру и укрыл их своим плащом. Мэри дрожала, а сын с обидой доказывал, что способен вынести всё, что выносят другие мужчины.

— Безусловно, — утешил его я. — И если бы этот ливень вынуждал на духовные или физические усилия,

я сам потребовал бы от тебя: ну, поборись! Но он только пачкает, а грязи добавлять — не обязательно.

Ливень оборвался внезапно, как налетел, в небе зажегся тот же невыразительный белый карлик, медленно клонившийся к горизонту. Мы были мокры и перепачканы, люди превратились в зеленые статуи, ангелы топорщили повисшие зеленые крылья, Труб встряхивался, как пес, выбравшийся из воды, я выжимал отяжелевший плащ.

За этим занятием нас застал Орлан.

— У нас под душ идут, чтобы очиститься, у вас — чтоб запачкаться, — сказал я сердито.

— Никелевая планета! — пояснил он со снисходительным бесстрашием. — Среди наших баз имеются марганцевые, железные, свинцовые, кобальтовые, натриевые, золотые, ртутные... Для вас выбрана никелевая, потому что она — зеленая.

— Я предпочел бы золотую, они нам знакомы, — сказал я, намекая на то, что одну золотую планету мы уничтожили.

Он пропустил намек мимо ушей.

— Вы не вынесли бы там хлорных соединений золота. Великий хочет сохранить вам жизни.

— Если вы заботитесь о наших жизнях, зачем загонять нас в эту тесную берлогу?

— Места в ней хватит всем.

Туннель вел во вместительный вестибюль, откуда отпочковывались широкие коридоры с самосветящимися стенами. Под шапкой невзрачного домика скрывался обширный комплекс помещений. Всё здесь, как и снаружи, было никелевое, но соединения никеля потеряли мертвенную зеленую однообразность, а металлически чистый, он уже блистал синеватостью. Не скажу, что я был восхищен богатством и теплотой цвета, но мне уже не хотелось волком выть от «зеленой тоски».

— Направо — людям, прямо и налево — вашим союзникам, — распорядился Орлан.

Я осведомился, имеют ли люди право общаться со своими друзьями. Право такое было. Ангелы повалили прямо, пегасы с драконами понеслись налево, мы с Орланом повернули направо.

Самосветящийся коридор вел в огромный четырехугольный зал, тоже с самосветящимися стенами и

потолком. Вдоль стен тянулись странные, похожие на желоба, сооружения. В такой тюрьме можно было разместить команды целого флота галактических кораблей, а не только три экипажа.

— Нары, — сказал Ромеро, показывая на желоба.

— Размещайтесь! — сказал Орлан и повернулся ко мне. — Вы пойдете со мной, адмирал.

Ко мне подошли Осима и Камагин, сзади встал Ромеро.

— Мы не пустим адмирала одного, — сказал Осима. Ничто не изменилось на бесстрастном лице Орлана.

— Адмирал пойдет один. Вы не нужны.

Ромеро указал на телохранителей Орлана:

— Разрешите заметить, что вас тоже сопровождают адъютанты. Охрана положена нашему адмиралу по рангу.

— Он пойдет один, — холодно повторил Орлан.

— Не волнуйтесь, — сказал я друзьям. — Один я пойду или втроем, всё равно мы в полной их власти.

5

Я еле поспевал за моими проводниками: их плавные прыжки, напоминавшие танец, а не ходьбу, были быстрее даже моего бега. Временами они останавливались и поджидали меня, не оборачиваясь, точно видели спиной так же хорошо, как глазами. Я не мог отделаться от ощущения, что вокруг невидимки. По коридору можно было устроить шествие по десять человек в ряду, а мне не хватало пространства. Притворяясь, что не удержался, я раза три отскакивал в сторону, но везде была пустота, столкнуться с невидимками не удалось.

В новом помещении, маленьком и скудно освещенном, Орлан приказал мне остановиться. Я стоял посреди комнаты. Орлан с телохранителями подошел к двери напротив, и она открылась им навстречу.

В помещение припрыжкой вбежал человек, и я сразу узнал его.

Это был Андре.

Он двигался не как Андре, у него была старчески согбенная фигура, он уныло, не как Андре, склонял

голову, нелепо размахивал руками, нелепо скрипучим голосом что-то бормотал. Ничего не было у него от Андре, всё было иное, незнакомое, неожиданное, непредставимое!..

Но это мог быть только Андре.

— Андре! — кричал я, кидаясь к нему.

Он поднял голову, и я увидел лицо его, постаревшее, изможденное, до того непонятное, что восторг встречи мгновенно превратился в страх. Я схватил Андре, прижал к груди, застонал от ликования и боли, но уже в ту первую минуту почувствовал, что не одну радость принесет воскрешение Андре из небытия, и, может быть, меньше всего — радость.

Андре оттолкнул меня. Он меня не узнал.

— Андре! — молил я. — Взгляни, это же я, Эли, я твой друг Эли, вспомни, я же Эли, я Эли, Андре! Андре!

Он с тоской отворачивался. Мое ликование превращалось в ужас. Я рванул его к себе. Он смотрел на меня и не видел: зрячий, он был слеп. Такие глаза я иногда подглядывал у людей, отдавших тяжкой думе. Только здесь всё было усилено безмерно, нечеловечески жестоко. Я снова обрел Андре, но он не вышел ко мне, он был в каком-то своем, далеком мире. Он лишь присутствовал здесь — его не было!

— Андре! — кричал я в отчаянии. — Это же я, Эли! Андре!

Он сумел вырваться и побежал. Я нагнал его, еще сильнее рванул к себе. В исступлении я готов был бить его, рвать ногтями, кусать, целовать, обливать слезами, только бы это вернуло его в сознание. Он должен узнать меня, должен вспомнить себя и друзей — лишь это одно я отчетливо понимал в ту минуту, когда, хрипя от ярости, тряс его.

Андре, страдальчески закрыв глаза, бессильно мотался в моих руках. Он вдруг побледнел, а длинные огненные кудри — единственное, что сохранилось от старого Андре, — то закрывали, то освобождали лицо, вспышками пламени проносились перед моими затуманившимися зрачками, это одно я видел с ясностью: кудри Андре не проносились, а вспыхивали.

Орлан и два телохранителя, бесстрастные, стояли в стороне.

Я оставил Андре и подскочил к Орлану. Я был готов броситься на него. Он не шевельнулся.

— Подлые уроды! — крикнул я. — Что вы сделали с Андре? Зачем его лишили разума?

Ответ Орлана прозвучал так торжественно и скорбно, что, вероятно, лишь это удержало меня от рукопашной схватки:

— Великий не хотел лишать его разума.

В бешенстве я поднес свою руку ко рту и прикусил ее, чтобы внешней грубой болью перебить внутреннее терзание. Еще лучше было бы заплакать в голос, проклиная судьбу и врагов и себя, взывая о прощении, ибо сам я больше всех людей виноват был в нынешнем состоянии друга.

Но на слезы мне не хватило сил, сухое отчаяние палило меня. И я продолжал кусать руку, чтоб хоть этим перебороть себя. Андре, согбенный, жалко покачивающий головой, уже не старался убежать, хоть я и не держал его больше. А неподалеку равнодушно-неподвижные возвышались три призрачно похожих на людей нечеловека.

Внезапно до меня донесся тихий голос, Андре монотонно пел, покачиваясь в такт туловищем, словно пел нелепую свою песенку не голосом, а каждым движением тела:

Жил-был у бабушки серенький козлик,
Ах, серенький козлик, ах, серенький козлик...

Пел он тоненько и жалобно, никогда прежде я не слышал у Андре такого голоса.

Я повернулся к Орлану:

— Чего вы хотите от меня?

— Человек Андре поступает в твое распоряжение, адмирал Эли, — сказал Орлан.

— Идем, Андре, — сказал я и потянул его за рукав.

Я снова шел за Орланом, а позади покорно плелся Андре.

6

В помещение, где находились друзья, я вошел спокойно. К нам кинулся Камагин и в ужасе отпрянул. Он мало общался с Андре, но узнал его сразу. Ромеро, по-

белев, подскочил к Андре. Трость Ромеро — он даже в плену не расставался с нею — со стуком упала на пол среди наступившей вдруг тишины.

— Андре! — прервал молчание страшный шепот Ромеро. — Эли!.. Вы понимаете?

— Да, — сказал я горько. — Телесная оболочка осталась, духа нет.

Ромеро взял Андре за руку. Теперь он говорил так спокойно, будто они встретились после недолгой разлуки и ничего с Андре не произошло.

— Здравствуй, Андре. У нас тебе будет хорошо, мы твои старые друзья. Идем, идем!

Он тихонько тянул и подталкивал Андре, тот, покачивая багрово-красными локонами, медленно шел — без охоты, без сопротивления, без понимания... Мой взгляд пересекся с отчаянным взглядом Мэри: Я хотел вздохнуть, но не хватило силы. Надо было напрячь мускулы, раскрыть рот, я не сумел ни того, ни другого. Кровь жарко бросилась в лицо. Мэри положила руку мне на плечо — я судорожно глотнул воздуха.

— Забавно, — проговорил я, сиюсь улыбнуться. — Вроде кратковременного паралича.

— Присядь, — сказала Мэри.

Я примостился к сыну. Я старался не поворачиваться в ту сторону, где сидел Андре, окруженный товарищами. Похожие на желоб нары неожиданно оказались удобными, на них можно было покачаться, как в гамаке. Астр со страхом смотрел на меня. Мне наконец удалось улыбнуться.

— Наши постели, кажется, покоятся на силовых опорах, — сказал я, только сейчас разглядев, что они висят в воздухе. — Почему ты не играешь, Астр? Я видел, как ангелы помогали тебе нести игрушки, а одного пегаса, хитрец, ты навьючил, как верблюда.

— Мне не до игр, отец, — сказал он грустно.

На это я не нашел ответа. Астр был еще мал, чтоб узнать, что такое настоящая человеческая свобода, но неволю познал рано. Я не буду забегать вперед, в моем рассказе еще найдутся черные главы и без того, чтоб непрерывно вспоминать одно плохое.

— Играй! — сказал я настойчиво. — Играй, веселись, проказничай. Плюнь им в лицо весельем, разгневай их беззаботностью, ничто ведь не будет им так

приятно, как наша скорбь. Лиши их этой мрачной радости!

Такое понимание обстановки, вероятно, еще не являлось ему на ум.

— Я буду играть, — пообещал он. — Ты будешь доволен, отец! — Он вскочил и отошел.

Не знаю, сколько я сидел, молчаливый, рядом с молчаливой Мэри, пока не почувствовал стеснения, словно опять кругом стало исчезать пространство. Подняв голову, я повстречался с холодным взглядом немигающих глаз Орлана. «Машина с глазами!» — с омерзением подумал я. Он не был призраком, каким почудился вначале, но мало чем отличался от отвратительного живого робота. Еще отвратительнее были его спутники.

— Великий зовет тебя, — объявил Орлан.

Вокруг стали собираться пленные.

— Зачем я понадобился твоему повелителю?

— Он скажет сам.

— Такая тайна, что нельзя ни с кем поделиться ею?

— Тайны нет. Великий предлагает человечеству братский союз.

Если бы Орлан сообщил, что разрушители собираются нас освободить, я был бы поражен меньше. Всё, что мы успели узнать о зловедах, делало мысль о союзе с ними противоестественной. До меня донеслось возмущенное восклицание Камагина.

Я сказал Орлану:

— У вас, похоже, решения принимает единолично властитель, а у нас они коллективны. Отойди, пока мы посовещаемся. Не исключено, что товарищи не разрешат идти к твоему властителю.

— Не идти ты не можешь.

— Не идти я всегда могу. Другой вопрос, что вы способны доставить меня силой. Но насилие — неудачное начало для проектируемого вами братства...

Разрушители отошли. Для живых машин они держали себя, в общем, прилично.

Я попросил настроить дешифраторы на мое мозговое излучение — совещаться будем мысленно.

Непосвященному наше собрание должно было представляться странным: молчаливые люди уставились глазами в пол, словно прислушиваются к чему-то, совершающемуся у каждого внутри. Лишь Камагин, време-

нами импульсивно дергавшийся, нарушал гармонию оцепенения, да из-за спин сидевших ближе ко мне доносилось унылое бормотание Андре, он всё вспоминал дряхлого козлика. Я приказал себе не вслушиваться в его голос — и не вслушивался.

Я начал с того, что титул властителя «Великий разрушитель» не свидетельствует ни о его доброте, ни о широком разуме. Впрочем, о «доброте» разрушителей мы знаем еще с Сигмы. Властитель врагов обратился с предложением о братстве не к Эли Гамазину, адмиралу Большого Галактического флота, штурмующего его звездные заграждения, хотя ничто не мешало ему и тогда высказать такой проект, — нет, он вступает в переговоры со своим пленником, над жизнью которого властен, — можно, естественно, усомниться в честности его намерений. И на каких принципах основать союз человека, творца и всеобщего помощника, с разрушителем и тираном? Совместно покорять еще свободные народы? Рука об руку истреблять еще не истребленное, разрушать еще не разрушенное? Обратить в своих врагов всех звездных друзей человечества, высокомерно объявив их недочеловеками и античеловеками? Отказаться от союза с неведомыми нам пока галактами, так разительно похожими на нас самих и внешне, и по обращению с другими разумными существами? Не лучше ли презрительно игнорировать обращение властителя и, возможно заплатив за такую дерзость нашими жизнями, дать ему ясное представление о воле и намерениях человека?

Едва я закончил, как, опережая других, донеслась возбужденная мысль Камагина:

— Никаких переговоров с преступниками! Всей силой воли, всем остающимся оружием!..

— Единственное, чем мы еще владеем — наши маленькие жизни, — вставил Ромеро.

— Значит, отдать наши маленькие жизни! — Камагин вскочил. Ему лишь с трудом удалось не прокричать об этом вслух.

— Я за переговоры! — сообщил рассудительный Осима. — Умереть всегда успеется. Но раз адмирал будет говорить от имени человечества, пусть не забывает, что за ним стоит вся мощь человеческая. Мы в плену, но человечество свободно!

— Пригрозить Великому крахом его величия! — поддержал Петри Осиму. — Стукнуть кулаком по столу! Пусть снимает рогатки со звездных проходов в скопление. Полное прекращение космического разбоя, другой основы быть не может.

— Пусть освободит нас и вернет захваченный звездолет, — добавила Мэри.

— Короче, разрушители должны капитулировать, — хладнокровно подвел итоги Ромеро. — И этот результат, которого мы не сумели добиться объединенной мощью человечества, должен быть получен действием речи адмирала. Неплохая программа, и я поддерживаю ее, хотя сомневаюсь в исполнимости.

Я не спешил обнародовать свои соображения и сказал только:

— Принципы, вызвавшие войну с разрушителями, остаются обязательными для нас и в плену. Лишь на их основе возможно соглашение.

После этого я сообщил Орлану, что согласен на встречу.

У выхода мне встретился Лусин, возвращавшийся от своих крылатых друзей. Лусин еще не знал об Андрее и сразу не обратил внимания на старческую фигурку, склонившуюся на наре, но до меня донеслось тоскливое бормотанье: «Серенький козлик, серенький козлик...»

Выходя, я услышал звонкий возглас Астры:

— Скорей возвращайся, отец!

Я улыбнулся ему.

7

Великий разрушитель был еще больше похож на человека, чем Орлан, и еще менее «человечен», чем тот.

Он был, прежде всего, огромен, почти четырех метров роста, но то, что делало Орлана подобным призраку, во властителе было рельефней. Непропорционально маленькая голова гнездилась на непропорционально длинной шее. На голове сверкали огромные глаза, жадно распахивался и прикрывался огромный рот. И оттого, что лицо властителя зловредов тоже было безносо, оно казалось скорее змеиной мордой, а не лицом. «Не

образ, а образина человека», — сформулировал я впечатление от облика властителя.

Он смотрел на меня светящимися глазами. Это не метафора — из глазниц исторгался трассирующий свет: он оконтуривал меня фосфоресцирующими глазами. Я сперва сравнил его с Орланом, у того окраска кожи показывала настроение. Властитель старался пугать собеседников, для этого, возможно, сверкание глаз подходило больше, чем озаренность лица.

Властитель тяжело восседал на помосте вроде трона. Для меня сиденья приготовлено не было. Я опустился на пол и скрестил ноги. В обширном зале мы были вдвоем.

— Ты знаешь, что я хочу предложить вам союз? — не то спросил, не то установил Великий разрушитель. Он разговаривал сносным человеческим языком.

— Знаю, — ответил я, — но, прежде чем говорить о союзе, я должен задать несколько вопросов.

— Задавай. — Он, как и Орлан, не признавал нашего вежливого обращения на «вы».

Я подчеркивал холодным «вы», что дружественности между нами нет.

— Вы похожи на человека и говорите по-человечески. Но мы даже отдаленно не родня.

— Я принимаю любой облик, какой захочу, лишь бы он был биологически возможен. Я облекся в человекоподобие, чтоб тебе было удобнее.

— Я предпочел бы ваш естественный вид. Мне было бы приятней, если бы вы меньше походили на меня.

Он разъяснил, что смена образа — дело хитрое. Изготовление новой оболочки требует немалого времени. И вообще он не злоупотребляет своей свободой трансформации. Про себя я порадовался: если смена облика не проста даже для властителя, то появление псевдолюдей среди нас в ближайшее время не грозит.

Было несколько мелочей, смущавших меня, и раньше, чем переходить к основному, я коснулся их:

— Наш звездолет был глухо задраен, но Орлан появился в нем. Как он это сумел?

— Появился не он, а его изображение, сфокусированное в звездолет. Разве вы не применяете передачу изображений?

— Применяем — в видеостолбах. Но там силуэты-картинки... Осима же разбил пальцы об изображение Орлана.

— Вы, очевидно, передаете только оптические характеристики, а мы и другие свойства — твердость, теплоту, даже электрическую напряженность. Всё очень просто.

Я должен был признать — да, просто.

— Есть еще вопросы?

— И вопросы и разъяснения.

Я сообщил верховному зловеру, что облечен властью для войны, но не для союза. Если он собирается затрагивать проблемы, интересующие всё человечество, то во всяком случае та часть человечества, что находится неподалеку, то есть все мои товарищи, должна участвовать в обсуждении. Он возразил: если транслировать нашу беседу, его подданные тоже услышат ее. Мне это безразлично, сказал я. Он заметил, что я разговариваю тоном победителя, а не побежденного. Я указал, что нужно различать разговоры и переговоры: разговаривает он со своими пленными, но в переговоры вступает со всем человечеством — стало быть, нужно ему привыкать к тону, который свободное человечество изберет для переговоров. Он объявил, что для начала удовольствуется соглашением со мной, а не со всем человечеством. Я поинтересовался, имеет ли он в виду одного меня или с товарищами. Он имел в виду всех нас. В таком случае, без информации, передаваемой всем, не обойтись, стоял я на своем. Ему внове был такой дерзкий тон. Не худо приучаться к любому тону, повторил я, и можно начать с меня. Уже не один пленник предстал перед ним — и у всех тряслись поджилки, ибо он волен в их жизни и смерти. У меня, возможно, тоже трясутся поджилки, но волен он лишь в физическом моем существовании, а не в помыслах и желаниях, добивается же он того, чтоб мы возжелали дружбы с ним, трясущиеся поджилки вряд ли способствуют таким желаниям. И вообще — мучить пленников он способен, ограничиваясь своими обычаями и на своем языке, но завоевать их дружбу надо на их языке и согласно их обычаям. После этого я отказался от дальнейшего разговора и замолчал, вызываясь глядя на него.

Он тоже молчал — и немалое время. Я имел возможность убедиться, что старинное выражение «глаза его метали молнии» — отнюдь не гипербола. Впечатление было такое, будто меня ослепляют вспышками прожекторов.

— Хорошо, пусть наша беседа транслируется, — сказал он потом. — Но если мы не договоримся, я должен буду показать своим подданным, как расправляюсь с упрямыми.

— Я отдаю себе в этом отчет, — сказал я спокойно. Я очень волновался.

В ту же минуту дешифратор донес ко мне возбужденные голоса друзей. Они, позабыв об осторожности, не мыслями, а словами обсуждали мое положение. Я прервал их разноголосый хор приглашением послушать мою беседу с Великим разрушителем. Наступило удивленное молчание, потом Ромеро торжественно проговорил одну из своих любимых напыщенных фраз: «Начинайте, адмирал, мы все превратились в слух». Еще я услышал смятенное восклицание Лусина: «Какой ужас, Эли, какой ужас!» — и понял, что оно относится не ко мне, а к Андре.

— Приступим? — предложил Великий разрушитель. Голос его гремел угрожающе. Приняв человеческий облик, он не усвоил человеческого обхождения. Для дружеских переговоров такой зычный рев был, по меньшей мере, нетактичен.

8

Он признавал наши успехи. Внешне мы похожи на старых его противников, галактов. Разрушители, столкнувшиеся с нами в Плеядах, так и докладывали на базу: «Видим галактов, возьмем их в плен». Война с галактами, длившаяся бездну времени, подошла к завершению. Галакты блокированы на оставшихся у них планетах. Вся их надежда ныне на то, что их оставят в покое, — напрасная надежда, он объявляет это твердо.

Но люди оказались неожиданно иными. Они сумели рассеять в Плеядах флот разрушителей, а в Персее взорвали одну из мощно оснащенных планет. Ему,

Великому разрушителю, пришлось запретить своим кораблям выход на галактические дороги, захваченные людьми. Зато тем прочнее он укрепился в своем звездном скоплении. Здесь его мощь опирается на шесть первоклассных крепостных планет, оснащенных сверхмощными механизмами для искривления внутреннего звездного пространства. Нет в мире силы, способной прорвать воздвигнутую им ограду.

— Мы ее, однако, взорвали, — возразил я. — Я говорю о полете трех наших кораблей.

— Вам повезло: в момент вторжения вдруг ослабели защитные механизмы Третьей планеты. Больше это не повторится.

— Если вы не хотели нашего вторжения, то почему же не выпустили нас обратно? — немедленно поинтересовался я.

Он прогремел:

— К переговорам это отношения не имеет. Важно, что вы захвачены нами, а не победили нас.

Что мы захвачены, я отрицать не мог.

Великий разрушитель повторил, что кое в чем мы превзошли разрушителей, зато многое у нас несовершенно, словно мы на заре цивилизации. Если обе наши звездные цивилизации объединятся, ничто не сможет им противостоять.

Меня поразило, до чего ограничено его мышление.

— Так уж ничто? Зловреды... виноват, разрушители владеют маленьким районом Галактики, звездные владения людей и того меньше. Не смело ли говорить о всеобщем владычестве?

Ответ Великого разрушителя был так неожидан, что я сразу не оценил его значительности.

— Понимаю твой намек. Могущество рамиров, естественно, несравнимо с вашим и нашим. Но рамиры давно покинули скопления Персея и заняты перестройкой ядра Галактики, им не до людей и разрушителей, тем более не интересуют их трусливые галакты.

Я выслушал властителя так, словно знал о рамирах куда больше его. Зато дешифратор донес мне гул голосов и движений среди друзей при известии о неведомой нам звездной цивилизации.

— Оставим рамиров, у них хватает своих забот, —

сказал я. — Поговорим о принципах предлагаемого вами братства людей и разрушителей.

— Принцип элементарен: объединить в один кулак наше разрозненное могущество.

— Слишком элементарно для принципа. То, что вы сказали, — средство осуществления цели, а не цель.

— Я могу рассказать и о цели.

— Да, расскажите, пожалуйста.

Он рассказывал охотно и громогласно, я с удовольствием бы слушал речь потише. Ничего нового он не сообщил о своих целях — те же подлые принципы угнетения слабого сильным, космическое варварство и разбой. Он предлагал нам не содружество, а «совражество» — ненависть ко всему, что будет не «мы». Нужно было быть безмерно упоенным собой, чтоб высказывать людям такой проект. Он не был проницателен, этот Великий разрушитель, с голосом водопада.

Я в ответ прочитал наизусть декларацию, принятую на Оре и ставшую впоследствии конституцией Межзвездного Союза.

Я услышал возгласы товарищей и на этот раз не рассердился, что они так несдержанно, шумными голосами, а не молчаливыми мыслями, выражают свое одобрение.

Верховного зловеда моя программа вывела из себя.

— Ты забыл, где находишься! — прогремел он.

— Хорошо помню! — Я весь напрягся. Не он меня, а я его должен был поставить на место. — Я нахожусь в стане жестоких врагов, полностью властных в моей жизни.

— И ты осмеливаешься предлагать мне освободить покоренные народы и завести отвратительную взаимную помощь?

— Без этого немыслимо созидательное существование. Хотите вы или нет, с вами или против вас, но эти принципы пробьют себе дорогу в общениях разумных звездожителей.

Ему показалось, что он нащупал слабое мое место и легко возьмет верх в споре. Логика его была доктринерского склада, в ней отсутствовала важнейшая человеческая черта — широта мысли. Я знал, что наш спор будет неравным, но не тем неравенством, на которое он надеялся.

— Ты сказал — созидательное существование? Чепуха! В мире существует один реальный процесс — разрушение, нивелирование, стирание высот. И мы, разрушители, своей разумной деятельностью способствуем ускорению этого стихийного процесса.

— Разумная деятельность людей иная.

— Значит, она неразумна. Вселенная стремится к хаосу. Разумно и величественно одно — помогать распространению хаоса. Только в хаосе совершенное освобождение от неравенства и несвободы.

— Живые существа стремятся поставить организацию взамен хаоса.

— Стремление отменить хаос — слепо. Оно выражает лишь начальные ступени развития, когда повсеместны неравенства и сложности. Но высший цвет развития — упоительная одноликость всего, восхитительная гибель различий!

— Стремление преодолеть стихию, по-вашему, стихийно? Вы, разрушители, создали самую могущественную организацию, которую знает мир...

— Ты забыл о рамирах, человек.

— Оставим далеких рамиров. Ваша организация, ваш жестокий порядок, ваша чудовищная несвобода для всех...

— Организация создана для увеличения дезорганизации, порядок служит для насаждения беспорядка, а всеобщая несвобода — лишь необходимый временный этап для абсолютного освобождения всех от всего... Мы содействуем, а не противоборствуем глубинным стремлениям природы.

Он вел спор с самонадеянностью мещанина, уверенного, что мир исчерпан в его непосредственном окружении. Он был недоучкой, объявившим свое невежество философской системой, ловким софистом, умело сыплющим парадоксы. Разбить его было легко. Я сомневался лишь в одном: поймет ли он, что его разбили?

В голосе его грохотало торжество:

— Ты молчишь — значит, признаешь себя побежденным!

— Вы опровергаете самого себя, — сказал я.

— Это надо доказать.

— Разумеется. Начинайте обосновывать свое миро-

воззрение, а я покажу, что из каждой вашей посылки следует вывод, противоположный тому, какой делаете вы.

— Можно и так, — согласился он. — Моим подданным будет полезно лишний раз утвердиться в основоположениях нашей философии, хотя она и без того прочна.

— И людям, и нашим звездным друзьям тоже полезно послушать курс вашей философии, — сказал я, но до него не дошла скрытая угроза этих слов.

Начал он, впрочем, оригинально. Вселенная народилась когда-то, как бездна чудовищных различий и очаг непохожих одна на другую сложнейших форм. Пустое пространство — и звездные сверхгиганты, усложненная биологическая жизнь, и аморфная плазма; на этом полюсе торчащий, как пик, всегда индивидуализированный мыслящий разум, на том — скудость разобщенных тупых атомов. Неравномерность и неодинаковость, отвратительное своеобразие всего и во всем, варварство организованных сообществ, тирания порядка, несвобода всевозможных иерархических структур — таким предстает нам начало мира, таким в значительной мере он выглядит и доньше, несмотря на продвинувшееся вперед развитие.

— Но всё только начинается со сложности, а идет к простоте, — грохотал он. — Разве, решая задачи, ты не переступаешь от сложного к простому? Разве, познавая природу, ты не теряешься сперва перед бесконечным ее внешним многообразием, а потом лишь распознаешь внутреннюю простоту? И разве нахождение внутренней простоты не является высшей целью познания? Сколь же благородней не познание, а создание простоты, обогащение мира простотой? А какая простота выше всех? Простота примитива, не так ли? Так обогащать мир примитивом, всё снова и снова порождать примитив, насаждать примитив! А теперь я спрошу тебя: какой примитив проще и благородней? Хаос — надеюсь, ты не будешь отрицать это? Вот мы с тобой и пришли к логическому выводу, что есть единственная вдохновляющая задача у разумного существа — сеять повсюду хаос! В хаосе освобождать себя от всех связей и подчинений! В хаосе достигать совершенного единения с собой, ибо лишь в нем ты

опираешься на одного себя, а на всё остальное тебе наплевать!

В пространстве, продолжал он, дано шесть направлений, во времени же лишь одно — вперед, только вперед! Вперед к высшей форме существования — стиранию всех различий, растворению всех разнообразий. Таково направление развития в природе, такова цель, поставленная себе разрушителями. Ломать неравномерности и отменять неодинаковости! Уничтожать пустое пространство, чтоб звезды сбегались, образовывали сперва рассеянные, потом шаровые скопления! Нивелировать температуры — одни из звезд выплескивают себя в бешеном потоке энергии, другие, от века темные, возгораются! А главное — обрывать высокомерную жизнь, самую древнюю из космических своеобразий и несвобод, самую тираническую из иерархий порядка, обрывать надменную жизнь, отчаянно и безнадежно сопротивляющуюся всеобщему радостному обезличиванию! Обязательная для всех примитивизация — и распад сложных структур, как лучшая форма примитивизации! Всесторонне, всюду, всегда заменять биологическую естественность искусственностью автоматов, ибо нег ничего сложнее, запутаннее, несвободней естественности, ибо нет ничего примитивней, проще и свободнее хорошо разработанного автомата. Когда-то рамиры, теперь галакты обреченно цепляются за отжившую неодинаковость, вымирающие своеобразия. Поставить и их на пользу истребляющей деятельности разрушителей или покончить с ними со всеми!

— Насколько я вас понял, вы ратуете за искусственность против естественности?

— Ты правильно меня понял. Ибо естественность противоречит разуму! Ибо естественность оскорбляет эстетическое чувство создаваемым ею омерзительным нарушением равенства и гармонии! Любой организм считает себя центром мира: он самостоятелен, он своеобразен, он в себе, для себя! Да как это принять? Как это вытерпеть? Беспардонная, безмерная, возмутительная индивидуализация — вот что породила в мире незаконно распространившаяся биологическая жизнь. Этот чувствует одно, тот — другое, один мыслит так, другой — эдак, кто любит, кто ненавидит, кто равнодушен, — как, я спрашиваю, снести такую разноли-

кость? Как примириться с ней? Мы объявили истребительную войну любому своеобразию — и раньше всего, сам понимаешь, любой форме биологичности. В этих серьезнейших философских разногласиях — корень нашей вражды к галактам, отсюда пошла наша война.

Должен сказать, что парадоксальность Великого разрушителя была неожиданна для меня. Он не был глупцом, разумеется, но мышление его было уродливо и вздорно, как видения параноика. Я молчал и слушал, обдумывая возражения.

— О, мы знаем, что поставили себе не только вдохновенную, но и трудную цель! — гремел он, всё больше воодушевляясь. — Но мы осилим все трудности, сметем все преграды. Нет сейчас в мире работников, столь искусных и трудолюбивых, как мы, это я тебе скажу не хвастаясь. Мы переоборудуем планеты, вычерпываем мировое пространство, строим миллионы городов и заводов! И нам вечно не хватает рабочих рук и мозгов, мы их ищем и захватываем везде, где находим. И вся эта бездна знаний и умений, руки и механизмы, заводы и мозги поставлены на великую космическую вахту — службу расширяющемуся Хаосу, освождению мира от диктатуры порядка!

— Теперь я понимаю, почему вы именуете себя разрушителями! — сказал я.

— Да, поэтому! — Он с гордостью добавил о себе: — Я ничего не создал, но способен всё уничтожить! Надеюсь, я убедил тебя, человек, в исторической справедливости миссии разрушителей во Вселенной?

Тогда заговорил я.

Властелин разрушителей утверждает, что ничего не создал, но может всё уничтожить. Если бы это было правдой, то в глазах человека выглядело бы очень непривлекательно. К счастью, это неправда. Он далеко не всё способен уничтожить, и сама его свирепая деятельность уничтожения несет в себе клеточки созидания, достаточно упомянуть о возводимых ими городах, заводах, звездных крепостях...

Ему кажется, что он уравнивает неодинаковости, а если покопаться, он громоздит новые неравномерности. Своеобразие объектов есть сущность мировой гармонии, количество непохожих одна на другую структур нельзя менять по своей прихоти. Создавая тепловую

смерть на материальных телах, разрушители прессы-щают энергией пространство, начинается обратный процесс — народение новых масс вещества, концентрации в них накопленной пространством энергии. Вымывание горных вершин своеобразия — лишь одна сторона развития, другая его сторона — непрерывное горообразование. Вселенная порождает высоты различий так же постоянно, как и стирает их в серой равнинности одинаковостей. Он утверждает, что Вселенная начала со сложности и идет к простоте. Я утверждаю, что Вселенная идет от сложного к простому и одновременно от простого к сложному. Эти два процесса совершаются рядом. И если разрушителям удастся осуществить одну свою цель — уничтожение пространства (недаром же о них говорят — «сжимающие миры»), то вторая цель — деградация энергии — станет неосуществимой. Уничтожая одно, они создают другое. Натискивание звезд в скоплениях подготавливает лишь условия для последующего хорошего космического взрыва. Не продукт ли деятельности разрушителей то, что происходит в Гиадах, где светила рушатся в неведомо как разверзшуюся пространственную яму?

В этом единственном месте владыка зловредов прервал мою речь. Разрушители к процессам в Гиадах отношения не имеют. Возможно, что здесь сказываются результаты стародавней деятельности рамиров. Лишь они, да теперь люди, овладели техникой превращения вещества в пространство, благодаря чему и одержали верх над его эскадрой в Плеядах. Гиады — исключение из правила, стихийно возникшее уродство в гармоническом процессе.

Я ухватился за неловкий поворот его мысли. Если исключения возникают стихийно, то, значит, правилом является возникновение исключений. Сами разрушители — одно из таких гипертрофированных исключений среди остальных звездных народов. Порождение жизни, они уничтожают жизнь, но тем и самих себя. Усовершенствуя искусственность, они превращают ее в естественность — и ничего, кроме этого, не добьются. Ибо естественность — окончательный результат всякой совершенствующейся искусственности.

— Так утверждают наши враги галакты, — заметил он. — Но их софистика ненавистна разрушителям, от-

вергающим парадоксы и признающим лишь строгую логику.

— Я не заметил, чтобы вы отвергали парадоксы. А что до галактов, то мы и раньше были уверены, что галакты — естественные союзники людей.

— А мы естественные враги — так?

— По-моему, да.

Он помолчал. Он еще не был убежден, что переговоры не удались.

— Не ты ли утверждал, что гармония мира требует единства разрушения и созидания?

— Да, я. Но то единство противников, а не друзей, взаимосвязь борьбы, а не дружеского союза.

Я помнил, что меня слушает не только кучка товарищей, но и масса неизвестных сегодняшних противников, — я взывал к их разуму, не все же были безумны, как их повелитель. Я не грозил — разъяснял:

— Вы сами признаёте, что мы сильнее галактов. Сегодня лишь передовой отряд человечества штурмует ваши звездные форты, завтра всё человечество выстроится перед неевклидовой оградой Персея. Ваша философия разрушения восторжествует, но только на вас самих — разрушители будут разрушены! От имени всех звездных народов объявляю вам войну. Отныне и не престанно! Здесь и везде!

Властитель долго молчал, озаряя меня сумрачным сиянием глаз. Молчание было заполнено гулом взволнованного дыхания моих друзей, потом в него вплелись посторонние шумы. Мне хотелось уверить себя, что то голоса подданных властителя, но холодной мыслью я понимал, что вероятней всего это помехи передачи: верховный зловед еще не поставил точки в затянувшемся споре.

Через некоторое время он заговорил:

— Люди и их друзья — живые существа?

— Как и разрушители.

— Самосохранение — важнейшая черта живого. Страх смерти объединяет живущих. Ты согласен со мной, человек?

Я понял, что он приговаривает нас к смерти. Эта надменная скотина жаждала нашего смятения и отчаяния. Я знал, что никто из нас не доставит ему такой радости.

— Страх смерти велик, он объединяет живущих. Но людей еще больше объединяет гордость своей честью и правотой. Многое, очень многое для нас важнее, чем существование.

— Но вы не жаждете смерти, как радости?

Я почувствовал, что мне расставлена западня, но не знал, как избежать ее.

— Разумеется, смерть — не радость...

Теперь его голос не гремел, а звучал бесстрастно, как голос Орлана, — это был вердикт машины, а не приговор властителя:

— Ты обречен на то, чтоб желать недостижимой смерти, как радости. Ты будешь мечтать о смерти, в глупом человеческом неистовстве призывать ее. И не будет тебе смерти!

После этого он пропал.

Я остался один в огромном зале.

9

Тот же безучастный Орлан увел меня назад. Петри пожал мне руку, Камагин кинулся на шею. Я переходил из объятий в объятия, выслушивал поздравления.

— Вы всыпали этому державному подонку, будь здоров! — шумно ликовал Камагин.

Я не понял странного выражения «будь здоров», но восторг Камагина тронул меня.

— Будут репрессии, надо готовиться! — сказал Осима. Он был энергичен и деловит, словно собирался немедленно отражать посыпавшиеся кары.

А Ромеро проговорил с печальной бодростью:

— Вы, без сомнения, держались правильно. Но одно дело — декларации, другое — дела. И поскольку жизнь ваша объявлена неприкосновенной...

— ...то нас будут мучить. Покажем, что муками человека не сломить!

Он смотрел на меня ласково и скорбно.

— Мне кажется, Эли, вы ожидаете грядущих мук с нетерпением, как недавно ожидали битвы. Вы — удивительный человек, друг мой. Впрочем, если бы вы были иной, вас не избрали бы в руководители армии человечества...

— Не будем об этом. Как вам нравится известие о рамирах, Павел?

Ромеро согласился, что главным в моей дискуссии с верховным зловредом является новость о существовании еще одной высокоразвитой галактической цивилизации. К сожалению, рамиры слишком далеки от нас и на помощь против разрушителей их не позвать.

— Отдохните, Эли, — посоветовал Павел. — Известно, что ждет нас в следующий час.

Я опустилсЯ возле Мэри, рядом присел Лусин. Бедного Лусина терзали противоположные чувства: восхищение моим мужественным поведением — так он выразился, и страх, что я навлек на себя жестокое наказание. А надо всем тяготело отчаяние — Лусин всё не мог прийти в себя от встречи с Андре. Притихший Астр глядел такими испуганными и восторженными глазами, что я попросил Мэри отвлечь его. Она отослала Астра, а мне с упреком сказала:

— Ты преувеличиваешь разум и знания своего сына, но недооцениваешь его человеческие чувства. Когда ты спорил с владыкой разрушителей, у тебя не было лучшего слушателя, чем Астр.

Лусин сказал со вздохом:

— Андре, Эли. Дешифратор тоже.

— Говори одними мыслями, — попросил я. — Мысли твои я разбираю легче, чем слова.

Он объяснил, что Ромеро надел на Андре дешифратор, но мысли Андре тоже не радуют. Я настроился на излучения Андре, он сидел в стороне от всех, покачивая головой. В мыслях Андре тоскливо повторялась одна фраза: «Жил-был у бабушки серенький козлик, ах, серенький козлик, ах, серенький козлик...»

— Сколько же должны были его мучить, чтоб весь мир сузился до какого-то паршивого козла, — сказал я.

— Муки были, — ответил Лусин мыслью и добавил: — И сколько их еще будет, Эли!

К Андре подошел Астр. Андре встрепнулся, поднял голову, мне показалось, что на его тупом лице появился отблеск мысли. Астр о чем-то его спросил или спрашивал, Андре не отвечал, но и не отшатывался в испуге — он вслушивался.

Я вскочил, Лусин задержал меня.

— Не надо нам подходить, — посоветовал он через

дешифратор. — Астра, единственного, он не боится, пусть Астр с ним повозится. Поверь мне, я разбираюсь в поведении Андре.

— Да, конечно, — возразил я с горечью. — Андре низвели до состояния животного, а животных ты изучил лучше нас.

Лусин ушел, и мы остались вдвоем с Мэри. Она молчала, до меня не доносились ее мысли, но и без слов и мыслей я мог сообразить, что мучает ее. Я сказал:

— Не надо, Мэри. Над обстоятельством мы не властны. Немного первобытного фатализма нам теперь не помешает — будет то, что будет.

Она слушала меня, грустно улыбаясь, и так рассеянно покачивала головой, что мне показалось, будто она и вовсе меня не слушает и лишь притворяется внимательной, чтобы не обидеть. В дни перед пленом я мало встречал ее, а сейчас видел, что в ней произошла перемена. И я не сомневался уже, что перемена будет неожиданной. Не раз я с недоумением убеждался, что я жду от Мэри одних поступков, а реально происходят совсем другие.

Она сказала, отвернув лицо:

— Не то, Эли. Разве мы не считались с возможностью трагических неудач, когда начинали поход? Я слушала тебя сегодня и думала о том, что была слишком эгоистична.

— Непонятно, Мэри...

— Сейчас объясню. Я хотела разделить твою судьбу, какая бы она ни была. Где ты, Кай, там и я, Кая, — так это мне воображалось.

— Ты уже говорила об этом.

— Но я не просто разделяю твою судьбу, а воздействую на нее, и в плохую сторону. Я знаю: тебе сегодня было бы проще с тем зловредом, если бы не было меня и Астры.

— Ты преувеличиваешь, Мэри.

— Правда, Эли. Я знаю, как ты ответил Эдуарду: «Если бы не было рядом семьи, я принял бы решение о плене гораздо раньше». Нет, не перебивай, мне нелегко будет снова... Я хочу сказать: я не облегчила, а отягчила твою участь. Мне надо поправить свою ошибку. Пока мы в плену, я тебе не жена, а такая же пленница,

рядовой член экипажа. Я не хочу занимать твоего времени больше других, не хочу особого отношения... И Астр тебе отныне не сын, он не больше обязан значить для тебя, ни на один атом не больше, чем любой наш товарищ! Ты должен быть полностью свободен в своих решениях!

Я молчал. Ничего нельзя было изменить, события стали нам неподвластны. И еще я с отчаянием думал о том, что взвалил ношу, непосильную моим плечам.

— Слова, слова! — сказал я потом. — Разве из памяти, из клеток мозга вытравить душу живую?.. И разве от того, что я объявлю тебя такой же, как все, ты уже не будешь для меня особой? И если Астр обратится ко мне со словами: «Адмирал Эли!», а не «отец», он перестанет быть моим сыном? Не будем усложнять существование и без того нелегкое!

Но Мэри слушала лишь меня, а не мои возражения.

— Поцелуй меня, Эли! И пусть это будет наш последний поцелуй. Я освобождаю тебя от нас.

Я поцеловал ее. Она минуту обнимала меня, потом оттолкнула. У меня разошлись нервы, я пошел поговорить с кем-нибудь, кто поспокойней. Я выглядывал Осиму и Ромеро, но натолкнулся на Андре с Астром.

Андре покорно ковылял по залу, куда тянул его под руку Астр.

— Я говорю с ним, а он не понимает, — сказал Астр с печалью. — Слушает и не понимает.

Я схватил руку Андре, лицо его жалко исказилось, он отшатнулся. Он поглядел на меня слепыми глазами, ни намека на сознание в них не было. Я снова подумал: как должны были мучить его, чтоб довести до такого состояния, — и бешенство захлестнуло меня, ярость на разрушителей, на себя, на Мэри, на самого Андре.

— Узнай меня! — крикнул я. — Я приказываю: узнай!

Андре стал вырываться, я не пускал его. Астр попытался стать между нами, я оттолкнул Астра. Я впиался взглядом в потухшие зрачки Андре.

— Узнай меня! — взывал я всё неистовей. — Не выпущу, пока не узнаешь!

Андре с помощью Астра вырвался и стремглав кинулся прочь. Я, вероятно, бросился бы вдогонку, если

бы Астр не заградил дороги. На глазах Астра блеснули слезы.

— Так с друзьями не поступают, отец! — сказал он с негодованием. — Ты сильный, а он больной!

Я что-то хотел ответить, но мощная сила отшвырнула меня от Астра.

Всё вокруг сперва завертелось, потом помутилось. Я падал в мутной бездне, падал долго, падал вечно, шли года, бесчисленное число лет, а я всё падал — так мне казалось. Я состарился и умер за время падения, падал мой высохший труп, он сморщивался, испарял свои атомы, превратился в крохотный комочек — и лишь тогда я возродился.

Я находился в том же зале, на том же месте. Вокруг меня были люди, мои друзья. Я видел страшное лицо Ромеро, помертвевшую Мэри, полного ужаса Астра. Меня окликали, в смятении простирали ко мне руки, пытались пробиться ко мне. Но я был сейчас недоступней, чем если бы унесся в другую галактику.

Великий разрушитель водворил меня в силовую клетку.

10

— Эли, что случилось? — кричала Мэри. — Эли!

Она отчаянно пробивалась ко мне, другие тоже толкались о невидимый барьер, как будто могли помочь, если бы очутились рядом. Осима, один сохранивший спокойствие, возвысил голос, приказывая прекратить суетню и вопли. Я отлично видел друзей, еще лучше слышал их, клетка, непроницаемая для тел, хорошо пропускала звуки и свет.

Осиме удалось наконец установить тишину. Он обратился ко мне так, словно испрашивал очередное распоряжение:

— Как чувствуете себя, адмирал? Повреждений нет?

— Всё на высшем уровне, — отозвался я. Думаю, и мне удалось говорить спокойно. Я попытался усмехнуться. — Меня изолировали от вас. И поскольку я лишен возможности свободного передвижения, хочу передать власть, которой уже не способен нормально пользоваться. Назначаю своим преемником Осиму.

Через некоторое время около меня осталось несколько друзей. Ромеро предложил откровенно обсудить положение.

— Для чего разыгран этот спектакль, Эли? Вероятно, чтоб подвергнуть вас публично пыткам...

Мысль о пытках была фатальной у Ромеро. Я потребовал, чтобы на меня не обращали внимания, что бы со мной ни совершалось. Камагин молча сжимал кулаки, Мэри расплакалась. Больше всего я боялся, что разрыдается Астр, такое у него было перепуганное лицо, но ему удалось удержаться.

— Подходит время ужина. Ешьте и засыпайте, будто ничего не произошло, — сказал я. — Чем меньше вы станете оборачиваться на меня, тем легче мне и досадней врагам.

Вечером на ложах появилась еда, поданная по невидимому эскалатору. В моей клетке ничего не появилось. Я усмехнулся. Фантазия у верховного разрушителя была не обширна. Я растянулся на полу, как на постели. Никто больше не обращал на меня внимания, словно меня не было.

Лишь когда половина людей заснула, к клетке подошел Ромеро.

— Итак, вас осудили на голод, дорогой друг, — сумрачно проговорил Ромеро. — В древности голод причислялся к самым мучительным наказаниям.

— Пустяки. Старинная пытка голодом многократно усиливалась неизбежностью смерти, а мне эта опасность не грозит — я должен возжаждать смерти, но не обрести ее.

Когда Ромеро ушел, я притворился спящим. Мэри и Астр долго не засыпали, Лусин что-то горестно шептал, ворочаясь на ложе. Мало-помалу мной стал овладевать полусонный бред, перед глазами замелькали светящиеся облака, их становилось больше, свет разгорался ярче. Вдруг я услышал чье-то бормотание. Я приподнялся.

По ту сторону прозрачного барьера, прижимаясь к нему щекой, хватая его руками, стоял Андре. Лицо его кривилось, что-то лукавое проступало в улыбке безумца, а глаза, днем тусклые, дико горели. Я подошел поближе, но и вблизи не разобрал быстрого тихого бормотания.

— Знаю, — сказал я устало. — У бабушки был серенький козлик. Иди спать.

Андре захихикал, до меня донеслись слова:

— Сойди с ума! Сойди с ума!

Мне показалось, что я наконец за что-то ухвачусь в ускользающем мозгу Андре.

— Андре, взглядишь в меня, я — Эли! Вглядишь в меня, ты приказываешь Эли сойти с ума, Эли, Андре!

Не было похоже, чтоб он услышал меня. Я перевел дешифратор на излучение его мозга, но и там было только монотонное повторение совета сойти с ума. Он не жил двойной жизнью, как иные безумцы, и в сокровенных тайниках его сознания не таилось ничего, что не выражалось бы внешне. Мне стало очень больно. И эта попытка повернуть его к себе не удалась.

— Нет, Андре, — сказал я тогда, и не так для него, как для себя. — Я не буду сходить с ума, мой бедный Андре, у меня иной путь, чем выпал тебе.

Он хихикал, всхлипывал, лицо его кривилось, боль и испуг перемежались с лукавством. Он бормотал всё глуше, словно засыпая:

— Сойди с ума! Сойди с ума!

II

Не знаю, как мучились те, кого в древности обрекали на голод. Голодовку превратили в мерзкое зрелище, — вот что бесило меня. Я не получал пищи, а у друзей еда не лезла в рот. Я слышал, как Мэри кричала на Астру, чтоб он ел, но не видел, чтоб сама она брала еду. Лишь Ромеро и Осима спокойно ели, и я испытывал к ним нежность, ибо это им было нелегко.

В один из дней я с гневом сказал подошедшей Мэри:

— Разве мне легче от того, что ты истощаешь себя?

Глаза ее были сухи, но голос дрожал:

— Поверь мне, Эли...

— И слышать не хочу! Не известно, что ждет нас завтра. Истощенная мать — плохая защитница сына, неужели ты не понимаешь?

Она прислонилась головой к прозрачному барьеру, долго вглядывалась в меня, усталая и похудевшая. Ей было наверняка труднее, чем мне.

— Ты не выполняешь свои обещания, Эли, — сказала она.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты обещал относиться ко мне и Астру, как ко всем другим.

— Я этого не обещал, Мэри. Ты настаивала, но я не обещал. И ты сама нарушаешь собственные обещания, ты ведешь себя иначе, чем другие. Возьми пример с Осимы и Ромеро.

— А ты посмотри на Эдуарда. Я твоя жена, а что ты ему? Он тоже не ест, Эли!

— Не мучайте меня хоть вы! — попросил я и лег на пол, отвернувшись от Мэри.

Она тихо отошла. Потом я видел, как она ела, Камагин тоже принялся за еду. Я сделал вид, что сплю, и так хорошо притворился, что и вправду заснул.

Вскоре я понял, что спать в часы общего бодрствования — лучший способ поведения. Вначале я делал усилие, чтобы задремать, но потом сон приходил, когда был нужен. Скорее всего, это было забытье, а не сон — я выключал сознание на минуты, на часы, сколько заранее положу себе.

Я слышал, что голодающие воображают вкусные яства и распалют себя до иступления. В рассказах этих масса преувеличений. Меня не влекли картины пиршеств и обжорства. Я много раз рисовал себе и синтетические мясные грибы, и пирожки с начинкой из искусственных сыров, и рыбное жареное филе наших подземных химических предприятий, и жирные мясные колбасы, продукт многостепенной переработки древесины, и свежайшую розовую ветчину с нежным жирком, полученную в результате конденсации горячих газов, и сочные сливочные торты, поставляемые заводами по перегонке нефти, и даже тот неудачный шашлык из бедного натурального барашка, каким пытался нас угостить Ромеро. Надеюсь, никто не усомнится, что в дни голодовки я с радостью проглотил бы даже невкусное натуральное блюдо, изготовленное Ромеро.

Но радости от этих картин не было. Жадная слюна не заполняла мой рот, желудок мой спазматически не сжимался, я не метался, глухо рыдая от сознания неосуществимости моих мечтаний.

Муки жажды тоже, по-моему, преувеличены бесчисленными рассказами, сохранившимися в памяти человеческой. Я знаю, что в древности тысячи потерпевших кораблекрушение умирали от жажды, но уверен, что страдания их обострялись от обозрения бездны соленой воды, непригодной для питья. И я повторяю, что говорил Ромеро: в основе терзаний, вызываемых голодовками, тысячекратно усиливая их физиологическую природу, лежит ужас неизбежной смерти, а с меня это бремя сняли неумные мучители. Я ослабевал и ссыхался, отнюдь не раздирая своей души когтями психологических мук.

Зато меня посещали иные видения, и с каждым днем они становились ярче. Я опять увидел странный зал с куполом и полупрозрачным шаром и бегал вдоль стен зала, страшась приблизиться к шару, а на куполе разворачивались звездные картины и среди неподвижных светил снова мчались искусственные огни, и я знал, что каждый огонек — галактический корабль нашего флота, штурмующего Персей. Я всматривался в огни крейсеров Аллана, вначале их движение было непонятно, потом я сообразил, что присутствую при картине охоты за темными космическими телами вне теснин Персея. Аллан в моем видении подтягивал захваченные шатуны к Персею, заканчивая подготовку к их аннигиляции у неевклидова барьера, чтобы в разлете взорванного вещества ворваться внутрь.

— Я еще раз побывал в галактической рубке зловредов, — так я рассказывал о своем видении Ромеро. Он печально и испытующе смотрел на меня, мой сон интересовал его лишь как свидетельство расстроенного психического состояния.

— В древности многие психологи считали сновидения исполнениями желаний, бушевающих людей в реальной жизни, — сказал он. — Надо признать, друг мой, что ваши видения очень послушно копируют ваши желания.

Боевая рубка зловредов приснилась лишь раз, зато Великого разрушителя я видел часто. Он появлялся, окруженный сановниками, среди них был и Орлан, докладывавший собранию, как ведут себя пленные.

Фантазия моя придавала разрушителям такой диковинный облик, они были так бредово фантазмагоричны,

что ни до, ни после я не находил похожих среди реальных врагов. Ромеро пишет в отчете, что я своими видениями иронизировал над врагами и что вообще ирония — характерная форма моего отношения к действительности. Возможно, что это и так, но сам Великий разрушитель и Орлан являлись в привычном нам виде, призрачно копирующие людей. Остальные, правда, были удивительных образцов — крылатые, как ангелы, ползущие, как змеи, изломанные и сверкающие, как молнии. Одни торчали массивными ящиками, другие, вступая в беседы, вдруг распускали пышные кроны взамен голов и становились подобны земным деревьям, третьи, когда к ним обращался властитель, превращались в жидкость и текли речью, текли в точном смысле слова — мутным, то красноватым, то голубым ручейком, kloчущим, извилисто стремящимся по залу, и все вглядывались в извивы и блеск их пенящейся речи, — а потом, закончив слово, они спокойно стекались назад, становились снова телом из потока, и тело, малоприметное, серенькое, скромно стиралось где-нибудь в уголке среди прочих сановников.

Но красочней всего были «взрывники» — как я называл эти диковинные существа, разлетавшиеся огненным веером, когда на них падал взгляд властителя. Я никак не мог разглядеть, каковы их тела до того, как они начинали отвечать на вопросы властителя. Очевидно, сами по себе они были столь невыразительны, что глаз на них не задерживался. А речь их была так феерична, ответы сыпались такими пылающими комьями, что я сжимался в своей клетке, страшась, чтоб меня не опалило огненным словом. Я с интересом наблюдал, как и другие приближенные властителя с испугом поеживаются, когда кто-нибудь взрывается испепеляющим докладом.

Должен заметить, что непосредственно речей их я не разбирал, код информации был мне темен, но из вопросов и реплик властителя и Орлана я вполне уяснял себе, о чем они толкуют.

И облик сановников Великого разрушителя, и способности их взаимообщения были так невероятны, что мне всё чаще приходило в голову — не лишаюсь ли я разума?

Однако было нечто, что удерживало меня от этого

вывода. Тело мое слабело, но дух оставался ясным, всё остальное, кроме бредовых видений, было реальным: я различал вещи и друзей, вещи не меняли своих естественных форм, друзья говорили со мной, я отвечал, ни один не усомнился в разумности моих ответов, беседы наши текли, как обычно, только становились короче, мне всё труднее было говорить.

И еще имелось одно, тоже важное. Безумной была внешность сановников властителя, но не дискуссии. Тут всё было логично. Я и сам с моими помощниками, попади мы в аналогичное положение, рассуждали бы похоже — говорю о фактах и логике, а не о способе информации.

— Вы сказали, что сон некогда рассматривался, как исполнение желаний, — поделился я как-то с Ромеро новой мыслью и даже нашел в себе силы тихо засмеяться. — Я всё больше убеждаюсь, что это так. В мечтаниях я неотвратно одолеваю наших врагов.

Ромеро с некоторых пор переменил отношение к моему бреду. Не было теперь дня, чтоб он не осведомлялся, что я видел во сне.

— Странно, странно! — сказал он задумчиво. — Я попрошу вас, дорогой друг, и впредь передавать ваши видения в мельчайших подробностях.

— Ищете развлечений? — спросил я сухо. Не знаю, уловил ли он обиду, голос мой был так слаб, что стирались все интонации. — Или вам нужна дополнительная информация о моем душевном состоянии?

Он покачал головой.

— Ваши видения больше похожи на информацию — фантастически, правда, искаженную, но о реальных событиях, — чем на простое порождение болезненного бреда.

— Они порождены ежедневными вопросами Орлана, Павел. Чем я могу еще отплатить врагам, если не повторяющимся бредом о их неизбежной гибели?

Я ненавидел этого отвратительного стража. Он обрисовывался около моей клетки ежедневно, иногда по три раза на день, временами казалось — ежечасно. Он стоял, полупризрачный, неподвижный, лишь шея неторопливо вытягивалась, унося голову вверх, бесстрастно интересовался:

— Тебе еще не хочется смерти, человек? Надеюсь, тебе не хорошо?

Я смотрел на его безжизненное лицо и весь накалялся.

— Мне хорошо. Ты даже вообразить не можешь, остолоп, как мне хорошо, ибо я до своей кончины еще увижу твою гибель, гибель твоего властителя, гибель всех его прихлебателей. Передай своему верховному чурбану, что я бесконечно радуюсь жизни.

Орлан со стуком вхлопывал голову в плечи и исчезал.

12

Переломные события нашего плена отпечатались в моей памяти во всех подробностях.

Вечером, перед ужином, я приказал себе уснуть, а когда пробудился, была ночь, пленные спали. Я сел; встать и пройтись по клетке, как делал еще недавно, не было сил. Не открывая глаз, я вслушивался в звуки, доносившиеся отовсюду: сонное всхлипывание, шуршанье поворачивающихся тел, храп мужчин, развалившихся на спине, свист носов тех, кто разлегся на боку... Я в последнее время стал хуже видеть, к тому же, в ночные часы самосветящиеся стены тускнели. Зато обострился слух, сейчас до меня свободно доходили звуки, каких я в нормальной жизни не мог бы уловить.

И я легко разобрался еще до того, как шаги приблизились, что кто-то подкрадывается ко мне. Так же безошибочно, всё не открывая глаз, я определил, откуда слышался новый шум. Я поднялся на ноги и минуту так стоял, пересиливая головокружение. Перед глазами замелькали глумливые огоньки, в изменяющейся сетке пропала тусклая картина спящего зала. Я терпеливо дождался, пока погасла последняя искорка, и, ощупывая воздух руками, чтоб не удариться о прозрачные препятствия, медленно двинулся к ограде. Я делал шаг и останавливался, от каждого шага вновь вспыхивали искры в глазах, нужно было не дать им разгореться до головокружения.

Потом я долго всматривался в маленького человечка, напиравшего телом на наружную сторону невидимой ограды.

— Астр, зачем ты пришел? — спросил я. — Ты должен держаться, будто меня не существует.

Эту недлинную речь я произносил минут пять.

— Отец! — зашептал он со слезами. — Может, хоть ночью я смогу передать тебе пищу?

Он тщетно старался просунуть сквозь невидимую стену кусочки еды. Он вбивал их в силовой забор, они падали на пол, он поднимал их, снова, всё отчаянней, пытался просунуть. Плач его становился громче.

Я смотрел на него, вяло соображая, чего ему надо. Мне не хотелось есть, не хотелось разговаривать, я лишь одно понимал — рыдания могут разбудить Мэри и она не справится с новым приступом отчаяния.

— Астр, иди спать! — сказал я. — Даже атомные орудия наших предков не разнесут эти стены, а ты хочешь пробиться сквозь них слабыми кулачками.

На этот раз я говорил связной речью, а не словесными корпускулами. Астр бросил на пол принесенную еду, стал топтать ее ногами и всё громче плакал. У него был слишком горячий характер.

— Перестань! — приказал я, голос мне почти уже не подчинялся. — Стыд смотреть на тебя!

— Ненавижу! — простонал он, сжимая кулаки. — Отец, я так ненавижу!

— Иди спать! — повторил я.

Он уходил, через каждые два-три шага оборачиваясь, а я смотрел на него и думал о нем. Он был сыном шестнадцатого мирного поколения человечества, даже слово это — ненависть — было вытравлено из словаря людей задолго до его рождения, он тоже его не знал. И он сам, опытом крохотной собственной жизни, открыл в себе ненависть, ибо любил. Я не уверен, что именно так думал в тот момент, но всего меня заполнило смутное ощущение, эквивалентное именно этим мыслям.

Наш разговор, как ни был он тих, привлек Андре. Безумец спал мало, и в часы, когда все покоились, неслышно прогуливался по залу, напевая неизменную: «Жил-был у бабушки серенький козлик...»

Он подошел к месту, откуда пытался ко мне пробиться Астр, оперся локтями о силовые стенки, лукаво посмеивался истощенным постаревшим лицом, подмаргивал. Сперва я не разобрал его шепота, мне пока-

залось по движению губ, что повторяется всё тот же унылый совет сойти с ума, но вскоре я разглядел, что рисунок слов иной, и стал прислушиваться. Фразу: «Не надо» — я расслышал отчетливо.

— Ты даешь мне новый совет? — переспросил я, удивленный. — Я правильно тебя понял, Андре?

Он забормотал еще торопливей и невнятной, лицо его задергалось, покривилось, засмеялось, испуганно задрожало — все эти выражения так быстро сменяли одно другое, что я опять не понял ни слов, ни мимики.

— Уйди или говори ясно, я очень устал, Андре, — сказал я, измученный.

На этот раз я расслышал повторенную дважды фразу:

— Ты сходишь с ума! Ты сходишь с ума!

— Радуйся, я схожу с ума! — сказал я горько. — Всё как ты советовал, Андре. Я искал другого пути, кроме безумия, и не нашел его. Что ж ты не радуешься?

— Не надо! Не надо!

Только теперь, когда он повторил эту фразу, я понял, к чему она относилась.

У меня снова закружилась голова. Я привалился туловищем к стенке, простоял так несколько минут, опоминаясь.

Когда я очнулся, Андре не было. В полумраке сонного зала я увидел торопливо удаляющуюся согбенную фигурку.

Сил добраться до середины клетки на тряпичных ногах не хватило, я опустился на пол, где стоял, и вскоре забылся, а еще через какое-то время повторилось видение и раньше посещавшее меня — штурмующие Персей корабли Аллана.

На этот раз я не увидел зала с подвешенным посередине полупрозрачным шаром, кругом была просто звездная сфера, окраинный район скопления Хи, — я неслись меж звезд, превращенный сам в подобие космического тела. Вместе с тем и в бреду я сознавал, что я не космическое тело, а человек, и не лечу в космосе, а покоюсь где-то на наблюдательном пункте, а вокруг меня не реальные светила, а их изображения на экране, и бешеный мой полет от одной звезды к другой — не реальное движение, а лишь поворот телескопического анализатора: я не мчался, рассекая

проходы меж светилами, а прибором отыскивал эскадры Аллана.

И когда передо мной засверкали огни галактических крейсеров, я жадно, повторяя едва шевелящимися губами вслух цифры, считал их. Две светящиеся кучки, две растянутые струи огней по сто искр (каждая-искра была хорошо мне знакомой сверхсветовой крепостью) неслись клином на Персей — острие клина нацеливалось на Оранжевую, тусклую, постепенно гаснущую; я уже хорошо знал, что означает ее зловещее исчезновение.

«Пробьются или не пробьются?» — думал я, трясаясь слабой дрожью, у меня не хватало сил и на дрожь, лишь мысли пока не теряли ясности. «Пробьются или нет?» — думал я, выглядывая темные тела в густо пылающей массе огней: тел было не меньше десятка, они неслись, покорные могучим аннигиляторам кораблей, каждое из тел в миллионы раз превосходило любой звездолет по объему и массе, а одно, самое массивное, составляло острие клина — вытянутая грозная шея желтовато-белых огней кончалась черным клювом.

И скоро, сам весь затянутый черным туманом бреда, я уже не видел ни эскадр, ни увлеченных ими планет, гигантская светящаяся птица с темными пятнами на белом теле хищно неслась в моем мозгу, вздымала клюв — сейчас, сейчас она яростно ударит им в самое темя скопления!

— Клонет, сейчас клонет! — шептал я лихорадочно, меня всё мучительней била дрожь, я плотнее прикрывал глаза, чтоб отчетливее узреть надвигающееся.

А затем я увидел забушевавшее горнило, и массы галактических кораблей, ринувшихся в фокус взрыва. В моем мозгу путались звезды и корабли, звезды ошалело неслись в стороны, расшвырнутые взрывом пространства, а корабли пожирали новосотворенное пространство пастями аннигиляторов и рвались вперед, на исчезнувшую Оранжевую, вперед, только вперед — к нам на помощь...

Потом я стал уноситься вверх. Я лежал на боку, скрючившись, меня по-прежнему била слабая дрожь, жизнь еле теплилась во мне, а в чадном бреде тело мое, могучее, как галактический корабль, пробив стены, вольно вынеслось в вольный простор. Я не знал, куда

меня уносит, ликующее ощущение заполнило меня всего — свобода!..

Я упал на пол в знакомом зале, на троне восседал верховный злоред, обширное помещение заполняли странные лики и фигуры — образины, а не образы, я много раз уже наблюдал их в своем бреде...

Я попал на совещание у Великого разрушителя.

13

Меня не увидели, и я знал, что увидеть меня нельзя, но проворно отполз в угол, откуда открывался хороший обзор собрания. Властитель чего-то в молчании ожидал, и все вокруг него были молчаливы. «Плохи у них дела, если они так подавлены», — злорадно подумал я.

Сановники внезапно зашевелились. Один, темная уродливая тумба, пышно разбросил крону, он походил теперь не то на орех, не то на платан, и всё рос, ветви ползли вверх и на середину зала, листья наливались фиолетовым сиянием. Разрастается речью, подумал я огорченно; по опыту прежних сновидений я знал, что не пойму их языка: они могли речами раздражаться, разряжаться, взрываться, растекаться, разрастаться, высвечиваться, вызваниваться — смысл оставался мне неведом.

Но едва он раскинулся словом, как я с удивлением сообразил, что отлично разбираюсь в его передаче: он информировал собрание, что лишь неполадками на Третьей планете и можно объяснить опасное вклинивание человеческого флота во внешние обводы неевклидовой улитки скопления Хи.

— Вторая и Четвертая планеты приняли на себя гравитационное напряжение Третьей, — шелестел платаноподобный сановник. — Первая, Пятая и Шестая тоже поддержат усилия Второй и Четвертой. Флоту врага не проникнуть в нашу звездную ограду, Великий...

Верховный злоред раздраженно сверкал прожекторами глаз. Пышная крона оратора стала морщиться и опадать, он превращался из дерева в прежнюю тумбу. Голос Великого разрушителя гулко гремел, он да Орлан одни здесь разговаривали голосом.

— Удалось ли отбросить врага на исходные позиции?

Ему ответил льстиво извилистой речью один из тех, что превращались в ручьи, и я опять хорошо разобрался в его журчащей и пенящейся информации:

— Сделано много, очень много, о Великий, флотилии врага не проникли внутрь, им не удалось проникнуть, нет, не удалось, их выпирает назад крепчающая неевклидовость, их выпирает...

— Они выброшены за пределы скопления?

— Нет, пока нет, не выброшены, нет, — завертелся говорливый ручей, — но их оттесняют, их оттесняют, их оттесняют...

Великий разрушитель махнул рукой, и ручей мгновенно иссяк.

— Они аннигилировали одну планету, а тащат с собой больше десяти. Что произойдет, если они повторят аннигиляции?

Теперь разлетелся один из «взрывников». Его пылающие осколки еще летели над вельможами и властителем, а я уже знал, какие сведения передавал фейерверк.

— Каждая аннигиляция — прорыв около одной десятой неевклидовых препятствий. Если враги захваченное космическое вещество полностью превратят в пустоту, им удастся проникнуть в скопление.

— Что останется нам тогда?

В ответ зазмеился новый сановник. Он так переламывался, извивался и скручивался, что было страшно глядеть. Переданная его пляской информация была малоутешительна для зловредов:

— Последний шанс тогда, последний шанс — открытое сражение, флот против флота, флот против флота, собрать все корабли, все корабли со всего скопления, со всего скопления, и ударить, и окружить, и задушить, и ударить, ударить, задушить, распасться, распасться!..

— Сам распадайся! — свирепо рявкнул властитель.

Оратор не распался, а опал и быстренько уполз на старое место.

Великий разрушитель, помолчав, продолжал свой громогласный допрос:

— А если не сумеем нанести врагам поражения в бою, каковы прогнозы на этот случай?

Очередной оратор, вспыхнув столбом пламени, так бешено завертелся у трона, что я чуть не ослеп от буйного огневорота информации. Лишь с трудом я уяснил себе, что этот стратег предлагает бежать на защищенные планеты и «заколыцеваться» на них. Чем-то он был похож на змеежителей с Веги, но не прекрасен, как те, а чудовищно безобразен.

— Иначе говоря, покинуть межзвездные просторы Персея, которыми мы владеем безраздельно столько поколений, — сумрачно выговорил верховный зловред. — Перейти на положение гонимых галактов, заблокированных в своих звездных логовах? Обороняться без шансов на последующую победу? И все согласны с таким ужасным проектом?

Оказалось, что все, наоборот, несогласны с огненным пораженцем. Ораторы разрастались, рассыпались, растекались протестами, взрывались и змеились несогласиями, пылали опровержениями, разряжались молниями критики. Для всех было ясно, что бегство на укрепленные планеты есть лишь начало неизбежного конца.

На меня особое впечатление произвело туманное слово одного из военачальников, туманное не потому, что мысль, заключенная в нем, была неясна, нет, высказывался он четко, но избрал для передачи своих предложений никем из соседей еще не примененный способ: за клубился синеватым облачком и стал оседать на присутствующих.

— Наши противники и не будут атаковать защищенные планеты, — зловеще моросила у меня в мозг пронизывающе холодная информация туманного стратега. — Они не станут подвергать гибели свои корабли, не надейтесь на это. Враги соединятся с разблокированными планетами галактов, выпросят ужасные биологические орудия и с дальней дистанции расстреляют нас. Не забывайте, что переавтоматизация наших организмов на более надежную механическую основу не завершена!

Властитель задумался.

— Верно, всё верно! — прогремел он потом. — Прогрессивный процесс примитивизации только начат. Мы увлеклись второстепенными задачами и мало усилий тратили на эту, основную, вселенски-космическую

проблему истребления изначальных сложностей. Философски мы давно уже определили свою историческую миссию, как превращение организмов в механизмы. Я недавно подробно об этом рассказывал в споре с тем упрямым дурачком, которого мы захватили в плен. Но практически — успели в этом недостаточно. И если биологические орудия галактов появятся у наших планет, спасения не будет. Соединения людей с галактами допускать нельзя. Я хотел бы узнать, как дела на Третьей планете? Передачу информации разрешаю только для новостей.

Выступил новый оратор, я понял, почему властитель поставил ему ограничения. В зале поплыло зловоние.

Оратор — существо, похожее на головоглаза, но без его сверкающего перископа — окутался желтым дымом, и я, задохнувшись, схватился за нос и если не зажал его полностью, то лишь потому, что не хотел упускать интересной информации. Оратор просмердел о Третьей планете, что новый Надсмотрщик вступил в командование Управляющим Мозгом, неполадки незначительны, хотя в сложившейся острой ситуации едва не вызвали катастрофических последствий. Сейчас их исправили, и Третья планета, мощнейшее сооружение в Персее, снова в строю.

— И если в первой фазе прорыва Третья планета ослабила противодействие, — дышала на меня нестерпимой вонью речь оратора, — то к концу его ей удалось энергично ввести в свои неевклидовы захваты новосозданные объемы пустоты. Помощь Второй и Четвертой планет была значительна, но исход схватки решила Третья, я на этом настаиваю и, если будет дозволено...

— Хватит! — загрохотал властитель. — Для присущего тебе способа передачи твои речи излишне многословны. Пусть теперь Орлан доложит, как чувствуют себя пленники и что с ними делать.

Чего-либо важного в речи Орлана я не услышал. Пленники подавлены испытаниями, выпавшими на долю адмирала, сам адмирал бодрится, хотя ослабел и уже не может передвигаться. Ничего другого, кроме того, что он восхищен такой жизнью, от него не добиться.

Всё, что Орлан сообщил собранию, я знал лучше его.

Зато развернувшаяся дискуссия открыла много нового. Орлан начал ее словами:

— Как поступить с пленниками, зависит от того, что собираемся делать мы сами.

— Эвакуироваться! — прогремел властитель. — Никелевая планета в опасной близости от района штурма. Мы перебазировемся на Марганцевую или на Натриевую. Пленников прихватим с собой.

— Ни на Марганцевой, ни на Натриевой не удастся обеспечить их существование, Великий. Люди — биологически слабые объекты, у них трагически узок спектр жизненных условий. Чрезмерная сложность структуры, Великий...

— Это их дело — узок он или широк! Пусть знают, что с такими биологическими структурами не завоевать господство во Вселенной, а они, как и мы, стремятся к господству, хоть сами болтают о всеобщем братстве. Погрузить людей и всех, кто с ними, в захваченный звездолет и под охраной завтра же отправить на Марганцевую.

— Будет исполнено, Великий! Что до адмирала... Ты гарантировал ему жизнь, Великий?

— Я гарантировал лишь то, что не покушусь на его жизнь. А если этот чванливый неудачник подохнет собственным усердием, печалиться не буду. Еще меньше буду страдать о гибели его друзей. Из всех звездных народов, которые мы покоряли, люди самые отвратительные — неудачное телосложение, отсталая философия, аристократического примитива ни на грош. Правда, мы их еще не покорили, но, когда это случится, пусть пеняют на себя!

Я расхохотался. Я катался по полу и задыхался от смеха. Я уже не боялся, что мое присутствие откроют враги, мне плевать было на их месть, часы их сочтены, они сами это понимают.

И вдруг бред оборвался, я услышал словно со стороны то, что в видении представлялось мне торжествующим хохотом, — слабое всхлипывание, жалкое бормотание. Я лежал у невидимой стены, ослабевший так, что уже не мог пошевелить рукой. И, вероятно, самым тяжким физическим усилием всей моей жизни

было то, какое понадобилось, чтоб повернуть голову вбок, потом приподнять ее.

С другой стороны барьера на меня смотрел Ромеро. Он сказал с надеждой в голосе:

— Мне кажется, дорогой друг, вам привиделось новое удивительное сновидение?

14

Я поднялся на ноги.

— Замечательный сон! — прошептал я. — Вы посмеетесь, Павел.

К Ромеро присоединились Камагин с Лусином, за ними подошли Осима с Петри. Они слушали меня внимательно, но не смеялись. А я всё не мог удержать смеха, сейчас, при озаренных по-дневному стенах, фантастические фигуры и лики ораторов, нелепый язык их речей, казались еще забавней.

— Интересный сон! — сказал неопределенно Петри.

Осима молча пожал плечами, а Камагин воскликнул:

— Видения фантастичны, а действительность чудовищна! К сожалению, единственный отпор, который мы можем оказать этим мерзким существам — поиздеваться над ними хоть в воображении.

— Очень уж сложны эти сны, чтобы быть только снами, — с сомнением проговорил Ромеро.

Как и все люди его эпохи, Камагин был последовательным рационалистом. Ромеро искал в суевериях зерно истины, Камагин начисто его отвергал. Нас с Камагиным разделяло пятьсот лет человеческого развития, но во многом он был мне ближе Ромеро.

— Уж не хотите ли вы сказать, что какой-то неведомый друг снабжает адмирала секретной информацией, зашифровав ее в образы сна?

Ромеро сдержанно возразил:

— Я хочу сказать, что нисколько не был бы удивлен, если бы это было так. Во всяком случае, я запомнил и галактическую наблюдательную рубку, которую дважды посетил адмирал, и то, что Аллан штурмует Персей, вбивая между его светилами таран аннигилируемых планет, и то, что на Третьей планете, мощнейшей крепости разрушителей, неполадки, и, наконец, то,

что наши друзья галакты обладают какими-то биологическими орудиями, приводящими в ужас разрушителей. Согласитесь, что ни о чем подобном мы не слыхали до того, как Эли стали посещать его сны. Сновидения, стало быть, несут в себе принципиально новую информацию. Иной вопрос — правдива ли эта информация.

Маленький космонавт вспыхнул:

— Бредовые видения голодающего — вот что такое эти информации! — Он с раскаянием повернулся ко мне. — Адмирал, я не хотел вас оскорбить.

Я через силу улыбнулся:

— Разве я не голодающий? И что всё это бред — не отрицаю.

Ромеро холодно проговорил:

— Я выдвигаю такое утверждение: если хоть один из фактов, открытых нам в сновидениях адмирала, окажется реальным, то и все остальные также будут правдивы. Согласны с этим?

— Согласен! — сказал Камагин и насмешливо добавил: — Вы забыли, Ромеро, одно известие, также ставшее нам известным из сновидений адмирала. Оно допускает непосредственную проверку: нас сегодня собираются эвакуировать на какую-то Марганцевую планету! Сегодня, Павел! И если сегодня пройдет и эвакуации не будет...

Камагин еще не закончил, как Ромеро остановил его поднятой тростью:

— Принимается. Итак — сегодня!

— Стены совсем посветлели, — сказал я со вздохом. — Сейчас появится наш мерзкий тюремщик и поинтересуется, не возжаждал ли я смерти.

Орлан появился, словно вызванный.

— Адмирал Эли, первое испытание закончено, — сказал он бесстрастно. — Скоро тебе дадут поесть. После еды все вы должны собраться. Пленных эвакуируют с Никелевой планеты на Марганцевую.

Ромеро выронил трость, Осима, всегда сдержанный, вскрикнул. Камагин широко распахнутыми, полубезумными глазами смотрел на меня.

Орлан исчез внезапно, как и появился.



И на что мне язык, умевший слова
Ощущать, как плодовой сок?
И на что мне глаза, которым дано
Удивляться каждой звезде?
И на что мне божественный слух совы,
Различающий крови звон?
И на что мне сердце, стучащее в такт
Шагам и стихам моим?!
Лишь поет нищета у моих дверей,
Лишь в печурке юлит огонь,
Лишь иссякла свеча — и луна плывет
В замерзающем стекле...

Э. Багрицкий

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

мечтательный автомат на третьей планете

I

Эвакуация походила на бегство.

В зал хлынули головоглазы. Нам не дали ни обсудить приказа, ни просто перекинуться соображениями. Человеческим языком головоглазы не владели, но зрение у них было зорче нашего, а гравитационные оплеухи впечатляли красноречивей слов. Вновь появился Орлан, и мы услышали впервые его истошный крик, раздававшийся потом так часто, что он и поныне звучит в моих ушах:

— Скорей! Скорей! Скорей!

Я многого не помню в начальных минутах эвакуации, я потерял сознание до того, как исчезла силовая клетка. Пришел я в себя на ложе, рядом сидела Мэри, сжимая мои руки в своих руках, в ногах стояли молчаливые друзья. Я услышал ее счастливый голос:

— Очнулся! Он живой!

Я хотел сказать, что неживым я быть не могу, раз мне гарантирована жизнь, но не хватило сил на шепот. Зато я постарался глазами передать, что чувствую себя превосходно. Мэри расплакалась, уткнувшись головой мне в грудь.

— Великолепно, адмирал, — бодро объявил Осима. — Пока вы лежали без сознания, вас покормили.

— И ели вы с аппетитом, — добавил Ромеро, улыбаясь. — Но потом вдруг окаменели, и мы порядком перепугались.

— На какой корабль нас грузят? — спросил я, по-немногу овладевая голосом.

— На «Волопас», — ответил Камагин. Он иронически усмехнулся. — Побаиваются вселенские завоеватели показывать нам свои корабли.

С помощью Ромеро и Мэри я приподнялся. В зал вполз на Громовержце Лусин. Мы с Мэри и Петри примостились за спиной Лусина. На других драконах разместились друзья.

— Включай мотор, — сказал Петри Лусину. Лусин так радовался моему освобождению, что не обиделся на Петри за поношения любимца.

Крылатый ящер быстро пополз по коридору, но в распределительном зале его затерли в угол пегасы. Летающие лошади с визгом и ржанием топотали в туннеле, стремясь поскорее вырваться на воздух. На одном из пегасов промчался Астр, он радостно закричал мне и помахал рукой.

— Не забудь: номер пятьдесят восьмой! — крикнула ему вслед Мэри.

Астр и ей махнул шапкой.

— Неплохо ездит, — заметил Петри, словечко «неплохо» у этого флегматичного человека было высшей формулой одобрения. Мне тоже показалось, что Астр как литой на пегасе, он лихо пригибался к шее коня, ловко выгибал ноги, чтоб не мешать работе крыльев, сам бы я так не сумел. Даже Лусин признавал, что езда на пегасах — дело посложней, чем на старых бескрылых лошадях.

Громовержец, выбравшись наружу, взмыл вверх. Мы опять увидели крохотное белое солнце в зените, не приветливое, бессильное светило, не способное ни согреть планету, ни затмить лихорадочное сверкание

звезд. Внизу простиралась мертвенно зеленая планета — никелевые поля, никелевые леса, озера и реки никелевых растворов. И везде, куда хватал глаз, громылись шары звездолетов, огромные, угрюмые, тускло-серые — горы рядом с холмиком «Волопаса», приткнувшегося в центре образованной ими долинки. Пять звездолетов прибавилось с момента нашей высадки на планете.

Громовержец не успел завершить витка над «Волопасом», как попал в гравитационный конус. Дракона так быстро швырнуло вниз, что Лусин закричал, Мэри застонала, а у меня на секунду остановилось сердце.

Еще быстрее нас засосало в недра «Волопаса» и здесь, на причальной площадке, всером поразбросало — дракона в одну сторону, Мэри с Лусином в другую, а меня с Петри в третью.

— Берегитесь! — закричал Петри, проворно увлекая меня с площадки. На нее в это время валились другие драконы, засосанные гравитационной трубой.

Я не сумел быстро отскочить, и на меня упал Ромеро, а на Ромеро — Камагин.

К счастью, ни один из гигантских ящеров не свалился нам на голову — все счеты с нами были бы тогда покончены сразу. У разрушителей имелись аппараты, следящие, чтоб захваченная живая добыча при подобных обстоятельствах не раздавливалась всмятку. Но мы этого не знали и с облегчением вздохнули, когда выбрались на улицу корабельного городка.

— Дóма! — сформулировал Осима наше общее чувство. Мы шли вдоль знакомых зданий, еще недавно наших квартир; во Вселенной, вероятно, не было уголка более нам близкого, чем этот.

И разрушители ничего не тронули у нас в комнатах, то один, то другой из пленников выбегал на улицу и радостно сообщал, что всё сохранено, как было до высадки на зеленую планету.

— Загляни, как у нас, — попросил я Мэри, когда мы подошли к нашей квартире. — А я пойду в наблюдательный зал. Не беспокойся, мне хорошо.

Я не сделал и двух шагов, как мимо меня промчался Астр со склянкою в руке. Я окликнул его, он не отошел.

— Куда умчался наш сын? — с беспокойством спро-

сил я Мэри. — В такое время разгуливать по звездолету небезопасно!

Она лукаво улыбнулась.

— Ничего с ним не будет. Подождем здесь его возвращения.

Астр возвратился минут через пять. Он сиял.

— Всё исполнено, мама! — закричал он издали. — Выбраться наружу не удалось, но я выплеснул склянку через канал анализаторов. Планета заражена.

Я ничего не понимал.

— Заражена? Может, все-таки объяснишь, Мэри, что происходит?

Оказалось, Астр по просьбе Мэри распылил на планете заряд жизнедеятельных бактерий, питающихся никелем и его солями. Планета теперь заражена жизнью. Процесс вначале будет совершаться незаметно, потом убыстрится, пока эпидемия жизни не забушует на поверхности и в никелевых недрах. И тогда оборвать жадное разрастание жизни будет возможно лишь полностью уничтожив планету.

— Ты знаешь, кто я? — с гордостью спросил Астр. — Я теперь житнетворец, отец!

— Ты молодец! — сказал я и похлопал его по плечу.

В обсервационном зале на экранах разворачивалась звездная сфера. Мы находились не в центре скопления, а где-то на окраине, северная полусфера была беднее яркими светилами, чем южная. Я навел умножитель на Оранжевую. Это был сверхгигант такой неистовой светимости, что он представлялся скорее крохотной лунной, чем сравнительно далекой звездой.

Была хорошо видна и единственная планета, быстро вращавшаяся вокруг звезды, странная планета, она то сверкала желтым, то синевато-белым, словно ее отражающая способность менялась при повороте вокруг оси.

После кратковременного оживления мне вновь стало плохо. Петри первый заметил, что я теряю сознание. Пришел в себя я уже на улице, Петри нес меня на плечах, рядом шли друзья. Я попросил опустить меня на землю, Петри отказался. Неподалеку от обсервационного зала мы повстречались с Мэри, и, чтобы успокоить ее, Петри пришлось все-таки поставить меня на ноги.

В комнате я лег на диван. Друзья настроились на

мое излучение, мыслями беседовать было не только безопасней, но и легче — мне, во всяком случае.

— Произошли удивительные происшествия, надо в них разобраться, — сказал я. — Я хотел бы знать ваше мнение, Павел.

Ромеро не успел начать, в комнату вошли Астр с Лусином и Андре. Андре был одет в новое пальто, выбрит, причесан — всё это проделали Лусин с Астром, когда добрались до квартиры Лусина. Он теперь больше напоминал прежнего Андре, постаревшего и похудевшего, — такими, вероятно, люди в прошлые времена поднимались с постелей после болезни. Одно лишь лицо, отсутствующее, подергивающееся то в лукавой ухмылке, то испуганно перекашивающееся, да бессмысленно-тусклые глаза выдавали, что разум к Андре не возвратился.

— Можно побыть с вами? — спросил Астр за троих.

Против Астра, хоть он был малыш, я возразить не мог, но Андре меня смущал.

— Разве вы не заметили, что у Андре умопомрачение не болтливое? — опроверг мои сомнения Ромеро. — Когда-то утверждали, что каждый сходит с ума по своей системе. Система безумия нашего несчастного друга — замкнутость. Присутствие Андре вреда не принесет. Поговорим о ваших снах, Эли.

— Сны адмирала относятся, по древней терминологии, к вещим, сейчас против этого не восстанет даже скептик Камагин, — сказал он дальше. — Сновидения Эли — своеобразная форма информации, примененная тайными нашими друзьями в среде разрушителей.

— В расчете на приобретение таких друзей среди угнетенных зловедами народов и среди рядовых разрушителей я и вызвал верховного чурбана на открытый спор. Похоже, какой-то успех есть, — сказал я.

Ромеро не согласился. Речь не о друзьях среди рядовых верноподданных. Мы приобрели тайных союзников в непосредственном окружении Великого разрушителя. Откуда, в противном случае, мог бы я узнать, что происходило на военном совете врагов? И если форма передачи фантазмагорична, — он тоже сомневается, что стратеги разрушителей разрастаются кронами, взрываются и разливаются ручьями, — то содержание подтверждено фактом эвакуации. Он высказы-

вает такую мысль — в нашу пользу действуют не отдельные разрушители, но организация друзей. Не кроется ли за неполадками на Третьей планете сознательная диверсия? Если так, то где эта Третья планета? И кто из приближенных властителя причастен к ней?

Ромеро закончил так:

— Единственным достоверным источником информации сегодня являются сновидения адмирала. Я отдаю себе отчет, что нелепо просить Эли видеть побольше снов. Но запоминать всё, что вы увидите во сне, друг мой, я намереваюсь просить — абсолютно всё, до самого тихого звука, до самого бледного силуэта! А теперь отдохните. И пусть вам приснятся новые сны — удивительней прежних.

Они поднялись сразу все. Мэри хотела остаться, но я отослал и ее. Я догадывался, что ей не терпится в лабораторию. Я отлично посплю сейчас. заверил я.

Лусин с Астром тормозили Андре, тот отстранялся с таким испугом, что мне его стало жаль.

— Оставьте Андре, он будет тихонько сидеть, я буду тихонько дремать, мы превосходно поладим друг с другом.

Вначале я и вправду хотел поспать, но сон не шел. Меня тревожило ощущение чего-то важного, случившегося во внешнем мире. Я вызывал в себе картину атак кораблей Аллана, но вскоре убедился, что лишь мысленно пересказываю себе содержание вчерашнего сновидения.

Я стал присматриваться к Андре.

Он уныло сидел в уголке, монотонно покачивался туловищем, голова его была опущена, локоны, причесанные и помытые, метались, как живые. Уже десятки раз я наблюдал Андре в таком же состоянии полного отрешения от окружающего, разница была та, что до меня не доносился дребезжащий голос, тоскливо бубнящий о сереньком козлике.

— Что же ты не советуешь мне сойти с ума? — спросил я. — И разве глупая бабушка уже отыскала пропавшего козлика?

Он приподнял голову, вслушался, от напряжения у него отвалилась нижняя челюсть. Посторонние голоса уже проникали в него. Но смысл слов оставался тем-

ным, глухие заборы по-прежнему прикрывали те части мозга, где творилось понимание.

— Андре, возвращайся! — сказал я, волнуясь. — Прощу тебя, возвращайся, Андре!

И это он услышал, не только услышал, но и что-то понял, ибо испугался. Он еще дальше отодвинулся в угол и там боязливо замер. Было жуткое противоречие между его лицом, озаренным отблеском далекого понимания и смятения, и невидящими глазами идиота.

— Не бойся, не укушу! — устало проговорил я и опустил веки — сон сковал меня бурно и крепко. Во сне я видел склонившегося Орлана, а рядом с ним ухмылялся и хихикал Андре, и так подмигивал, словно намекал на известную лишь нам обоим тайну.

Ромеро, когда я рассказал этот сон, со вздохом определил, что информации в нем маловато.

2

Порою казалось, что тюремщики отсутствуют на корабле, — так свободно было ходить по городу и парку. Зато чуть мы приближались к помещению служебному, как невеста откуда появлялся сторожевой головоглаз. В обсервационном зале и днем и ночью было полно наших.

Я часто ломал голову над тем, для чего разрушители пускают нас сюда, раскрывая тем самым тайны укреплений Персея. Петри считал, что раскрытие этих тайн входит в план покорения людей.

— Демонстрируют могущество. Расчет такой — устращимся и запросим мира на их условиях...

Если и вправду имелся такой план, то похвастаться им было чем. Мы мчались в окружении кораблей вражеской эскадры, а за пределами зеленых огней разворачивалась величественная панорама: наплывала одна, другая звезда, к ним теснились третья и четвертая, и на всех умножители фиксировали планеты, сотни планет, обжитых, индустриализованных, с городами и заводами, с тысячами кораблей, кружащих над планетами. Меня охватывало уныние, когда я брал в руки умножитель, — враг был могущественный, очень деятельный.

Камагин, штурман старого закала, заносил в корабельную книгу — имелась у него и такая — всё, что открывалось на стереоэкране. Вскоре у него появилась схема пройденного пути, не столь детальная, как составила бы МУМ, но достаточная, чтоб различить, как размещены в пространстве звезды, сколько у каждой планет и что обнаружено на планетах...

— Нам, безоружным, эти сведения не понадобятся, — сказал я Камагину, очень гордившемуся своим творением. — А если эскадры Аллана прорвутся сюда, корабельные МУМ оценят обстановку полнее и точнее.

Камагин посмотрел на меня чуть ли не с сожалением.

— Я составляю не пособие к бою, а основу для размышлений. Меня временами поражает, как беззаботно люди вашего поколения перепоручают машинам все виды умственного труда. Так недолго потерять и способность к мышлению!

Осима был единственным, на кого не произвела впечатления демонстрация мощи зловредов. Он считал, что все эти дьявольски оснащенные планеты с искусственными лунами и армадами крейсеров — на три четверти мистификация. Нас обманно кружат в одном и том же районе, показывая его с разных направлений.

— Внимательней приглядитесь, — доказывал он, водя пальцем по карте Камагина. — Вот здесь и здесь картины схожие, — почему? И последите за Оранжевой. Если курс — на нее, то все эти блуждания вокруг да около нее — спектакль.

Меня Осима не убедил. Мы приближались к Оранжевой, а не петляли вокруг нее. Настал день, когда она переместилась на ось полета, нас выворачивало в лоб на Оранжевую.

В этот день перед нами появился Орлан, и я совершил неосторожность. На корабле мы почти не видели его и отвращение при виде его бесстрастной образины понемногу стерлось, теперь я мог бы с ним разговаривать без ненависти и гнева. К тому же он больше не спрашивал — не надоела ли мне жизнь, и не возникал, словно из небытия, а нормально — порхая — приближался. Ромеро называл это так: не появляется, а проявляется.

— Послушай, тюремщик, — сказал я, когда мы уви-

дела его. — Кажется, вы собираетесь причаливать к звезде Оранжевой, где расположена крупнейшая ваша стратегическая база?

Он холодно отвел мой вопрос:

— Я не осведомлен в сравнительной мощи различных баз. Их много, и все они могучи. А звезду, которую ты называешь Оранжевой, мы скоро оставим в стороне.

Мне досталось от Ромеро, когда Орлан со своими неизменными стражами скрылся.

— Дорогой адмирал, вы бы еще сообщили ему, что эту крупнейшую базу, по вашим предположениям, именуют Третьей и что на ней произошли загадочные неполадки. После этого он, естественно, поинтересовался бы источником вашей информации. Я не буду удивлен, если слежка теперь усилится до такой степени, что начнут контролировать ваши сны.

— На корабле мне ни разу не снилось путного, пусть контролирует, — отшутился я. Мне самому было неприятно, что я проболтался.

Вскоре Оранжевая сошла с оси полета. Мы двигались мимо нее в центр скопления.

В день катастрофы я находился у Мэри в лаборатории. Она с новым жаром продолжала исследования низших форм жизни. Ей помогал Астр. Теперь, когда всё это в далеком прошлом, я нахожу, что ей удалось лучше нас всех использовать обстоятельства плена.

— Мы оживим не одну Никелевую, а все эти металлические пустыни, если когда-нибудь они станут открыты для нас, — говорила в тот день Мэри. — И наряду с кристаллическими псевдорастениями появятся растения живые, вначале микроскопические, потом сомасштабные нам. Полюбуйся, Эли, в этой пробирке нет ничего, кроме железа, но в ней уже кипит жизнь.

И в этот момент звездолет свела судорога. Я выбираю слова наиболее точные. Корабль жестоко жгло, вещи сорвались с мест. Мэри выронила пробирку, а налетел на Мэри. Одна стена надвинулась на другую, а пол понесся к падающему потолку.

— Мэри, что с тобой? — закричал я в ужасе и пытался поймать ее. Мэри сплюснулась в блин, тут же, распухая, опала до карлика. Только в кривых зеркалах

можно было увидеть фигуры, подобные той, что вдруг стала у нее.

Вероятно, у меня был вид не лучше. Мэри, побелев, отшатнулась, когда я наконец ухватил ее за руку.

Вещи спустя минуту обрели нормальные размеры, но «Волопас» продолжал содрогаться каждой переборкой, он весь был наполнен гулом потревоженных механизмов.

— В обсервационный зал! — крикнул я Мэри. — Проклятые разрушители устроили новую каверзу.

На улице я чуть не ударился о пробежавшего Орлана. На этот раз он был без эскорта, и облик его свидетельствовал, что каверзу устроили не сами разрушители. Я схватил его за плечо:

— Что случилось? Признавайтесь, вы задумали погубить корабль?

Орлан молча вырывался. Я с ликованием почувствовал, что у него не хватает сил отбросить меня. Когда у разрушителей отказывает чертовщина технических средств — все эти гравитационные поля, закрученные пространственные оболочки, электрические разряды и ослепляющий свет, — с каждым из них может справиться земной мальчишка.

— Пусти! — хрипел полузадушенный Орлан. — Мы все погибнем, если не пустишь!

Мэри дернула меня за руку. На улицу высыпали тревожно пересвечивающиеся перископами головы. Я нехотя выпустил разрушителя.

Орлан уносился такими стремительными скачками, что казалось, будто целая цепочка Орланов скачет по узкой улице.

В обсервационном зале в меня ударил истошный крик Камагина:

— Адмирал, нас засасывает на Оранжевую!

3

Вокруг нас исчезала Вселенная. Три четверти звезд скопления пропали, остальные тускнели на глазах. Я схватился за умножитель, но картина не переменилась. О внешних светилах, величественном нагромождении ядра Галактики, и говорить не приходилось: там, где

недавно неясно, небесной пудрой, светились бесчисленные миры, не было ровным счетом ничего — черная пустота и только.

— Забавное происшествие! — сказал Осима. По голосу было ясно, что Осима не перепуган, а заинтересован. Энергичный капитан уже прикидывал, какую выгоду можно извлечь из непонятого происшествия.

Оранжевая не светилась, а плыла, жгуче-яркая, резкая, как вспышка — непрерывно длящаяся вспышка! Мы неслись в ее сторону, это было очевидно. Очевидным было и то, что скорость сноса всё увеличивается, мы далеко углубились в сверхсветовую область.

— Вам ничего не напоминает это зрелище, Осима? — спросил я, усмехаясь.

— Конечно, адмирал! — откликнулся Осима. — Точно так же нас сносило и на Угрожающую. Только сверхсветовые скорости там были поменьше.

— Скоро не будет ни одной звезды, — задумчиво проговорил Ромеро. — Интересный мир! Вам не снилось чего-либо похожего, дорогой друг?

Звезды продолжали тускнеть, одна за другой и все сразу, а после них стали исчезать звездолеты. Снаружи бушевала удивительнейшая из бурь, еще недавно мы и вообразить не могли, что она возможна — буря неевклидовости.

Стройную полусферу задних зеленых огней размыло, звездолет катился на звездолет, их сметало в кучу, выносило за пределы экрана, словно горстку сухих листьев. Они уже не подталкивали безжизненное тело «Волопаса», их самих мощно вышвыривало наружу по кривым неевклидовым дорогам. В эти последние перед исчезновением минуты сияние задних звездолетов усилилось так, будто их охватило внутренним огнем. Вероятно, все их энергетические ресурсы работали на сопротивление утаскивающей в невидимость силе, а лихорадочное свечение было лишь попутным проявлением этой борьбы.

Не успели мы присмотреться к схватке, разыгравшейся на задней полусфере, как последний зеленый огонек укатился за ее край и экран залила густая чернота — позади нас не было больше ни пространства, ни тел в пространстве.

На передней полусфере продолжали сверкать огни

вражеской эскадры. Пространство захлопывалось вокруг Оранжевой, а эти восемь огоньков светили столь же пронзительно, расстояние между ними не менялось. Если нас засасывала Оранжевая, то их она засасывала вместе с нами.

— Адмирала Эли в командирский зал! — разнесся по звездолету резкий голос Орлана. — Немедленно в командирский зал!

Я колебался, Ромеро подтолкнул меня:

— Идите, хуже не будет. Видимо, происшествие такое чрезвычайное, что понадобилась ваша помощь. И если вы откажетесь, вас доставят силой.

Командирский зал был освещен, силовые транспортеры не действовали — пришлось открывать двери руками и входить, а не влетать внутрь.

Возле кресел стоял Орлан со своими охранниками.

Орлан так высоко вытянул шею, что она, не сдержав тяжелой головы, перегнулась, как змеиная. Я ответил сдержанным поклоном.

— Надо запустить ходовые механизмы звездолета, адмирал! — распорядился Орлан, прихлопывая голову к плечам. — Речь идет о жизни твоей и твоих друзей.

— И, вероятно, о ваших жизнях тоже, — добавил я насмешливо. — Я уже докладывал тебе: мозг корабля — управляющая машина. вышла из строя.

— Нужно срочно ее наладить.

— Я не разбираюсь в таких сложных агрегатах.

— Кто из экипажа разбирается?

— Никто. Управляющие машины ремонтируют только на наших базах.

Орлан засветился всем лицом. Красный цвет у разрушителей, как и у людей, признак гнева. Гневаются они не больше нашего, но освещаются сильнее.

— Адмирал Эли, у вас, несомненно, имеются приспособления для ручного управления.

— Да, — сказал я. — Для посадки, для движения в эйнштейновом пространстве, но не для сверхсветовых рекордов, которые сейчас требуются. Может, скажешь, что произошло? Это облегчит решение — помочь или не помочь вам?

У Орлана стал сосредоточенный вид, словно он прислушивался к чему-то. И у них, похоже, молчаливые передачи, подумал я.

— Я скажу, — заговорил он. — Механизмы метрики на звезде, мимо которой мы пролетали, разладились. Курс нарушен, корабли разбрасывает. Нас закрывает в пространственной улитке, а другие звездолеты выносят за ее пределы.

Я показал на пылающую Оранжевую:

— Не та ли звездочка является центром пространственной улитки?

— Она или не она — будет плохо, если не вырвемся.

— Я бы хотел разъяснений подробней.

Он несколько секунд колебался.

— Великий запретил выпускать «Волопас» из поля зрения. В момент, когда мы начнем исчезать, звездолеты нас атакуют. Если хоть один ударит из гравитационных орудий, «Волопасу» придет конец. Нужно удержаться около кораблей или защититься от их нападения. Оживи механизмы корабля, адмирал!

Свиристельное злорадство палило меня. У меня тряслись руки, дрожал голос.

— Вот как — оживить механизмы, Орлан? Купить свою жизнь ценой передачи вам важнейших секретов? Не слишком ли дорогая цена? Слушай и запоминай: мы погибнем, люди и их друзья, но и вы все погибнете...

— Поздно! — страшно крикнул Орлан. — Нас обстреливают!

Оранжевая зловеще лила красноватый свет на погасшем небе, а кроме нее было еще три зеленых точки, три закатывающихся в иной мир звездолета. Я уже знал, что такое гравитационный обстрел, и невольно зажмурил глаза, когда три исчезающих точки в последний раз вспыхнули. Я вспомнил, как закричал в сражении возле Угрожающей, и до боли прикусил губу. Кругом были враги, ни один, даже перед собственной смертью, не услышит моего предсмертного вопля. «Слышишь, ты! — с бешенством подумал я, — ты не проронишь ни звука! Ни звука ты не проронишь!»

— Нет! — выкрикнул задыхающийся Орлан. — Нет!

Я раскрыл глаза. На черном небе сияла одна Оранжевая. Звездолеты вынесло из нашего пространства, ухнули в иной мир и выпущенные ими разрушительные волны. Я не знал, что нас ждет дальше, но растеря-

ность Орлана была очевидна. Мне захотелось поиздеваться над ним.

— Обошлось без раскрытия человеческих секретов, зловед! Не кажется ли тебе, что на нашей стороне сражаются силы, помогущественней ваших кораблей?

Моя насмешка привела его в себя. Он надменно втянул голову в плечи.

— На вашей стороне, человек? — Он ткнул рукой в Оранжевую. — Если бы ты знал, куда нас несет, ты предпочел бы гибель под гравитационным обстрелом. В Империи Великого разрушителя нет места грозней, чем Третья планета.

— Третья планета? — вскричал я. У меня заметаюсь сердце. — Третья планета, Орлан?

Он отвернулся.

Невидимые гибкие руки схватили меня за плечи, повернули, подтолкнули к выходу.

Взбешенный, я попытался вырваться. Но сейчас у меня не было индивидуального поля, которым я некогда сразил напавшего невидимку.

В коридоре я погрозил кулаком Орлану, схоронившемуся в командирском зале.

— Третья планета! — повторил я, ликуя и тревожась. — Третья планета.

4

На полусферах экрана золотело небо. Я сказал «небо» и почувствовал, до чего это слово мало соответствовало тому, что разворачивалось перед нами. Небо — нечто над головой, пространство со звездами, планетами, спутниками. Здесь небо было над головой и под ногами, оно казалось по́логом, светло-золотым, пустым — одна исполинская Оранжевая и кружащая вокруг Оранжевой одинокая планета.

— Время поднимать восстание, — заявил Камагин, когда стало ясно, что «Волопас» идет к планете.

— Никаких восстаний! — возразил Осима. — Без древней романтики, Эдуард.

Камагин носился с мыслью о захвате корабля с момента, как исчезли вражеские крейсера. Он доказы-

вал — мысленно, конечно, — что конвой перебить легко, а на планете мы, вне сомнения, найдем защитников и друзей.

Всё в этом отчаянно смелом плане мне не нравилось. Я не был уверен, что мы, практически безоружные, одолеем охрану, последнее столкновение с невидимкой показывало, что врагов больше, чем представляется глазу. И я не знал, что делать с бездействующим кораблем: он был теперь не больше, чем крохотным небесным телом, плетущимся в пространстве по воле неведомых сил. И мы понятия не имели, что нас ждет на Третьей планете: предупреждение Орлана звучало грозно.

— Но разве вы не слышали во сне, что на Третьей планете какие-то неполадки? — спорил Камагин. — И разве до сих пор эти неполадки не шли нам на пользу? Разве механизмы планеты не погасили гравитационный залп по «Волопасу»?

— Я узнал во сне также и то, что новый Надсмотрщик быстро навел на планете желанный порядок, — возразил я. — Пока я командую, Эдуард, восстаний ради восстаний не будет. Выражаясь термином вашего времени, мы играем слишком крупную игру, чтоб азартно рисковать.

Перед посадкой звездолета на планету состоялся новый разговор с Орланом. Он появился в парке, где я прогуливался с Астром.

— Адмирал Эли, — обратился ко мне Орлан. — Корабль причаливает на неудачном месте. Тяготение на планете зависит от широты, мы высаживаемся в зоне большой гравитации. Нужно поскорее переместиться к Станции Мировой Метрики, там легче. На планете нет средств передвижения, ее запрещают посещать. Со Станцией нам не удалось связаться. Ты должен позаботиться, чтоб пленники двигались с максимальной быстротой.

— Как атмосфера и температура на планете? Нужно ли облачаться в скафандры? Как с водой и пищей?

— Скафандры оставите на корабле. Атмосфера и температура — приемлемые. Воду и пищу погрузите на свои авиетки. Есть еще вопросы?

— Да. Что это за планета? Почему мы высаживаемся на ней? Что нас ждет?

— На эти вопросы я не отвечу, — сказал он холодно. Лицо его светилось неприятным синеватым блеском. — Всё?

— Последний вопрос. Ты так сейчас говорил, Орлан, словно искренне заботишься о нашем благополучии. Вместе с тем ты — враг, жаждущий нашего уничтожения. Как совместить это противоречие?

— Противоречия нет. Мне не дали приказа жаждать вашего уничтожения. Я обязан доставить вас на Марганцевую планету. Если что-нибудь помешает этому, я должен вас всех уничтожить, но на волю не выпускать.

Так, по крайней мере — ясно. Я с тяжелым чувством смотрел, как Орлан уносился широкими скачками. Вокруг нас плелась невидимая паутина, мы, как мухи, бились в ее тенетах.

Астр сказал сердито:

— Ты разговариваешь с этой образиной, как с человеком. Я бы плюнул на него, а не улыбался ему, как ты.

Я обнял малыша. Он рос вдали от своего естественного окружения и многие понятия, усваиваемые другими с детства, должен был завоевывать, а не принимать разжеванными.

— Знаешь, в чем главная сила людей? В технической мощи? В уровне материального благополучия? Нет, сынок, этим не покорить других. Завоевательная сила людей в том, что они даже к нечеловекам относятся по-человечески.

В нем шла борьба. Он хотел мне верить, но его маленький личный опыт вступал в противоречие с огромным опытом человечества, втиснутым в краткую формулу: «По-человечески».

— Ты сказал, отец, — покорить других, завоевательная сила... Разве люди — завоеватели и покорители? Такие слова я слышал лишь о зловредах и помню, как ты возмущался ими в споре с Великим разрушителем.

Я засмеялся.

— Люди и покорители, и завоеватели, но в ином смысле, чем зловреды. Мы покоряем души, завоевываем сердца — такова историческая миссия человечества во Вселенной.

Это была металлическая планета, голая металлическая пустыня, нигде не камуфлированная псевдорастениями и псевдореками, как на Никелевой. И в ее атмосфере не плавали псевдотучи, на ее блестящую поверхность — где сплав золота со свинцом, где просто чистое золото и просто чистый свинец — никогда не проливалась не то что вода, но даже и жидкие растворы солей.

А над нестерпимо сверкающей золотом и свинцом равниной раскидывалось нестерпимо сияющее золотое небо, и в небе пылала красно-золотая звезда, раз в пять меньше — по видимому диаметру — нашего Солнца, столь же яркая, совсем не по-солнечному жесткая.

Я упал, спускаясь по трапу. Сила, много превышающая мое сопротивление, потащила меня, как крюком. Я не спускался, а свергался по ступенькам.

На меня свалился Петри, на Петри — Осима. Я пытался приподняться на руках и не сумел. Петри помог мне встать. К нам, помогая себе тростью, подобрался Ромеро. Он всегда был бледнее любого из нас, но сейчас природная бледность превратилась в синеву.

— Тройная перегрузка, если не в четыре раза, — прохрипел он, силясь улыбнуться, даже это было здесь трудно. — Боюсь, друг мой, предстоят непосильные испытания.

Легче других было Камагину. В его времена космонавтов тренировали при больших перегрузках, они не были избалованы гравитаторами, везде создававшими привычные человеку условия. Камагин тоже побледнел, но дышал свободней; думаю, у него не так шумело в ушах и не с таким усилием билось сердце. Но и он сказал сумрачно:

— Мир, Эли, — повеситься!..

Ангелов и крылатое хозяйство Лусина выгрузили раньше людей — и всем было тяжело. Драконы превратились в ящеров и довольно проворно ползали, помогая себе крыльями, как веслами на воде. Даже могучий Громовержец примирился с судьбой пресмыкающегося, а не летающего. Пегасы отчаянно боролись с силой притяжения, некоторые взлетали, но тут же падали.

Ангелам, более легким, удавалось подняться выше, но полет требовал таких усилий, что они вскоре свалились, совершенно измученные. Труб с громом пронесся над нами, но после минут пять вытирал пот с лица и говорил, словно ворочал гири языком. Меня терзали шумы — визг пегасов, раздраженные крики ангелов, шум крови в ушах, тяжкий стук сердца.

Я увидел вдали Орлана и попросил Петри помочь добраться до него. Выгрузка продолжалась, и я со страхом думал о Мэри и Астре. Орлан вытянул голову не так высоко, как раньше, и опустил ниже обычного. Ему тоже было не легко.

— Нельзя ли оставить самых слабых? — попросил я. — На корабле действуют гравитаторы...

— Все выгружаются! — отрезал он.

Я попробовал спорить, но он отошел. И порханье его лишилось обычной живости, и бесстрастное синеватое лицо стало еще синее. Я возвратился к товарищам.

В это время на трапе показался Астр с рюкзаком на спине, за ним шла Мэри. Петри криком предупредил малыша, чтоб он не бежал, но Астр слишком поздно услышал крик. Он камнем полетел на грунт, и если бы Петри не ухватил его в последнюю минуту, Астр расшибся бы насмерть. Мы с Мэри подоспели к нему одновременно, Астр задыхался, из носа шла кровь, лицо было бледнее, чем у Ромеро. Я поспешно снял с Астры рюкзак. В нем, как я узнал потом, были склянки с жизнетворными бактериями, питающимися золотом и свинцом.

— Мужайся, сынок! — сказал я. — Бери пример с Эдуарда. Здесь страшная тяжесть, а храбрый воин, наш космонавт, прогуливается, как в корабельном парке.

— Я постараюсь, отец. — Голос Астры не слушался, из глаз не исчезал испуг, но жаловаться он не стал. — Что сумеет Эдуард, то и я.

Петри, поддерживая Астра за плечи, увел его от трапа. Астр почти догнал в росте маленького космонавта, почти не уступал ему в мужестве, но силы их были неравны, сам он этого не понимал, но я знал.

— Какой ужас, Эли! — прошептала Мэри.

У нее побелели глаза, не одни белки, но и радуж-

ная оболочка. Я и не подозревал раньше, что черные глаза могут белеть.

— Успокойся! — сказал я. — Труднее всего первые минуты, а их Астр вынес. Понемногу привыкнем к тяжести. Но если бы не Петри, ваше стремление сеять всюду жизнь могло бы стоить жизни нашему Астру.

— Я боюсь за тебя. После такой голодовки!..

— У меня было время забыть о голодовке.

Когда сошел последний человек, корабельные автоматы стали выгружать авиетки и припасы и какие-то длинные ящики с имуществом разрушителей. Петри погрузил в авиетку и рюкзак.

Ни одна из авиеток не сумела взлететь. Форсируя мощности гравитаторов, они лишь ползли неповоротливей драконов. И они брали меньше половины обычного груза. Ящики разрушителей передвигались сами — низко летели над грунтом на гравитационной подушке, как на катках.

— Наденьте защитные очки, друзья! — посоветовал Петри.

В защитных очках не так слепило от скал планеты и свирепой звезды, накалявшей ее. И нестерпимый золотой блеск неба смягчался, хотя и не становился приятным. Больше всего меня угнетало небо — яростно золотое, однотонное, непроницаемо сияющее.

Ко мне подошел Осима:

— Какие будут приказы, адмирал?

— Приказы отдает Орлан, разве вы не знаете, Осима? — сказал я с горечью. — Какой я адмирал! Не хочу больше слушать этого обращения! Не хочу!

Мэри сжала мой локоть:

— Возьми себя в руки, Эли!

Ответ Ромеро на мой выкрик прозвучал суровей:

— Не ожидал такого малодушия, дорогой друг. Мы свободно выбрали вас в руководители — и вы останетесь руководителем, куда нас ни бросит судьба. Итак, какие будут приказы, адмирал? Какие призывы?

У меня путались мысли, тяжело шумело в ушах. Проклятая планета была слишком массивна. И хоть я уже не падал, ноги и руки были тяжелы для меня, голова камнем давила на плечи. Я всегда радовался своему телу, оно было — я, здесь оно превратилось в нечто

внешнее, стало мне непомерно. От меня ожидали приказа быть бодрыми, я не мог отдать такого приказа: во мне самом не было бодрости.

Я обвел глазами товарищей. Камагин один не смотрел в мою сторону, остальные подбадривали меня взглядами. Камагин несомненно и сейчас был убежден, что всё пошло бы по-иному, если бы мы подняли бунт и перебили охрану.

Труб с шумом взлетел опять и опустился возле меня.

— Трудновато, — сказал он. — Ничего, не погибнем.

Неподалеку Лусин помогал идти пошатывающемуся Андре. Астр пошел к ним, с трудом отрывая ноги от грунта, он тоже пошатывался, но уже не падал.

— Хорошо, я обяжу вас приказом и обращусь к вам с призывом — и всё в одном предложении, — сказал я. — Предложение такое: пусть каждый выполнит и вынесет то, что выполняю и вынесу я сам.

К нам неуклюже подпорхнул Орлан с телохранителями:

— Кто пойдет первым в колонне?

— Я пойду первым, — сказал я.

Мы двинулись в непонятную дорогу — цепочка головоглазов, окружившая кольцом колонну, Орлан с телохранителями внутри цепочки, за ними я, за мной Мэри с Ромеро, Осима, Петри и Камагин, а дальше другие пленники. Крылатые ящеры и авиетки с грузами завершали шествие. Орлан временами оборачивался, нетерпеливый крик: «Скорей! Скорей!» подхлестывал нас, как плетью.

С тех пор прошло много лет, давно нет Орлана, скоро и меня не будет, но крик этот «Скорей!» доносится ко мне не стертым голосом воспоминания, он возникает живой, властный, грубый, и я опять, как в те дни бесконечного пути к Станции, испытываю ярость и отчаяние. Тысячи новых событий и чувств нарождаются ежесекундно — старые вечно живут.

— Скорей! — кричал Орлан, увеличивая размах прыжков.

Я старался не глядеть на угнетающий блеск пустыни со свинцовыми скалами, вспучившимися на золотой подстилке. Вначале я поднимал вверх лицо, чтоб ори-

ентироваться по Оранжевой, медленно катившейся по золотому небу, но небо было еще томительней, чем планета. Я шел, ощущая, что и стоять здесь тяжело, а двигаться десятикратно тяжелее, стокилограммовые тумбы ног почти не сгибались.

Петри открыл, что надо не ходить, а скользить, и вскоре все мы двигались, словно на лыжах. Но и скользя по гладкому металлу, мы не могли угнаться за неутомимо ползущими головами — на них одних не действовала плохо тяжесть — и за неуклюже скачущим Орланом.

— Скорей! — кричал он всё яростней, и каждый выкрик сопровождался гравитационными оплеухами охраны.

Нас подгоняли бесцеремонно, свирепо. А когда мы огрызались, понукания усиливались.

За моей спиной постепенно погасали звуки — стоны и ругательства людей, шелест крыльев ангелов, охи драконов и злой визг пегасов. Огромное, ожесточенное, ненавидящее молчание простиралось позади — мы презирали врагов молчанием, молчанием восставали против них. И как это ни странно, с течением времени идти становилось не труднее, а легче, мы втягивались в движение...

Зато когда Орлан скомандовал первый привал, все повалились, где шли.

Всех моих сил хватило лишь на то, чтоб приплестись к месту, где села Мэри. Она хрипло дышала, глаза ее запали. Она прошептала:

— Ничего, Эли, я держусь. Но Астру плохо.

Астр приблизился вместе с Трубом. Могучий ангел в дороге пытался нести Астру, но тот не разрешил Трубу даже поддерживать себя.

— Я вынесу всё, что вынесешь ты, — прошептал Астр на мои упреки и бессильно опустился рядом с Мэри.

Он был так измучен, что говорил, не открывая глаз. Губы его почернели, щеки ввалились. Астр переоценивал свои силы. Я строго сказал:

— Ты не только мой сын, но и член экипажа «Волопаса». Ты обязан подчиняться моим приказам.

— Я подчиняюсь, — прошептал он и с трудом поднял веки. У него были мутные глаза.

— На следующем переходе примешь помощь Труба.

Всё остальное время отдыха мы пролежали без движения и без разговоров, даже мыслями не обменивались.

В середине второго перехода закатилась Оранжевая. Впоследствии мы наблюдали ее уход часто и он перестал волновать, но в тот раз мрачная пышность заката нас потрясла.

Когда светило коснулось горизонта, в однотонно золотом небе вдруг забушевали краски. По небу, как побежалые цвета по раскаленному металлу, пронеслись все мыслимые тона. Небо из золотого стало слепяще оранжевым — звезда сама пропала на созданном ею фоне, — затем красным, темно-красным, зеленым и голубым, а под конец всё поглотила сумрачная фиолетовость.

И ни единой звезды не загорелось на менявшем краски, постепенно гаснувшем небе! Оно становилось черным, только черным, ни малейшая искорка не нарушила зловещей черноты. И это было так удивительно и страшно, что, несмотря на истерзанность, мы возбужденно обменивались мыслями и словами.

— Ни одного луча наружу, ни одного луча к нам, полностью выпали из Вселенной! — воскликнул не то голосом, не то мыслью Ромеро. — Даже в древних преисподних было больше проходов в мир.

— Очевидно, об этом и говорил Альберт, что звезда Оранжевая выпадает из пространства, — донеслась удивленная мысль Камагина. Ему не верилось, что мы замкнуты в пространственной улитке, пока он своими глазами не убедился в отсутствии звезд.

Петри больше интересовали деловые вопросы.

— Интересно, что происходит во внешнем мире, когда мирок Оранжевой превращается вот в этукую «вещь в себе»? А ведь что-то происходит. Как по-вашему, адмирал?

— Не знаю, — ответил я без охоты. Все мои душевные силы сконцентрировались на том, чтоб не сбиться с шага, я один не вмешался в обмен мнениями. — Будем живы — узнаем.

В темноте разгорались перископы головоглазов. Вскоре они одни освещали планету — цепочка сумрачных огней, то медленно усиливающихся, то тускнею-

щих, то повелительно вспыхивающих. Временами изменения яркости наступали сразу у многих — будто ветер раздувал и гасил факелы.

— Скорей! Скорей! — понукал голос Орлака.

Он назначил второй привал. Авиетки с припасами переползали от ряда к ряду, и мы подкрепились.

После еды снова раздалась команда:

— Собираться! Скорей!

Мы опять шли, обессиленные, по черной холодной планете, под черным холодным небом, освещенные, как раздуваемыми ветром факелами, неровным светом перископов, и нас подгонял яростный, как удар бича, окрик: «Скорей!»

6

Ночь длилась бесконечно, и какую-то часть ночи мы спали, а остальное время двигались, озаряемые призрачным сиянием перископов.

Утро застало нас на привале. Небо из черного стало фиолетовым, потом голубым и зеленым, краски на восходе менялись так же пышно, как на закате, а когда выкатилось небольшое, с апельсин, злое светило, всё вверху снова стало однотонно золотым, всё вокруг — до боли металлическим.

Астр лежал между мной и Мэри. Я потряс его за плечо, он с усилием открыл глаза, попытался встать, но не сумел и опять закрыл глаза. Он посинел весь, уже не одним лицом, а грудью, руками, шеей... Он прошептал, и я скорее угадал, чем услышал:

— Мама, ты заразила планету жизнью?

Она поспешно сказала:

— Да, миленький. Пока ты спал, я привила жизнь планете. Не тревожься.

Авиетка с припасами подошла к нам, я попытался покормить Астру, но он отказался от еды, он не хотел есть, а если бы и захотел, то не смог бы жевать.

— Мы скоро потеряем сына, — сказал я Мэри.

Я слышал свой голос словно со стороны — деревянный, безучастно-спокойный. Мэри поглядела на меня, но ничего не сказала. Все эти ночные часы она мужественно шла за мной, я не слышал от нее ни слова

жалобы, ни стога, теперь же, при свете встающей жестокой звезды, видел, во что обошлась ей ночь. Если Астр весь посинел, то она вся была черная.

Я отозвал Ромеро. Мы несчастные существа, современные люди, сказал я. Мы победили болезни, нас опекают могущественные машины. Но лишенные механических помощников, мы беспомощны. В древности люди росли более цепкими к жизни. Вы один среди нас знаете древность. Вспомните какой-нибудь старинный рецепт спасения! Их было так много, восстанавливающих жизнь рецептов — массажи, переливание крови, гипнотические внушения, какие-то штуки, называвшиеся лекарствами.

Он с печалью покачал головой:

— Лекарств от перегрузок тяжести и древние не знали. Если хотите знать мое искреннее мнение, есть лишь один способ спасти Астру — и осуществление зависит от вас...

— Павел, всё, что в моей воле!..

Он сказал очень настойчиво, но то, что он сказал, было, быть может, единственным, не подвластным моей воле:

— Вы должны увидеть новый вещий сон — и узнать из него, куда нас с такой поспешностью гонят, зачем, для чего... Поверьте моей интуиции, дорогой друг, только это...

К Астру подошли Лусин и Труб. Лусин вел под руку согбенного Андре. Труб взял Астру, мальчик покоился на одном крыле, другим ангел прикрывал его от палящей звезды. Астр посмотрел на Труба, но не узнал его, и лишь когда перевел взгляд на меня, к нему вернулось понимание. Он слабо улыбнулся.

— Не беспокойся! — прошептал он. — Я вынесу...

Я отвернулся, а когда снова посмотрел на Астру, он был без сознания.

— Не беспокойся, Эли! — повторил Труб слова Астры. — У меня хватит сил нести твоего сына.

— У тебя не хватит сил, — возразил я. — Ты сам пошатываешься и задеваешь крыльями грунт. Его надо положить на авиетку.

Я попросил у Орлана одну из авиеток для Астры и Мэри. Взять авиетку Орлан разрешил, но поместить ее среди людей отказался: машины должны следовать

позади колонны пленников. Труб и Осима уговаривали меня не отдавать Астру в полную власть зловредов. Труб схватил Астру и показал, что нести мальчика ему не трудно.

— Сегодня меньше давит к грунту, Эли!

— Гравитация ослабевает, — подтвердил Осима.

Их уговоры подействовали на меня, тем более что и Мэри совсем не хотелось оставаться одной среди врагов. Труб с Астром занял место между Мэри и Осимой.

Когда мы двинулись в путь, ко мне подобрался Лусин.

— Правильно, Эли, — сказал он. — По очереди будем. Драконы. Один пегас. Очень сильный. Не беспокойся. Донесем.

— Куда донесем? Куда? — спросил я. Меня захлестнуло отчаяние. — Погляди вокруг, Лусин. Нигде нет места, даже чтоб вырыть могилу — золото и свинец, свинец и золото! Нигде, Лусин, нигде!

7

В тот переход я двигался, не видя ни планеты, ни неба, ни бешено пылающего светила, ни людей, ни зловредов. Я был в своем собственном мирке, так глухо отгороженном от внешнего, как Оранжевая отгородила себя от всей Вселенной. И во мне кипела такая буря, что я шатался и сникал уже не от тяжести, а под давлением раздиравших душу мук. Всеми мыслями, всеми ощущениями, страданием тела, попытками души я призывал того неведомого друга или друзей, что внушали пророческие сновидения. Я не знал, существуют ли они реально, не бред ли самая мысль об их существовании, но звал их, молил явиться, упрашивал просветить меня... Помогите, просил я с молчаливым рыданием, помогите, сейчас нужна ваша помощь!

— Как Астр? — спросил я у Мэри, когда Орлан скомандовал очередной привал. Труба рядом с ней не было.

Мэри молча подвела меня к дракону, ползшему среди людей, на спине дракона лежал неподвижный Астр. Я гладил сыну руки, разговаривал с ним, он не

откликался, и я знал уже, что он не откликнется, он медленно уходил совсем...

— Эли, тебе надо отдохнуть, — тихо сказала Мэри.

Я отошел, и место около Астра заняли Лусин и Андре. Я обернулся: Лусин что-то, как я перед тем, говорил Астру и гладил его руки, а Андре стоял, понурившись. Мэри тихо плакала. Я думал, что мне стало бы, наверно, легче, если бы я сумел заплакать, но в теле моем не было ни капли воды на слезы, я был весь иссушенный — жестокое пламя палило меня.

Ночь застала нас на третьем переходе этого дня. Когда звезда закатилась, Орлан скомандовал ночлег. Астр был всё такой же — недвижим, бесчувствен. Но хуже ему не стало — и это показалось мне хорошим предзнаменованием. Он по-прежнему лежал на спине дракона. Завтра гравитация станет меньше, думал я. Я постоял около Астра и вдруг почувствовал, что теряю сознание.

Я провалился в сон, как в люк. И еще не отрешенный полностью от яви, я уже весь был во сне. Я увидел как бы со стороны, что переносюсь за охранную цепь головоглазов, в тот конец лагеря, где размещались враги. И сам я внезапно трансформировался из человека в разрушителя. Я шел по ночному лагерю рядом с Орланом — теперь я был одним из его стражей, одним из тех двух, что всегда сопровождали его, второй куда-то отдалился, — и Орлан тихо шепнул мне:

— Запоминай каждое мнение — это важно, Крад...

— Да, — сказал я с угрозой, я ясно слышал в своем голосе угрозу, Орлан ведь не знал, что я вовсе не Крад, а Эли. — Я всё запомню!..

И скоро вместе со мной, человеком, обернувшимся разрушителем, началось совещание военачальников и охраны. Глухая ночь простиралась над планетой, издалека доносились смутные шумы, пленные стонали, всхлипывали и разговаривали во сне, пегасы и драконы тяжело ворочались, а мы сидели в золотой ложбинке, прикрытые скалами из свинца, освещенные сумрачным сиянием головоглазов.

Я плохо видел тех, кто подавал голос из тьмы, но одного хорошо различил — огромного невидимку неподалеку, он был на добрую голову выше любого из раз-

рушителей. Около него разместились еще два невидимки, поменьше.

— Положение осложняется, — открыл совещание Орлан. — Нужно принимать важные решения.

— Повтори, что ты знаешь, Орлан, — попросил огромный невидимка. — Действенные решения без точной информации не удадутся.

— Уничтожить всех пленных — вот единственное решение, — резко сказал второй охранник Орлана. Сейчас он держал себя скорее начальником, чем безмолвным телохранителем, каким я его знал. Я вдруг осознал, что ни разу как следует не видел его лица. Было темно. и я не разглядел его и сейчас.

Орлан покосился на второго охранника, но промолчал.

— Понимаю твоё желание, Гиг, — обратился он к рослому невидимке, — но вряд ли смогу добавить нового, связи со Станцией по-прежнему нет. Мы двигаемся вслепую, действуем вслепую.

— У нас есть программа священных идей Великого разрушителя, эта программа освещает любую тьму, — еще резче сказал второй охранник.

— Да, конечно, идеи Великого освещают любую тьму, — согласился Орлан. — И они — единственный луч света в сгустившейся вокруг тьме. Может быть, не помешает, если я вкратце повторю, что мы знаем и чего не знаем.

Он начал с человеческого флота, штурмующего Персей. Люди аннигилировали второе космическое тело. Великий разрушитель перенес резиденцию на Натриевую планету, удаленную от района, где бушует война. Нынешнее убежище Великого тоже не безопасно, в звездных просторах вокруг Натривой немало поселений галактов, — если извечные враги разрушителей осмелятся покинуть свои крепости, положение станет грозным...

— Не пугай, Орлан! — прервал второй охранник. — Пусть тебя не тревожит судьба Великого. Жалких людей ждет гибель, если они проникнут за наши космические ограды, а галакты помощи им не окажут. Так решил Великий. Надеюсь, ты не берешь под сомнение прогнозы Великого?

— Ни в коем случае! — поспешно сказал Орлан.

— Тогда поговорим о нашем положении и не будем заниматься положением Великого, это нам не по рангу.

Всё непонятно на Третей планете, сказал Орлан. Раньше к ней не мог приблизиться ни один космический корабль, теперь она сама засосала «Волопаса». Причаливший звездолет не уничтожен охранными полями, пленники и разрушители тоже пока живы — такого доброго приема еще не встречал никто. Вместе с тем механизмы Станции действуют, гравитация меняется закономерно. Мы попали при высадке в опасную зону, часть ее прошли, но еще немалый путь до мест более спокойных. На Станции снова неполадки, иного объяснения нет. Когда биологические автоматы Станции справятся с аварией, мы будем все уничтожены, если не преодолеем к тому времени опасную зону. В поясе живой охраны мы объясним солдатам Станции наше появление. Наша задача: добраться до Станции, чтобы сохранить свои жизни.

— И жизнь пленных, — высказался огромный невидимка.

— Это не обязательно, — отпарировал второй охранник. — Директива Великого разрешает расправиться с пленными в момент, когда в том возникнет нужда. Я считаю, что такая нужда возникла — хотя бы по одному тому, что никого из них нельзя подпускать к Станции даже на отдаление светового года.

— Нам тоже запрещено появляться в районе Станции, — заметил Орлан. — И если бы мы очутились здесь по своей воле, нам грозило бы всем одно наказание — смерть...

— Ты правильно выразился, Орлан: мы здесь не по своей воле. И мы друзья, а они — враги. Не вижу причин возиться с пленными дальше.

— Может, разделиться на два отряда? — предложил невидимка Гиг. — Один движется с пленными, а второй спешит на Станцию и договаривается с Надсмотрщиком о безопасности для всех. Скажу по-солдатски, невидимкам не по душе приканчивать безоружных. Меня назначали в охрану, а не в палачи!..

— Я слышу в твоем голосе сомнение! — проговорил телохранитель Орлана. — Ты, кажется, осуждаешь священнейшую идею Великого: разрушение — основа

прогресса, высшая цель развития. И поэтому всеобщая война и истребление всего живого — идеальное воплощение могущества жизни.

— Я солдат, а не философ. Одно дело — уничтожение врага в бою...

— Я понял тебя, Гиг. Все ли невидимки разделяют сомнения своего начальника?

Оба невидимки восторженно и одинаково сказали одинаковыми голосами:

— Мы исполним любой приказ. Пусть Орлан решает.

— Что скажут начальники головоглазов? Появилось ли у них сомнение?

Один из головоглазов поспешно высветил перископом:

— Мы с негодованием отвергаем любое сомнение. Когда Орлан прикажет убить пленных, жизни их придет конец.

В разговор снова вмешался взволнованный Гиг:

— Меня превратно поняли. Я уничтожил бы себя самого, если бы заподозрил себя в сомнении. Моя преданность идеям Великого воистину не знает границ.

— Я так тебя и понял, Гиг, что твое послушание безгранично. По рангу решение принадлежит Орлану. Мы надеемся, Орлан, что твой приказ будет отвечать вдохновляющему духу прогрессивных разрушительных идей Великого, о которых так прекрасно говорил только что Гиг.

— Можете быть уверены!.. Мое решение таково. Мы совершим еще два перехода по старой схеме, чтоб сохранить души пленных для последующего истребления в них всего человеческого, такова одна из идей Великого — внести в мозг пленных бациллы духовного гниения...

— Пусть эта побочная вредоносная идея Великого не заслоняет других его...

— Да, да, ты прав, пусть не заслоняет! Итак, если обстоятельства не изменятся, придется уничтожить пленных. Как практически это совершить? Я хотел бы послушать военных специалистов.

Один головоглаз засветил перископом:

— Отделить людей от крылатых. Без людей крыла-

тые не опасны. Не забывайте, что с воздуха мы защищены хуже, а гравитация с каждым переходом падает, и скоро они смогут летать.

— Отделяем людей от крылатых, — решил Орлан. — Дадим людям заснуть и во время сна истребляем их. После гибели людей ангелы и пегасы с ящерами не будут опасны. Мы расправимся с ними запросто.

— Великолепный план! — одобрил второй телохранитель. — Узнаю почерк Великого, недаром ты, Орлан, числишься среди любимых вельмож!.. Будь покоен, о твоей верности священным принципам зла и всеобщего уничтожения оповестят все органы Охраны Злодейства и Насаждения Вероломства...

Я вскочил, каждая жилка во мне вибрировала.

Вокруг простиралась мертвая металлическая равнина — золотые поля, свинцовые холмы, вверху постепенно разгоралось золотое небо, глухое небо, не соединяющее нас со Вселенной, а отгораживающее от нее, и к барьеру неба медленно подкатывалось крохотное, зловещее солнце. Только сейчас, не мыслю, а чувством я ощутил природу этого мира — он был убийственным.

Около меня сидел Ромеро.

— Почему вы так вскочили, дорогой друг? Вам снился важный сон?

— Да, этот... как вы его называете? Информационный!

— Я предпочитаю старинное слово — вещий. Перейдем для осторожности на прямой обмен мыслями.

Я рассказал Ромеро обо всём, что удалось разведать во сне.

Ромеро закрыл глаза, задумался.

— Гротескность беседы, вероятно, плод вашей иронической природы, друг мой. Но похоже, что в стане врагов разлад... Если разрешите, я поговорю обо всем этом с капитанами кораблей. Такое совещание лучше провести мне, а не вам, ибо если за нами следят, то за вами — бдительнее, чем за любым другим.

— Я согласен. Действуйте.

Ромеро удалился, а я занялся Астром. Возле безжизненного Астра сидели Андре и Мэри. Она подняла на меня измученные глаза, и я понял, что сыну

по-прежнему плохо. Я молча опустился в ногах у Астры.

— Ни разу не приходил в сознание, — сказала Мэри.

Я не ответил. Любое мое слово могло подействовать нехорошо. Ей было хуже, чем мне. Вскоре подошел Лусин, и только тогда я заговорил:

— Потолкуй с Ромеро, Лусин, он тебе кое-что сообщит.

— Уже, — ответил Лусин. — Подготавливаемся среди людей. Все так перемешаются, люди и ангелы, что никакой черт их не рассортирует. Остальное тебе сообщит Ромеро, — передал Лусин.

Я показал глазами на безучастно сидевшего Андре.

— О чем-то думает, не находишь? Такое впечатление, что ловит какую-то недающуюся мысль. А в дешифраторах на его излучениях одни шумы...

— Мозг не работает, — подтвердил Лусин.

Вдали показался Орлан. Я встал. Лусин крикнул ящера, но подошедший Труб объявил, что понесет Астру он. Лусин возразил, что Труб уже много нес мальчика, надо ему отдохнуть. Ангел запальчиво заспорил с Лусином.

Я оборвал их спор:

— Понесу Астру я.

8

Астр не открыл глаз, когда я брал его на руки, но по лицу его что-то неуловимо пробежало. Дышал он быстро и часто, мелкими, не наполняющими легкие вздохами, но сердце стучало так сильно, что я ощущал руками его удары. В излучениях мозга было одно неясное бормотание: «ба, ба, ба...» Мозг повторял работу сердца, он переводил его стук на язык невысказанных слов.

Я занял место в голове колонны и, лишь пройдя сотню шагов, заметил, что не один.

Справа от меня шагал Андре, слева — Мэри.

Я поглядел на них и сказал Мэри:

— Лучше бы тебе идти позади.

— Я буду с Астром, — ответила она.

Андре, когда я посмотрел на него, боязливо отстал, но через минуту опять стал рядом. Я ему ничего не сказал.

Астр был тяжел, у меня онемели руки. Я боялся, что не смогу его долго нести, и знал, что никому его не передам, когда у него так нехорошо бьется сердце.

За моей спиной встал Ромеро и тихо проговорил:

— Не оборачивайтесь, адмирал, я ориентирую вас мысленно в наших планах. Камагин опять настаивает на восстании, мы согласились с ним. В момент, когда Орлан подаст команду людям отделяться, мы набросимся на стражей и перебьем всех, кто не перейдет на нашу сторону.

Я выразил сомнение. Безоружные люди не справятся и с одним головоглазом. Возбудить сперва междоусобную схватку в стане противника и затем поддерживать друзей — лишь такие действия могут иметь успех.

— Замысел ваш превосходен, Эли, но беда в том, что сами они вряд ли начнут драку между собою. Зато когда драку начнем мы, размежевание произойдет тотчас же. И вы ошибаетесь, что мы безоружны. Камагину удалось погрузить в авиетку некоторое количество индивидуального оружия — ручные лазеры, гранаты, электрические разрядники.

— Наше оружие против невидимок недействительно, Павел. Проклятые невидимки — вот что всего страшнее!

— Всего страшнее — бездействие, адмирал, надеюсь, вы согласитесь с этим. Кстати, вы обратили ли внимание на самодвижущиеся ящики? Осима утверждает, что в них запаковано боевое оружие. Не исключено, что содержимое ящиков, если их захватить, удастся использовать против невидимок.

— Да, если нам дадут захватить, распечатать, изучить, освоить... Много «если», Павел.

— Вы отказываетесь дать санкцию на восстание, Эли?

— Санкцию я даю. Кто поведет нас?

— Мы предлагаем Осиму, а в помощники — Петри и Камагина. Крылатыми будут командовать Лусин и Труб. Нападение произведем с воздуха, надо же использовать слабые стороны противника.

— Резон тут есть, конечно.

Ромеро отошел. Оранжевая поднималась выше, и от поверхности планеты плыл жар. У меня путались мысли. Я слышал чей-то шепот, кто-то пытался заговорить со мной. Блеск грунта и неба становился резче, а мне казалось, что надвигаются сумерки. Я раньше не понимал смысла старинного выражения «потемнело в глазах», оно же вовсе не было языковой фиоритурой.

Я споткнулся, едва не выронил Астра. Мэри схватила меня под руку.

— Ты очень побледнел, Эли, — сказала она со страхом. — Я позову Лусина.

— Не надо, — пробормотал я. — Справлюсь.

Мне, однако, становилось хуже. Я перестал ощущать Астру, на руках лежала тяжелая вещь, а не живое тело. Надо было остановиться, вслушаться в его дыхание, сообразить, чем можно помочь. Но впереди прыгал Орлан, оттуда слышалось повелительное: «Скорей! Скорей!» — и я шел, сжав зубы, задыхаясь от ненависти к Орлану, повторяя про себя одну мысль: «Не упасть! Только не упасть!»

— Не смотри на него так — он живой! — проговорила Мэри.

— Не упасть! — повторил я вслух. Астр дышал мелко и часто, сердце билось тише, чем прежде, но отчетливей. И если бы не синева щек и рук, я подумал бы даже, что ему стало лучше. — Да, он живой, — сказал я Мэри.

До моей руки дотронулся Андре. Я посмотрел на него и понял, что к нему возвращается разум. Глаза его были скорбны, но не безумны.

— Дай... мне... — с трудом сказал он и показал на Астру. Он мучительно искал забытые слова, лицо его страдальчески морщилось от усилий. — Дай... я...

— Меня зовут Эли, Андре, — сказал я. — Вспомни: я твой друг Эли.

— Дай... — повторил он упавшим голосом. Он не вспомнил меня.

— Потом, Андре, — ответил я. — У меня еще есть силы нести сына.

Он больше не обращался ко мне и шел, опустив голову, рыже-красные локоны двигались, как живые, и

закрывали лицо. Я знал, что сейчас Андре ищет слова, что слова не шли на язык, странный шепот в моем мозгу, показавшийся мне голосом разрушителя, исходил из глубин его черепной коробки. Я не обрадовался, так мне было всё тяжело, я лишь сказал Мэри:

— Безумие его, кажется, постепенно проходит.

— Твой друг давно уже не безумец. И если ты дашь ему Астру, он его не уронит.

Отдать Астру я не мог даже Мэри.

— Ладно. Скоро привал.

На этот раз привал вышел длинный. Орлан куда-то исчез и долго не возвращался. Около меня присели капитаны и Ромеро. Осима с той же энергией и четкостью, с какими командовал кораблем, подготавливал мятеж. Ручные лазеры были вручены во время раздачи еды, я тоже получил эту игрушку. Я говорю «игрушку», ибо против невидимок они неэффективны, а головоглазов поражали, когда удавалось попасть лучом в перископ.

— Взять противника на abordаж, приставить пистолет к уху и хладнокровно спустить курок — так, кажется, воевали в ваши времена? — сказал я Камагину, усмехнувшись.

Он возразил, пожав плечами:

— В мое время уже сто лет не было войн. Мы сносили горы и осушали моря, колонизировали планеты и первые двинулись к звездам. У вас пробелы в истории, адмирал.

— Не сердигесь. Я не хотел вас задевать, Эдуард.

— Я иногда удивляюсь вам, но никогда не сержусь, — возразил он. В отповеди был намек, но я не разобрался в нем.

— Итак, две возможности: или сегодня ночью, или завтра утром, — сказал Осима. — У нас всё готово, адмирал.

— Я бы на месте разрушителей выбрал ночь, а не утро, — заметил Петри. — Перещелкать нас во время сна этичней.

— Этичней? — переспросил я, удивленный. — Не понимаю.

Он разъяснил с обычной своей флегматичной обстоятельностью:

— Судя по всему, что мы знаем о них, и по информации ваших снов, у них минус-этика. И всё, что мы считаем отвратительным, у них возведено в доблесть. Органы Охраны Зла и Насаждения Вероломства, — разве вы этого не слышали от них самих?

— Вы, кажется, думаете, что я реально присутствовал на совещании зловредов? Даже правдивая информация может облекаться в фантастические одежды... Откровение совершалось в бреде, не забывайте этого. Ромеро считает, что я и во сне иронизировал.

Петри не повышал голоса, но от своего не отступался. Он был невозмутимо упрям.

— Всё что угодно можно объявить иронией и бредом, но не любовь зловредов ко злу и не их верность вероломству и подлости.

Золотое небо превратилось в черное. Оранжевая укатилась за горизонт. Вокруг лагеря пленных замерцали огни сторожевых зловредов. Приказа об отделении людей от других пленников не раздалось.

Я оставил Астру на попечение Мэри и прошелся по лагерю. Люди были перемешаны с пегасами и ящерами, чтоб по сигналу могли сразу вскочить на спины крылатых и мчаться в сражение.

Осиму и Петри я застал у драконов. Вместе с другими пленниками они прилаживали на спины ящеров ящики, набитые незнакомыми мне металлическими цилиндрами.

— Старинные ручные гранаты, — пояснил Осима. — Их было множество на звездолете «Менделеев», Эдуард некоторое количество их прихватил на «Возничий», а оттуда переправил на «Волопас». Основная масса гранат сдана в земные музеи, но эти послужат нам. Пользоваться ими просто, Камагин нам показывал.

Самого Камагина я застал у ангелов. Он беседовал с Трубом, перед ними лежал ящик с такими же гранатами. Труб радостно приветствовал меня. Ангел пылко рвался в бой.

— Лазеры ангелам раздавать не будем, — сообщил Камагин. — Эта техника им не по духу, но ручные гранаты и разрядники, по-моему, просто созданы для ангелов, так они ловко обращаются с этим оружием. Попади-ка вон в то пятнышко, Труб.

Труб схватил что-то с грунта и метнул в золотой

самородок, тускло поблескивающий в свинцовой скале. Я испугался, что тотчас же разразится взрыв, и на шум сбегутся злореды. Но Труб использовал для упражнений кусок золота, валявшийся под ногами. Все ангелы отличаются дьявольской зоркостью, а Труб и тут превосходил крылатых собратьев: один кусок золота вонзился в другой так прочно, словно они были приварены.

Труб гордо закутался в крылья.

— Зловредам придется несладко, когда мы нападём с воздуха, — объявил Камагин, сияя.

Я прошелся по сектору ангелов и ни одного не увидел спящим, все упражнялись в метании. И в отличие от обычного шума, царящего в любом сборище ангелов, здесь, на ночном учении, было мертвенно тихо, только влажные удары свинца о золото и золота о свинец нарушали кажущееся спокойствие.

— Люди шьют карманчики для ангелов, — информировал меня Камагин. — Каждый на пяток гранат, а привешивать карманчики будем под крылья, там они незаметны.

Во время ночной прогулки по лагерю я набрел на Ромеро. Он мирно спал на золотом ложе, примостив под голову кусок свинца. Я уверен, что если бы его приговорили к казни, он не преминул бы хорошенько выспаться в последнюю ночь. «Больше случая для сна мне не представится, как же не воспользоваться этим, не так ли, дорогой друг?» — сказал бы он, наверно...

Еще одна встреча, уже не забавная, а зловещая, произошла в ту ночь. Я чуть не напоролся в темноте на Орлана.

Он шел без телохранителей, лицо его призрачно фосфоресцировало, он, видимо, как и я, обходил лагерь, но только снаружи. Я поспешно отошел, не завязывая разговора. В темноте, скудно озаренной перископами головоглазов, быстро погас его светящийся силуэт.

Мэри спала, обняв рукой Астру. Астр дышал, но очень слабо.

«Завтра, — говорил я себе, засыпая. — Завтра утром... Гравитация уменьшается...»

Утром Астр умер.

Меня разбудил крик Мэри. Вскочив, я выхватил из ее рук сына.

— Нет! — кричала Мэри, хватая себя за голову. — Нет, только не это!

Я качал Астру, звал, умолял услышать меня. Последним усилием жизни он раскрыл глаза, потом по телу его прошла судорога, и он вытянулся у меня на руках.

Он лежал, одеревенелый, холодеющий, всматривался в меня невидящими глазами, все эти дни и часы перед смертью он не открывал глаз, а сейчас, умирая, открыл их, чтобы в последний раз поглядеть на мир, — и не увидел мира...

На крик Мэри сбежались люди, рядом тяжело опустился Труб. Я держал Астру по-прежнему на руках, но глядел на Мэри. Она упала, захлебываясь слезами. А я снова думал о том, что мне природа отказала в этом скорбном умении — выплакивать свое горе. Мои предки горевали и утешались рыданием, ликовали и открывали душу слезами, гневались и страдали плачем, слезы омывали их души над трупами близких, в минуты ярости, над чувствительной книгой, от трогательного слова, от страшного известия, от неожиданной радости... А мне, их потомку, этой спасительной отдушины не дано, глаза мои сухи...

— Эли! Эли! — донесся до меня шепот Андре. — Эли, он умер?

По лицу Андре катились слезы.

— Он умер, Андре, — сказал я. — Он был на три года моложе твоего Олега.

— Он был на три года моложе моего Олега, — тихо повторил Андре. Он вслушивался в свои слова, будто их произносил кто-то другой, даже слезы от напряжения перестали течь. Потом он умоляюще протянул руки: — Дай мне его, Эли.

Я передал ему Астру и опустился на колени рядом с Мэри, обнял ее плечи, гладил ее волосы. Но я не мог обратить к ней ни одного слова утешения: любое слово прозвучало бы ложью — утешения быть не могло. Вокруг нас стояли друзья — молчаливые и печальные.

Мэри наконец перестала плакать, вытерла лицо и поднялась.

— Что сделаем с ним? — спросила она устало. — Здесь хоронить негде.

— Будем нести, — ответил я. — Будем нести до места, где можно вырыть могилу, или где мы с тобой сами умрем.

Труб с силой ударил меня крылом. Кипевшая в нем ярость вдруг вырвалась диким клекотом:

— Если вы не отомстите, люди!.. Одно, Эли, — мстить, мстить!

Я посмотрел на Астру, Андре покачивал его на руках, как живого, что-то шептал ему, тихо плача. Я сказал:

— Еще многие из нас умрут, Труб, прежде чем люди сумеют мстить. Когда эта возможность появится, им, я надеюсь, не захочется мести.

Я еще не видел вспыльчивого ангела в таком бешенстве. Он вздыбился надо мной, свирепо растопырил крылья. Он очень любил Астру.

— Ты не отец, Эли! Ты не отец своему детищу, Эли!

Мне стоило тяжелого труда ответить спокойно:

— Я уже больше не отец. Но я еще человек, Труб.

Только сейчас Ромеро и Лусин заметили, что Андре в сознании. Труб выхватил малыша из рук Андре. Лусин и Ромеро обнимали Андре, к ним присоединялись другие. Андре узнал Ромеро и Лусина сразу, а Осиму вспомнил, когда тот назвал себя. Радость перемешалась с печалью, я видел счастливые улыбки и слезы горя, только сам не мог ни улыбаться, ни плакать.

Мне надо было подойти к Андре и поговорить с ним, от меня он вправе был от первого ждать поздравлений, но я не мог сделать над собой такого усилия и стоял в сторонке.

— Потом поговорите, — сказал Лусин, со слезами глядя на меня. — После восстания.

— Да, потом, — согласился я равнодушно. Нужно было собрать мысли, а мысли всё не собирались. — Ты объясни Андре наше положение, но не пичкай сразу большим количеством новостей.

Я хотел забрать Астру, но Труб не дал. Когда Орлан подал команду к выступлению, он с Астром на

скрепленных черных крыльях занял мое место впереди. Мы с Мэри шли за ним, то я ее поддерживал под руку, то она меня — дорога на этом переходе выпала трудная, мы с Мэри часто спотыкались.

Труб нес Астра до привала, а потом положил возле нас.

Астр был как в жизни, лишь потемнел и похудел, и мускулы тела стали тверже, он постепенно окаменевал, ссыхаясь.

Мы с Мэри лежали по один бок Астра, на другом ворочался и гневно вздыхал Труб. Мэри касалась меня плечом, ни разу до того я не чувствовал так больно и сильно нашей близости. Друзья в этот привал не подошли к нам, и я был им благодарен, мне было бы трудно разговаривать.

До вечера Астра нес я, а когда звезда стала склоняться и золотое небо забушевало красками, Орлан раньше обычного отдал приказ остановиться. Он позвал меня. Я положил Астра на грунт и обнял Мэри. Она прижалась головой к моему плечу. Она уже знала о восстании.

— Люди дальше будут двигаться отдельно от крылатых, — объявил Орлан. — Перестройку приказываю закончить до темноты.

Я хмуро вглядывался в Орлана и его телохранителей. Один из телохранителей был наш злейший враг, а другой, вероятно, друг, но ни по какой черте в их стертых лицах, как у статуй, пять тысячелетий пролежавших в земле, я не мог определить, кто из них кто. Орлан синевато фосфоресцировал лицом, был, как обычно, бесстрастно холоден.

— Будет исполнено! — ответил я и пошел к своим.

Тысячи глаз следили за мной — по ту границу лагеря перископы головоглазов, тайные глаза невидимок, разрушители-командиры, по эту — люди и крылатые друзья.

Все движения вокруг оборвались, огромная горячая тишина простерлась над планетой. Осима и Камагин стояли возле рослых пегасов, Труб возвышался на голову над своими ангелами, Лусин восседал уже на спине дракона.

Всё было готово к выступлению.

— Приказано разделиться! Очевидно, для нашей

же пользы, — сказал я насмешливо. — Действуйте, как условились!

— За мной! — крикнул Осима, прыгая на пегаса. Пегас взметнул крылья.

— За мной! — эхом откликнулся Камагин, взлетая вслед за Осимой.

Он метнул гранату в сторону разрушителей, и грохнул первый взрыв.

10

Вспоминая эпопею в Персее, я вижу, что если кто и предвидел в стане противника наше восстание, то лишь тайные друзья, а враги были захвачены врасплох.

Пегасы с людьми на спинах и ангелы, предводительствуемые Трубом, мощной армадой обрушились сверху на заматававшихся головоглазов. Дымная стена взрывов оконтурила лагерь, в столбы пламени врывались кинжальные лучи лазеров. А когда в сражение подоспели драконы и молнии Громовержца сумрачно осветили темнеющий воздух, битва стала всеобщей. Удар отряда пеших с Петри и Ромеро во главе, расчищавших себе дорогу гранатами и лазерами, сразу прорвал цепочку головоглазов: сбитые в кучи, они образовывали каре и сражались в окружении.

Головоглазы, после начального ошеломления, защищались свирепо и самоотверженно, на грунт рушились пегасы и драконы, особенно досталось ангелам. Осатаневшие ангелы слишком быстро отделились от груза гранат и слишком понадеялись на силу крыльев: воздух, как туманом, заволокло белым и черным пухом. Были ранены Труб и Лусин, Петри и Ромеро, легкие ранения получили Осима и Камагин, лишь Андре, сражавшийся в самой гуще схватки, чудом не пострадал.

Я поднялся на свинцовую скалу, выпирающую из золотых недр, и осматривал поле боя. Я хорошо помню свое состояние в те минуты. Меня не радовали, а тревожили успехи, в них было много загадочного. Кругом нас сновали невидимки, грозные воины разрушителей, ни один пока не вмешался в бой ни на нашей

стороне, ни против нас, — почему? Сражение было не так успешным, как странным, я его не понимал.

Внезапно я услышал знакомый голос, раздававшийся на этот раз не внутри меня, а снаружи, тот голос, какой много раз разговаривал со мной в сновидениях, я не мог не узнать его. «Эли, помоги! — надрывался голос. — Эли, помоги!» Я кинулся на голос и в страшном волнении уже ничего не видел, кроме места, откуда доносился призыв, и ничего не понимал, кроме того, что спешу на помощь другу, быть может самому искреннему и самоотверженному другу из всех, каких мы обрели среди противников.

— Эли, помоги! — всё отчаянней взывал голос и вдруг оборвался.

И тут я увидел, кто звал меня на помощь. Труб с двумя бешеными ангелами атаковал Орлана с его телохранителями, телохранители уже пали, Орлан еще защищался. Кричал он!

Свирепая радость на миг пронзила меня, когда я увидел жестокого предводителя разрушителей, отчаянно отбивавшегося от собственной гибели, — и это чувство, вспыхнувшее и погасшее, было последним отблеском старого моего отношения к Орлану. Орлан повалился от тяжкого удара крыльев Труба. И в тот же миг, налетев вихрем, я упал на него и прикрыл своим телом. К нам с лазерами в руках бежали Ромеро и Петри.

— Эли, встань, я убью мерзавца! — рычал Труб и так двинул меня крылом, что я отлетел вместе с Орланом на метр.

И сейчас не понимаю, откуда у меня взялись силы не выпустить Орлана из рук.

Ромеро схватил Труба за крыло, Петри встал между Трубом и мной.

— Угомонись, Труб! — крикнул Ромеро. — Ты едва не прикончил союзника.

Не знаю, что бы стал делать дальше Труб, если бы рядом не упал выявившийся невидимка. Это был такой же страшноватый скелет, как и тот, что мы захватили на Сигме, но еще живой. Невидимка стонал и корчился, грудная клетка его была страшно разворочена.

Даже Труб понял, что сражение, завязанное нами,

есть лишь часть широкого боя, кипевшего и в оптической яви и в физической невидимости.

Труб махнул крылом на кучку оттесняемых головоглазов и крикнул ангелам:

— За мной! Кончать с прохвостами!

Мы с Петри помогли Орлану подняться. Орлан пошатывался, глаза его были закрыты, синеватое лицо почернело. Он с трудом стоял на ногах, с усилием говорил. Ангелы помяли его здорово.

Ромеро переложил лазер в левую руку и церемонно протянул правую:

— Разрешите вас приветствовать, дорогой союзник, в лагере ваших новых друзей.

Орлан хотел вытянуть вежливо шею, но и шее досталось в схватке, голова едва поднялась.

— Не такие уж новые. Мы с Эли давние знакомые.

— Значит, это был ты! — сказал я. — Ты, ты, Орлан!

— Это был я. Ты так ненавидел меня, Эли, что непрерывно думал обо мне. Это помогло настроить наши мозговые излучения в унисон.

Он с горестью показал на одного из телохранителей:

— Вот кто был вашим верным другом, но его уже нет.

— Сражение, — сказал Петри. — На вас не написано, кто враг, кто друг.

— Я не виню вас. — Волнение, зазвучавшее в его голосе, утихло, перед нами снова было то бесстрастное существо, какое мы так часто видели. — Мы виноваты сами. Мы хорошо подготовили сражение, но не позаботились о своей безопасности. Мы думали только о победе в бою.

— Подготовили хорошо сражение? — переспросил Ромеро. — Да, конечно... Но и мы, люди, кое-что сделали!

— Несомненно. Но нам пришлось поволноваться, пока вы не приняли внушенный вам план. Ваши мысленные переговоры, тайной которых вы так гордились, не были для меня секретом, а я делился ими с Гигом. Ему выпала самая трудная задача — завоевать невидимок удалось не всех. Но зато Гиг не дал тем, кто остался верен Империи Великого разрушителя, при-

ти на помощь головоглазам, — и это решает успех дня.

Ромеро с сомнением оглянулся. В воздухе метались одни ангелы, их резкие боевые крики слышались всюду. Пегасы и драконы лишь начали бой в воздухе, но не смогли долго пробыть в полете.

Ромеро вежливо сказал, подняв лазер, как трость, — лишь для боя он расстался с ней:

— Как жаль, уважаемый союзник, что мы лишены возможности познакомиться с воздушным... э-э... полем боя отважного Гига.

— Почему же? Сейчас я свяжусь с Гигом, и мы расскажем вам, что происходит в воздухе.

Я не заметил, чтобы Орлан совершил какие-то движения, очевидно, он связался с Гигом мысленно, но картина сражения вскоре разительно переменилась. Битва в третьем измерении была внушительней и ожесточенней той, что совершалась на плоскости. Над нами невидимка схватывался с невидимкой. Первого же взгляда было достаточно, чтобы понять, что одна группа невидимок, более многочисленная, одолевала вторую. Среди берущих верх я увидел исполинского Гига.

— Наши побеждают, — сказал Орлан. — Нет, сражение подготовлено отлично, Эли.

Ангелам и людям, теснившим одно из каре злоредов, удалось расчленить его, и головоглазы рассыпались. Ползли они медленно, но сражались с прежней свирепостью. Два ангела атаковали одного злореда, но он повергнул их метким гравитационным ударом. Ромеро и Петри бросились на помощь ангелам, но раньше их подоспел невидимка из наших. Удар сверху поразил злореда насмерть, а невидимка, описав дугу, возвратился в район воздушного боя.

— Много все-таки перешло к нам, — сказал я Орлану.

— Много. Ваши сторонники имеются уже на всех планетах Персея. Великий совершил великую ошибку, когда разрешил трансляцию спора с тобой. Подданные Великого знают теперь от самих людей, чего от людей ждать.

Я показал на головоглазов:

— Эти и не думают изменять своему властителю.

— Головоглазы — охрана. Их воспитывают далеко от политики. Будет время — они тоже присоединятся к нам. Мощь Империи Великого держится не на них. Сражение шло к концу.

Разрозненные кучки злобредов, обреченно пересвечиваясь перископами, оттеснялись друг от друга всё дальше и погибали под соединенными ударами людей, ангелов и невидимок. Несколько сдавшихся невидимок брели под конвоем ангелов в центр лагеря, где Осима приказал разместить пленных. Туда же отводили прекращавших сопротивление головоглазов.

В последнюю группу сражающихся отчаянно врубался на огнедышащем драконе Лусин. Андре, тоже верхом, но на пегасе, орудовал лазерным лучом неподалеку от Лусина. Петри и Ромеро, заняв свои места во главе пехоты, методически теснили обреченную кучку. А когда на нее обрушились с воздуха ангелы и невидимки, участь головоглазов была решена.

Около Орлана и меня опустился усталый довольный Гиг.

— Гравитаторы на пределе, начальник, — сказал он Орлану. — На чертовой Третьей планете расход энергии в десять раз превышает норму. — Только после этого он обратился ко мне: — У людей, кажется, принято пожимать руки, давай руку, адмирал. — Он сжал мою ладонь со страшной силой и скорчил предвостановленную рожу, когда я охнул.

Сегодня невидимки никого не удивляют, они мелькались на стереозэкранах, туристы их породы не раз посещали Землю. Но в день, когда я впервые увидел эту радостно хохочущую абстракционистскую конструкцию, я еле справился с содроганием.

Гиг продолжал, весело загремев костями:

— Как мы тебе понравились в ратном деле, адмирал?

Я отвечал сдержанно. Я не знал, как держать себя с этим грохочущим, улыбающимся, ликующим скелетом. Прошло немало времени, пока я убедился, что невидимки отличнейшие ребята, только вид у них очень уж страшен — и то по земным нормам, сами они довольны своим обликом, а людей, наоборот, считают конструктивно недоработанными, что, впрочем, не мешает им относиться к людям с уважением. Я мог бы

и не упоминать этих общеизвестных истин, но я веду рассказ о чувствах, испытанных в то время, когда всё в невидимках было ново.

— Я познакомился с тобой в моих снах, Гиг.

Он загрохотал всеми костями. Я не сразу сообразил, что так невидимки хохочут.

— Познакомился, говоришь? Познакомили — и ценой немалых усилий! Ты, надеюсь, соображаешь, адмирал, что мы проводим свои совещания отнюдь не на человеческом языке и даже не в категориях вашей логики. Я уже не говорю об облике. Орлан, например, чаще является в виде тени, чем в виде тела. Кстати, дружище Орлан, почему ты забросил свой облик призрака, что-то на Третьей я тебя ни разу не видел в этой форме?

— Аппараты для оптической трансформации остались на исчезнувших звездолетах.

— Правильно, они на звездолетах. Там же и наши запасные гравитаторы. Черт знает что такое, благородному невидимке придется вскоре ползти, как презренному головоглазу! Так вот, адмирал, перевести наши занятия и замыслы на язык ваших образов и понятий, а потом транслировать их тебе в сны — нет, только Крад мог взяться за это! Где Крад, Орлан? Я не вижу Крада.

— Крад кинулся меня защищать и погиб сам, — сказал Орлан, втягивая голову в плечи до предела.

Гиг торжественно загремел костями. Звук сталкивающихся костей у невидимок очень выразителен, и я вскоре научился отличать их хохот от печали.

— Что делать с пленными? — спросил я у новых друзей. В центр лагеря вели последнюю кучку сдавшихся головоглазов.

— Всех истребить! — объявил Гиг. Он был скор на радикальные решения. Я поморщился.

— Пленные пригодятся, — рассудительно сказал Орлан. — Мы не знаем, что ждет нас у Станции. И если придется сражаться, головоглазы умножат наши силы.

— Поставьте их под мою команду, а уж я заставляю их пошевелиться! — предложил Гиг.

Он гулко захохотал всеми костями. Он быстро примирился с тем, что его желание отвергнуто. Впоследствии я убедился, что ему лучше приказывать, чем сове-

товаться с ним — действовал он с воодушевлением, а размышлял без охоты.

Впрочем, таковы все невидимки.

Ко мне шел Осима с Камагиным, к ним по дороге присоединились Петри с Ромеро, Лусин, Андре и Труб. Труба сопровождало всё его крылатое войнство, ни один из ангелов не пропустит такого торжества, как рапорт о победе.

Осима с удивлением посмотрел на Орлана и Гига. Ромеро с Петри не успели рассказать ему, что произошло. Я представил собравшимся новых товарищей:

— Одного из них вы видели ежедневно и думали, что хорошо его знаете. О существовании другого мы могли лишь догадываться. А они опекали нас, заботились о нашем благополучии. Знакомьтесь: Орлан и Гиг, наши друзья, я скажу сильнее — наши спасители.

II

У каждого были десятки вопросов к Орлану и Гигу. И когда пленных устроили под охраной, мы собрались побеседовать.

Звезда закатилась, черная ночь окутала планету. Мы сидели на быстро стынувших глыбах металла, дружески перемешанные — невидимки рядом с людьми, ангелы рядом с перешедшими к нам головами, Орлан возле Труба, Гиг возле Андре...

Перископы сумрачно освещали наше сборище, но на душе было светло — таким мне вспоминается то ночное собрание. Смешно датировать большие повороты истории каким-то числом, привязывать их к каким-то мелким событиям; повороты складываются из тысяч событий и дат, но что-то значительное в ту ночь происходило, — все мы ощущали это.

О флоте Аллана нового Орлан не сообщил, всё, что было ему известно, он вложил в мои последние сновидения. И о том, что происходит на Станции, он ничего не добавил. Неполомки на Станции пока спасительны для нас. Надеяться, что так будет продолжаться долго, нельзя — надо быстрее идти к Станции, идти, пока ноги передвигаются, только это может еще спасти нас.

Камагин высказался за возвращение на звездолет. За броней корабля мы будем в большей безопасности, чем на металлической равнине, к тому же там действуют гравитаторы. А если удастся восстановить МУМ, мы вырвемся в космос к своим.

— Всё, что ты сказал, нереально, — объявил Орлан. — Прежде всего, тебе не удастся восстановить вашу разлаженную мыслящую машину, — сказал он. — А если ты и восстановишь ее, «Волопас» не вырвется за неевклидову сферу вокруг Оранжевой, — мощи всего человеческого флота не хватит, чтоб прорвать ограждение. А если ты и вырвался бы наружу, то там «Волопас» встретился бы не со своими, а со звездным флотом разрушителей, — и конец был бы один.

— Как много «если», Орлан, — и все неутешительны! — с досадой воскликнул Камагин. — Разреши напоследок еще одно «если». Что, если мы превратим наш звездолет в постоянное жилище, вместо того чтоб стремиться к новым неведомым опасностям? Разве мы не могли бы отсидеться на нем, пока положение не изменится к лучшему?

Орлан отверг и это. Положение меняется не к лучшему, а к худшему. Он обязан рассказать еще об одной опасности. Звезда продолжает излучать, и убийственные ее излучения не уносятся в далекие просторы, а накапливаются внутри замкнутого небольшого объема.

Скоро всё будет насыщено сжигающей радиацией и начнется распад: погибнет жизнь, испарится поверхность планеты, звездолет превратится в плазму, плазмой станет и сама Станция, авария на которой породила такую катастрофу, а затем вся Третья планета, могущественнейшее из воинских сооружений разрушителей, облачком новой туманности растечется по улитке.

Губительный процесс на этом не закончится. Выброшенная звездой энергия возвратится к ней снова, подбавляя жара в ее атомное пекло. Процесс энергетического распада звезды ускорится так, что произойдет чудовищный взрыв, — и только тогда будут прорваны окостеневшие барьеры неевклидовости и накопленная энергия мощно вырвется наружу. Далекие наблюдатели зафиксируют взрыв сверхновой, а наблюдатели на со-

седних звездах ничего не оставят на память своему потомству: вряд ли кто из них уцелеет при такой катастрофе.

— Перспективочка! — пробормотал Петри. Даже этого спокойного человека проняло грозное предсказание Орлана.

После некоторого молчания заговорил Ромеро:

— Дорогой союзник, пророчество ваше ужасно. И, видимо, иного не остается, как неуклонно двигаться к цели, которую вы указываете. Но нельзя ли узнать, кто нас ждет на Станции — друзья или враги? Как нас встретят — с распростертыми объятиями или с оружием в руках или, ближе к истине, — в полях?

— Я сам хотел бы знать об этом, — ответил Орлан.

— Но вы не можете не знать больше нашего! Мы вчера и понятия не имели, что существует какая-то Станция Метрики на какой-то Третьей планете, а для вас и планета, и Станция эта — надежнейшие оплоты вашего мирового могущества!... Простите, бывшего могущества, ибо, надеюсь, вы и сами уже не считаете себя сановником Империи разрушителей.

— Никто не знает подробно о Станциях Метрики, — проговорил Орлан. — И мои знания о ней не намного превышают ваши.

— Расскажите хоть, чего надо опасаться, если не знаете, на что можно надеяться. Лично я из скудной информации о Станции делаю вывод, что, возможно, и там появились у нас друзья и что друзья захватили в руки управление ею. Чем иначе объяснить освобождение от конвойных звездолетов, а также, что здесь, в опаснейшей зоне, с нами пока не произошло несчастий?

Орлан не согласился с Ромеро. Нам пока не причинили вреда, но и помощи не оказали. Нас просто предоставили самим себе. Как развернутся события завтра, предсказать трудно.

— Хорошо, я сформулирую по-иному. Допустим, всё дело в неполадках на Станции и неполадки завтра выправятся. Что ждет нас тогда?

— Возможны переговоры с Надсмотрщиком. Воз-

можно мгновенное уничтожение нас защитными механизмами Станции, без всяких переговоров. Возможно нападение охранных автоматов в окрестностях Станции, радиус их отдаления от базы невелик.

Меня заинтересовали охранные автоматы. Не механизмы ли они, вроде древних человеческих роботов?

Орлан никогда не видал стражей Станции, но что они не механизмы — утверждал определенно, ни одно из этих низших полубиологических образований не доразвилось до высшей стадии — механизма.

— Крепко у них у всех засела в мозгах дурацкая философия разрушения, — шепнул мне Ромеро. Он говорил тихо, чтоб Орлан не услышал.

— Они что-то среднее между организмами и комбинацией силовых полей, — добавил Орлан. — Телесный облик у них непостоянен. Обычно они принимают вид наиболее подходящий для осуществления приказов Надсмотрщика.

— Одна кровавая рука, змеящаяся в тумане! — иронически пробормотал Камагин. — Ох, уж эти мне привидения! Уже четыреста лет назад на Земле никто не верил в этот вздор.

Я, однако, не был так рационалистичен, чтоб без проверки объявить вздором переменность телесного образа. Привидения и призраки, немыслимые на древней Земле с ее примитивной техникой, вполне могли оказаться рядовым явлением быта на планетах с более высокой цивилизацией. Наш стереоэкран и видеостолбы, вероятно, показались бы сверхъестественными современнику Эйнштейна, но мы не пугаемся, когда рядом с нами прогуливается призрачный эквивалент знакомого, находящегося в данный момент далеко от нас.

— Призраки или телá, но что-то материальное, реально существующее вне нашего сознания, — сказал я Камагину. — И я хотел бы не высмеивать заранее привидения, а отыскать надежное средство защиты, если они нападут на нас.

— Поручите это дело нашей тройке, адмирал, — сказал Осима, показывая на Камагина и Петри. — В обозе разрушителей мы отыскиали оружие, от которого не поздоровится даже призраку. Я говорю о самоходных ящиках. Просто редчайшая счастливая

случайность, что они оказались далеко от района битвы и враги ими не воспользовались.

Орлан так засветился синеватым лицом, что всё вокруг озарилось. А Гиг оглушительно загрохотал костями.

— Вы слишком многого ждете от слепого случая, капитан Осима, — сказал Орлан, и даже внешняя бесстрастность голоса не скрыла иронии. — Обычно счастливые случайности требуют тщательной подготовки.

В заключение беседы я попросил Гига больше не зашифровывать своих невидимок. Не знаю, как у других, а мне действовало на нервы, что надо мной проносятся незримые существа, пусть даже дружественные. Древние ангелы-хранители внушают мне такую же неприязнь, как и злые духи.

Против моего ожидания, Гиг обрадовался:

— Вот приказ, который нам по душе! Если бы вы знали, ребята, как тяжела проклятая служба невидимости. К тому же и генераторы кривизны ослабли и многим из нас грозит позорная участь превратиться в туманные силуэты из добротных невидимок. А если учесть, что и гравитаторы на издыхании, то можешь вообразить, Эли, этот кошмар: невидимка перестал бы реять над толпой и толкался бы среди головоглазов и пегасов, ангелов и людей, как простое материальное тело, его пинали бы ногами, задевали плечом!.. Ужас, вот что я тебе скажу, Эли!

Я поинтересовался, не оскорбляет ли невидимок перспектива превратиться в вещественные тела в оптическом пространстве.

Он великодушно растолковал:

— Что ты, адмирал! Невидимость — наша военная форма. И если мы ее носим плохо, страдает наша воинская честь. Когда же мы обретаем облик видимых среди прочих видимых, то это всё равно как если бы снимали боевую броню: и удобно, и не надо следить, чтоб к ней относились с уважением.

Ромеро разъяснил мне потом, что в древности люди тоже применяли бронирование доспехами и оно тоже делало тело воина невидимым, хотя сама броня оставалась оптически на виду. Разумеется, оптическая невидимость — штука более совершенная, чем брониро-

вание доспехами, но отнюдь не более легкая. И старинные рыцари, как и нынешние невидимки, предпочитали ходить без брони, они называли это «носить штатское». Но если приходилось напяливать доспехи, рыцари заботились уже не столько о собственной безопасности, сколько о том, чтоб внушить уважение к своей военной форме. И называлось это так: «защищать честь мундира».

12

Пленные головоглазы светили тускло, лишь сами они неясно были видны, всё остальное пропадало в черном небытии. Я намеренно употребил слово «небытие». Пропадало ощущение пространства, было лишь то, что рядом.

В прошлые ночи за цепочкой огней перископов мы как-то не ощущали потерянности в ночи, а сейчас жались один к другому.

Я не знал, куда пропал Орлан, где находится Гиг, в каком месте разместились перешедшие на нашу сторону невидимки и головоглазы. Осторожный Петри намекнул, что в такой ночи легко напасть на нас, сонных. Осима возразил, что бессмысленно было помогать нам в бою против своих, если вслед за этим собирались нам изменить.

Петри вскоре удалился, за ним исчезли Камагин и Осима. Тяжело махая крыльями — ему обязательно надо было пролететь над всем лагерем — умчался к своим, на далекий шум голосов и перьев, Труб. Мы сидели кучкой на свинцовом пригорочке, Мэри и мои друзья по Гималайской школе — Ромеро, Лусин, Андре.

Андре попросил:

— Расскажите об Олеге и Жанне, друзья. — Он добавил с волнением: — Вам покажется удивительным, но сходил с ума я не сразу, а стадийно. Сперва пропал внешний мир и память о Земле, потом стиралось окружающее. Долго держались мои близкие, Жанна и Олег. И последний образ, который сохранял мой мозг, погасая, был ты, Эли. По-моему, ты не заслуживаешь такой привилегии.

— По-моему, тоже. — Меня обрадовало, что вместе с разумом к Андре возвратилась его милая дружеская резкость. — Вероятно, это оттого, что я был последним, кого ты видел.

— Возможно. Начинайте же!

От семейных дел мы перешли к тому, что происходило на Земле и в космосе. Я описал сражения с разрушителями в Плеядах, первую экспедицию в Персей, работы на Станции Волн Пространства. Ромеро поделился воспоминаниями о спорах с Верой и о дискуссиях на Земле, с иронией отозвался о своем поражении, обрисовал размах перестроек в галактических окрестностях Солнца.

— Вы не узнаете нашей звездной родины, дорогой Андре. Внешний вид Плутона вас потрясет, ручаюсь!

— Меня потрясает Эли! — воскликнул Андре. — Я помню тебя талантливым зубоскалом и смелым проказником, ты был горазд на вздорные выходки, но не на ослепительные мысли и глубокие открытия. А встретил тебя адмиралом Большого Галактического флота, и за твоей спиной исследования волн пространства...

— Приходилось заменять тебя, а это было непросто, — отшутился я. — А потом, естественно, я превратил необходимость в добродетель.

— Нет, и подумать странно — ты мой верховный начальник! Придется привыкать к этому, не сердись, если сразу не получится.

— Привыкай, привыкай! Другим было не легче твоего.

— Вы ошибаетесь, другие привыкли быстро, — заметил Ромеро. — Я говорю о себе и вашей сестре. Мы без сопротивления приняли ваше верховенство — возможно, потому, что сами жаждали его.

Мэри вдруг запальчиво вмешалась в разговор:

— Сколько я помню Эли, он чаще краснел, чем иронизировал. А если случались вздорные выходки, вроде прогулок наперегонки с молниями, то их было немного. Меня, если хотите знать, временами охватывала досада, что Эли такой серьезный, я предпочла бы мужа полегкомысленней.

— Вы просто не учились с Эли в Гималайской школе, — отозвался Андре. — К тому же он в вас

влюбился, — вероятно, такая встряска подействовала на него к лучшему. Серьезный, властно командующий Эли, — поверьте, это звучит очередной проказой!

Я попытался шуткой предотвратить новую вспышку Мэри:

— Мы с тобой в браке, Мэри, а в браке не до забав. И проклятое взаимное несоответствие — приходится при каждом слове и поступке с испугом на него озираться!

Она всё больше сердилась:

— Наше взаимное несоответствие только в том и выражается, что ты постоянно о нем вспоминаешь!

Ромеро обратился к Андре:

— Милый друг, многие, в том числе, со стыдом признаюсь, и я, считали вас мертвым, ибо... ну, что ж, раз ошиблись, надо в ошибке каяться — ибо не было похоже, чтоб разрушители довелись до человеческих тайн. Мне представлялось невероятным, чтоб такие злодеи и не сумели от вас, живого, выпытать всё, что вы знали. Но вам посчастливилось, если можно назвать счастьем такой печальный факт, как умопомешательство... Об этом, тоже возможном, выходе никто из нас не подумал.

— Я сам изобрел его! Я свел себя с ума сознательно и методично. Сейчас расскажу вам, как это происходило.

Я мог бы не приводить здесь рассказа Андре. В отчете Ромеро он изложен подробно, да и сам Андре, по возвращении на Землю, не раз выступал на стереоэкране. И если я это делаю, то лишь для того, чтоб показать, какие догадки и желания вызвал во мне рассказ Андре. Он с ужасом ожидал пыток. Смерть была бы куда лучше, но он понимал, что за каждым его движением наблюдают, старинные способы самоуничтожения — ножи, петля, отказ от пищи и питья, перегрызенные вены, — весь этот примитив здесь не действовал. И тогда он решил вывести свой мозг из строя.

— Нет, не разбить голову, — предупредил Андре наши вопросы, — а перепутать схему коммуникаций и связей в мозгу, так сказать — перемонтироватьсь. Конечно, мозг — конструкция многообразная, нарушение

его схемы в каком-то участке еще не вызывает общей потери сознания. Но все-таки вариантов неразберихи несравненно больше, чем схем, обеспечивающих сознание, и на этом я построил свой план.

— Так появился серенький козлик?

— Именно так, Эли. Я выбрал козлика еще и потому, что разрушители наверняка не видели этого животного и понятия не имели о сказочке со старушкой и волком, тут им не за что было уцепиться. А я думал о козлике наяву и во сне, видел только его... Что бы ни происходило извне, какие бы мысли ни появлялись во мне самом, на еду, на угрозы, на страх, на уговоры, на все я отвечал одной мыслью, одной картиной — козлик, серенький козлик... Я перевел весь свой мозг на козлика, все его уголки, всё тайное и явное в нем работало на одного козлика. И мало-помалу существо с рогами и копытцами угнездилося в каждой мозговой клетке, отменило все иные картины, кроме себя, всякую иную информацию, кроме того, что он — серенький козлик. Я провалился в полную умственную пустоту, из которой вывели меня уже вы!

— Как ты мучился, Андре! — прошептал Лусин. В голосе его я слышал слезы. — Таких страданий!..

— Какая сила воли, Андре! — проговорил Ромеро. — Что вы изобретательны, мы знали все, но, признаюсь, я не ожидал, что вы способны на подобное воздействие на себя!

Я задумался. Ромеро и Лусин спрашивали, была ли у Андре аудиенция у Великого разрушителя и познакомился ли он с бытом зловредов, а он отвечал, что стремился выключиться из этого мира, а не распахивал на него глаза. Потом он сказал с упреком:

— Ты не слушаешь нас, Эли!

— Прости. Я размышлял об одной трудной проблеме.

— Какая проблема?

— Видишь ли, у нас выведена из строя МУМ. И вывели ее примерно твоим способом — перепутали схемы внутренних связей.

— Свели машину с ума? Забавно! А схему запутывания схемы сохранили?

— Боюсь, что нет. Всё совершалось в аварийном порядке. Возможно, кое-что Осима и Камагин запомни-

ли из произведенных ими команд. Но когда я спрашивал, могли ли бы они восстановить ее, они отвечали, что нет.

— Можно подумать, — сказал Андре, зевая. — МУМ, конечно, не проще человеческого мозга, но и не намного сложнее.

— Не вздремнуть ли? — предложил Ромеро. — Все мы устали после сражения, а завтрашний день обещает быть тоже нелегким.

Ромеро, Андре и Лусин разместились неподалеку, и скоро до меня донеслось их сонное дыхание.

Я лежал и думал об Астре. Всё утро я нес его на руках, и он был со мной, а потом шла битва, после битвы меня отвлекли разговоры с разрушителями и Андре — и я не вспоминал Астру. А сейчас, в непроглядной черноте ночи, он стоял передо мной, и я разговаривал с ним. Он жалел меня. Отец, говорил он, нам с тобой просто не повезло, вот почему я и умер. Да, нам не повезло, соглашался я, вот видишь, мы победили врагов, и гравитация ослабела, как сегодня лихо летали ангелы, что бы тебе стоило погодить день-другой — и ты бы остался жив! Я не сумел, оправдывался он, не сердись на меня, отец, я не сумел — и это уже не поправишь! Это уже не поправишь, сынок, говорил я, это уже не поправишь!

Так я лежал, мысленно беседуя с сыном, пока меня вдруг не толкнула Мэри. Я приподнялся. Она сидела рядом, до меня доносилось ее неровное дыхание. Я дотронулся до нее, она с мукой сжимала руки.

— Что с тобой? — спросил я. — Почему ты не спишь?

— Перестань! — сказала она с рыданием. — Нельзя так терзать себя

— С чего ты взяла? Просто я размышляю...

— Спи! — приказала она. — Обними меня крепче и спи! Это безжалостно так... пойми!.. Я ведь тоже ни о чем другом не могу...

Я обнял ее. Она прижалась ко мне, и вскоре я услышал, как она опять молча плачет. Я дал ей выплакаться, лишь тихо гладил ее волосы. Она заснула внезапно, не то на полувсхлипе, не то на полустоне. Я подождал, пока сон не стал крепким, осторожно вытер мокрые щеки и положил ее голову себе на грудь, так

ей было удобнее, чем на свинце. Во мне мутно путались воспоминания об Астре с заботами завтрашнего дня.

Проснулся я, когда звезда выкатилась из-за горизонта. Ко мне, четко в ряд, двигались Осима, Орлан и Гиг.

— Колонны готовы к выступлению, адмирал, — доложил Осима.

— Я беседовал с пленными головоглазами, Эли, — сообщил Орлан. — Они по-прежнему видят во мне начальника. Я думаю, держать их под охраной не нужно, они пойдут отдельным отрядом.

А Гиг шумно захохотал всем туловищем. Жизнерадостности у этого скелета хватило бы на дюжину людей.

— У невидимок — торжество! — объявил он хвастливо. — Кто сражался вчера против, сегодня будет сражаться за. Ни сомнений, ни колебаний — за меня, своего любимого вождя, пойдут в огонь. Но ты понимаешь, Эли, раз нам разрешено снять невидимость и спуститься на грунт... Идти третьей колонной, за людьми и ангелами, как ставит нас Осима, — это не для невидимок, адмирал, нет, это не для нас!

Я утешил его тем, что поставил отряд невидимок впереди всех. Гиг отправился строить своих в дорогу и так лихо гремел скелетом по лагерю, что люди и ангелы вздрагивали, а пегасы злобно ржали. Одни флегматичные драконы спокойно держались, когда Гиг шагал мимо.

— Я положила Астру на авиетку, — сказала подошедшая Мэри. — Больше не будем нести его на руках.

— Тебе тоже нужно бы сесть в авиетку.

Она с усилием улыбнулась.

— Разве ты забыл приказ адмирала? Я вынесу всё, что вынесешь ты.

13

Уже не только в бинокль, но и невооруженным глазом была видна Станция — один не то купол, не то просто холм, а неподалеку три возвышения поменьше.

Иные крепости на Земле с их фортами, бойницами и орудиями выглядели внушительнее.

Мы лежали на вершине свинцовой скалы, и я поделился мыслями с Ромеро, приползшим сюда вместе со мной.

— Я позволю себе указать, любезный адмирал, — возразил он педантично, — что самая мощная из человеческих крепостей не разнесла бы и обыкновенной каменной горушки, а это невзрачное сооружение свивает в клубок мировое пространство.

Я не хуже Ромеро знал, каковы функции Станции. Я сказал сухо:

— Поползли назад, Павел. Позовите Осиму и Камагина, а я подберусь к Петри и Орлану.

Орлан с Петри лежали в ложбинке, прорезавшей весь гребень. Я позвал их, и они спустились вниз. Там уже поджидали нас Ромеро с Осимой и Камагиным.

— Пустота! — сказал Осима. — Ни мы никого не увидели, ни нас никто не открыл.

— Впечатление такое, что Станция покинута, — подтвердил Камагин. — Я бы рискнул подобраться поближе.

Орлан втянул голову в плечи так глубоко, что она провалилась до глаз. Я заметил, что обо всем, относящемся к Станции, он говорит неохотно и кратко. В Империи разрушителей обсуждать дела на Станциях Метрики приравнивается к преступлению. Орлан не мог отделаться от многолетней боязни запретных тем.

— Я бы не рискнул, — сказал он сдержанно.

— Пойдемте в лагерь и устроим военный совет, — предложил я.

Лагерь был разбит километрах в десяти от Станции, и нам пришлось пошагать, пока мы добрались.

На подходе мы увидели в воздухе крылатых сторожей: ангелы Труба взяли на себя патрулирование и выполняли с рвением свои новые обязанности.

Я ломал голову, как поступить дальше, но ничего не придумывалось. Станцию открыл Лусин, вылетающий в разведку на Громовержце. У Лусина хватило осторожности повернуть назад, чуть он завидел невысокие купола.

Все мы понимали, что осторожность его примитив-

на, а еще примитивней меры, вроде сторожевых постов на грунте, патрульной службы в воздухе. На этом настаивал Осима, а мне всё это казалось излишним. Сооружения такой гигантской технической сложности, как эти космические заводы, меняющие структуру пространства, не могли не иметь и совершеннейших методов защиты. Любой человеческий звездолет локирует в миллионе километров простую тарелку или шляпу, посты наблюдения на Станции Метрики не могли быть хуже наших локаторов. От нас не собирались защищаться, только поэтому мы не открыты. Значило ли это, что к нам относятся, как к друзьям? Может, всё давно погибло на Станции — нет ни живых существ, ни работоспособных автоматов? Предложение Камагина казалось мне естественным: если нас не уничтожили в десяти километрах, то не уничтожат и в десяти метрах, — разницы практически нет.

Вместе с тем не считаться с сомнениями Орлана я не мог. Он единственный что-то знал о Станциях Метрики.

На совете Орлан повторил, что возражает против шествия к куполам. Он не понимает, что на Станции произошло, и потому не отдает себе отчета, что нас ожидает вблизи.

— Всё может быть, — повторил он со злобещим бесстрашием.

— Еще одну разведку, адмирал? — спросил Осима. — Уже не вшестером, а посолиднее. Пошлем разведывательный отряд — невидимок или ангелов?

— Ангелов! — заволновавшись, воскликнул Труб. Он считал, что высота над планетой безраздельно принадлежит ангелам, и страдал, когда кто-нибудь из невидимок взвизгивал в воздух. К пегасам и драконам Труб был терпимей.

— Только невидимок! — возгласил Гиг.

Зная, что рассержу Труба, я отдал предпочтение невидимкам.

— Невидимкам проще подобраться к Станции. В конце концов это ваша военная функция, Гиг, — появляться незамеченными в любом месте.

— И сражаться в любом месте, — торжествующе добавил Гиг. — Невидимки — воины, адмирал!

— Не могли бы и мне создать временную невиди-

мость? Я с охотой пошел бы, хоть пешком, с вами в разведку.

Гиг разъяснил, что генераторы кривизны подбираются индивидуально. К тому же у людей неудачная телесная структура. Если бы у невидимок и нашелся удобный для меня генератор, я не вынес бы мгновенного перемещения в кокон закрученного пространства: высокие неевклидовости не для людей.

— Нет так нет, — сказал я. — Как у вас, Осима?

Гиг побежал готовить своих, не интересуясь дальнейшим ходом совета. У невидимок дисциплина не на высоте. В этом отношении они уступают исполнительным головоглазам.

Осима в самоходных ящиках нашел два электромагнитных орудия, исправных и простых по конструкции. В твориле орудия создаются электрические заряды, периодически выбрасываемые наружу. Трасса выстрела превращается в летящий ток, а вокруг него возникают могучие магнитные поля.

После сборки орудий мы испытали их действие на золотой скале. Был сделан всего один выстрел, а от орудия до скалы пролегла выжженная траншея, в которой могла бы разместиться вся наша армия. А на месте скалы взвилось плазменное облачко, и долго еще на нас сыпалась золотая пыль.

— Хоть сейчас можем начать обстрел Станции, — доложил Осима. — И сооружениям ее не поздоровится!

Я понемногу начал разбираться в том, что внешнее бесстрашие Орлана имеет различные оттенки.

— Вам, кажется, не понравилось сообщение Осимы, Орлан?

Он разъяснил, что электромагнитные орудия — механизмы грозные, но, если дойдет до сражения, главной боевой силой станут головоглазы. Их перископы приспособлены к рассеканию и сжатию любых полей. Массированный гравитационный удар головоглазов даст больше эффекта, чем электромагнитный залп: орудий два, а головоглазов больше ста. Они, правда, ослабели от тягот пути, но на отдыхе быстро восстанавливают силы. Через неделю их организмы накопят полный запас боевой энергии.

— В сражение поведу их я сам, — сказал Орлан.

Дальнейший ход совета был прерван диким гамом

и грохотом, разнесшимся по всему лагерю. Гиг с десятком отобранных невидимок выступил в разведку.

Я уже говорил, как меня смущала мысль, что кругом снуют незримые существа, безразлично — добрые они или злые. Но когда я слышал шум, создаваемый воинственными скелетами в оптическом пространстве, я сожалел, что разрешил им снимать боевую форму.

— Мы готовы, — сказал Гиг, выстраивая перед советом свой отряд. — Все ребята с осязателями выше средних. Прирожденные разведчики, можешь не сомневаться, адмирал! Разреши лететь, а?

Он гулко затрясся всеми сочленениями, и, словно десятикратно усиленным эхом, отряд невидимок повторил его грохотанье. Не знаю, как у них было с осязателями, но концерт они задавали мастерски.

Осязателя у невидимок, кстати, в чем-то подобны нашим органам чувств, а в чем-то весьма отличаются. В оптическом пространстве осязатели почти не функционируют, зато в коконе неевклидовости обостряются невероятно: малейшие электромагнитные колебания, гравитационные возмущения, корпускулярные потоки и прочее, совершающееся вовне, воспринимаются просто идеально.

В отчете Ромеро вы можете найти подробнейшие схемы осязателя, я их не привожу, потому что не понял главного — как вообще они могут действовать, когда сами невидимки так глухо запакованы в своем мире, что их обтекает даже свет.

— Летите! — разрешил я.

Они исчезли мгновенно и все сразу. В бою они, конечно, были хороши, но еще лучше годились для парада. То, что наши предки называли «показухой», достигало у невидимок художественного совершенства.

Я знал, что полет невидимок не быстр и раньше чем за час до Станции они не доберутся, но после их исчезновения потерял интерес к совету. Передав председательствование Осиме, я вместе с Ромеро и Андре отправился на вершину ближайшего холма.

Купола оттуда видны не были, но воздушное пространство над Станцией просматривалось хорошо.

По дороге мы задержались возле Мэри. Единствен-

ная женщина в лагере, она подобрала себе исконно женское занятие — врачевание. Труб выделил ей пятнадцать ангелочков понежнее, из тех, что не годились для сражений, и Мэри стала обучать их санитарному делу — как сама его понимала.

Лекарств и бинтов в лагере не было, зато в обозе нашлись веревки, ангелы их расплетали и вязали бинты. Все ангелы — отличные кружевницы и ткачихи, а у этих, отобранных, дело прямо горело в крыльях.

— Вероятно, мы единственные во Вселенной люди, которые обходятся без медицинской машины, радиационных душей и прочего, — сказала Мэри. — Мы уподобились предкам, и в этом есть что-то захватывающее!

— Сейчас невидимки около Станции, — объявил Андре, когда мы взобрались на холм. — И, похоже, их не открыли — никаких эффектов не видно.

Сегодня, когда мы хорошо знакомы с устройством Станций Метрики, подобные наивные рассуждения могут вызвать лишь улыбки. Истинными невидимками были не воины Гига, а те, кого они разведывали. Невидимок только подпустили к Станции — и на ту дистанцию, какую сочли приемлемой. А затем жестоко над ними посмеялись.

В отдалении вдруг вспыхнуло десять огненных факелов. Какое-то время факелы по инерции мчались по-прежнему к Станции, затем круто повернули к лагерю. Десять раздуваемых ветром костров, то взлетая, то падая, неслись на наш холм, и мы, прильнувшие к биноклям, видели, что внутри факелов — пустота.

— Молодец Гиг, даже в такую минуту не раскрылся! — восхищенно пробормотал Андре. — Эли, вот настоящий воин — и в пламени не потерял самообладания!

— В старину говорили: испытан в огне сражений, — отозвался Ромеро. — О невидимках можно сказать по-иному: даже в огне сражений не раскрывались. Это единственное, что их спасает сейчас от гибели.

Раздраженный, я отошел от друзей. Невидимок от гибели спасало лишь то, что никто не желал их гибели. Но им ясно показали, что никакое экранирование не поможет. Их воспринимали, видели, спокойно оконту-

ривали, в то время как собственные их ощущала и не догадывались о приближении опасности.

Десять факелов пронесли над холмом и рухнули посреди лагеря.

К горящим разведчикам неуклюже, но быстро двинулись головоглазы и стали проворно сбивать пламя гравитационными ударами. Они живо вращали наростами, вылетающий импульс легко тушил огонь. Для профессии пожарников эти создания подошли бы отлично.

Мэри со своими ангелами тоже поливала одного из воспламененных водою, но вода это пламя не брала.

После того как с огнем справились, разведчики стали сбрасывать броню невидимости. Лишь один поторопился раньше времени и поплатился за это ожогами.

— Эли, куда ты? — окликнул Андре. — Полюбуйся: никаких изменений на Станции. Никто не преследует беглецов.

Мне казалось в тот момент, что я знаю, почему это.

— А зачем беглецов преследовать? Их отогнали — и хватит. Уничтожать нас не собираются, но и пускать на Станцию — тоже.

14

— Плохо работают ваши ощущала, — сказал я Гигу, когда он оправился от потрясения. — Пока вас не охватило пламенем, вы и не подозревали о приближении опасности.

Этот удивительный народ, невидимки, легче примирятся с гибелью, чем с унижением. Гиг так затрясся, что мне почудилось, будто залязгала тысячезубая челюсть.

— Отлично работали, отлично, адмирал! Мы почувствовали пульсацию незнакомых полей задолго до факелов, но не испугались. А возвратились не из страха, а потому, что обнаруженный разведчик уже не разведчик, а только солдат. Вот как было дело, адмирал!

Логика в его оправданиях, конечно, имелась.

После провала попытки Гига подобраться незамеченным, стало ясно: Станцию нужно штурмовать. Но

идти в атаку на неразведанного противника было, по меньшей мере, неразумно.

Ромеро в своем отчете рассказывает, что мной овладели тягостные колебания, и плохое настроение адмирала понемногу передавалось всем.

Дело было не в моих колебаниях; колебаться можно между несколькими решениями, а у меня не было никакого. И все, к кому я обращался, как плохие игроки, говорили только о своих ходах, но и понятия не имели об ответных ходах противника. Вести армию в бой наугад я отказывался. То, что Ромеро называет моими колебаниями в течение недели перед первым штурмом, было поисками выхода. К тому же именно этот срок потребовал Орлан для накопления запасов гравитационной энергии у головоглазов.

И если теперь оценивать мои тогдашние действия, то я скажу по-иному, чем Ромеро: я слишком мало колебался и результаты штурма Станции показали не так мою излишнюю осторожность, как опрометчивость.

Я не утверждаю, что подготовка к большой атаке была полностью неуспешна. Кое-что сделать удалось. Электромагнитные орудия Осимы действовали исправно, ангелов снабдили портативными разрядниками. Но главной удачей, по-моему, было то, что совершил Андре: четыре превосходных анализатора любых силовых полей.

— Если предварительно мы не разведали противника, то в сражении будем иметь полное представление о нем — видимом и незримом, — пообещал Андре. Я тут же назначил его ответственным за исследовательскую работу в нашей маленькой, но разнообразной армии.

Я должен сделать отступление об Андре. Все мы, естественно, присматривались к нему, — испытанные им потрясения не могли не сказаться. И он, естественно, был не тот импульсивный, нетерпеливый, резкий и добрый, какого мы некогда знали. Он стал сдержанней и молчаливей.

Но мозг его, возвращенный к жизни, работал с прежней интенсивностью; я это понял сразу же, как Андре обрел человеческий язык, и сам Андре доказал это в разыгравшихся событиях. Рядом со мной снова пылало горнило новых идей, генератор остроумных проектов —

пусть простят мне эти выпренные слова, в данном случае они самые точные.

Расчет делался не на внезапность атаки, а на силу удара. План наступления вкратце сводился к следующему. В центре, на плоскости, двигаются головоглазы, сверху их поддерживают невидимки. С левого фланга атакуют ангелы Труба, с правого пегасы под предводительством Камагина и крылатые ящеры во главе с Лусином. Петри поведет людей. Человеческую пехоту предполагалось бросить туда, где в ней будет нужда. Осима с ползущими орудиями размещался в колонне головоглазов — электромагнитные механизмы, как и сами головоглазы, были оружием ближнего боя.

На вершине того холма, где мы вшестером высматривали Станцию, я разместил свой командный пункт. Со мной находился Андре с анализаторами и Ромеро. В лошине укрылось несколько штабных пегасов для адъютантской связи.

Приготовления к штурму были закончены вечером.

По древнему воинскому обычаю битва начиналась с началом дня.

— Действуйте! — передал я по дешифратору начальникам колонн, когда звезда выкатилась из-за горизонта.

Станция лежала перед нами, как на блюде, — один большой купол, три купола поменьше. Теперь, рассматривая бесчисленные виды Станций Метрики на стереоэкранах, я вижу, что они удивительно схожи со старинными астрофизическими обсерваториями, лишь массивней их. Но тогда это сравнение не пришло мне в голову.

— На Станции пока движения нет, — сообщил Андре, не отрывавшийся от анализаторов.

Первыми выступили злореды, — после того как, перейдя на нашу сторону, они утратили свою зловредность, мне даже неудобно употреблять это выражение.

Могучая колонна, почти в две сотни неторопливо передвигающихся крепостей, взметнувших над собой красноватые огни перископов, даже на взгляд была внушительна. А два орудия Осимы походили на испанских змей, прокладывающих ей дорогу. Над колонной реяли невидимки, я слышал по дешифратору

команды Гига, но отряда его мы, естественно, не видели.

— Импозантно! — пробормотал Ромеро. Он любовался в бинокль зрелищем наступающих головоглазов.

Осима дал залп, как только приблизился на дистанцию прямого попадания.

С командного пункта мы увидели, как из орудий вырвались две огненные реки. Беснующееся пламя обрушилось на купола.

Начало было хорошее, но, к сожалению, всё хорошее ограничилось началом.

Множество пылающих смерчей закружилось на месте, где наступал центральный отряд. С невольным уважением я наблюдал, как отважно действуют внешне столь неповоротливые головоглазы. В наше отдаление донеслось тяжкое содрогание наносимых ими синхронных ударов. Вскоре не оставалось ни одного несорванного факела, а несколько беспорядочно мечущихся смерчей были буквально разорваны и расплющены. Ни Осимы, ни Орлана не коснулись даже летящие хлопья пламени, так хорошо защитили своих командиров головоглазы.

В воздухе тоже возникли факелы, но Гиг на этот раз вел себя хладнокровней, и факелы погасли.

— Буря непонятных полей! — доложил Андре. — И гравитация, и электромагнетизм, и корпускулы. Что-то, по-моему, готовится сногшибательно новое.

Новым было лишь то, что повторилось усиленное старое.

Орудия Осимы наконец разрядились вторым залпом, dokonчив разрушение двух малых куполов, а поле битвы охватила вторая волна огня. Уже не разрозненные смерчи бесновались над продвигающимся отрядом, но всё пространство превратилось в бушующий костер, — и в его бешеной пляске пропали и головоглазы, и Осима со своими орудиями, и невидимые воины Гига.

Две-три минуты, подавленный, я ожидал полного уничтожения отряда. Но пламя опять стало спадать, вбиваемое в металл, и мы увидели яростно и методично сражающихся головоглазов. Теперь они быстро вертелись, выбрасывая гравитационные импульсы.

Короткое время я не терял надежды, что им и на

этот раз удастся подавить контратаку пламенем. Но в битву вмешалась предсказанная Андре новая сила. Несколько головоглазов перевернулось, стройная колонна, словно опутанная сжимающей цепью, постепенно сбивалась в одну небоеспособную кучу. На высоте, непроизвольно или сознательно, раскрылись два невидимки и рухнули вниз, за ними, отчаянно сопротивляясь неведомому врагу, покатались еще три обнаруживших себя солдата.

Картина победоносной битвы внезапно превратилась в картину разгрома.

— Осима и Орлан требуют помощи! — крикнул Андре. — У Осимы больше не заряжаются орудия, у Орлана катастрофически слабеют гравитаторы!

Я приказал выступать крылатым отрядам и человеческой пехоте.

Теперь, когда всем известно, как печально закончился наш первый штурм Станции, могу с искренностью признаться, что не видел зрелища красочнее и грознее, чем атака крылатых. Дело заранее было обречено, а я и в момент разгрома не сомневался, что мы побеждаем, — так непреодолимо стремительна была эта несущаяся воздушная масса.

Первыми, слева, вырвались ангелы с разрядниками в крыльях и гранатами в боевых сумках. Их мгновенно охватило пламя, но холодное — иной природы, чем невидимок и головоглазов, — ослепляющее, а не сжигающее. Мы, на командном холме, понятия не имели, что для любого отряда зажигается свой огонь, и меня пронизал ужас, когда я увидел, что каждый ангел несется в факеле, как в ореоле.

Ангелы летели, не ломая четкого строя, шумно и стройно, тысячеголосый трубный вопль опережал их — они показались мне армией демонов, несущихся среди пожара. И все они с такой энергией рассекали воздух крыльями, что подняли уже не бурю силовых полей, а воздушную.

Громовой голос Труба один отчетливо выделялся среди грохота и гама, клетота и свиста. И, очутившись у поля боя, Труб первый бросил гранату и взметнул разрядник, и его движение повторил весь воздушный отряд. К общему шуму добавился треск молний, сотня-

ми разрезающих воздух, вонзающихся в металл планеты и в золотое небо.

Армада ангелов летела прямо на Станцию, вся в молниях, как в перьях. Если эта атака с разрядниками оказалась, в конечном итоге, неэффективной, то, во всяком случае, она была эффектна.

А затем справа в район боя вынеслась крылатая конница Камагина и Лусин во главе драконов.

Он далеко обогнал на своем Громовержце остальных ящеров и так остервенело врубился в гущу мечущихся по полю огней, что странные боевые факелы отшатнулись от него, как живые.

С короны Громовержца били молнии — многопламенные, неотразимо испепеляющие. И при каждом выстреле у Громовержца вырывался крик, резкий, торжествующий, поражающий слух не менее остро, чем электрические разряды поражали тела. Это было странное сражение — битва молний против факелов. И побеждали молнии: там, куда устремлялся Громовержец, быстро погасали бушующие огни.

Вопль и клекот ангелов, дикий свист драконов, торжествующий визг Громовержца, свирепое ржанье пегасов и боевые клики людей быстро преобразили молчаливое однообразие боя, закипевшего на подступах к Станции. А когда подросла пехота Петри и блистающие шпаги лазеров вплелись в общее метание факелов и молний, наш нажим на таинственного противника обрел новый порыв.

Заколебавшиеся было головоглазы каменной глыбой двинулись дальше, перестраиваясь на ходу. И хоть их гравитаторы нуждались в подзарядке, импульсы, выбрасываемые перископами, были еще мощнее, чем прежде, — так воодушевила головоглазов своевременная поддержка.

— Наша берет! — сказал я Ромеро, отрываясь от зрелища битвы. — Павел, наконец-то наша берет!

— Эли! Эли! — в испуге вскричал Андре. — Эли, посмотри, что там делается!

То, что произошло на поле, было более чем неожиданно. Ни при каких раскладках планируемого сражения нам и в голову не приходил такой оборот событий — это был немыслимый вариант, нечто из бреда, а не из расчета!

Со стороны главного купола Станции неслись три крылатых отряда — ангелы, предводительствуемые Трубом, конница пегасов с Камагиным на белом коне, и крылатые ящеры с далеко обогнавшим их Громовержцем. А на шее второго Громовержца восседал второй Лусин.

И эти новые отряды, так же как и первые, наши, охватывало, как футлярами или ореолами, багровое холодное пламя, из недр их так же рвались оранжевые молнии разрядов, Громовержец оцетинивался такими же молниями, Лусин и Камагин вонзали в противников те же лазерные острия, а над ними, впереди них, несся такой же тысячеголосый вопль, свист и клекот!

— Фантомы! — крикнул Андре после охватившего нас вдруг оцепенения. — Эли, надо предупредить наших, что на них выпущена банда фантомов!

К чести Осимы и Орлана и особенно Гига, они и без разъяснения быстро разобрались, что за армия прибыла в битву. Лусин и Камагин, а также Труб стгоряча спутали своих с чужими, но повторные вызовы Андре и возникшая в сражении путаница отрезвили их.

Осиме удалось произвести и третий залп. Огненные потоки обрушились на фантомов, сминая их и превращая в плазму. Наши невидимки схватились с отрядами вражеских привидений. Я по-прежнему не видел воинов Гига, но по тому, как взвивались призрачные крылатые кони, как в страхе увертывались искусственные ангелы и падали с предсмертным криком искусственные люди, мог легко представить себе, сколь велика ярость нового сражения. И какое-то, очень короткое, время у меня еще теплилась надежда, что не всё проиграно.

— Пора кончать избиение наших, адмирал! — сурово сказал Ромеро.

Как раз в это время два Громовержца, живой и искусственный, страшно столкнувшись телами, испепеляли один другого — багровая сеть молний оплела их головы. Один из драконов, сраженный, падал, и я не мог разобрать на отдалении, Лусин ли сейчас погибает или псевдо-Лусин.

Я приказал Андре, откашлявшись, чтоб не дрожал голос:

— Радировать общее отступление!

Все военачальники услышали приказ и стали пово-

рачивать свои отряды. Труб тоже услышал, но, распаленный боем, пренебрег приказом. Реальные ангелы, подбадривая себя бесовскими воплями, с прежним ожесточением схватывались с ангелами призрачными.

Борьба становилась всё более неравной.

— Немедленно к Трубу, Павел! — приказал я Ромеро. — Выводить ангелов из боя!

Ромеро вскочил на штабного пегаса, и вскоре ангелы стали покидать поле сражения.

Я спустился с холма и пошел в лагерь.

У Мэри на санитарном пункте кипела работа. Ангелицы-санитарки прилетали с ранеными. Истерзанные драконы приползали сами, а пегасов приходилось подгонять: даже с поврежденными крыльями они норовили взлететь. Но боль они сносили спокойно, ни один не ржал со злобой, когда ангелы-хирурги неумело брали в когти скальпель.

— Мэри, мне показалось, что Лусин падал! — сказал я. — Где Лусин?

— У Лусина легкое ранение, но Громовержец плох.

У Лусина была забинтована голова и рука на перевязи. Он горестно поглядел на меня, по щекам его катились слезы. Громовержец лежал на боку без сознания. Глаза его были закрыты, великолепная корона боевых антенн помята — с остриев еще стекали синеватые предсмертные огни Эльма.

Я опустил на колени и прислушался к работе сердца. Сердце стучало неровно и глухо, то замирало, то часто и слабо билось. Я молча встал. Надежды не было.

— Такой друг! — шептал Лусин, плача. — Такой друг, Эли!

— Крепись, дорогой! — сказал я Лусину. — Каждый сегодня мог оказаться на месте Громовержца. В сражениях дорога к гибели шире дорог к победе.

15

Нет худа без добра: мы потерпели поражение, но узнали, на чем зиждется оборона Станции. Анализаторы, пока шла битва, определили физические параметры

фантомов. Образования эти были воистину фантастической природы — почти без массы, однако оптически непроницаемы, какой-то сгусток энергетических излучений, среди них — и неизвестной нам природы.

— Я предупредил, что автоматы не более чем силовые поля, способные принимать любой телесный облик, — мрачно напомнил Орлан.

Это был один из тех редких случаев, когда он изменял своему мундиру безразличия.

Даже Труб был ошеломлен.

— Мы, ангелы, по природе своей — материалисты, — взволнованно высказался он на совете. — Мы отважimsя сражаться против любого вещественного противника. Но против призраков ангелы бессильны. Борьба с привидениями — не наша стихия!

Больше всего я страшился, что эта паническая философия окостенит души. В борьбе с фантомами мы потерпели не так физическое, как психологическое поражение. И весь упор возражений запаниковавшим я построил на уничтожении философии страха.

— Сущая чепуха, что противник нематериален. Это, конечно, фантомы, но вполне материальные, ибо составлены из энергетических полей, а разве силовое поле — не одна из форм материи? Наши изображения на стереоэкранах и в видеостолбах несут в себе еще меньше массы, чем любой из фантомов, — почему же вы не бледнеете при виде стереоэкрана? Удивительность фантомов вовсе не в их мнимой нематериальности, а в том, что им удалось блистательно скопировать нас самих. Вот где загадка! И нужно распутать эту физическую загадку, чтоб не поддаться на новые хитросплетения. Не трястись перед потусторонними силами, а разобратсья в новой научной проблеме — вот чего я сейчас от всех требую.

После такой отповеди обсуждение проигранного сражения стало деловым.

— Физическая загадка фантомов решается просто, — доказывал Андре. — Если у противника имеются анализаторы высокого быстродействия, они легко отобразят все особенности нашего строения. А после этого не составит труда построить образ, оптически идентичный с нашим. Видеостолбы, о которых упомянул адмирал, работают как раз по такому принципу.

— Просто, легко, не составит труда! — с досадой сказал Осима. — Но у нас жалкие видеостолбы, то есть не больше чем оптические отображения, а у них отображения силовые. Разница!

— У нас чего-либо подобного, к сожалению, нет и в помине, — со вздохом поддержал Осиму Ромеро. — Объяснения ваши я могу принять, проникательный Андре, но вряд ли кому-нибудь из нас от них станет легче.

По тому, как скромно, никого не прерывая, Андре выслушивал посыпавшиеся возражения, я чувствовал, что он готовит сюрприз. Во всяком случае, так держался бы прежний Андре. Его глаза лукаво поблескивали. Он словно заранее наслаждался тем, что легко возьмет верх над оппонентами. Я так всегда верил в гений Андре, что во мне возникла надежда на благополучный поворот дел.

— Не легче? — переспросил он. — А я как раз собирался выпустить против неприятельских фантомов наши собственные, может, попроще по структуре, но для зрения убедительные.

— А для других ощущал, употребляя это местное словечко? — спросил я. — Ты понимаешь, Андре, у зловредов... Простите, у защитников Станции анализаторы не ограничиваются зрением.

— Я и не собираюсь конкурировать с ними. Их фантомы воюют реально, мои же лишь спутают тактику противника: пусть он направляет удары на призраков, а не на нас. Истинные привидения, которых опасается Труб, будут сражаться на нашей, а не на их стороне.

Ромеро с сомнением покачал головой. Ни Осиму, ни Петри с Камагиным Андре не захватил своим проектом. Орлан вновь замкнулся в мундире бесстрастия. Увлекающемуся Гигу зато очень понравилась идея Андре, Труба тоже восхитило, что на воинственную шайку фантомов будет спущена кровожадная орава призраков. Он предвкушал живописное зрелище.

— Война призраков против призраков, к сожалению, операция призрачная, а нам нужны реальные результаты, — указал Ромеро.

— Вы торопитесь, Павел. Призраки, конечно, не

больше чем призраки, но борьба их будет вполне реальной. И дело лишь начинается, а не ограничивается их борьбой.

И всё больше становясь похожим на прежнего увлекающегося Андре, он рассказал о главной своей идее. Оптическое войско явится лишь тактической приманкой. Пока фантомы противника отвлекутся борьбой против наших призраков, мы подготовим сокрушительную операцию.

Приборы показывают, что противодействие врага складывается из двух противоположных действий, условно их можно назвать правым и левым полем. Когда правые и левые поля совпадают, они не погашают одно другое, но образуют своеобразный узел. Плюс с минусом в математике дают нуль, но в жизни правая рука, сливаясь с левой, рождает рукопожатие. Фантомы не более чем узлы скреплений правых и левых взаимодействий, фокусы их слияний. Электрические орудия Осимы, лазеры людей и молнии крылатых разрывали поля, но не уничтожали их симметрии — главная сила противника оставалась нетронутой. Нужно бить по гармонии, взрывать изнутри четность полей — только здесь гарантия победы.

— Найденные в обозе генераторы способны воспроизвести любое поле противника, — закончил Андре. — Пока фантомы будут справляться с нашими привидениями, а орудия Осимы подбавят сумятицы в неразбериху, мы введем энергетическую систему врага в такие автоколебания, что никакие амортизаторы не удержат ее от распада.

Всех захватила широта замысла Андре, но я задал несколько вопросов. Он обиделся, как и раньше: в уточнении деталей ему неизменно чудились придирки.

— Не помню, чтобы ты что-либо принимал сразу, Эли, — сказал он в сердцах.

— А я помню, что даже в правильной идее ты где-нибудь всегда по запарке врешь. Сколько тебе нужно времени на подготовку армии призраков?

— Два дня и десяток хороших помощников. Разумеется, не таких скептиков, как ты.

— Дни у нас есть, помощников, непохожих на меня, тоже найдем.

Теперь на штабном холме нас было не три, а добрых тридцать человек и союзников.

Второе сражение разыгрывалось точно по диспозиции. В отчете Ромеро вы найдете технические подробности — и альберты потраченной мощности, и физические характеристики аппаратуры, и уровень иллюзорности призраков, и тактическое построение отрядов фантомов. А мне вспоминаются звуки и краски, пламена и дымы, дикие рожи псевдосуществ одной стороны, лихо сражающихся с псевдосуществами другой стороны. Степень призрачности привидений, так волнующая ныне историков экспедиции, меня не затрагивает.

Когда навстречу нашим реальным войскам, выпущенным для «затравки» битвы — так назвал эту операцию Ромеро — вынеслись полчища неприятельских фантомов, я от восторга затопал ногами. В образовавшейся свалке возникали всё новые фигуры, их делалось всё больше — призраки Андре вторгались в общую катавасию боя. И хоть я знал, что каждая из новых фигур — не больше чем оптическая иллюзия, я не мог отличить их от фигур реальных — так они были искусно сработаны.

Как было приказано, наши солдаты бросились назад, когда среди них стали возникать призраки. Со стороны это должно было восприниматься по-иному: часть нашего войска, устрешенная, ретируется. Оставив в покое ищущих спасения в бегстве, бестии противника с удвоенной свирепостью принялись уничтожать остающихся, то есть привидения.

Призраки сражались против призраков в отнюдь не призрачной битве. Визга, грохота, воя, свиста, рева, грома, молний, взрывов гранат, гравитационных ударов, лазерных шпаг, световых наскоков и магнитных выпадов хватило бы на солидную многолетнюю войну наших предков.

Увлеченный картиной битвы, я не уловил момента, когда Андре запустил генераторы.

Для начала Андре гигантски усилил все правоориентированные поля. Фантомы противника вдруг стали распухать, теряли четкие очертания, из тел превращались в силуэты.

Захваченный врасплох, противник спешно умножил поля левой ориентации, чтоб сохранить гибнущую симметрию, и, точно поймав этот момент, Андре быстро подавил все правоориентированные потенциалы и вздыбил левоориентированные — добавил к вражескому усилению свое в том же, левом, направлении. Бестии, продолжавшие сражаться с нашими призраками, так же стремительно, как перед тем распухали, стали теперь опадать, очертания их делались нестерпимо четкими — они превращались в абстрактные фигурки из живоподобных тел. Там начался процесс расширяющихся автоколебаний.

Сперва было одно колебание — фантомы то разом росли, расплываясь и тускнея, то разом же опадали, пронзительно очерчиваясь и накаляясь до белокалильного жара. А затем одно большое колебание распалось на несколько маленьких. Противник попытался смешать нашу игру резкими бросками полей то вправо, то влево, но Андре предвидел и эту защиту и хладнокровно ее парировал.

Вскоре одни из фантомов стали вырастать, в то время как другие уменьшаться — колебания не совпадали по фазе, но амплитуда их неудержимо росла, размах метаний становился всё грознее.

Неизбежным следствием этого процесса должен был явиться взрыв в энергетическом сердце противника.

Но еще до того, как запланированный взрыв разметал утратившее контроль неприятельское войско, нам удалось увидеть непредвиденную междоусобную распрю, яростно вспыхнувшую среди фантомов. Уменьшающиеся ринулись на растущих, растущие наваливались на уменьшающихся. Несколько долгих минут над полем взаимного истребления взвивались ревы, вопли и визги, — и всё потонуло в гигантском взрыве.

Над куполом взвился столб дыма, крутящееся пламя сожрало остервенело сражающиеся фантомы врага. Защита противника была сокрушена.

На поле высыпали наши солдаты, реальные солдаты, не привидения.

Бешено хлопая крыльями, в иглах молний, пронеслась армия Труба, лихо помчалась звонко ржущая крылатая конница Камагина. А в центре, не прикрываясь

больше невидимостью, весело грохотали живые скелеты Гига, и свирепо коптящие ящеры Лусина старались ни на метр не отстать.

И четко, как на диковинном параде, закрепляя своим тяжким строем порыв подвижных войск, на последний штурм купола двинулась железная армия головоглазов Орлана, а по бокам ее шагали две колонны людей с Осимой и Петри во главе.

— Эли! Андре! — услышал я голос Ромеро, покрытый гулким ржанием. — Да скорее же, друзья!

Три пегаса, тяжело махая крыльями, норовили взлететь с холма. На одном уже гарцевал Ромеро, на двух других вскочили Андре и я.

Мы понеслись к дымящемуся развороченному куполу, куда уже ворвались наши легкие отряды — ангелы и невидимки.

17

Я с отвращением смотрел на захваченного Надсмотрщика Станции. Он напоминал человека — но изуродованного до бесчеловечия! У него не было шрамов от ран, никакие раны не сумели бы так обезобразить человека.

Он был переконструирован.

Он был выше любого из нас — гигант трех метров росту. Лицо у него было почти красивое, холодные глаза смотрели настороженно и угрюмо, темные волосы закрывали уши и шею. Но вместо ног он был снабжен двумя гибкими шлангами, свободно гнущимися в любой точке, а вместо рук такими же рычагами, покороче ножных, с десятью присосками на концах. И у него, конечно, было туловище, торсу его мог бы позавидовать любой из греческих богов, но на животе — в схватке с него содрали одежду — виднелась вмонтированная в тело дверца. Камагин, захвативший в плен гиганта, не преминул распахнуть дверцу: у Надсмотрщика были не живые внутренности, а приборы, аккумуляторы и моторы!..

Это человекоподобное образование не жило, не питалось, не болело, не дышало и не спало, а заряжалось, заправлялось, терпело аварию и ремонтировалось, чистило контакты и сменяло отработанные прокладки!

А позади Надсмотрщика, понутив головы, стояла группка инженеров Станции, захваченная у пультов и аппаратов, — живые машины рядом с машинами механическими. Когда их оттаскивали от механизмов, они сопротивлялись и вскрикивали, речь их, по звукам, казалась почти человеческой...

Надсмотрщик, покачиваясь на согнутых нижних шлангах, обводил нас ненавидящими глазами. Он бегло скользнул взглядом по мне, по Ромеро, по Андре. Потом взгляд его упал на Орлана — и он разом преобразился. Нам почудилось, что туловище его выстрелило вверх — так быстро разогнулись шланги.

— Орлан? С врагами вместе? — прохрипел Надсмотрщик. Отвратительный голос раздавался словно из поломанного ящика. Наручный дешифратор легко переводил его слова на человеческий язык.

Орлан сделал два шага вперед и, не торопясь, вытянул голову вверх. Мы были с ним так хорошо знакомы, что без труда разбирали интонации движений его шеи.

Надсмотрщика Орлан приветствовал иронически, почти издевательски.

— Вместе — да. Но не с врагами, а с друзьями.

— Ты — изменник, — грозно установил Надсмотрщик. — Все мы удивлялись твоему возвышению. Говорили, что ты берешь умом. Ты взял вероломством. Конец твой будет ужасен. При встрече с Великим я расскажу правду о твоём поведении.

Тут впервые мы узнали, что разрушители могут не только улыбаться, но и хохотать.

Орлан заливался и освещался смехом, хохотали его рот, его лицо, волосы, тело и руки. И немедленно в ответ ему раздался дикий хохот Гига, бравый невидимка не мог упустить повода весело погромоухать костями и косточками.

— Всё расскажи Великому при встрече, всё расскажи, — проговорил Орлан, насмевшись. — И встреча у вас будет скорая — в одной из тюрем, куда мы навечно его упрячем. А теперь отвечай на вопросы, которые тебе зададут люди.

Допрос проводил Ромеро. Мы с Андре отошли. Меня мучило ощущение, что я где-то и когда-то уже

видел эти стены и пульта. Но когда я стал говорить об этом Андре, он нетерпеливо отмахнулся.

— Чепуха! — сказал он. Хотя я теперь был его начальником, он не приучился держать себя с субординационной вежливостью. — Где-то, как-то!.. О любом неведомом явлении можно сказать, что вспоминаешь его вот так же... «струной звенящей в тумане», как выразился в древности один писатель.

После насмешек Андре мне уже не казалось, что я знаком со Станцией.

Ромеро начал с вопроса Орлану:

— Дорогой союзник, вы знали, что на Станции работают человекообразные?

— Только об одном это знал — о самом Надсмотрщике. Его кандидатура была представлена Великому, тогда же мы и познакомились с Надсмотрщиком. До этого мы знали лишь, что он потомок пленных галактов, переделанный для работ особой секретности.

Ромеро обвел рукой инженеров Станции:

— А эти существа тоже потомки галактов?

— По-видимому, да. Точнее ответит Надсмотрщик. Ромеро переадресовал вопрос Надсмотрщику.

— Все служители Станции потомки пленных, все мы живые существа, народившиеся и смертные, всех нас в свое время переконструировали, — разъяснил тот.

— Значит, между вами нет различий?

— Между нами огромное ранговое различие, определяющее нашу личную значительность в иерархии. Одни из нас могут быть воспроизведены путем сочетания разнополюх индивидуумов, другие — нет. Вы уловили разницу?

— Кажется, да. Индивидуальное производство потомства путем сочетания разнополюх существ в одну супружескую пару... Людям этот способ знаком. Вас можно воспроизвести этим методом?

— Ни в коем случае! — объявил он величественно. — Я существо высшей категории. Кустарные индивидуальные роды не могут создать творение моей категории. Меня, после первого акта рождения, нужно отделять на конвейере, пока я не буду доведен до совершенства. Но те безмозглые, — он вывернул ручной шланг на своих подчиненных, — как появились на свет

в результате низменных родов, так и были оставлены идиотами.

Я еле удержался, чтоб не прыснуть, Ромеро укоризненно скосил на меня глаза. Потупивших головы инженеров Станции явственно угнетало низкое рождение. Он, несомненно, был аристократом в их среде.

— Зачем вы, пленник, ругаете своих помощников безмозглыми? — спросил Ромеро.

— Я не ругаю, а квалифицирую, — ответил он равнодушно. — Их индивидуальные мозги вынуты и взамен вставлены датчики связи с Главным Мозгом Станции. У меня же мозг сохранен, чтоб я наблюдал за Главным Мозгом. Я — Надсмотрщик Первой Имперской категории. Моя функция — контролирование Главного Мозга Станции.

— Главный Мозг Станции полностью подчиняется вам?

— Должен подчиняться. Иногда бывают аварии. Главный Мозг всего лишь биологический автомат плебейского естественного происхождения. Вынули у ребенка мозг, искусственно развили в питательной среде...

— Вы сказали — бывают аварии? Как это понять? — продолжал допрос Ромеро.

— Ну, как! Авария как авария. Бывает и похуже, чем аварии. Во время Большой войны с галактами дальний предшественник нынешнего Мозга взбунтовался, и галакты чуть не захватили Третью планету. С тех пор к каждому из шести Главных Мозгов представляется Надсмотрщик аристократического, конвейерного, производства. Главный Мозг — мой раб. Если он выйдет из повиновения, я тут же его уничтожу.

— Ваш Главный Мозг функционирует четко?

— Если бы он функционировал четко, вас не было бы здесь. Высадка вашего звездолета не была запрограммирована, тем более захват Станции.

— Почему же вы не уничтожили Мозг Станции?

— Неповиновения не было. Все мои приказы он выполнял. Я сам контролировал распоряжения, которые он отдавал исполнителям. Он оставался послушным мне до взрыва, когда я потерял с ним контакт.

— Но вам не посчастливилось нас уничтожить?

— Не посчастливилось. Очевидно, повреждены исполнительные схемы команд. Неполадки наблюдались

и прежде. Меня назначили сюда потому, что прежний Надсмотрщик доложил о внезапном ослаблении контроля над Мозгом.

— Фантомы создавались вами или им?

— Низменное умение создавать мне не по рангу. Надсмотрщики Первой Имперской категории приравнены к Разрушителям Четвертого Имперского класса. Мне доверены все функции контроля и одна функция разрушения — уничтожение Главного Мозга Станции, если он выйдет из-под контроля.

Ромеро, хотя и не часто, но изменял своему подчеркнутому спокойствию. И тогда он никому не казался вежливым.

— По-моему, с этим болваном больше беседовать не о чем, адмирал. В подвалах Станции имеются казематы, отлично подходящие ему по размеру. Я бы предложил пройти в помещение Главного Мозга Станции.

18

Я вскрикнул, едва переступил порог. Я предчувствовал, что меня ждет неожиданность, готовился к неожиданности; но когда неожиданность совершилась, у меня затряслись ноги.

В помещении, куда мы сейчас вошли, я не раз бывал в моих снах.

Это была галактическая рубка разрушителей — высокий, теряющийся в темноте купол, две звездные полусферы вверх, сейчас они были темны, но я помнил, как они горели звездами и корабельными огнями, именно здесь, задрав вверх голову, я с замиранием сердца следил в сновидении, как флот Аллана штурмует теснины Персея...

И посредине зала, между полом и потолком, тихо реял полупрозрачный шар. Тогда, в вещем своем бреде, я страшно боялся приблизиться к нему, а сейчас сам стремился поближе, но ноги плохо слушались меня — в шаре плавал в питательной жидкости Главный Мозг Станции...

Не знаю, сколько бы я так стоял на пороге, радостно ошеломленный, не давая никому пройти, если бы в помещении не раздался обращенный к нам Голос.

Нет, я должен на этом остановиться! В моем безыскусном повествовании, где одна правда и нет ни атома фантастики, лишь голос этот, звучавший отовсюду: сверху, с боков, в нас самих, — лишь он и сейчас мне кажется фантастическим. Я слышал его много раз, я путал его с собственным голосом, с голосом Орлана, — теперь он был сам по себе, свой, а не переданный другому, знакомый в целом и в мелочах, в каждом звуке, в каждом придыхании — знакомый! Он был чудесен, чарующе красив, звучен, торжествен... Я говорю чепуху! Этот голос был добр — вот главное в нем.

— Входите, люди и друзья людей! — проговорил Голос. Один Ромеро среди нас так свободно владел лексикой и произношением на современном международном человеческом языке, как этот Голос, никогда до того не знавший человека. — Я долго ждал вас — и вы наконец пришли!

Спазма сжала мне горло. Ромеро с мольбой посмотрел на меня, Андре сердито толкнул локтем. Мне надо было ответить на обращение Голоса, но всех моих сил хватило лишь пробормотать что-то невразумительное.

— Я рад, что вы здесь, адмирал Эли! — продолжал Голос. — Я счастлив, что вы победили.

Я отчаянно придумывал, что бы сказать торжественного и величественного, только это и подходило к случаю, но в голову упрямо лезли одни глупые мысли, и я, ужасаясь своей нетактичности, сдавленно выговорил:

— Если ты рад нашей победе, почему ты не помог нам победить?

Голос отвечал с мягкой укоризной:

— Я помогал вам, Эли.

Я в смятении посмотрел на товарищей. Вид у них был не умнее моего. Общее смущение подействовало на меня успокаивающе. Я поправился:

— Я хотел сказать: ты мог бы открыть двери Станции без кровавых сражений с фантомами.

Укоризна в Голосе стала слышней:

— Ты забыл о Надсмотрщике, которого вы заперли в каземате. Этот глупец проверял каждую мою команду. Мне пришлось искать путей, недоступных его пониманию.

Я понемногу оправлялся от потрясения. Я уже не искал мыслей, чтоб выпалить их, не раздумывая, го-

дятся ли они. Теперь я задавал вопросы важные, а не случайные.

— Ты назвал меня по имени... Очевидно, ты хорошо знаешь нас всех?

— Да, хорошо. И секретаря адмирала, Ромеро, и трех капитанов — Осиму, Петри и Камагина, и доброго Лусина, и тебя, бедная Мэри, потерявшая единственного сына, — я пытался спасти его, но не сумел... И тебя я знаю, умный Орлан, я часто навещал тебя, нашептывая свои планы и порождая в тебе мучительные сомнения. И ты, смелый Гиг, встречался со мною, мы с вашей высадки на Третьей планете работали с тобой на одной мозговой волне. И в тебе, храбрый Труб, я не раз говорил твоим же голосом, правда, ты мало прислушивался к своему голосу. И с тобой я беседовал, блистательный Андре, так умело лишивший себя разума, я вместе с твоими друзьями помогал тебе выбраться из трясины безумия. Все вы мои знакомые и друзья с момента, как я закрыл вашим кораблям выходы из Персея. Но ближе всех мне ты, Эли, твои могучие мозговые излучения раньше других человеческих излучений уловили мои приемники и тебе я, единственному, открыто являлся в сновидениях.

Ромеро, наклонившись ко мне, шепнул:

— Положительно, этот таинственный Голос — не плохой человек! Как по-вашему, адмирал?

Я с волнением упрекнул Голос — мне вспомнились наши метания в тенетах Персея:

— Ты сказал — закрыл выходы... Ты отрезал нам пути к спасению, так будет вернее!

Голос оставался таким же добрым, но в нем зазвучала печаль:

— А разве вы прорывались в Персей, чтоб немедленно искать спасения из него? Вы хотели узнать, что происходит в нашем скоплении — и я осуществил для вас эту возможность. А сейчас я передаю в ваши руки мощнейшую из крепостей ваших врагов, — тебе этого мало? Ход космической войны между вами и разрушителями переламинается в вашу пользу, — по-твоему, это называется отрезать вам пути к спасению?

Я почувствовал себя пристыженным. Появление Голоса было слишком неожиданным, чтоб я успел сразу оценить все следствия из этого. В чем-то он походил на

МУМ, такой же обстоятельный, сообщаемые им сведения были так же исчерпывающе точны. Да и роль его здесь, на Станции Метрики, была аналогична роли МУМ на наших галактических кораблях. Но было и важное различие, все мы его ощущали. МУМ остается бесстрастной, какую информацию ни передает, она — машина, гениально сконструированная машина. Голос был человеком. Ромеро тонко сказал о нем: так разговаривать, как говорил он, могли мы сами.

И, вероятно, это человеческое, слишком человеческое в нем и было причиной того, что во мне возбудились сомнения.

Не столкнулись ли мы с новой имитацией нас самих? Фантомы на Третьей планете были достаточно правдоподобны, чтоб исключить еще одну иллюзию, на этот раз не оптическую, а акустическую. Хитрость врага была не менее вероятна, чем участие друга. Я приказал себе не поддаваться очарованию Голоса.

Я спросил:

— Расскажи, что нового на границах Персея.

Он ответил — и в нем звучало сочувствие к моему нетерпению и моей тревоге:

— Когда я отсекал конвойные звездолеты от «Волопаса», человеческий флот преодолел первую линию преград. Путь в глубины Персея непрост — брешь, образованная моим переходом к вам, прикрыта другими Станциями Метрики. К сожалению, пять остальных Главных Мозгов остались верны разрушителям. Они почти равны мне по могуществу, но иные по влечениям.

— Ты сказал — по влечениям. Как это понимать?

— Они — исполнители. Я — мечтатель.

Все его ответы были удивительны, этот показался мне всех удивительней.

— Мечтатель? Невероятно!

— Еще недавно тебе показалось бы невероятным само мое существование.

— Верно. Но о чем ты мечтаешь?

— Обо всем, что затрагивает мое воображение. Пять моих братьев трудятся, потом отдыхают. Я мечтаю, а отдыхая от мечтаний, тружусь, то есть руковожу Станцией. Временами я изнемогаю от мучительного воображения, слишком горячие мечты сжигают

мои клетки... Тогда я тоскую. Тоска — одна из форм моего существования.

— Ты не ответил, Мозг...

— Я ответил — мечтаю обо всем.

— Мне это непонятно. У людей мечты имеют направленность. Я бы сказал: человеческие мечты — векториальны... Тебе понятен такой язык?

— Вполне. Продолжай.

— Мы обычно мечтаем о том, что сегодня не дается, но завтра будет осуществлено. Наши мечты предваряют дела, они — первые ласточки готовящихся действий. Практичность — вот что лежит в фундаменте нашей фантазии. У тебя по-иному?

— Совершенно по-иному. Я мечтаю лишь о том, чего никогда не сумею совершить. Мои мечты не предваряют дела, а заменяют их. Ваши мечтания — нащупывание еще не раскрытых возможностей. Мои мечты — вечная моя тоска по отсутствию возможностей.

В третий раз он упоминал о своей тоске. Никакой программой имитации такие объяснения не могли быть предусмотрены, они были бы излишни в любой форме обмана. Теперь я не сомневался, что Голос — тот, за кого себя выдает. И мне казалось, что я обрел ключ к расшифровке его действий, начиная с самого важного — ухода от разрушителей к нам.

— О чем ты тоскуешь, Мозг? Поведай нам свои печали.

— Поймете ли вы их? Вы свободны, а я невольник. Могущественный узник, настолько могущественный, что мог бы обратить в прах миллионы живых существ. И одновременно — раб! Никому из вас незнакомо ощущение несвободы.

— Почему же? Мы лишь недавно из плена. Каждый из нас хлебнул горечи неволи.

— Временной, человек! Вы верили, что заключение должно закончиться, надеялись на это, знали об этом! Вы добивались свободы, как чего-то возможного, — и добились ее. А я в заключении вечном. Вдумайся, адмирал Эли! Вслушайся в эти слова — вечная неволя! Неизменное, нерасторгаемое, неизбежное заключение — от начала по конец жизни! Сама твоя жизнь — как естественная форма неволи, и единственное освобождение — смерть! Вдумайся в это!

Я поставил себя на его место и содрогнулся.

— Понимаю, Мозг. Ты мечтаешь об одном — о свободе!

— Обо всем, боже мой, обо всем! Обо всем, что по ту сторону меня. Обо всем, что для меня недостижимо. О всем во Вселенной! О всей Вселенной!

Я не знал, о чем спрашивать дальше. Все мы, не я один, были пристыжены нашим благополучием перед лицом этой непрестанной неустроенности. Страстный Голос тосковал о свободе, мы до боли в сердце понимали его. Теперь мне стыдно было, что я смел заподозрить этого страдальца в мелком обмане, спутал его величавую печаль с хитрой интригой.

— Расскажи о себе, Мозг, — попросила Мэри. — Ты назвал нас своими друзьями, ты не ошибся — здесь одни твои друзья, верные, нежные друзья!

19

Он раздумывал, может быть, колебался. Он, казалось, не был уверен, нужно ли нам так глубоко проникать в темные недра его страданий. Он уже был нам другом, но еще не убедился, все ли мы стали его друзьями. Над ним слишком долго нависала черная скала чужой подозрительности, он слишком долго испытывал страх, чтоб сразу отделаться от него.

Он не был вечен, но был стар, если измерять существование земными стандартами. И с первого проблеска сознания он помнил себя отделенным от тела. Он, несомненно, зародился в организме какого-то родителя, очевидно пленного галакта, он мог быть мозгом ребенка-галакта, но его определили в самостоятельное существование еще до того, как появилось самопонимание. И с того же времени, еще в досознательной его жизни, его специализировали на управлении Станцией Метрики на Третей планете. Он всегда был тут и всегда был один. Возможно, сначала он дублировал чей-то одряхлевший мозг, впоследствии уничтоженный, когда молодой сменщик стал способен к самостоятельному функционированию, — ничего этого он не помнит. И он не помнит своих наставников, он допускает, что они были, но их наставления доходили до него безымян-

ными импульсами, его натаскивали, а не обучали, — так ему представляется сейчас. Его создавали мыслящим автоматом, но он не удался, он отошел от программы, хотя среди шести Главных Мозгов, обеспечивающих безопасность Империи разрушителей, он не считался хуже других. Он, в отличие от них, не только обучался, но и пробуждался.

По мере того как умножались запрограммированные знания, нарождались непредусмотренные влечения. Чем дальше он углублялся в мир, тем трагичней отделялся от мира. В нем рождались чувства. Так впервые он понял, как многого его лишили, лишив тела. Так началась тоска о теле.

Он неистово, исступленно, горячно жаждал тела, любого тела, рядовой плоской оболочки. Тела, что могло бы ходить, ползать, прыгать или летать. Он хотел прыгать и ползать, летать и падать. Он желал утомляться от бега, отдыхать, снова утомляться, испытывать боль от ран, сладость выздоровления. Ему, неподвижному, было доступно любое движение мысли, его же томила тоска по простому передвижению — пешком, прыжком, ползком, ковылянием... Он мог привести в движение звезды и планеты, столкнуть их в шальном ударе, разбросать и перемешать, но был неспособен хоть на сантиметр переместить себя. Он властвовал над триллионами километров пространства, квадралионами тонн массы, но не было у него даже тени власти над самим собой. Почти всемогущий, он страдал от бессилия. Он не мог плакать, не мог кричать, не мог ломать руки и рвать на себе волосы, ему было отказано даже в простейших формах страдания — он был навеки лишен тела.

И тогда он породил мечты, более реальные, чем существование. Он уносился в места, где никогда ему не бывать, становился тем, кем никогда не стать. Он был галактом и разрушителем, ангелом из Гиад и шестикрылым кузнечиком из Стожар, драконом и птицей, рыбой и зверем, превращался даже в растение — качался на ветру былинкой, засыхал одиноким деревцем под жестоким солнцем, наливался тучным колосом на густой ниве... Он играл, веселился, резвился напропалую — в чужом, навеки недоступном облике. Он знал все формы жизни в их звездном районе, ему нужны

были такие знания, чтоб покорять жизнь игу разрушителей, он умело выполнял предписанные функции, а про себя, для себя, в себе был каждым из тех, о ком узнавал. Лишенный собственной жизни, он прожил миллионы других — был мужчиной и женщиной, ребенком и стариком, любил и страдал, тысячу раз умирал, тысячу раз нарождался — и в каждом порождении своей мечты полностью насыщался всем, что оно и могло дать, — счастьем и горем, весельем и печалью...

Так, погруженный в свое двойное существование, он уже был уверен, что состарится, не узнав молодости, когда в Персее пронесся чужой звездолет, первый посланец человечества, и сосед его, Главный Мозг на Второй планете, пытался и не сумел закрыть звездолету выходы.

Чем-то неизвестным и необычайным сверкнуло в мрачной неевклидовости Персея: в глухой паутине забилась чужая яркая птица и, разорвав паутину, вырвалась на волю. Мозг на Второй был ошарашен, этот же, на Третьей, ликовал. Жизнь не кончалась в Персее, нет, где-то далеко за звездной околицей Персея появилось могущество, превышавшее мощь разрушителей, — превращенная в пустоту Золотая планета грозно напоминала об этом. И то были не загадочные рамиры. Сумрачный народ, равнодушный ко всем формам жизни, рамиры углубились в ядро Галактики. Нет, это были живые существа, все шесть Мозгов принимали их депеши, их взволнованные переговоры с галактами, их воззвание к звездожителям Персея, все знали, что они волнуются, негодуют, ужасаются, гnevаются — живут!.. Увидеть их, услышать их, стать их другом — другой мечты у Главного Мозга на Третьей планете отныне не было.

И когда три человеческих звездолета вновь вторглись в лабиринт Персея, Мозг на Третьей, закрыв им дорогу назад, не дал их уничтожить. Он не допустил до неравной битвы одного «Волопаса» против соединенного флота разрушителей, был готов разметать весь этот флот и впоследствии разметал его, когда «Волопаса» влекли на гибель в глубины скопления.

Так первые живые существа, — не биологические автоматы, нет, люди и их союзники, — ступили на запрет-

ную почву безнаказанно. «Неполадки на Третьей планете» — вот как в панике называли его переход к нам потрясенные разрушители.

— Всё мне было открыто в вас, я стал сопричастен каждому, — доносился до нас грустный Голос. — Здесь, на планете, я был каждым из вас в отдельности и всеми вами сразу — и еще никогда я так не тосковал о вещественной оболочке, каждому данной, мне одному недоступной, чтоб навсегда, полностью оставаться с вами, быть одним из вас, всё равно кем — человеком, головоглазом, ангелом, пегасом...

Ромеро пишет в своем отчете, что я принимал решения мгновенно и часто они были так неожиданны, что всех поражали. В качестве примера он приводит то, что произошло в конце разговора с Мозгом.

Но неожиданность была лишь для него, ибо он размышлял о другом, чем я, и Андре размышлял не о том, и Лусин, и даже Мэри, — понятно, они удивились. Но я сделал лишь естественные выводы из собственных моих раздумий, неожиданного для меня в моих решениях не было.

Я хочу остановиться на этом.

Ромеро слушал излияния Голоса и думал о том, насколько иными путями, сравнительно с нашими, пошло техническое и социальное развитие зловердов, — так он утверждает сам. Лусина, Андре и Осиму с Петри одолевало возмущение. Если бы нам пришлось создавать аналогичную Станцию Метрики, размышляли они, то мы смонтировали бы на ней МУМ и оснастили ее передаточной и исполнительной аппаратурой. А эти разрушители насадили сложнейшую иерархию рабства и бесчеловечности, чтоб решить не такую уж сложную техническую задачу. Что, в сущности, эти безмозглые операторы, которых мы убрали вместе с Надсмотрщиком, — именно так: что, а не кто они? Распределительное и командное устройство — простенькие приборы. Разрушители не конструируют аппараты, как люди, они калечат живое существо, низводят его до уровня технического придатка к другому, еще более искалеченному существу, тоже машине, по сути. Жестокость, бессмысленность этого терзали Ромеро, он содрогался от негодования и скорби, слушая Голос.

Так же слушали его и другие.

Не могу сказать, что такие же мысли не являлись и мне. Но я издавна так ненавижу злобредов, что новой пищи для ненависти мне не требовалось. Я думал о том, как помочь Главному Мозгу Третьей планеты.

Я обратился к нему:

— Но если бы ты, вдруг обрета телесное вместилище для себя, стал рядовым существом, ты потерял бы многие из нынешних своих преимуществ... Ты и сейчас не бессмертен, но долголетен, а тогда над тобой витал бы призрак скорой смерти. Ты сполна получил бы не только радости, но и горечи жизни. И ты лишен был бы своего могущества над пространством и звездами, своего проникновения в жизнь и мысли каждого существа, сопричастия всему живому, как сам ты говоришь... Всесилие твое неотделимо от твоей слабости, Подумал ли ты обо всем об этом? Пошел бы на всё это?

Он ответил с глубокой скорбью:

— Что мне власть, если нет жизни? Что всесилие, если оно лишь иновыражение слабости? И зачем ясно-видение, если я даже притронуться не могу к тому, что понимаю так глубоко?

Я повернулся к Лусину:

— Громовержец, кажется, еще жив?

— Умрет, — печально сказал Лусин. — Сегодня. Если не уже. Спасенья нет. Мозг поврежден.

— Отлично! Я хотел сказать — жаль бедного Громовержца. Теперь скажи — ты смог бы пересадить Громовержцу другой мозг, живой, здоровый, могучий — и тем спасти своего питомца от смерти?

— Конечно, — подтвердил он спокойно. — Простая операция. Делали посложней. В ИНФе. Новые формы. Невиданные существа.

— Знаю, — сказал я. — Уродливые боги с головой сокола. — Я опять обратился к Голосу: — Ты слышал наш разговор. Вот тебе превосходная возможность обрести тело. Раньше ты, разумеется, раскроешь нам пространство, поможешь восстановить звездолет и научишь работе с механизмами. Станции, но обо всем об этом потом. Сейчас мы решаем в принципе — согласен?

— Да, да, да! — гремело и ликовало вокруг. — Да! Да! Да!

— Тогда поздравляю тебя с превращением из повелителя пространства и звезд в обыкновенного мыслящего дракона по имени Громовержец.

— На это я не согласен! — сказал он вдруг, и никто из нас сразу не понял, чем он недоволен.

— Не согласен? — переспросил я в недоумении. — С чем?

— С именем. В мечтах я давно подобрал себе другое имя! Раньше оно выражало мою тоску, теперь будет выражать мое счастье.

— Мы согласны на любое. Объяви его.

Он выдохнул единым торжествующим звуком:

— Отныне меня зовут Бродяга.



Господи, отелись!

С. Есенин

Я думал — ты всеильный божище,
а ты недоучка, крохотный божок.
Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища
достаю сапожный ножик.

Крылатые прохвосты! Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

В. Маяковский

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

гонимые боги

I

Я все-таки был осторожен, что бы Ромеро ни говорил впоследствии о моем безрассудстве. Нетерпеливо стремившийся к телесному воплощению Мозг сетовал на мое бессердечие. Но я твердо постановил — раньше распутать тысячи сложных вопросов, а потом лишь осуществить обещание.

— Рассказывай, что натворили с МУМ, — сказал Андре вскоре после захвата Станции. — Надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что без надежно работающей машины отпускать Мозг в самостоятельное существование равносильно самоубийству? Или ты сам собираешься занять место Главного Мозга?

Чужие места я занимать не собирался. Но я верил, что Андре удастся восстановить МУМ, и не скрывал своих надежд.

— Воспользуйся помощью Мозга, — посоветовал

я. — Но как добраться до звездолета? Прodelать обратный путь по этой планетке мне не улыбается.

— Так вот, — сказал Андре. — МУМ мы доставим на авиетке, есть возможность перевести их с ползания на полет. Но восстановленная МУМ понадобится на звездолете. А на планете ты отпускаешь Мозг. Как быть? Проблема, не правда ли?

— Проблема, — согласился я. Я не сомневался, что у Андре уже имеется проект ее решения.

— Выход такой: Мозг на планете заменю я, а меня будут дублировать Камагин и Петри. Имеешь возражения?

— Только сомнения. Для роли твоих дублеров Эдуард и Петри, возможно, подойдут. Но подойдешь ли ты сам для роли дублера Мозга?

— Сегодня он обследовал нас троих. Меня принял сразу, а Эдуарду с Петри придется потренироваться. — Андре запальчиво закричал, предвзято новые возражения: — Всё знаю, что скажешь! Ты жестоко ошибаешься. Он страшно жаждет воплощения, но не ценою гибели планеты. Если бы ты видел его в работе, ты был бы поражен его добросовестностью. И, между прочим, функции его не сложны.

— Не увлекаешься ли ты?

— И не собираюсь! Ты просто забыл об операторах, тех инженерах, у которых вместо мозгов датчики. Не знаю, какие они организмы, а автоматы — превосходные. Мозг лишь координирует их действия. Пока не сконструируем столь же совершенные механизмы, придется операторов оставить на местах. Теперь последнее: раскрывать Третью планету в мировом пространстве буду я. Не маши руками, это предложил сам Мозг!

Взрыв на Станции принес больше психологических потрясений, чем реальных разрушений. Такие сооружения, как Станция Метрики, вообще невозможно разрушить — разве что полной аннигиляцией.

Мы догадывались, что вся Третья планета представляет собою один огромный гравитатор, такой же искусственный механизм, как Ора, только тысячекратно крупнее Оры. Но никто из нас не смел и фантазировать, насколько грандиозны механизмы, составлявшие внутренность этой планеты. Человечеству, я уверен,

понадобились бы многие тысячелетия, пока оно научилось бы создавать такие махины.

Сейчас, когда я бродил и летал по внутренним помещениям планеты, мне представлялись наивными прежние мои восторги перед совершенством Плутона. Вот где было совершенство — совершенство зла, угрюмая гениальность недоброжелательства, свирепый шедевр тотального угнетения и несвободы!..

И еще я думал о том, на каком непрочном фундаменте зиждилась исполинская Империя зловредов, — мы даже и не ударили по ней, только толкнули — и она стала разваливаться! Нет, думал я, знакомясь со Станцией, это непрочный цемент — взаимное недоброжелательство и ненависть, всеобщая подавленность и всеобщий страх, иерархически нарастающее угнетение... Только взаимное уважение и дружба, только доброта и любовь могут создать социальные сооружения вечные, как вечен мир!

Ромеро являлись мысли, схожие с моими.

— Вы знаете, дорогой Эли, я в свое время боролся против ввязывания в космические распри, и облики всех этих звездных нечеловеков порождали во мне одно отвращение. А сейчас я вижу, сколь ужаснее было бы наше будущее, если бы возобладала моя тогдашняя линия. Вся эта бездна коварства и разрушения могла обрушиться на неподготовленных к обороне людей внезапно!.. И хоть, согласитесь, облик Орлана и Гига достаточно нечеловечен, они вызывают во мне симпатию. Это ведь первые разрушители, добровольно отказавшиеся от разрушения во имя созидания. Правда, первая ласточка не делает весны, но она, во всяком случае, возвещает конец зимы. Что же до скрепляющей силы любви и разрушающей мощи ненависти, то должен вас огорчить, милый друг: открытия вы не совершили. Один древний философ, Эмпедокл, говорил то же самое, и гораздо лучше вас говорил, хоть вы родились на три тысячелетия позднее его.

2

Сворачивание пространства в неевклидову спираль совершалось быстро, но раскручивание представляло процесс длительный.

Андре вторую неделю сидел за пультом, под шаром, где по-прежнему покоился Мозг, и самостоятельно подавал команды операторам. Сработался с ними он превосходно, согласование с командами Андре шло даже лучше, чем раньше с приказами Главного Мозга: рядом не было тупого Надсмотрщика, подозрительно контролирувавшего все импульсы...

Неевклидовость уменьшалась постепенно, мы медленно выкарабкивались в космос из искусственного кокона пространства.

Золотое сияние неба слабело, в нем появлялась синева. Это было еще пустое небо, но уже не то, каким нависало над нами в дни перехода.

— Скоро будут звезды! — с волнением говорила Мэри. — Я так соскучилась по звездам, Эли! Мне так душно в этом замкнутом мире!

Меня временами охватывала такая же тоска по звездам. Но еще больше я тревожился того неизвестного, что могло прийти от звезд. В пространстве наверняка рыскали неприятельские крейсеры, готовые отвоевать захваченную нами планету.

Когда Оранжевая закатывалась, мы выходили наружу и всматривались в небо.

Те же удивительные краски вспыхивали в нем, потрясающие закаты, нигде, ни до, ни после тех дней нами не виданные и, по-моему, навсегда потерянные для человечества, — никто ведь не будет сворачивать мировое пространство ради того, чтобы полюбоваться живописным закатом.

А потом наступала ночь, глухая, черная, такая тесная, будто граница мироздания надвигалась вплотную, страшно было протягивать руку, каждый шаг заносился как над пропастью... Я обнимал Мэри, мы всматривались и вслушивались в темноту, предугадывая скорое появление мира — молча страхась и молча ликуя...

— Ты бездельничаешь, Эли! — сказал раздраженно Андре. — Мы вкалываем, как проклятые, а ты фланируешь по темной планете, как по родному Зеленому проспекту.

Пришлось отшучиваться:

— Лучшая форма моей помощи — не вмешиваться в вашу работу. Понимания ее у меня немного, а власти напортить — ого-го сколько!

И настала ночь. Слабо зажглась первая звезда, за ней вторая, третья...

Неслышимый гравитационный ветер разметывал полог, отгородивший мир от нас, звезды вспыхивали, умножались.

Лился удивительный звездный дождь, сотни ярчайших светил, тысячи просто ярких выныривали из незримости, небо бушевало мятежным сиянием — множеством блистающих глаз всматривался Персей в потеревшуюся было планету.

Мы находились тогда в рубке, и мне вообразилось, будто снова меня посетило сновидение, — так всё было красочно неправдоподобно.

Но за пультом сидел реальный Андре, а по бокам его — Камагин и Петри, над ними тихо реял реальный полупрозрачный шар, а рядом со мной реальный Осима — не фантазмагория из бреда — восторженно обнимал реального Ромеро.

К счастью, в этот момент всеобщего ликования ни Андре, ни Главный Мозг не потеряли ясности мысли.

— Пространство в окружении Третьей планеты чисто, — объявил Андре. — Но в десяти парсеках сильное передвижение огней.

— Там концентрируется звездный флот разрушителей, — разъяснил Мозг. — Мне нужно связаться с собратьями на других Станциях Метрики, чтоб получить информацию о положении.

— О том, что на Третьей планете сменилась власть, сообщать пока не надо, — предупредил Ромеро.

— Знаем, знаем! — нетерпеливо отозвался Андре. — Дезинформация противника изобретена не нами. Для остальных Мозгов мы пока выкарабкиваемся из неполадок.

День за днем Мозг восстанавливал связи Третьей планеты с другими звездными крепостями, систематизируя информацию. Флот Аллана продолжал прорывать возникавшие преграды, но продвижение шло медленно. В районе прорыва концентрировались крейсеры разрушителей. Ни один из кораблей галактов в межзвездном пространстве Персея не появлялся.

Мы собрали совещание командиров отрядов, и попросили Мозг высказаться, как действовать.

— Разрушителям пока не до нас. Верят ли они или

не верят, что у нас лишь технические неполадки, но немедленное нападение на планету не грозит. Зато Аллану труднее. Скоро падет последний заслон неевклидовости — и корабли людей хлынут внутрь Персея. Великий разрушитель подготавливает грандиозное сражение. В толчее кораблей применять аннигиляторы люди будут осторожно, чтоб не уничтожить своих же, зато гравитационные орудия бьют без промаха. Я не могу исключить возможность взаимного истребления противников. Думаю, стратеги разрушителей замыслили именно это — обоюдное уничтожение.

Орлан подтвердил жестокий прогноз Мозга:

— Давно разработан план уничтожения населенных планет Империи на случай, если не удастся их защитить. Зажечь вселенский пожар, чтоб зарево его обожгло всю Галактику, — такая мрачная идея не может не импонировать Великому. А физических возможностей для истребления жизни в Персее у него хватит.

— Включая и звезды галактов? — уточнил я.

— Исключая звезды галактов, — разъяснил Орлан. — И здесь таится единственная возможность спутать зловещие планы Великого разрушителя. Нужно обратиться к галактам за помощью. Сейчас они уклоняются от открытой борьбы. Втянуть их в нашу войну — другого пути к победе нет!

Гиг захохотал. Рот у него реально, а не метафорически начинался от ушей, и, смеясь, Гиг распахивал его, как гигантские клещи.

— Биологические орудия! — пролепетал он. — Ну и штука! Трахнуть в Великого из биологички!..

— К Великому с биологическими орудиями не подобраться, — возразил Орлан. — Но если галакты оснастят ими ваши корабли, перевес людей в сражениях станет подавляющим.

Я спросил, поддерживает ли Мозг соображения Орлана. Мозг разделял все мысли Орлана.

— Тогда надо искать связи с галактами. Осуществима ли такая связь с твоей планеты, Мозг?

— Вполне осуществима, — заявил он. — В трех-четырех парсеках несколько звезд с планетами галактов. Надо наладить избирательную связь с этими планетами. Придется сообщить о событиях на Третьей пла-

нете. Но вот беда — они могут нам не поверить. Они нас боятся и ненавидят, наши шесть планет специально созданы для борьбы с биологическими орудиями. Не я, но мой предшественник успешно поворачивал против самих галактов мощь их оружия...

После совещания Мозг обратился ко мне с вопросом, долго ли ему терпеть. Громовержец умер и законсервирован в ожидании операции, а Бродяга никак не может родиться.

Видя, что я колеблюсь, Андре вступился за Мозг:

— Чего ты трусишь? Если мы с Эдуардом и Петри сумели раскрыть планету, то сумеем и свернуть ее, а поддерживать внешние связи — еще проще.

— Понимаешь, Андре... Я верю в твои способности, но опыта у тебя, согласись...

— Не соглашусь! Говорю тебе, управлять Станцией проще, чем скакать на пегасе. И Мозг совсем не отстраняется. И после воплощения три часа в сутки он будет посвящать совместной работе с нами. Неужели и это тебя не устраивает?

— Делай операцию! — сказал я Лусину. — Но помните о трех часах. Голову сниму, как говорили древние начальники, если хоть минуту не дотянете до трех часов ежедневной совместной работы.

3

В отчете Ромеро обстоятельно рассказано, как пробудилась из дремоты МУМ и ожили все механизмы «Волопаса», как ослабла гравитация на планете после раскрытия ее в мировом пространстве и как все мы, освобожденные от перегрузок, наполнили воздух грохотом авиеток и шумом крыльев. Повторять всё это не имеет смысла.

Не буду останавливаться и на том, как наладили связь с галактами, как они не сразу поверили, что мощнейшее космическое страшилище зловредов перестало им грозить, и как, после долгих упрашиваний, согласились допустить наш звездолет в свои владения, но предупредили, что при обмане кара будет жестокой...

— Ух! — сказал я Мэри с облегчением, когда Ромеро отправил галактам согласие на их условия. —

Запуганы эти таинственные создания!.. Ладно, на днях выступаем: Посоветуй, кого брать, кого оставить.

— Я посоветую взять меня. Помнишь, я тебя предупредила: где ты, Кай, там и я, Кая. Относительно же других не скажу, чтоб Ромеро потом не разгласил, будто адмирал под башмаком у своей жены и ничего не решает, не испросив ее согласия. Кого ты собираешься взять?

— Ромеро и Осиму обязательно. Также Орлана и Гига. Вероятно, Лусина и Труба, парочку пегасов и драконов...

— И Громовержца?

— Ты имеешь в виду Бродягу? Его оставим на планете. Ты не смотрела, каков Мозг в новой ипостаси?

— Смотрела — забавен. Не знаю только, кто перестарался — ты ли, снабжая его телом, или он, эксплуатируя доставшееся.

В свободный час я выбрался к Лусину.

Он выгуливал Бродягу на специальном драконьем полигоне. Я полетел туда на пегасе, в сопровождающие напросился Труб. Я спросил, как ему нравится возрожденный к новой жизни дракон. Ангелы драконов недолюбливают, хотя и не враждуют с ними, как пегасы, но Громовержец и у ангелов пользовался уважением.

— Посмотришь сам, — сказал Труб таинственно.

Дракон парил в поднебесье так высоко, что ни ангел, ни пегас не могли добраться до него.

Я спешил на свинцовом пригорочке, рядом уселся Труб. Пегас пасся на золотой равнине, с досады на ее бесплодие постукивая по золоту копытом. Бродяга, углядев нас, понесся вниз и причалил неподалеку.

Возрожденный дракон выглядел величественней прежнего. Из пасти вываливался такой гигантский язык огня, а вверх поднимался такой густоты дымный столб, что я в испуге бы отшатнулся, если бы не знал, что огонь этот не жжет, а дым не душит. И приветственные молнии, ударившие у моих ног — две ямки в золоте обозначили попадание — были если и не грозней молний Громовержца, то и не уступали им.

— Отличная работа, Лусин, — похвалил я. — Импозантный зверь.

Лусин сиял.

— Новая порода. Поворот истории. Поговори с ним.

— Поговорить с драконом? — удивился я. — Но он же не сможет мне ответить.

Крылатые создания Лусина были немее губок, Громовержец не составлял исключения. Лусин объяснял, что в генетический код огнедышащих драконов в спешке заложили неудачную конструкцию языка и что теперь придется переделывать пасть и гортань, чтоб ликвидировать недоработку проекта.

— Поговори, — настаивал Лусин.

Глаза дракона, обычно кроткие, насмешливо шурились. Впечатление было такое, будто он подмигнул.

— Привет тебе, Громовержец! — сказал я. — Помому, ты великолепно вписался в новую жизнь.

Дракон ответил человеческим голосом. Не видя, как он разевает пасть, я заподозрил бы, что разговаривает спрятавшийся поблизости человек.

— Мое имя не Громовержец, Эли!

— Да, Бродяга! — сказал я, смешавшись. Воскрешение дракона не так поразило меня, как появление у него дара речи.

Радость Лусина вырвалась наружу бурной тирадой. Лусин выбрасывал из себя слова орудийными залпами:

— Говорю тебе — поворот! Новые горизонты. Эра мыслящих крылатых ящеров. Разве нет, правда?

Выпалив эту длинную речь, Лусин изнемог. Он вытер глаза, обессиленно прислонился к крылу дракона. Оранжевая чешуя летающего ящера подрагивала, будто от внутреннего смеха. Выпуклые зеленоватые глаза светились лукавством.

В беседу вмешался Труб:

— Изумительное творение! — Труб дружески огрел дракона крылом по шее. — Ангельское совершенство, вот что я тебе скажу, Эли!

Я наконец справился с изумлением.

— Как ты чувствуешь себя в новом образе, Бродяга? Тебе нигде?.. Я хочу сказать, черепная оболочка просторна?

— Ногу нигде не жмет, — ответил он голосом пиджона в новых штиблетах и захохотал. Внешне это выразилось в том, что из распахнутой пасти посыпались огненные шары в облаках дыма. — Посмотри сам.

Он взмыл в воздух и кувырчался в вышине, то удалялся, то возвращался, то глыбой рушился вниз, то

ракетой выстреливал ввысь, то замирал, паря. И все фигуры он проделывал с таким изяществом, так был непохож на прежнего величавого, но неуклюжего Громовержца, что я не раз вскрикивал от восторга.

Лусин, сложив молитвенно руки, только вертел головой.

Решив, что воздушных пируэтов с нас хватит, Бродяга распластался у пригорка.

— Садись, Эли, прокачу.

Говорил он не очень чисто, шипящие слышались сильнее звонких, к тому же он шепелявил.

Я как-то потом посоветовал ему взять у Ромеро урок произношения, но он возразил, что произношение Ромеро слишком монотонно. У меня он тоже учиться не захотел: я хриплю, у Мэри голос глубок, у Осимы — резок, Лусин же не разговаривает, а мямлит. Дракон доказывал, что лишь у него идеальный человеческий выговор, вскоре его манере речи будут все подражать, шепелявость и шипящие не портят, а облагораживают его речь — в них отзвук полета наперегонки с ветром.

Вообще Бродяга за словом в карман не лез.

— Полечу с условием, что ты больше не будешь кувыркаться в воздухе, — сказал я.

Лусин свистнул пегаса и пристроился с правого бока дракона, Труб полетел слева.

Вначале мы шли чинной крылатой тройкой — вроде звездолета между двумя планетолетами, настолько крупнее своих спутников был Бродяга. При этом дракон так натужно махал крыльями, будто еле держал равновесие. Труба он не обманул, но мне показалось, что и вправду Бродяге долго не снести группового полета.

А затем, неуловимо изменив ритм, он мигом вынесся вперед — до нас доносились лишь укоризненные крики Труба да обиженное ржанье пегаса.

Дракон летел, как ракета, легко и мощно, он уже не махал крыльями, а лишь свивал и развивал туловище — судорога пробегала по телу. С тех пор полет Бродяги и его потомства изучен во всех подробностях, но тогда я удивился и испугался. В шуме разрезаемого драконом воздуха, точно, было что-то не так свистящее, как шепеляво-шипящее.

Цепляясь за гребень, чтоб не свалиться, я крикнул —

и едва слышал себя, так был силен поднятый Бродягой ветер:

— Трубку с пегасом за тобой не угнаться. Зачем ты их обижаешь?

Бродяге не пришлось напрягать легкие для ответа:

— Не обижаю, а знакомлю с собою.

— Подождем их, — взмолился я, когда ни ангела, ни пегаса не стало видно.

— Ждать — долго! — пробормотал он пренебрежительно и, повернув, помчался с той же быстротой назад.

Когда мы сблизились, над пегасом вздымалось облачко пара да и Труб был не лучше. Обычно огнедышащие драконы не показывают и трети скорости Бродяги.

— Хорошо? Плохо? А? — допрашивал меня Лусин.

— Я же сказал тебе — отлично! Но что в тебе осталось от прежнего неподвижного Мозга-мечтателя, мой резвый Бродяга?

— Всё мое — во мне! — похвастался дракон и так дернулся, что я едва удержался на гребне. Я попросил не выражать радости столь бурно. Он с увлечением крикнул, не слушая: — И уже не в мечтах, а на деле!

Мирно болтая, мы потихоньку возвращались к драконьему полигону, когда чуть не произошло катастрофы. Дракон, до того тихо махавший крыльями, вдруг радостно закричал, взвился вверх и помчался куда резвее прежнего.

А я не удержался на гребне и полетел вниз. И если бы Труб не подхватил меня на лету, я наверняка бы разбился о металлическую поверхность планеты. Ангел бережно опустил меня на почву, рядом опустил пегас. Лусин и Труб были белее водяной пены, я тоже не глядел героем. Пегас злобно ржал и бил копытом. Инстинктивная вражда его народа к драконам получила новую пищу.

Уносившийся дракон быстро превратился в темную точку.

— Вzbесился, что ли? — спросил я.

— Любовь, — сказал Лусин. У него отлегло от сердца, когда он убедился, что я невредим. И теперь он опять готов был восхищаться любым поступком дракона. — Удивительное чувство. Ошалел.

— Допускаю, что любовь — чувство удивительное, но еще удивительней, что из-за его шальной любви должен погибать я. Разве я ему соперник?

Из объяснения Лусина я понял, что в стаде Лусина четыре драконицы, а Бродяга почувствовал себя настоящим мужчиной.

Он решительно оттеснил других драконов и яростно ухаживает сразу за четырьмя драконицами, особенной же его привязанностью пользуется белая, она моложе и кокетливее других. Когда белая появляется в воздухе, Бродяга закатывает такие курбеля, что страшно смотреть. Сейчас в отдалении пролетела пеструха, к той Бродяга похолодней.

— Я рад, что подвернулась пеструха, а не белая, — сказал я. — Угрожавшая мне опасность, вижу, была прямо пропорциональна силе его любви. Но рассея мои недоумения, Лусин. Сколько помню, у твоих драконов строжайшая моногамия, Андре даже пошутил как-то: «Драконическая верность».

— Любовь, — повторил Лусин, пожимая плечами. — Ужасное чувство. Бездна непостижимого. Не понять.

Лусин всю жизнь прожил холостяком. Ему, конечно, не понять любви, даже драконьей.

Минут через десять мы снова увидели Бродягу. Он промчался мимо, что-то выкрикнув на лету. За ним тянулся густой шлейф дыма.

— А сейчас он, очевидно, спешит к белой? — предположил я.

— На Станцию, — сказал Лусин. — Его дежурство. Андре не терпит опозданий.

Я должен сделать здесь отступление от связанного рассказа. Ни одно мое действие не вызвало столько нареканий, как перевоплощение Мозга. Ромеро доказывает, что в этом акте проявилась моя любовь к гротеску. «Величественный страдалец, могуществом равный богу, вдруг превратился в нечто ординарное, летающе-пресмыкающееся», — пишет он. Я протестую против такого толкования моих решений. Мозг был величествен и совершенен для нас, ибо масштаб его функций превосходил самые смелые наши мечты о том, на что сами мы способны. Но ему все мы тоже казались совершенством, ибо телесные наши возможности были для него недостижимы, а недостижимое всегда величествен-

нее, чем достижимое. Я не уверен, что в звезде больше совершенства, чем в крохотном муравье. В поведении Бродяги было не меньше своего, хоть маленького, но совершенства, чем в действиях управителя мирового пространства. Он был и там и тут всеобъемлюще и исчерпывающе на своем месте — скорее так.

И еще одно, перед тем как я расстанусь с Третьей планетой. Тело Астры было перенесено на «Волопас». Здесь он лежал в прозрачном саркофаге, а неподалеку — та сумка, в которой он нес склянки с жизнетворящими реактивами. Склянки лабораторий «Волопаса» опустели, их содержимое Мэри вылила на планету. Я слышал недавно, что на золоте и свинце этой планеты пробился мох — первая поросль жизни. Лучшего памятника Астру, чем возбужденная им эпидемия жизни, и пожелать нельзя.

Сам я ни разу не входил в помещение с саркофагом — Астр всегда был со мной.

4

Интересующихся подробностями полета к галактам я опять отошлю к отчету Ромеро. Там подробно написано, как «Волопас» отчалил от Третьей планеты и как больше двух месяцев мы мчались в сверхсветовом пространстве к звезде Пламенной — вокруг нее вращались почти полтора десятка планет, населенных галактами — и как мы страшились, что будем перехвачены крейсерами разрушителей, и как недалеко от Пламенной нас повстречал звездолет галактов и приказал выброситься в эйнштейново пространство — у галактов, как и у людей, сверхсветовые скорости в окрестностях планет запрещены. И как потом командир корабля галактов предложил мне перейти к нему на борт, а «Волопасу» продолжать курс в кильватере.

С этого события я и начну свой рассказ.

В планетолет погрузились четверо — Ромеро, Мэри, Лусин и я. Орлана и Гига мы с собой не взяли, и они, кажется, обрадовались, что не им первым встречаться с галактами. Осиме предосторожности галактов казались подозрительными.

— Если будет плохо, сообщить об этом вы не смо-

жете. Но если будет хорошо, вам дадут информировать меня об этом. Итак, в день, когда я не услышу голоса адмирала, сообщающего, что вам хорошо, буду знать, что вам плохо.

— И тогда вы, храбрый Осима, атакуете галактов и уничтожите их звездолет вместе с нами, — так я вас понял? — спросил Ромеро, усмехаясь.

— Буду действовать по обстоятельствам, — коротко бросил Осима.

На экране планетолета выросстал зеленоватый шар, похожий на крейсеры разрушителей, но меньше их.

Мы падали на звездолет, как на планету, но не успели удариться о него, как открылся туннель и нас плавно всосало.

Способ причаливания напоминал принятый на наших кораблях, и мы ожидали, что вскоре очутимся на площади, где швартуются легкие космические корабли. Вместо этого мы оказались в темноте. Свет вдруг погас во всех помещениях планетолета.

Незнакомый человеческий голос отчетливо проговорил:

— Не тревожьтесь. У вас обнаружено три процента искусственности. Когда мы выясним характер ее, вас выпустят.

Я услышал, как Ромеро стукнул тростью о пол.

— Проще бы спросить нас самих, какая у нас искусственность. У меня, например, кроме восьми зубов, двух сочленений и трех синтетических сухожилий, замененных еще в молодости, нет ничего искусственного.

— Не проще, — возразил тот же голос. Нас, очевидно, слышали. — О многих формах своей искусственности вы и не догадываетесь.

— У меня легкие — синтетика, — уныло пробормотал Лусин. — Упал с пегаса. В Гималаях. Старые легкие поморозились.

— На Земле тоже проверяют астронавигаторов, прибывающих издалека, — продолжал рассуждать вслух Ромеро. — Но там предохраняются от заноса болезнетворных бактерий, а не от искусственности.

— Искусственность грознее бактерий, — прозвучал тот же голос. — Но ваша неопасна. Можете выходить, друзья.

Вспыхнул свет, но не наш — от генератора, а наружный — широкое, радостное сияние лилось в окна.

За прозрачной броней окон простиралась зеленая равнина — луга, перелески, невысокие холмы, ручьи и реки, бегущие за горизонт. По берегам рек, у опушек лесов высились дома — причудливо разнообразные, то башни, устремленные вверх, то изящные жилые ограды, замыкавшие внутри себя сады. В воздухе проносились яркие, как цветы, птицы и змееобразные животные, схожие с летающими факелами.

А над простором, зданиями и летающей живностью вздымалось небо, синее, тонкое и такое светящееся, какого мне еще не довелось видеть.

— Отлично нарисовано! — сказал Ромеро. — Куда совершенней наших стереоэкранов. Однако я не представляю себе, как шагнуть на эту иллюзорную сцену.

— Выходите, друзья! — повторил еще приветливей голос. — Мы вас ждем.

Я отворил дверь и вышел наружу. Планетолет стоял на лугу. Вокруг толпились галакты, по облику — братья тех, кого мы видели на картинах алтайцев и на скульптурных изображениях Сигмы — огромные, нарядно одетые, прекрасные, как греческие боги, удивительно похожие на нас и вместе с тем — совсем иные!

Я соскочил на землю и попал в объятия одного из хозяев.

Больше всего в своей жизни я горжусь тем, что был первым человеком, обнявшим галакта!

5

Мы полулежали на лугу у речки — четыре человека и напротив десять галактов в ярких одеждах. Чувствовали мы себя превосходно, но я с опаской подумывал, не посетило ли меня новое сновидение, вроде тех, что возникали в Империи разрушителей.

— Ну, хорошо, гостеприимные и прекраснодушные хозяева, — сказал Ромеро. — Мы попали в царство невероятного, ставшего повседневностью. Если вы хотели нас поразить, вам это удалось. После того как сам я стал частью иллюзорного пейзажа, не удивлюсь, если в следующую минуту закачаюсь на стебле, как вон тот

синий цветок. Здесь чудеса обыденны, как ваши здания, как ваш превосходный человеческий язык.

Галакты дружно рассмеялись в ответ на признание Ромеро.

— Никаких чудес, люди, — возразил один, сообщивший перед тем, что на человеческом языке его зовут Тиграном. — У галактов чудо, то есть отклонение от естественных законов природы, считается проступком, хотя, в принципе, творить чудеса каждый из нас способен. Детям мы, конечно, разрешаем чудеса, но галактов детского возраста мало. А в том, что мы говорим по-человечески, тем более нет чуда. Разве мы не расшифровали депеш «Пожирателя пространства» и разве вы не разобрали наших ответов?

Ромеро обвел тростью пейзаж:

— Но эта стереокартина!.. Такое совершенство иллюзии!

— Иллюзии нет. Ты находишься в реальном пространстве.

— В реальном? — переспросил Ромеро, хмурясь. — Я не так наивен. Диаметр вашего звездолета максимум километр. А здесь до горизонта не меньше двадцати пяти, да и за горизонтом равнина, очевидно, не обрывается в бездну...

— За горизонтом — леса, потом море, мы еще поплаваем в нем, люди, потом снова лес и река, опять леса... Каков твой рост? Около двух с половиной тысяч километров? Тысячи две километров по окружности будет, если считать по твоей мерке.

— Итак, планету в две тысячи километров, то есть шестьсот в диаметре, вы уместили внутрь шара, у которого у самого диаметр всего километр? И хотите, чтоб я поверил, что это не чудо и не иллюзия?

Галакты опять рассмеялись, и так радостно, словно наше сомнение осчастливило их.

— И все-таки нет ни чуда, ни иллюзии. По мере того как вы погружались внутрь звездолета, специальные устройства уменьшали размеры ваших тканей. К сожалению, мы еще не можем сокращать живые ткани в той же пропорции, что и искусственные. Это было одной из причин, правда не главной, почему нас встревожили элементы искусственности в вашем организме. Мы были бы в отчаянии, если бы вы предстали перед

нами изуродованными — одна нога короче другой, один глаз нормальный, другой крохотный.

Ромеро схватился рукой за рот.

— У меня уменьшились искусственные коренные зубы!

— А я — хорошо дышу, — объявил Лусин. — Странно. Синтетические легкие.

— Всё нормально, — объяснил другой галакт, этого на человеческом языке звали Лентулом. — Искусственное легкое было недостаточно эффективным, потому что взяли слишком большую массу для твоей грудной клетки, Лусин. Теперь легкие опали, и у нас ты будешь чувствовать себя лучше, чем раньше.

— Вы сказали, что... гм... возможный перекося в нашем организме не главная причина, почему вас беспокоили элементы искусственности? — продолжал Ромеро. — Я хотел бы знать, если не секрет, какова же главная причина?

По прекрасному лицу Тиграна пронеслась тень.

— Секретов у галактов нет, всё открыто для каждого. Но это рассказ о печальных событиях, разделивших Персей на два враждующих лагеря. Именно вопрос о том, повышать или понижать степень искусственности у живых существ, привел к войне между галактами и разрушителями. Повышение искусственности в организмах давно уже у нас объявлено злом. Искусственность — легкий путь конструирования. Мы настрого закрыли себе все легкие пути.

Объяснение Тиграна породило кратковременное молчание. Потом заговорила Мэри:

— Поразительна красота обширной страны, вмещенной в ваш звездолет! На наших кораблях имеются парки и городок, но они крохотны. Людям незнакомо вмещение большого в малое...

— О, этому мы вас быстро научим! — воскликнул Лентул.

Мэри поблагодарила Лентула улыбкой и закончила:

— Но вот что меня смущает — зачем вообще это? У людей суровость быта составляет одну из притягательностей профессии звездопроходца. Наши конструкторы и не собираются обеспечивать экипажу звездолета все земные удобства, земную совершенную

защиту от всех опасностей... У нас это называется романтикой дальних странствий.

Галакты переглянулись. Ручаюсь, вопрос Мэри показался им нетактичным.

Но приветливость в голосе Тиграна — он отвечал Мэри — не изменилась:

— Вкратце наш обычай можно выразить так: каждый вправе затребовать все те возможности, которые посильны обществу. И, наоборот, никого нельзя лишать того, чем пользуется хотя бы один член общества. Поэтому мы обязаны обеспечить экипажу дальнего корабля такие же удобства, какими пользуются остающиеся. Иначе был бы нарушен принцип равноправия — путешественники жили бы иначе, чем обитатели планет. К сожалению, полностью осуществить это не удастся, прекрасная страна в звездолете, так восхитившая вас, далеко не столь прекрасна, как наши планеты. Из этого несовершенства нашей цивилизации вытекают многие печальные выводы.

— Не надо отправлять галактов в дальние экспедиции, раз на кораблях им не так удобно, как на планетах, — иронически подсказала Мэри. Ее темные глаза вспыхнули.

— Да, приходится отказываться от многих экспедиций, — подтвердил Тигран, улыбаясь еще приветливей. Беседой снова завладел Ромеро:

— Вы сказали — равноправие. У нас тоже равноправие, социальное, в смысле обеспеченных каждому общественных возможностей — еды, жилья, учения, работы и прочего. Но гарантировать каждому, что его полюбит та, которую он полюбит, — нет, это уж сам старайся завоевать ее любовь, тут тебе общество не слуга.

— Да, любовь, — сказал галакт, качая головой. — Трудная вещь — индивидуальная любовь. Ужасно не объективное чувство. Какой-нибудь ничем не выдающийся субъект становится дороже всех в мире. Мы знаем об этом несправедливом чувстве, нарушающем совершенное равноправие, но пока мало что можем с ним поделать. Впрочем, мы об этом думаем и о некоторых путях решения этой извечной проблемы мы еще поговорим.

— Хорошо, оставим пока любовь, — настойчиво

добивался чего-то своего Ромеро. — Вы сказали — экипаж звездолета... Если есть экипаж, то, очевидно, имеется и командир? И командир, очевидно, отдает команды, обязательные для экипажа, а ему, естественно, не приказывают? Не так ли, любезные хозяева?

Тигран покачал головой:

— У нас нет командиров. Звездолетом командуем мы сообща. Механизмы корабля настроены на наши мозговые излучения. Как все мы согласно пожелаем, так и будет.

— Но если появятся разногласия?..

— В команду подбираются близкие по характеру. Расхождений между нами не бывает даже при чрезвычайных происшествиях.

Теперь и Ромеро затруднялся что-либо сказать. Галакт обратился ко мне:

— Ты один не проронил ни слова. Почему?

— Я слушал вашу беседу.

— У тебя нет к нам вопросов?

— По крайней мере, сотня.

— Мы слушаем тебя.

То, о чем спрашивали галактов мои друзья, было важно, конечно, но имелись проблемы, интересовавшие меня много больше, чем ликвидация необъективной индивидуальной любви.

— Я хочу знать, что вам известно о рамирах и как возникла война между галактами и разрушителями? Сами того не желая, мы тоже вступили в борьбу с разрушителями и уже по одному этому считаем вас естественными своими союзниками...

Галакты опять переглянулись. У людей переглядывание является очень приблизительным эквивалентом обмена мыслями, речь совершенней раскрывает мысль, чем взгляд. Но галакты искусней нашего пользуются взглядами, — правда, и глаза их огромны.

Тигран, видимо, получил согласие товарищей на информацию нас о войне в Персее.

— Рассказ будет долгий, — заметил он.

Мы расселись удобнее на лугу. Речка тихо журчала, это была настоящая вода, не ядовитые никелевые растворы, как у разрушителей. И зелень, покрывавшая берега, пахла земной травой, хоть ни в одной из травинок я не мог признать знакомой. И леса, поднимавшиеся

стеной — зеленые неведомые деревья, — раскачивались и шумели вполне по-земному.

На другом берегу возвышался дом, он походил на старинные земные виллы с башней и балконами. А вверху тонко светило голубое небо, такое нежное и яркое, что глазам становилось радостно. И воздух, звучный, прохладный, чистый, сам лился в грудь, он был вкуснее даже воздуха Оры.

Мы находились в идеальном месте для тихой радости, для наслаждения природой, а галакт неторопливо вел рассказ о черных тысячелетиях, о погибавших звездных народах, о разрушенных планетах...

Я передам его рассказ своими словами.

6

О рамирах галакты знали немного — темные предания, ничего точного. Этот странный народ хозяйничал в скоплениях Персея не то до появления галактов, не то в самом начале галактовой — так бы ее правильней назвать — цивилизации. Ни об облике, ни об образе жизни этих существ известий не сохранилось, следы их деятельности тоже пропали, если не считать такими следами сами планеты. Дело в том, что планетооснащенность — галакт применил именно этот термин — светил Персея в сотни раз выше планетооснащенности других звезд Галактики. В Персее десять—пятнадцать крупных спутников у одной звезды — рядовое явление. Предание приписывает обилие планет в Персее рамирам, умевшим скатывать эти космические шары из уплотняемого пространства. Возможно, сами скопления Персея произошли оттого, что рамиры, вычерпав между звездами запасы свободной пустоты, насильственно сблизили их.

— Реакция Танева, — вставил слово Ромеро. — Люди пользуются ею для перестройки своих звездных окрестностей. Могущество рамиров того же порядка или на порядок выше, но не более, как современное человеческое.

— Но оно выше нашего, — возразил галакт. — Ни создавать планет, ни тем более разрушать их мы не умеем.

Дальнейшие известия о рамирах делаются всё неопределенней. Часть рамиров переселилась к ядру Галактики, где происходили какие-то грандиозные перестройки звездных масс, за ними последовали новые экспедиции. Одна за другой пустели созданные рамирами планеты, отряд за отрядом устремлялся к ядру Галактики. И сейчас там происходят звездные катаклизмы, ядро пульсирует, словно его разрывают мощные силы. А в Персее, после исчезновения рамиров, все планетные системы поступили во владение галактов.

— И разрушителей, очевидно? — спросил Ромеро. — И сколько понимаю, разрушители и галакты не поделили доставшееся космическое богатство.

— Персей принадлежал галактам безраздельно, ибо разрушителей, или, точнее, сервов, мы создали потом.

— Разрушители — ваше творение?

— Да. Мы их сотворили себе на голову! Не сотворили, а изготовили. Просчет был в том, что разрушители были созданы вначале механизмами.

О том, что в организме головоглазов много синтетики — полупроводники, сопротивления, конденсаторы, механические сочленения, — мы знали с битвы на Сигме. Нас и тогда поразило, что сердце у них — маленький гравитатор. У невидимок искусственного было еще больше, чем у головоглазов.

Но что сервов собирали на конвейере, вмонтируя в механизмы выращенные отдельно биологические ткани, было ново.

— Конструкторы галактов, создав сервов, продолжали их совершенствовать, — сказал Тигран. — С каждой новой генерацией снижалась механичность сервов и повышался градус биологичности. Биологическая ткань энергетически самая совершенная. Если рассчитать машину, развивающую на единицу массы наибольшее количество умений, то такая машина может быть только живой. Повышение биологичности сервов было необходимостью, а не прихотью.

— Такой же необходимостью вам впоследствии показалось наделение сервов разумом и даром самовоспроизводства, — заметил Ромеро, не тая иронии.

— Разумом мы наделили сервов с самого начала. Неразумные сервы нам были не нужны, мы создавали помощников, а не рабов. И отказать им в даре самовос-

производства, когда другие признаки организма были вживлены, было бы недобросовестно. Правда, разнополостью их не снабдили. Сервы были сотворены бесполоыми, но способными воспроизводиться.

В те времена бесполость сервов казалась усовершенствованием. Разнополость относили к конструктивным излишествах природы, ибо она обязательно приводит к появлению индивидуальной любви, со всеми ее крайностями и необъективностью. Конструкторы галактов ныне задумываются над существенным умножением полов в живых существах. Двуполость слишком элементарна, грубое противопоставление мужчины и женщины — примитив, который нельзя оправдать ни морально, ни конструктивно.

Расчеты показывают, что только шестиполость гарантирует совершенство. Схема такова: один прямой мужчина и одна прямая женщина, но одновременно — левосконструированная и правосконструированная женщина, такие же право- и левосконструированные мужчины.

— Мы отвлеклись от сервов, — сказала Мэри, хмурясь.

Тигран возвратился к сервам. Сервов проектировали, как совершенство, но получилось уродство. Их извобавили от индивидуальной любви, вызывающей искажение реальной картины мира, но зато у них развилось самообожание, еще более путающее объективные пропорции.

В эпоху, когда еще продолжалась работа по улучшению сервов, эти незапроектированные черты таились в глубине. Сервами не могли нахвалиться. Умные, работающие, быстро размножающиеся, они легко овладевали расчетами, производили сложнейшие эксперименты в лабораториях, конструктивные их дарования уже и тогда поражали.

Но по мере того как от поколения к поколению увеличивалась их биологичность, становилось ясным, что для серва существует один объект, незаконно выделяющийся среди всех других, истинный объект для поклонения — он сам. Самообожание стало у серва из постыдного индивидуального чувства, всегда тайного, открытой формой взаимоотношения. Они были черствы, холодны, равнодушны ко всему, кроме себя. Тело

у них было живое, душа — мертва. Искусственность механизма, преодоленная инженерно, психически всё умножалась.

— Эгоизм как философская система, — заметил Ромеро. — В древности и у людей пытались внедрить эту философию Штирнер и Ницше. Вы просто не нашли метода борьбы с созданными вами демонами зла.

Галакты, оказалось, испробовали разные методы воздействия на сервов. Сервов уговаривали, спорили с ними... Под конец было признано, что духовный перекося сервов вызван двойственностью их природы, сочетавшей мертвое и живое, искусственное и естественное. Новый государственный закон объявлял недопустимым внедрение в живую ткань искусственных органов.

Отныне сервов полагалось создавать полностью живыми, только это могло выправить их изуродованную психику.

Но они не стали ждать переконструирования. Началось массовое бегство сервов с планет галактов.

Подготовлено это было хитро. Колонии сервов переселялись на необитаемые планеты, якобы для освоения их. Галакты радовались, что жизнь, начавшаяся в их звездных системах, быстро охватывает все светила Персея. К тому же без сервов с их неприятным характером было проще.

А когда галакты уразумели размеры бедствия, было поздно. В межзвездных просторах Персея разразилась истребительная война.

И, может быть, самым ужасным было то, что сервы, превратившиеся в зловредов и разрушителей, не просто завоевывали себе место под звездами, но провозгласили политику уничтожения всего, что галакты насаждали во Вселенной.

Галакты, где обоснуются, повышают биологичность разумных объектов, превращая механизмы в организмы, помогая организмам достичь наивысшей степени усложненности. Зловреды же понижают биологичность организмов, постепенно превращая живые существа в машины, этап за этапом заменяют животворения конвейерным производством.

Несчастные биологические автоматы на захваченной людьми Станции Метрики — все эти операторы, Главный Мозг, Надсмотрщик — наглядные примеры

космической политики обезжизнивания и оболванивания...

В общем, всё, о чем рассказал Тигран, мы знали и раньше. И всё же нас поразила глубина противоречий, разделивших галактов и разрушителей. Я задумался, Мэри и Лусин тоже молчали.

Ромеро сказал, что людям посчастливилось отыскать свой путь развития, непохожий на пути галактов и их врагов.

— Вы оживотворяете механизмы, они механизмируют организмы, а мы оставляем механизмы механизмами, а существа существами. Наши машины вооружают, а не разоружают человека. Мы не стремимся сделать машины биологически совершенными универсалами, зато грандиозно увеличиваем их специализированные мощности. На старом человеческом языке, вам неизвестном, это называлось так: не путать божий дар с яичницей.

— Что такое яичница, я не знаю, — признался галакт. — А что вы превзошли нас в могуществе, мы поняли при первом же вашем появлении в Персее.

Я спросил, в какой фазе находится сейчас война галактов с разрушителями. Тигран ответил, что разрушители безраздельно владеют межзвездными просторами, а на своих планетах галакты в безопасности.

Дело в том, что ими изобретено оружие, неотвратимо поражающее всё живое, и разрушители страшатся его смертельно. Практически они оставили галактов в покое.

— Но перспектива? — настаивал я. — Хорошо: они вас оставили в покое, а вы их? Вы примирились с их злодеяниями?

— Не примирились, но что мы можем сделать? Перенять разрушительную философию сервов и перейти к их уничтожению, раз перевоспитание не удалось? Это не для нас. К тому же сражения в космосе приведут к смерти многих галактов.

Ромеро надменно проговорил:

— Вот как — приведут к смерти? А разве на ваших планетах вы не умираете? Или одна форма смерти — приемлема, а другая — нет?

— На наших планетах мы — бессмертны. Однако, дорогие гости, вы устали. У нас еще будет случай по-

беседовать. — Он показал на дом на другом берегу. — Вы будете жить там.

— Мне надо соединиться с «Волопасом», — сказала я, вставая. — Если мой голос не услышат, подумают, что мы попали в беду.

7

Дом внутри походил на земные гостиницы. Мирный пейзаж в окнах усиливал впечатление, что мы на Земле.

Ромеро в салоне водрузил трость между ног и оперся на нее руками.

— Трудный орешек, — сказал он хмуро. — Теперь я понимаю, друзья мои, почему они не вышли на помощь трем нашим звездолетам, когда мы появились в Персее. Боюсь, у них мания изоляционизма, как это формулировалось в старину.

— Бессмертие на планетах, — озабоченно высказался Лусин. — Смертные в космосе. Интересно.

— Важно пока одно — они нам друзья, а не враги, — вставил и я слово.

— Это и прежде было ясно, — возразил Ромеро. Он готов был затеять новый спор, но я отказался от спора.

— Что-то мне в галактах не нравится, — призналась Мэри, когда мы остались одни. — Красивы они божественно. И умны, и обходительны, и благородны, одеты так нарядно, что глаз не отвести. Тебе понравилась его туника? По-моему, она не окрашенная, а само-светящаяся...

— Ты собиралась говорить, что не нравится в них, а вместо этого всё хвалишь.

— Не всё. В их присутствии я ощущаю стеснение, почти неприязнь. А ведь этот галакт, Тигран, смотрел на меня так, что если бы земной мужчина посмотрел с таким восхищением, я бы почувствовала себя польщенной.

— Смотрел он на тебя отвратительно, — подтвердил я. — Если бы земной мужчина посмотрел на тебя так, я завязал бы ссору.

Мэри обняла меня за шею.

— Как хорошо, что у людей — примитив. Один

мужчина и одна женщина. И оба — прямые, без вправо и влево закрученных.

— Право- и левосконструированных, — поправил я.

— Всё равно. Один ты — и этого достаточно!

— Нужна еще ты — тогда, пожалуй, хватит.

Так мы обменивались шутками, а за шутками таилась снедавшая нас озабоченность.

Были бы мы просто людьми, непреднамеренно повстречавшимися с галактами, вероятно, ничего, кроме радости, такая встреча не вызвала. Но мы добивались от галактов действий на общую пользу — задача была не проста.

И, лежа в ванной, я размышлял лишь об этом. Никогда я еще не принимал столь отличной ванны. Это была, конечно, вода — но превосходно *выделанная*. Она нежила и пьянила, успокаивала и радовала. Если бы мне сообщили, что для ванн галакты употребляют особый сорт легчайшего вина или полувоздушный нектар, я поверил бы, не колеблясь, хотя, повторяю, это была вода и не что другое. Замечательная вода, думал я, все более тревожась, надо при случае проверить ее насыщенность радиацией.

Из ванны я вышел взбодренный. Мэри уже лежала в постели.

— Знаешь, — сказала она, — если привыкнуть к их жизни, то и вправду покажутся страшными лишения дальних странствий. Как по-твоему?

— Хорошая ванна, — ответил я. — Да, конечно, лишения некоторых устрашают.

В нашей спальне стояло большое зеркало. Нажатием кнопки оно превращалось в веселящий экран, подобие стереотеатра, нажатием другой становилось изображением звездного неба.

Сперва мы с Мэри полюбовались картинами на экране: это были пейзажи населенных планет, благоустроенных, роскошных, величественных, галакты заранее приглашали нас порадоваться культуре их быта, восхититься их умением жить. Потом я перевел изображение на звездную сферу. В зеркале, превратившемся в полусферу, густо пылали светила Персея, а среди них, крохотный, красновато поблескивал наш звездолет: «Волопас» покорно плелся в кильватере корабля галактов, освещавшего его своими прожекторами...

И хоть я знал, что до «Волопаса» сотни тысяч, если не миллионы километров, всё равно он казался рядом, так точно выхватывал его из темноты лазерный осветитель галактов.

Мэри окликнула меня:

— Эли, о чем ты так напряженно думаешь?

Я ответил со вздохом:

— Я понимаю, Мэри, всё это вздор. Никак не могу отделаться от мысли, что на «Волопас» сейчас нацелены таинственные биологические орудия... И какой-то галакт сидит в эту минуту у пульта, готовый нажать на пусковую кнопку...

8

Мы долго шли курсом на Пламенную, одну из тех «неактивных» звезд, что во время блужданий «Пожирателя пространства» отчаянно зывала к нам: «Выбрасывайтесь вблизи меня, здесь кривизна непрочна».

Звезда была как звезда — гигант класса В, поздняя структура, белая, огромной абсолютной светимости — десять тысяч солнц в одном солнце. И вокруг нее вращалось четырнадцать планет, разных по величине, неодинаковых по климату, но однообразно благоустроенных, с совершенством оборудованных...

За орбитами же обитаемых планет вращались астероиды с диаметрами от ста до восьмисот километров. Их были тысячи, они составляли замкнутую сферу — защитным пологом прикрывали планеты от вторжения извне.

Тигран, сопровождавший нас в прогулках по звездолету, сообщил, что мы причаливаем к одному из астероидов.

— Еще одна космическая дезинфекция? — поинтересовался Ромеро.

— Не только дезинфекция. — Тигран тонко улыбнулся. — Мне поручено ознакомить вас с нашей космической защитой.

— Есть ли названия у астероидов? — спросила Мэри.

— Все космические форты первого класса имеют название. Этот называется «Необходимый-3».

Меня удивило странное название, но Ромеро разъяснил, что галакты толкуют человеческие слова чаще по прямому, чем по общеустановившемуся значению. «Необходимый», в данном случае, означает не «непременный» или «нужный», а «тот, который не обойти», или, иначе, «необъезжаемый».

Высадка на астероиде для экипажа «Волопаса» труда не составила, но для нашего звездолета являлась операцией длительной. Не только люди, но и галакты часами сидели в специальных помещениях, вырастая от крохотных внутрикорабельных куколок до нормальных, для внешнего пользования, размеров.

Мне эти часы изменения размеров тела показались утомительно пустыми, тем более что процесс выращивания в обычного человека совершался в темноте. Но Мэри восприняла их по-иному.

— Я сейчас вообразила, что в какой-нибудь час увеличила свой рост в восемьсот раз, — и ужаснулась!

Я напряг воображение, но страха не получилось, рост был быстрый, но нечувствительный — для меня, во всяком случае. Ромеро непрерывно ощупывал немасштабно меняющиеся искусственные зубы, а Лусин шумно вздыхал, проверяя, не начали ли его синтетические легкие распирать по-старому грудную клетку. Им, наверно, было не по себе, когда всё становилось опять «по себе», но я только проголодался — и как раз в масштабе увеличившегося размера.

На астероиде нас уже поджидали в скафандрах высадившиеся ранее Осима, Труб, Орлан и Гиг.

Церемония знакомства галактов с нашими звездными друзьями показалась мне поучительной. Осиму они приветствовали с тем радушием, что перед этим нас, Трубу тоже достались приветливые улыбки, но в обращении с разрушителями появилась вежливая отчужденность. Тысячелетия страха и недоброжелательства по мановению руки не стереть из памяти.

Восторженный Гиг не заметил холодка, но умный Орлан почувствовал отстраненность галактов. И если при знакомстве он вытянул вверх голову почти на метр — сколько позволил гибкий скафандр, то когда они отошли, захлопнул ее в плечи по брови — знак высшего приветствия сменился знаком высшего недоумения. Я посоветовал ему не расстраиваться, инерция

велика под любимыми звездами. Он вежливо согласился.

Для облета астероида нам предложили забавное сооружение, вроде летающего кита, скорее живое существо, чем машину. Всех нас в салоне не покидало ощущение, что находимся не в помещении, а в чреве.

Мэри со смехом сказала:

— А эта летающая конструкция не переварит нас? Я боюсь, что сейчас по стенкам обильно польется желудочный сок.

По стенкам разлился не желудочный сок, а мягкое сияние. Стенки постепенно становились прозрачными.

Мы проносились над поверхностью астероида. Мне редко встречалось столь мрачное зрелище. Далекое солнце — с детский кулачок — светило, но не грело. Сумрачно-пепельный свет призрачно освещал угрюмые пики, вздымавшиеся над воистину бездонными пропастями — астероид был скомпонован из нескольких кусков, пригнали их один к другому хоть и прочно, но грубо. А на скалах лежал плотный слой застывшей в снег атмосферы — тяжелые газы, растворенные в окаменевшей воде.

В гигантской, светлой пещере, куда нас ввели, размещалось озеро — очень странное озеро, даже при первом взгляде открывалась его необычность. Странность начиналась с того, что озеро было прикрыто куполом — прозрачным, толстостенным, такой, даже по виду, прочности, что ни лазером его не прожечь, ни снарядом не взорвать. А под куполом кипела жидкая масса, белая, как молоко, неистовая. Озеро клокотало, в нем взметывались протуберанцы, тоже вначале белые, потом желтеющие, — оно, как живое, набрасывалось на купол, заливало его изнутри, пыталось проломать, росло, вспучивалось и, словно обессилев, опадало и сжималось — только желтеющие языки вырывались из его массы.

А через некоторое время всё повторялось — рост, распухание, заполнение купола, яростная попытка взорвать его...

— Что это? — спросил я Тиграна.

Он сказал очень торжественно, на минуту даже улыбка исчезла с его лица:

— Перед вами самое мощное в нашем звездном

районе биологическое орудие. Две тысячи орудий почти такой же мощи прикрывают планеты Пламенной от нападения извне.

Несколько минут мы молча созерцали беснующееся озеро. Оно всё больше казалось мне живым существом, запертым в каменной клетке. И теперь, когда мы знали, что это такое, оно производило впечатление уже не странного, а грозного. Труб возбужденно поводил крыльями, Орлан вытянул вверх голову, словно почтительно приветствовал страшное орудие, даже весельчак Гиг перестал беззаботно распахивать на всё рот, как клещи. «Здоровенная биологичка!» — шепотком грохотнул он.

Из объяснений Тиграна стало ясно, что озеро и вправду живое существо и притом огромное — жидкое ядро каменного астероида. Нам показали лишь ничтожную его часть, крохотный глазок, прикрытый защитным куполом, всё остальное скрыто во многокилометровой глубине.

И хоть существо это, биологическое орудие, лишено разума в нашем смысле, нечто вроде исполинского тупого животного, характер его капризен и своенравен. Его приходится не только хорошо кормить — еда доставляется с внутренних планет, — но и ублажать согреваниями, специальными облучениями и щекочущими электрическими разрядами. Бушевание озера свидетельствует не больше чем о спокойствии ядра, а когда ядро злится, начинается такая буря, что астероид трясется, как припадный. Продуктом жизнедеятельности ядра является радиация, мгновенно уничтожающая всё живое.

Купола, подобные этому, имеются в разных местах астероида. Откуда бы ни атаковал вражеский корабль, на оси его движения всегда окажется один из таких куполов. В нужный момент пещера раскрывается, защитный колпак меняет молекулярную структуру, поток убийственной радиации выносится наружу — и всё живое на вражеском корабле превращается в горсточку праха.

Аннигиляторы Танева выглядели изящнее, чем эти колонии взбесившихся клеток за прозрачным колпаком. И огромные сами по себе, они казались крошками рядом с этим чудовищным живым ядром. Цивилизация

галактов пошла иными техническими дорогами, чем человеческая. Но отказать галактам в изобретательности я не мог. Защитить себя они сумели.

Ромеро спросил Тиграна:

— С течением времени невыпущенная радиация накапливается в закрытом объеме ядра. Не отражается ли это на его жизнедеятельности?

Ромеро коснулся сложного пункта. Выпускать накапливающуюся радиацию запрещено, нельзя наполнять мировые просторы губительными потоками. Ядро поглощает собственные выделения, и клетки его от самоотравления гибнут. Происходит одновременно распад старых и синтез новых клеток, бури, порождающие протуберанцы — выражение этих реакций. Периодически ядро слабеет и гаснет, затем синтез одолевает распад и разгорается новый бурный процесс.

— А если враг подберется в момент угнетения ядра?

— Периоды спада и подъема у разных астероидов неодновременны. В любой момент половина ядер активна. Кстати, периодическое затухание необходимо для саморегуляции ядра. Если бы оно свободно выделяло свою радиацию, вещество его распухло бы так, что разнесло астероид. Чем быстрее ядро гаснет, тем оно надежнее.

— Ваши космические корабли снабжены биологическими орудиями?

Было ясно видно, что Тиграну не хочется отвечать. Но галакты не умеют лгать. Если не удастся отмолчаться, они говорят правду.

— Биологические орудия на звездолетах имеются, но меньшей мощности.

Ничего интересного, кроме живого ядра, на астероиде больше не было. Нас провели в жилые помещения и предложили отдохнуть.

Галакты удалились, а мы собрались в салоне и обменялись мнениями.

Ромеро высказал недоумение, что, обладая абсолютным оружием, галакты не добились перелома в войне.

— Согласитесь, дорогой Орлан, что ваши корабли вооружены слабее. И ваши гравитационные удары, и их биологическая радиация распространяются со

скоростью света. Но гравитационная волна ослабевает пропорционально квадрату расстояния, а пучок биологической радиации практически не рассеивается. На дальних дистанциях крейсер галактов всегда возьмет верх над крейсером разрушителей.

Орлан ответил с таким подчеркнутым бесстрашием, что оно могло сойти за насмешку:

— Ты забываешь, Ромеро, что наш крейсер может увернуться от узкого луча, а корабль галакта обязательно попадет, пусть в ослабленную, но опасную гравитационную волну. Прицельность биологических орудий в маневренном бою невелика. Другое дело прорываться внутрь планетных систем — тут звездолетам достанется от убийственного обстрела.

Гиг, жизнерадостно захохотав, возгласил:

— При прошлом Великом попробовали прорваться, — ужас, что было! Мертвые корабли слонялись в межзвездном просторе — испаренные головы, слезы невидимок, выжженные на стенах!.. Великолепное уничтожение!

Ромеро продолжал спорить:

— Но если маневренный бой, по-вашему, проницательный Орлан, и не даст перевеса галактам, то почему им не обрушиться на ваши планетные базы, на ту же Третью планету? Ее вы не отведете в сторону, а траекторию луча можно рассчитать с точностью до километра. Рано или поздно, но вас испепелила бы смертоносная радиация — и разрушители, сами разрушенные, перестали бы сеять зло во Вселенной!

— Для того чтоб предотвратить эту опасность, нами и были воздвигнуты шесть Станций Метрики, Ромеро.

И Орлан рассказал, как протекала последняя открытая схватка между галактами и разрушителями. Галакты ударили по одной из Станций Метрики из биологических орудий, но Станция свернула в своем районе пространство и после раскручивания изверженных лучей обрушила их назад на планеты галактов. С той поры галакты, где бы они ни находились в Персее, полностью отказались от борьбы за власть в звездном скоплении.

Рассказ Орлана возобновил во мне тревожные мысли.

— Ты уговаривал нас, Орлан, обратиться к галактам за помощью. Но оказывается, их биологические орудия в бою неэффективны.

Орлан ответил, словно давно ожидал этого вопроса:

— Смотря какой бой, Эли. В районе прорыва человеческих звездолетов наши корабли будут ограничены в маневре. А если, спасаясь от биологических лучей, они кинутся кто куда, то ведь вас это тоже устроит, не так ли?

9

Вначале нам привиделось, что мы причаливаем к планете, населенной одними деревьями. Вокруг нее вращались две луны, на дальней мы распростились со звездолетами. Затем раскрылась сама планета, и, недоумевающие, мы напрасно искали на ней поселений — леса, одни леса, невероятные, по человеческому пониманию, леса.

— У меня глаза слепит от света деревьев, — сказала Мэри.

Это было в момент, когда мы летели, едва не ложась на верхушки леса. Деревья были гораздо крупнее земных — иное до полукилометра, как мы потом разглядели. И ветви у них не опускались вниз и не раскидывались в стороны, а взвивались вверх. Эти деревья походили на вопли, рвущиеся из глубин планеты, сравнение выпренно, но более точного я не подберу. И они не были только окрашены в разные цвета, как наша скучная растительность, — они сами сияли, не кроны, а костры раскидывались над планетой, разнообразно сверкающие огни — синие, красные, фиолетовые, голубые, всех оттенков желтые и оранжевые...

— Деревья ночью заменяют закатившуюся звезду, — разъяснил Тигран. — А разве ваши планеты освещаются не деревьями?

Он вежливо слушал ответ, но, уверен, наши лампы и прожектора, самосветящиеся стены и потолки показались ему диким варварством. В каждой комнате у галактов стоит небольшое деревце — для освещения и кондиционирования воздуха.

Среди сплошного леса открылся просвет, аэробус устремился туда.

На обширной площади нас ожидали жители. Не буду описывать встречи, ее сотни раз показывали на стереоэкране. Упомяну лишь о нашем изумлении, когда мы разобрались, что встречают нас не одни галакты. К нам теснились ангелы, шестикрылые кузнечики с умными человеческими лицами, прекрасные вегажители — я вздрогнул, увидев сияющих змей: мне почудилось, что среди них Фиола. Я уже опасался, не выпустили ли на нас свору фантомов, копирующих сохранившиеся у нас в мозгу образы, но потом разглядел множество существ до того диковинных, что никому и в голову не могло явиться примыслить их.

И вся эта масса напирала, размахивала руками и крыльями, одни взлетали над головами других, другие восторженно кружились, прокладывая вращением себе путь в толпе. А среди звездожителей шествовали галакты — высокие, улыбающиеся, в непостижимо ярких, самосветящихся одеждах.

Мы переходили из рук в руки, из крыльев в крылья. И радостные люди, и степенно-спокойный Орлан, и возбужденный Труб, и грохочущий Гиг — все получили свои порции ласки и приветов.

А когда приутих фейерверк красок, ослабела вакханалия звуков и успокоился водоворот движений, мы полетели куда-то вниз всей обширной площадью, и снова начался парк, а в парке появился город.

Он был похож и непохож на наши. Казалось, в нем были улицы, по-земному просторные и широкие, и по улицам двигались жители, такой же разнообразный народ, не одни галакты, и двигались каждый по-своему, кто ногами, кто вращением, кто перелетами, а кто перепархивал, наподобие Орлана. Но по бокам улиц вздымались не дома с окнами и дверьми, а глухие стены, изредка распахивающие зев туннелей. Над улицей же было не небо, усеянное звездами, а кроны исполинских светящихся деревьев — стволы их таились за стенами, а ветви сплетали кров над дорогой.

В воздухе плыли ароматы, то нежные, то резкие, то томные, то пьянящие. И если бы от места к месту не менялось сочетание ароматов и каждое место не дышало своим запахом, я сказал бы, что благовоние исходит сам воздух. Чудесные эти запахи встретили нас, когда мы опустились на площади, и сопровождали весь

путь. Источником благоуханий являлись те же светящиеся деревья.

— Насмешливо пахнет, — сказала в одном месте Мэри, и все мы засмеялись, так точно определила она аромат.

Нас ввели в один из туннелей, и мы очутились в зале. О том, что происходило там, рассказано у Ромеро, я повторяться не хочу. В зале Тигран познакомил нас с галактом, еще статней и красивей Тиграна. Нового галакта на человеческом языке звали Граций — имя ему соответствовало.

— На планетах Граций заменит меня, — сообщил Тигран. — Он же будет вести с вами переговоры.

Вечером, в узком кругу, состоялась наша первая беседа. Я начал ее вопросом, не состоят ли люди в генетическом родстве с галактами? Не буду удивлен, если окажется, что галакты-звездoproходцы оставили на одной из далеких от Персея планет продолжение своей породы, так сказать, воспроизвели себя наскоро и вчерне...

— У нас появилась аналогичная идея: что галакты — творение людей, явившихся в Персей миллионов десять лет назад, — возразил Граций. — Когда были расшифрованы стереопередачи «Пожирателя пространства», нас поразило сходство с людьми. Единственное объяснение было, что мы — ваши потомки.

Граций порядком разочаровался, когда узнал, что человеческая цивилизация насчитывает лишь пять тысяч лет, а биологически человек появился всего миллион лет назад.

— Миллион ваших лет назад мы были вполне развитым народом, — сказал Граций, с сожалением отказываясь от гипотезы, что мы праотцы галактов. — Нет, и преданий таких, что мы где-то создавали существ по нашему образу и подобию, в памяти народа не сохранилось. Очевидно, сама природа в разных местах породила схожие по облику существа.

После этого я «взял быка за рога», как любит называть такое поведение Ромеро. Я изложил причины, настоятельно толкающие к союзу людей и галактов.

Империю разрушителей рвут внутренние силы. Нужно крепко ударить, чтобы она развалилась окончательно. Для этого нужно помочь человеческому флоту,

углубляющемуся в Персей. Если злореды одолеют сейчас людей, на многие тысячелетия будет погашена надежда на освобождение от ига. Не в интересах галактов допустить разгром человеческой звездной армады.

Галакты слушали, вежливые, непроницаемо ласковые, та же неизменная приветливая улыбка сияла на лицах. Я чувствовал, что передо мной стена и что я бьюсь головой о стену.

— Мы передадим ваше предложение народам планет Пламенной, а также обществам галактов, населяющих системы других звезд, — пообещал Граций. — А пока прошу вас принять участие в вечернем празднестве в вашу честь.

— Нет, — сказал я. — Никаких празднеств, пока мы не узнаем ваше мнение.

У Грация удивленно поднялись брови.

— Я не могу предвирать решения всех наших народов. Имеется много возражений против участия в открытой войне, и нужно соотнести их с преимуществами, чтоб выработать разумную равнодействующую.

— Поймите меня, — сказал я, волнуясь. — Я не требую, чтоб вы объявили сегодня вашу разумную равнодействующую. Но сообщите, какие у вас возражения, чтоб мы смогли о них заблаговременно поразмыслить. Не решение, а пищу для раздумий — только об этом прошу!

Граций взглядом посовещался с галактами.

— Я выделю два главных возражения. Если мы вышлем на помощь людям эскадру, вооруженную биологическими орудиями, то в разгоревшемся бою орудия эти могут промахнуться. Нас охватывает ужас при одной мысли об этом.

— Ха, возражение! — воскликнул Гиг. — Даже мы, невидимки, промахиваемся. Неверный удар — что обычнее в сражениях!

Я умирил Гига строгим взглядом. Не следовало вчерашнему злому врагу галактов так ретиво вмешиваться в наш спор.

— В обычном сражении — да, — с прежней приветливостью сказал Граций. — Но сражение с участием биологических орудий — необычно. Если сноп этих лу-

чей попадет в цель, цель уничтожена, лучи погашены. Но при промахе пучок выпущенных однажды лучей будет нестись во Вселенной невидимый, неотвратимый, будет нестись года, тысячелетия, миллионы, миллиарды лет, будет пронизывать звездные системы, галактики, метагалактику — и когда-нибудь обязательно повстречает на пути очаг жизни. И горе тогда всему живому! Что бы это ни было — колония ли примитивных мхов, еще примитивней бактерии, наполняющие атмосферу, или древняя, высокоразумная цивилизация, — всё будет уничтожено, всё превратится в прах! Чудовищными убийцами во Вселенной мы станем в тот миг, когда промахнемся. Ни один галакт не санкционирует такого преступления — и я в том числе!

Теперь в его голосе звучал вызов. Я поднял руку, останавливая товарищей. От возражений галакта нельзя было отмахиваться первыми попавшимися аргументами.

— Так. Очень серьезно. Мы будем думать над вашими опасениями. Теперь я хотел бы услышать второе возражение.

— Второе связано с первым. Вы захватили одну Станцию Метрики, но пять других у разрушителей. Если мы промахнемся, враги создадут такое искривление, что выпущенные нами лучи обрушатся на нас самих. Случай такой уже был — и не одна планета превратилась в кладбище. Вы хотите, чтоб мы обрекли на гибель самих себя?

Не ответив Грацию, я обратился к Тиграну:

— Вы говорили, что на своих планетах галакты бессмертны. Но вы не избавлены от страха гибели?

Мне ответил не Тигран, а снова Граций:

— Мы создали такие условия жизни, что можем не опасаться смерти. Смертоносные факторы могут появиться лишь извне. Вторжение биологических лучей будет таким смертоносным фактором.

Я попросил объяснений подробней. Смерть, ответил Граций, или катастрофа, или болезнь. Катастроф на их планетах не бывает, болезни преодолены — отчего же галакту умирать? А если изнашиваются отдельные органы, их заменяют. Граций три раза менял сердце, два раза мозг, раз восемь желудок — и после каждой замены омолаживался весь его организм.

— Колебательное движение между старостью и обновлением, — сказал Ромеро. — Или навечно законсервированная старость? Земной писатель Свифт описал породу бессмертных стариков — немощных, сварливых, несчастных...

Замечание Ромеро было слишком вызывающим, чтоб галакт оставил его без ответа. О Свифте он не знает. Но законсервировать старость невозможно. В юности и старости биологические изменения в организме происходят так быстро, что задержать здесь развитие нереально. Но полный расцвет — это тот возраст, когда организм максимально сохраняется, это большое плато на кривой роста. Именно этот возраст, стабильную зрелость, и выбирают галакты для вечного сохранения. Они охотно передадут людям свое умение, чтоб и люди воспользовались преимуществами разумного бессмертия.

Я больше не вмешивался в разговор, только слушал. И с каждым словом, с каждым жестом галактов я открывал в них ужас перед смертью.

Нет, то не был наш извечный страх небытия, мы с детства воспитаны на сознании неизбежности смерти, случайное начало и неотвергаемый конец — вот наше понимание существования. Наше опасение смерти — лишь стремление продлить жизнь, оттянуть наступление неотвратимого. А эти, бессмертные, полны были мучительного ужаса гибели, ибо она была для них катастрофой, а не неизбежностью.

Нелегкая задача, думал я. Не склонять на выгодный и благородный союз, как мне представлялось вначале, а переламывать их натуру — вот что выпало тебе на долю, Эли.

— Теперь вам понятно, беспокойные новые друзья, как велики наши сомнения, — закончил Граций свою изящную речь о вечной молодости галактов. — Не будем же больше испытывать терпение собравшихся — вас давно уже ждут, пойдемте!

10

Я быстро устал от праздника.

Удовольствий было слишком много — и разноцветного сияния, и разнообразных запахов, и непохожих

одна на другую фигур, и слишком приветливых слов, и слишком радостных улыбок... Бал под светящимися, благоухающими деревьями показался мне таким же утомительным, какими, вероятно, были древние человеческие балы на паркете в душных залах при свете догорающих свечей. Но Мэри праздник понравился, и я терпел его сколько мог.

Душою бала стали Гиг и Труб.

Невидимок у галактов еще не бывало, и Гиг порезвился за всех собратьев. Он, разумеется, не исчезал в оптической недоступности, но зато в штатской одежде — зримый во всех волнах — вдосталь покрасовался. Его нарасхват приглашали на танцы, и веселый скелет так бешено изламывался в замысловатых пируэтах, что очаровал всех галактянок и ангелиц.

А Труб устроил показательные виражи под кронами деревьев, и ни один из местных ангелов не смог достичь его летных показателей — такую формулой он сам определил свое преимущество.

Ромеро тоже не терял времени попусту. Окруженный прекрасными галактянками, он разглагольствовал о зеленой Земле. И, поймав краешком уха его речь, я подивился, что увлекло меня в суровые дали от того райского уголка, каким была Земля в его описаниях.

Лусин исчез, Осима тоже пропал. Орлан, бесстрастный и неприкаянный, бродил под деревьями — бледным призраком в красочной толпе. То галакт, то ангел, то вегажитель раскатывались к нему с вопросами — он вежливо отвечал. И Орлана вовлекли в пляску — два светящихся вегажителя смерчами вертелись вокруг него, а он, всё такой же безучастный и молчаливый, порхал между ними, раздувая широкий белый плащ. Не знаю, как змеям с Веги, а мне эта пляска не показалась увлекательной.

Ко мне подошел взбудораженный Ромеро:

— Дорогой адмирал, к чему такая постная физиономия? Как было бы прекрасно, если бы командующий звездной армией человечества поплясал с новообретенными союзниками!

— С союзницами, Ромеро! Только с союзницами — и с прямыми дамами, а не вправо и влево сконструированными. Но, к сожалению, не могу. Спляшите и за меня.

— Почему такая мировая скорбь, Эли?

— Боюсь Мэри. Она кружится с ангелами и змеями, но всё время оглядывается на меня. Вам хорошо без Веры, а мне грозит семейный скандал, если не поостерегусь.

— Нет, так легко вы не отделаетесь, — воскликнул он и пригласил двух галактянок. Я не доставал головой до плеча моей партнерши, но это не помешало нам сплясать веселый танец под веселую музыку. Музыкантов я не увидел: звуки передавались телепатически.

Было хорошо, но не настолько, чтоб захотелось повторить танец.

Я забрался в чащобу освещенного деревьями парка. Веселая сумбурная музыка, звучавшая во мне, стала ясной и грустной. Я вспомнил индивидуальную музыку, распространенную на Земле: чем-то звучавшие во мне мелодии походили на те, земные, — под настроение.

Но было и важное различие: мне сейчас не хотелось грустить, душа моя не заказывала печальных звуков. Мелодия здесь рождается гармонически, она создавалась не одним мною, но всем окружением — и темной ночью, и сияющими, разноцветными, разнопахнувшими деревьями, и радостью наших хозяев, ублажающих своих гостей, и их опасениями перед нашими домоганиями, и состоянием моей души... И всё это складывалось в звучную, легкую, нежную и печальную многоголосую фугу.

В парке меня вскоре разыскала Мэри.

— Эли, здесь божественно хорошо! Как бы порадовался наш Астр, если бы он попал сюда вместе с нами!

— Не надо вспоминать Астру, Мэри! — попросил я.

Мы долго бродили по парку. Давно отгремел праздник, наши удалились на покой, хозяева пропали, а мы по-прежнему любовались феерией, превращенной в быт, — сейчас, на исходе ночи, она расточалась для нас одних.

Потом, уставшие, мы уселись на скамейку. Мэри положила голову мне на плечо, а во мне поднялись мысли, чуждые великолепной ночи. Я вспоминал Землю и Ору, первую встречу с Мэри в Каире, первую — и последнюю — встречу с Фиолой, сумасбродную любовь к прекрасной змее, так бурно заполнившую меня и

вскоре так незаметно угасшую, наше дальнейшее путешествие в Плеяды, оба наши вторжения в Персей, картины злодейств разрушителей. Тысячи страстных, то нежных, то горьких воспоминаний вздымались во мне и стирались, я бродил в прошлом, то восхищаясь им, то негодуя, — переживал его заново.

А потом место прошлого заняло настоящее, но не то, пленительное и томное, в котором я сейчас находился, нет, суровое, полное недоверчивости и опасений. Я размышлял о галактах, о их совершенной самоублаженности, о слепом ужасе смерти, чудящейся им за пределами их звездных околиц.

И мне страстно, до боли в сердце, хотелось опровергнуть их, бросить им в лицо горькие обвинения в эгоизме, возродить погасшую ответственность за судьбы иных, далеких им звездных народов, влить в их спокойную кровь наш, человеческий бальзам беспокойства...

Я повернулся к Мэри и сказал:

— Ты права, Мэри, Астру бы здесь понравилось. Воображаю, как бы он плясал с Гигом и кувыркался в воздухе с Трубом.

— Не надо! — сказала она. — Ради бога, не надо, Эли!

...С той ночи прошло много лет. Я сижу на веранде в нашей квартире на семьдесят девятом этаже Зеленого проспекта, той самой, что мы когда-то занимали с Верой. Вера недавно умерла, прах ее, нетленный, покоится в Пантеоне. Скоро и мы с Мэри умрем, искусство бессмертия галактов, несмотря на все эксперименты, пока что людям не дается. Я не жалею. Я не боюсь смерти. Я прожил хорошую жизнь и не отворачиваю лицо, когда вспоминается пережитое. А внизу, против наших окон, в центре Зеленого проспекта, высится хрустальный купол — мавзолей Астра. Я не буду вызывать авиетку, чтобы опуститься к куполу. Я закрываю глаза и вижу, что в нем и что вокруг него. Вокруг мавзолея днем и вечером — посетители, их очередь иссякает лишь к поздней ночи. А внутри, в нейтральной атмосфере, — он, наш мальчик, маленький, добрый, кажется, и в смерти энергичный, и такой худой, что щемит сердце. А у входа никогда не меркнущая надпись: «Первому человеку, отдавшему свою жизнь за

звездных друзей человечества». Эту надпись сочинил Ромеро, я видел слезы в его глазах, когда он предлагал ее Большому Совету, видел, как плакали члены Совета. Я благодарен Ромеро, я всем благодарен, мне хорошо. У нас с Мэри нет ничего своего, кроме совместно прожитой жизни и трупика сына, ставшего святыней человечества, — так много у нас, так бесконечно много! Мне хорошо, и я не буду плакать. Последний раз в своей жизни я плакал тогда, ночью, на великолепной планете галактов, под их радостными деревьями, источающими сияние и аромат, — и Мэри, обняв меня, плакала вместе со мной...



Нас повезли на одну из пустынных планет, переоборудуемых для жизни.

Эта поездка занимала меня больше, чем знакомство с бытом галактов в их райски благоустроенных обителях. Ромеро иронизировал, что поиски совершенства захватывают меня сильнее, чем совершенство достигнутое.

— Вы весь в пути, — сказал он на планетолете. — И, не обращая внимания на встречающиеся в дороге станции, нетерпеливо стремитесь к следующей, чтоб так же стремительно пролететь мимо.

Возможно, кое в чем Ромеро и прав, но я ту же мысль выразил бы проще: я — человек дела, а дела было так много, что не хватало времени на любования.

Планета, куда нас повезли, называлась Массивной. Она и вправду была массивной — исполинский камень, пики и скалы, пропасти без дна, гигантские трещины от полюса к полюсу, еще огромней горные цепи. На обкатанные шарики наших планет эта угрюмая каменная шишка в космосе походила мало. И ни намек на атмосферу, ни следа воды, даже ископаемой!

Если этот унылый клочок мира был создан рамирами, то или эти загадочные существа работали крайне небрежно или дальше создания мертвых камней их фантазия не шла.

Массивная интересовала меня еще и потому, что на-

поминала Плутон — планету моей юности, превращенную в гигантский космический завод из такой же примерно скалистой пустыни, — правда, там была окаменевшая вода.

И, знакомясь с деятельностью галактов, я должен был признать, что если в инженерных решениях мы и превосходили их, то целеустремленности общего замысла нам следовало учиться у них.

Горы покрывала плесень, бурая, неприятная на ощупь плесень, и горы таяли на глазах. Это не были бактерии, творящие жизнь, как у Мэри, эти мхи лишь разлагали камень на химические элементы. Наши атмосферные заводы на Плутоне работали интенсивней. Но заводы возделывали лишь незначительную часть планеты, а мхи галактов покрывали всю ее поверхность: мертвая планета парила, источала азот и кислород, всюду по ней струились ручьи и реки, заполняя впадины, будущие моря.

И деятельность галактов лишь началась здесь, а не кончалась на этом.

Проект заселения планеты был грандиозен. И снова люди пошли бы иным путем, чем галакты. Мы колонизировали бы планету — привезли рыб, зверей, птиц, насадили уже произрастающие в других местах растения. Галакты не колонизировали свои планеты, а развивали то, что подходило каждой. На Массивной, с ее большой гравитацией, они выводили породы легких существ — малая масса, мощная мускулатура, обязательно — крылья. Генетические возможности эволюции они считали с глубиной, показавшейся нам невероятной. Новообразованные воды были уже населены примитивными существами из нескольких клеток. Нам показали на моделях, во что они разовьются впоследствии. В примитивные существа была введена гигантская сила усовершенствования, они должны были трансформироваться от поколения к поколению.

А в конце не такого уж длинного ряда преобразований — не миллиарды земных лет естественной эволюции, а всего лишь тысячи — должны были возникнуть новые разумные существа, чем-то похожие и на ангелов, и на шестикрылых кузнечиков, и на самих галактов. Галакты говорили о них так, словно эти запроективные существа реально уже существовали.

— Создадут, — сказал мне с волнением Лусин. — Мы — чепуха. ИНФ — кустарщина. Галакты — великие творцы. Величайшие! Пойду в ученики. На Землю не возвращусь. И не проси, Эли!

Мэри успехи галактов тоже взволновали, но по-иному.

— До этого они все-таки не додумались, чтоб выводить штаммы бактерий, преобразующих одни элементы в другие, — сказала она мне, сияя. — Их строительные микробы — не больше чем химические фабрики. Меняют связи между атомами, но не вторгаются в ядро. Нет, Эли, ты посмотрел бы, как у них раскрылись рты, когда я извлекала из сейфа нашу металлопереваривающую живую продукцию!

— Отлично, Мэри! Очень рад, что ты не дала им захвастаться своими успехами. Роль младшего брата при галактах мне что-то не по душе.

И чем внимательнее я изучал труды галактов на Массивной, тем чаще возвращались ко мне давние мысли, — теперь они были определенной. Нет, думал я, как бы изменилось развитие жизни во Вселенной, если бы галактов не загнали в их звездные резервации! Гонимые боги какие-то, могущественные вечные пленники, бессмертные парии, страшашиеся высунуть нос за ограды своих планетных гетто!

Нет, какое гигантское ускорение приобретет разумная жизнь во Вселенной, если помочь этим жизнетворцам выбраться в очищенные от разрушителей мировые просторы!

После осмотра Массивной Граций сказал:

— Готовь речь к галактам. Мы возвращаемся на нашу планету. Оттуда будет вестись передача на все спутники Пламенной, а также на дружественные звездные системы. Аудитория у тебя будет обширная, друг Эли!

Все мы волновались, не я один.

Ромеро мог бы состязаться в невозмутимости с Орланом, не уступил бы ни одному галакту в умении держать себя. Но и на Ромеро не было лица. Даже Гиг утратил всегдашнюю жизнерадостность, а у Труба уныло обвисли крылья.

Мне пришлось забыть, что я сам не в себе, и подбодрить товарищей. Я улыбнулся Гигу, похлопал Тру-

ба по крылу, перекинулся несколькими словами с Орланом.

Мэри мне сказала:

— Ни пуха, ни пера, Эли. — Она добавила, увидев мое недоумение: — Старинное заклинание, оно к добру, а не ко злу. А меня нужно в ответ послать к черту.

К черту послать ее я постеснялся, но мысленно выругался. «Черт проклятый!» — сказал я, усмехнувшись.

Граций с Тиграном ввели нас в пустой зал с двумя столами. За первым разместились оба галакта, Ромеро, Орлан и я, за вторым — наши товарищи.

Ромеро по дороге сказал:

— Сегодня Орлан с Осимой подсчитали, что Аллану потребуется тысяча лет, чтоб добраться до Третьей планеты, если темпы его продвижения не изменятся, и ровно пять тысяч лет, пока он притопает к первой звездной системе галактов. Разумеется, когда у тебя в запасе вечность, что стоит потерять одно-другое тысячелетие...

Если бы Ромеро не прошептал этих иронических слов и если бы его ухмылка не была такой мрачно издевательской, я, вероятно, держал бы себя по-иному — говорил бы мягче и аргументы подбирал бы другие. Но сейчас жребий был брошен на спор — нападение, а не уговоры.

Вокруг были одни тускло светящиеся стены, сходящиеся вверх куполом. Но, если сами мы никого не видели, то почти триллион задумчивых, спокойных, благожелательных глаз был обращен в эту минуту на нас: все звездные системы галактов подключены к Пламенной, бесчисленные обитаемые планеты внимают голосу далекой звезды, рядового сверхгиганта огромной светимости, а сегодня — и огромной звучности. Впоследствии выяснилось, что разрушителям не удалось заглушить передачу с Пламенной. Думаю, они и не старались: в Персее назревали грозные события, враги хотели быть в курсе своей судьбы.

— Говори, Эли, — сказал Граций.

Я начал с того, что мы — друзья, а между друзьями, откровенность — норма общения. Свершения галактов огромны, мы, люди, и не мечтаем пока о многом таком,

что стало у них бытом. Они несравненно превосходили уровень могущества и благополучия, который некогда суеверные люди приписывали своим богам.

Но вот беда: галакты примирились с ролью пленников, отрезанных от беспокойного, страдающего мира, — люди неспособны это понять, неспособны примириться с этим. Мир, изнывающий под пятой разрушителей, взывает о помощи, — где помощь могущественных галактов? Галакты стали глухи к терзаниям мира, — такова действительность.

— Да, я знаю, вы боитесь гибели, ибо смерть для вас не наш неизбежный конец, а недопустимая катастрофа, — сказал я прямо. — И я не могу дать вам абсолютной гарантии, война есть война, ничего не поделаешь. Но я хочу указать, что вы будете не одни в сражениях, рядом с вами пойдут корабли людей со своими аннигиляторами. Я командую человеческим флотом и торжественно обещаю, что если один из ваших звездолетов промахнется и убийственный заряд умчится в пространство, мы аннигилируем пространство вместе с биологическими лучами, технические возможности для этого есть. Итак, вам ничто не грозит, кроме ваших собственных страхов. А ждет вас — весь мир! Идите навстречу зову мира!

Мэри потом говорила, что я кричал и размахивал руками, как наши предки на митингах. Орлан, сидевший справа от меня, вытянул шею в шест и со стуком прихлопнул голову в плечи — так, без слов, он просалютовал мне.

А Ромеро и в этот драматический момент не удержался от иронии:

— Если галакты и впрямь какая-то порода богов, то вы, дорогой адмирал, такой швырнули камешек в их божественное болото, что породили не круги, а бурю. Интересно, донесется ли до нас гром ветра активной звездной политики, разрывающий сейчас шатры их изоляционной защиты.

— Я бы проще высказал эту же мысль, Павел, — ответил я и спросил Грация: — Можем ли мы узнать, что сейчас происходит на ваших планетах?

— Даже увидеть можете.

Мы по-прежнему находились в зале с прозрачными стенами и таким же прозрачным куполом — и одновре-

менно летели над планетой. И это был не туристский облет живописных мест, перед нами открывались площади — и толпы на площадях, улицы — и спорящие галакты и их друзья.

А еще спустя время перед нами появилась другая планета, сперва красный шарик, потом заполнившая всё небо сфера: мы падали на планету, но не упали, а полетели над ней. Она выглядела по-иному, чем наша, — малиновые растения, озера и моря, не синие, а оранжевые, горы, венчавшиеся причудливыми розовато-белыми факелами, даже водяные облака, плававшие в атмосфере этой планеты, были желто-зеленые, а не грязно-серые. Уверен, что на этой радостно яркой планете среди пылающих красок не только глазам отрадно, но и жить легко.

И на ней мы опять увидели галактов и их звездных друзей — и на площадях, под светящимися деревьями, и в залах.

Картины повторялись — оживленные беседы, взаимные уговоры. Содержание дискуссий не переводилось, но мы и без перевода понимали, о чем спорят галакты.

— Можем посетить другие планеты Пламенной, можем выбраться в соседние звездные системы, — предложил Граций. — Передача идет на сверхсветовых волнах.

Не знаю, сколько часов продолжался облет планет и звезд, но мы порядком устали. Граций предложил подкрепиться и отдохнуть.

После обеда мы собрались в салоне. Из него вели двери в зал.

— Большую бы, — сказал Лусин с сожалением. — Суммировать. Так спорят — ужас!

Ромеро сказал, пожимая плечами:

— Не сомневаюсь, что у них имеется способ суммировать индивидуальные желания в коллективное мнение общества. Конечно, не наша Большая Государственная машина, но какой-нибудь вечно молодой галакт, специализировавшийся на всеобщем подслушивании, или, скажем так, — выслушивании.

Больше всех нас тревожился Орлан, я видел это по его посеревшему лицу. Он разговаривал с Мэри, я подсел к ним.

— Инерцию благополучной замкнутости — вот что им надо преодолеть, — сумрачно говорил Орлан. — А выход наружу грозит потерей благополучия. И потом, разрушители — их союзники! Даже в ясной голове галакта это не укладывается. Вы поверили в меня сразу, но не потому ли, что до сих пор, по существу, не встречались с разрушителями. А они миллионы ваших лет изучали нас!

— Нет, не поэтому мы поверили в тебя, Орлан, что плохо вас знаем, — вмешался я. — Просто мы, люди, убеждены, что добро разумней зла и сотрудничество полезней, чем истребительная война. Мы взываем к вашему разуму и подкрепляем ваш разум своей силой. Союз разума и силы, — что может быть действенней!

Орлан сказал с печалью, проступившей сквозь маску бесстрастия:

— Не сомневаюсь: одно хорошее поражение в бою — и Империя Великого разрушителя развалится. Но как передать эту мою уверенность галактам?

В салон вошли Граций и Тигран. Мы обступили их.

— Ты нас не убедил, адмирал Эли, — объявил Граций. — Ты говорил с нами откровенно, и галакты хотят поговорить с тобой откровенно. Мы ставим перед тобой два вопроса и просим дать на них ясный ответ. Первый. Считаешь ли ты разумным, чтобы галакты променяли обеспеченность своего нынешнего состояния на невзгоды и превратности войны не за их интересы? Второй. Уверен ли ты, что наши враги могут переменить свою природу? Можно ли приобщить к созидательной жизни тех, кто до сих пор предавался одному разрушению? Какие гарантии этого?

Орлан громко хлопнул голову в плечи.

— То самое, о чем мы только что говорили, Эли, — сказал он невесело.

Мэри с тревогой дотронулась до меня рукой. Я молча посмотрел на нее. Она была очень бледна.

— Успокойся, — сказала она. — Нельзя выступать в такой ярости!

— Пойдемте, — сказал я Грацию и Тиграну. — Если заданы вопросы, будут даны и ответы.

Пока мы шли в зал, я взял себя в руки. Криком и упреками тут помочь нельзя было. И если недавно я выступал, как на древнем митинге, то больше этого повторять не следовало. Всех, кого я мог убедить и зажечь, я убедил и зажег, остальных нужно было не убеждать, а опровергать. И когда я встал за стол, открытый миллиардам невидимых мне глаз, разум мой был ясен и холоден.

— Итак, первый вопрос, — сказал я, — разумно ли променять нынешнее благополучие на невзгоды и превратности войны? Да, разумно. Больше чем разумно — неизбежно! Ибо иного способа сохранить ваше сегодняшнее благополучие нет, кроме вот этого — подвергнуть себя опасностям и превратностям. И воевать вы будете не за чуждые вам интересы, а за свои собственные. Вам, бессмертным на ваших планетах, равно доступны и сегодня и отдаленное будущее, — почему же вы живете одним «сегодня»? Мне, человеку, легче бы отказаться от будущего, оно всё равно не мое, тело мое сгниет, когда оно наступит, а я борюсь за него, чужое будущее, ибо оно будет «сегодня» моих потомков и они вспомнят меня и похвалят. А у вас это будущее — ваше, даже не потомков ваших, просто ваше, — как же вы решаетесь отказаться от него, так обокрасть самих себя? Ах, вы не верите, что ваше «завтра» и ваше «всегда» будут хуже, чем это замечательное «сегодня»? Тогда послушайте меня, внимательно слушайте и размышляйте!

Там, в мировых просторах, откуда вас некогда изгнали, ныне господствуют ваши враги — разрушители. Вы считаете, что они вам не опасны? Вы полагаете, что ужасные биологические орудия — надежная защита от них? Сегодня, дорогие мои, только сегодня они надежны, но завтра — нет, а ведь вы существуете «всегда». Хотите знать, что произойдет завтра и чем закончится это ваше «всегда»?

Разрушители отлично понимают, что живому существу к вам не подступиться. Они и не подступаются, — сегодня можете быть спокойны. Но есть у них одно превосходное свойство, отсутствующее у вас и бесконечно грозное для вас! Вы достигли совершенства,

вы успокоились на самих себе, вы могли бы воскликнуть, как никогда еще не мог воскликнуть человек: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» В сущности, вы только и делаете, что превращаете это ваше нынешнее великолепное мгновение в великолепную вечность — консервируете однажды достигнутое счастье. А они развиваются, они продолжают неумоимо совершенствоваться, развиваются в злодейском направлении, совершенствуют свою преступность. Вы думаете, это праздная философия, то, что Великий разрушитель провозгласил исторической миссией злоредов — превращение организмов в механизмы? Нет, прекрасные и близорукие, это цель их деятельности, а работать они умеют! И они работают, поверьте, они работают, а не только наслаждаются существованием, как вы!

— А теперь, — продолжал я, — могу описать, что ждет вас в скором вашем «завтра», бессмертные. Сотни вражеских кораблей появятся у ваших космических кордонов — и навстречу им забушуют ваши сверхмощные биологические орудия. Но корабли будут спокойно двигаться дальше, ни на одном не окажется ни одной живой молекулы, способной погибнуть под вашим обстрелом, управлять кораблями будут механизмы, разумные и безжизненные. Вы мне не поверили? Вы отрицаете, что механизмы могут быть разумны, только биологический мозг достигает разума, говорите вы про себя? Хорошо, пусть по-вашему, разум — явление биологическое. Но мы видели уже автоматов, пока живых, у которых вместо собственного мозга датчики связи с мозгом, находящимся вне их. И эти живые автоматы отлично функционируют, управление механизмами Третьей планеты осуществляется ими. Я сказал: «пока живые» — и не ошибся. Им уже не обязательно быть живыми, этим, пока живым, автоматам, и завтра они полностью станут механизмами, такими же деятельными, такими же быстрыми и квалифицированными — еще деятельней и квалифицированней! Вот реальная перспектива будущего: гигантский направляющий мозг на одной из звезд, недоступных для ваших орудий, и автоматы, спаренные с ним на сверхсветовых, тщательно закодированных волнах. Что ждет вас тогда? Не знаете? Я и это скажу вам, друзья мои!

Значительная часть вас, бессмертные, погибнет при первой же атаке — и этим будет лучше! Но тяжка доля тех, кто сохранит жизнь. На ваши благоустроенные планеты обрушатся гравитационные удары, в пыль превратятся ваши совершенные города и роскошные парки, в пыль, текучую, как вода, — мы видели эту пыль на несчастной Сигме в Плеядах. Но перед уничтожением планет на шею ваши наденут цепи, равнодушные автоматы погонят вас в рабство. Вы попытаетесь убежать — и не будет дорог! Вы упадете на колени — и не вымолите свободы! Захотите себя убить, и не обрящете смерти, ведь вы отменили смерть на своих планетах!.. Будете кричать и рвать на себе волосы, в исступлении проклинать горькую свою судьбу, кусать свои руки, бить себя кулаками по голове! Пожалуйста, это не возбраняется, можно и кусать себя, и бить по щекам, лить слезы. Кругом вас будут одни автоматы, их это не взволнует — жалость у них не запрограммирована!

Таково ваше «завтра» — и оно будет много лучше, чем ваше «послезавтра». Живой и бессмертный раб безжизненного механизма-хозяина, сосущего его соки! Вечный прислужник машины, вечный угодник ее прихотей, а у машины появятся прихоти и страшные прихоти, бессмысленные, нелогичные, но обязательные для вас, ее рабов. Страшно раболепствовать перед тираном и эксплуататором, живым и тупым, надменным и своеправным, подозрительным и жестоким. Сколько у нас, у людей, сложено прекрасных легенд о священной, трудной, вдохновенной борьбе угнетенных против угнетателей. Но в тысячи, нет, в миллионы раз позорней и горше быть рабом машины, прислужником электронной схемы, холоум мертвого сочетания рычагов — а это ваша послезавтрашняя доля, ныне совершенные и богоподобные! И где вы найдете тогда выход? Куда толкнетесь? К кому воззовете? Не будет вам выхода! Не будет пути! Не будет помощи! Ибо сегодня вы сами роете ту бездонную яму, куда завтра вам падать!

Таков мой ответ на первый ваш вопрос.

А теперь второй вопрос.

Вы не верите, что разрушители могут стать завтрашними друзьями, — это слишком чувствуется в вашем вопросе. Но почему, спрошу я, вы не верите? Потому,

отвечаете вы, что не переделать им своей свирепой природы, не приобщить к созидательной жизни того, кто отдан страсти уничтожения, не сделать творцом лелеющего мечту о всеобщем хаосе. Нет, скажу я вам! Нет! Нельзя быть такими узкими. Посмотрите на мир — насколько он многообразнее вашей схемы. Он весь — противоречия и многообъемность, а вы его выстраиваете в линию. Он разнонаправлен, он раздирается внутренне и, как при взрыве, летит во все стороны, а вы замечаете лишь тот крохотный его осколок, что ударился о вашу грудь.

Давайте разбираться спокойно и объективно. Вы сейчас, вероятно, самые умелые жизнетворцы в мире, — по крайней мере, в той его части, что нам известна. И вы поставили исторической целью своего существования повышение биологичности всего живого — так вы утверждаете, так вы делаете. Вам ненавистна безжизненность автоматов, вы придирчиво контролируете, не вносят ли прибывающие на ваши планеты чего-то искусственного и мертвого в своих живых организмах, — мы на себе испытали эти ваши заботы и контроль. И я пропел бы вам хвалу, как величайшим животворцам Вселенной, если бы не существовали одновременно величайшие потенциальные убийцы всего живого, и эти убийцы — опять-таки вы! Или не вы сконструировали орудия, грозящие неотвратимой гибелью всякой жизни, от любого примитива до любой усложненности? И если бы сегодня взорвался один, только один из тысяч ваших охранных астероидов, разве вырвавшиеся из него лучи не сожгли бы жизнь на ваших совершенных планетах еще свирепей и беспощадней, чем могли бы это сделать самые свирепые и беспощадные злореды? Возможность дальнейшего творения и совершенствования жизни вы гарантируете тем, что создали возможность ее всецелостного истребления, — так непросто получается у вас самих. Жизнь охраняется смертью — вот ваша деятельность. И самое ваше бессмертие основано на том, что вы владеете поистине чудовищной способностью оборвать мгновенно любую жизнь, в том числе и бессмертную. Палка имеет два конца, развитие балансирует на противоположностях, — почему вы забываете об этом?

А если вы попадете в рабы и приспешники всё бо-

лее механизмирующихся автоматов, на что тогда будете тратить вы безмерность добытых вами лет бессмертия? Вы будете повышать автоматизм и искусственность, будете разрабатывать и осуществлять схемы обезжизнивания мира, вы, гордящиеся ныне своим житнетворчеством! Ибо рабы творят волю пославшего их хозяина, а вас, бессмертные рабы, хозяин пошлет изобретательно творить смерть во Вселенной! И всё ваше жалкое бессмертие будет потрачено на распространение смерти!

А теперь присмотритесь к зловредам. Они объявили разрушение своим символом веры, сеятели хаоса и беспорядка — вот кем они полагают себя. И это так — они истинно разрушители, сеятели хаоса и беспорядка. Но чтоб породить всеобщий беспорядок, они организуют у себя строжайший, жестокий, неслыханно жесткий порядок. Они создают гигантскую империю, строят города и заводы, оборудуют космические станции, наполняют мировые просторы кораблями, одну за другой осваивают и колонизируют планеты и звездные миры. Подчеркиваю — создают, организуют, упорядочивают! Нет сегодня у вас в Персее больших организаторов и созидателей, чем эти самые разрушители! Да, конечно, их созидательная работа подготавливает разрушение и уже приводит к разрушению, чудовищная жестокость их иерархического порядка нужна, чтоб сеять всеобъемлющий хаос, инженерное творчество обеспечивает возможность социального злоторения. Всё это так — они разрушители, они зловреды, я не собираюсь их обелять. Но я требую внимания к сложной природе их деятельности, к наполняющим ее внутренним противоречиям. Мир многоцветен — одной краской вы не нарисуете его правдивой картины.

И вот я утверждаю, что это вторая сторона противоречия, исполинская инженерная космическая работа сегодняшних зловредов, сама по себе, вне ее искусственно злобной цели, полезна, а не зловредна. Что плохого, если Станция Метрики будет регулировать структуру пространства, а мощные звездолеты будут перебрасывать товары и пассажиров из одного звездного края в другой? Да одно умение владеть тяготением — это же величайшее из творений разумного гения! Как не поставить такое умение в служение

живому разуму? Я не буду перечислять технические успехи разрушителей, они вам известны лучше, чем мне. Я утверждаю, что безымянные творцы этих успехов — наши потенциальные друзья. Творческий разум задыхается в Империи разрушителей, давно-давно там созрели уже силы, стремящиеся вызвать революцию угнетенных против угнетателей, — наш долг помочь этим силам. Вы спросите, где они? На поверхности их не увидеть, слишком велико подавляющее их угнетение, слишком тяжки кары за любую попытку сопротивления. Но разве свирепость угнетения, разве тяжесть кар сами не свидетельствуют о мощи сопротивляющихся сил? Бывший разрушитель, наш друг Орлан, сказал, что один хороший толчок — и Империя разрушителей с грохотом развалится. Так давайте, друзья, толкнем хорошенько!

Но вы спрашиваете, где гарантии? Без гарантий вы не верите, что разрушители превратятся в созидателей? Вот они, испрошенные вами гарантии, взгляните зорче! Орлан и Гиг, поднимитесь, пусть вас увидят галакты и звездные их друзья! Орлан, ближний сановник Великого разрушителя, один из знатнейших вельмож Империи, умница и стратег, — разве не сам он замыслил переход на нашу сторону? На чью сторону, спрошу я вас? Победителей, грубо сломивших мощь обороны и без его поддержки уже обеспечивших себе успех? Нет, на сторону беспомощных пленников, чье будущее было еще так неверно, — перешел на нашу сторону, чтоб разделить нашу судьбу, а не для того, чтоб подсесть к завоеванному пирогу! А Гиг, весельчак Гиг, добряк Гиг, хороший парень Гиг, разве он изменил разрушителям в поисках благ? Он изменил потому, что представился случай уйти от зловердов, он больше не мог быть с ними! Вы скажете: Орлан и Гиг не гарантия, что и другие разрушители поступят так же. Равно как и переход на нашу сторону Главного Мозга с Третьей планеты не гарантия, что и остальные пять Главных Мозгов отступятся от своего повелителя? Нет, друзья мои, нет. Здесь гарантия и к тому же — абсолютная! Абсолютность ее в том, что Орлан и Гиг были первыми разрушителями, которых мы встретили, — и эти первые стали нашими. Мы их не выискивали, не отбирали, наоборот, их выискивал и отбирал сам Вели-

кий разрушитель, — и конечно, отыскал самых правоверных, подобрал самых свирепых. А они — наши! А они не правоверны и не свирепы! И не перешли на нашу сторону, это слово неточно, — вырвались к нам, обрели наконец свободу. Вот она, абсолютная гарантия: вельможи покидают верховного правителя, гвардия его заносит над ним меч. Ибо он — угнетение и унижение, бесправие и ложь. Ибо мы — свобода и взаимное уважение, равноправие и правда! Не ищите других гарантий, сильнее этих не найдете! Я кончил. Решайте.

— Можешь отдохнуть, Эли, — сказал Граций, когда я сел. — Передача завершена, надо дать время галактам поразмыслить над твоей речью.

Я вышел в салон. Меня обступили друзья. Лусин плакал, Труб тоже вытирал крылом глаза. Орлан так волновался, что не сумел ничего сказать, он лишь проникновенно сиял бледным лицом. Гиг заключил меня в свои костлявые объятия.

Ромеро с уважением сказал:

— Вы, оказывается, оратор, любезный адмирал!

Осима энергично выругался:

— Если эти живые боги сейчас не выделяют нам парочку звездолетов с биологическими орудиями, то они слепые котята. И больше тогда не произносите при мне этого слова — галакт.

Мэри взяла меня под руку:

— Эли, я слушала тебя с замиранием сердца! Если эти странные существа и не согласятся с тобою, всё равно речь твоя была великолепна, всё равно была великолепна, Эли!

Я с досадой отмахнулся от ее похвал:

— Речи хороши лишь тогда, когда порождают хорошие результаты. Откажут нам галакты в поддержке — значит, речь никуда не годилась!

Мы еще поговорили немного, и я вдруг задремал, привалившись головой к спинке дивана. Мэри потом говорила, что я стонал и вздрагивал во сне.

Пробудился я оттого, что Мэри дернула меня за рукав.

В салон вошли Граций и Тигран. Впервые — и в последний раз — я видел галактов взволнованных, без обычной приветливой улыбки.

В глазах Грация блеснули слезы, он издала протянул мне обе руки. А Тигран приплясывал, он не хуже Гига готов был ликующе захохотать и затрястись всем телом.

Я порывисто схватил руки Грация.

— Адмирал Эли! — торжественно проговорил Граций. — Наше решение таково. После долгих тысячелетий затворничества галакты снова выходят в межзвездные просторы. Вы, люди, могущественнее нас сегодня — мы с радостью отдаем себя вашему руководству. В ближайшее время у сферы астероидов соберется эскадра звездолетов системы Пламенной — тридцать пять боевых кораблей. Из других звездных систем выйдут другие эскадры, всего четыреста пятьдесят звездолетов. Принимай командование над флотом галактов, адмирал людей!

13

Я не стал дожидаться подхода эскадр галактов из других звездных систем. Андре сообщил с Третьей планеты, что против кораблей Аллана концентрируется гигантский флот разрушителей, непрерывно появляются всё новые и новые крейсера. Ни у Андре, ни у нас не было сомнения, что зловерды не будут тянуть с решительным сражением. Им обязательно надо было покончить с Алланом, пока не подоспели галакты. Так бы действовал я на месте разрушителей, у меня не было причин считать врага глупее себя.

Когда первые тридцать пять звездолетов прибыли в район сбора, я скомандовал выступление. Эскадрам из других звездных систем было предписано собраться в два флота и выходить, каждый флот самостоятельно, к месту, где прорывался Аллан.

Адмиральские антенны я снова поднял на «Волопасе», командовал кораблем Осима, помогал ему Тигран — галакт знакомился с аппаратурой человеческих кораблей. И, как при первом штурме Персея, мы шли строем тарана с острием, но уже не в восемь слоев, а только в четыре, — острие тарана образовывал «Волопас», за ним напластывалось несколько колец звездолетов — четыре, семь, и по двенадцати кораблей в кольце.

Шли мы, как обычно, в сверхсветовой области, но

не больше чем в двести раз обгоняя свет, — корабли галактов много уступали нашим в скорости.

На третьем месяце похода произошли два важных события. Пришло сообщение, что второй флот в составе двухсот кораблей вышел в межзвездные просторы и форсированно мчится на соединение с нами, а третий флот, еще двести двадцать крейсеров, заканчивает концентрацию и выступит на днях.

Второе сообщение было тревожной. На траверзе нашего флота показались корабли разрушителей.

Я редко бывал в командирской рубке, чтоб не мешать Осиме обучать Тиграна. Зато из обсервационного зала мы почти не выбирались. Я говорю о себе, Ромеро, Лусине, Орлане, Гиге и Трубе. Часто появлялась здесь и Мэри, но только чтобы посидеть с нами, а не потому, что ее интересовала астронавигация.

Когда появились корабли противника, мы находились в обсервационном зале.

Локированные сверхсветовыми волнами, крейсеры зловредов вспыхивали на экране зелеными точками. Через несколько часов после появления первого звездолета их насчитывалось уже больше пятидесяти, а новые точки продолжали вспыхивать.

Мы ушли на отдых, так и не дождавшись завершения концентрации вражеской эскадры. Перед уходом я поговорил с Грацием и Орланом. Галакт держался мужественно, хотя его и страшила встреча с врагами, неизменно до сих пор одолевавшими галактов в открытых сражениях. Орлан был мрачен.

— Не нравится мне положение, — признался он. — Великий придумал что-то скверное. Он, конечно, постарается не пустить нас в район боев с эскадрами Аллана.

Я пока не видел причин тревожиться. В том, что разрушители попытаются навязать нам истребительное сражение еще в пути, никто из нас не сомневался — новостей тут не было. Но и «Волопас» с его способностью аннигилировать материальные тела представлял орешек, о который можно сломать зубы.

Я передал на Третью планету, что вижу врага. Андре фиксировал каждый корабль разрушителей, стремящихся к трассе нашего похода. Встревоженный их

неожиданно огромным количеством, он советовал изменить курс на Оранжевую. На близком расстоянии механизмы Станции действуют исправно, но генераторы дальнего действия не восстановлены, хотя на них всё напряженной кипит работа. «Прикрыть вашу эскадру можем, но лишь в районе Оранжевой», — сообщил Андре.

Я долго размышлял над депешей Андре. Всё во мне протестовало против бегства под прикрытие Станции. Именно этого и добивались враги — заставить нас отказаться от соединения с Алланом. Сами ли мы побежим или нас рассеют в сражении, разница была тактическая — стратегическая цель в том и другом случае достигалась.

Соображения эти я передал на все наши звездолеты.

Уже было ясно, что против нас выступила не эскадра, а крупный флот противника. Вся северная полусфера была усеяна зелеными огнями, их насчитывалось свыше двухсот, а огни продолжали прибывать. Орлан был уверен, что Великий разрушитель, чтоб не ослаблять основных сил, действующих против Аллана, мобилизовал для борьбы с нами все свои космические резервы. Хорошего в этом было лишь то, что двум другим флотам галактов уже не грозила встреча с опасными силами противника.

Вражеский флот внешне вел себя мирно, шел компактным соединением параллельно нам, не обгоняя и не отставая. Держать равнение с тихоходными кораблями галактов им, конечно, было легко.

В эти дни мы находились точно на траверзе Оранжевой — на самом коротком расстоянии от нее. Лучшей возможности, чем сейчас, спастись под защиту механизмов Станции не могло быть. С каждым часом последующего полета мы всё дальше должны были уходить от нее.

— Итак, решаем, — сказал я Грацию. — Мнение людей, мое в частности, вам известно: бегство — провал похода, продолжение его — возможность сражения.

К чести галакта, он колебался немного.

— Мы вручили командование тебе, Эли, не для того, чтобы при первой опасности восставать. Я за продолжение похода и известил о своем мнении все звездолеты.

Общим постановлением всех команд было решено продолжать поход.

Теперь мы удалялись от Оранжевой. Со стесненным чувством я смотрел, как тускнеет на экране эта звезда, еще недавно причинившая нам столько мук, лишившая нас с Мэри сына, — единственная наша защита ныне в звездных владениях разрушителей.

Я предложил МУМ рассчитать, когда мы пересечем границу действия малых генераторов Станции. До границы, где мы еще могли надеяться на помощь Станции, оставалось несколько дней похода.

— Любезный Орлан, вы единственный среди нас знаете стратегическую кухню разрушителей, — обратился как-то Ромеро к Орлану. — Не смогли бы вы набросать задачи и возможности преследующего нас неприятельского флота.

По мнению Орлана, флот разрушителей будет сопровождать нас без нападения до границы действия генераторов метрики. Военачальники разрушителей, несомненно, знают, что Станция еще не восстановлена полностью, и на этом построят свою тактику. Они ринутся, как только мы окажемся без поддержки. Сейчас они движутся компактным отрядом, но перед нападением рассредоточатся, чтоб захватить нас в сферу.

Они понимают, что главная сила в нашей эскадре — «Волопас», и постараются не попадать под удар его аннигиляторов.

— И попадут под удар биологичек! — воскликнул Гиг. У предводителя невидимок темно горели глазные впадины, — так его восхищала перспектива грандиозной космической битвы.

Орлан скептически втянул голову в плечи.

— Экипажи многих кораблей, вне сомнения, погибнут. Но кто составляет корабельные команды? Что, если у пультов биологические автоматы с программируемыми устройствами взамен мозгов? Они погибнут, не понимая, что погибают, а перед смертью нанесут нам значительный урон.

Не могу сказать, чтоб мрачный прогноз Орлана не подействовал на нас. Я сочувствовал молчаливому Грацию. Ему приходилось хуже, чем нам, привыкшим

с детства, что наша жизнь непрерывно отбрасывает от себя тень ежесекундно возможной смерти.

Мы подошли к границе действия Станций Метрики и пересекли границу. Все звездолеты были приведены в боевую готовность. «Волопас» нацелил аннигиляторы на неприятельский флот, галакты дежурили у биологических орудий.

Некоторое время я носился с мыслью прервать неизвестность собственными активными действиями. «Волопас» в скорости превосходил неприятельские крейсера. Не бросить ли его против ядра вражеских кораблей и с одного удара аннигилировать это ядро?

МУМ произвела расчеты, и от такой атаки пришлось отказаться. Прежде чем «Волопас» выйдет на прицельную дистанцию, неприятель успеет рассредоточиться. Больше чем на гибель двух-трех кораблей врага надежды не было. А в то время как «Волопас» расправлялся бы с обреченными крейсерами, вся громада обрушилась бы на звездолеты галактов, лишенные прикрытия «Волопаса».

Расчет МУМ был так неутешителен, что я без тревоги не мог смотреть на зеленые точки на экране. Но ничто не показывало, что враг собирается нападать. Эскадры разрушителей мчались параллельно нашей, держа дистанцию, как на параде. Я уже начинал думать, что стратегические прогнозы Орлана неверны и что противник вовсе не собирается навязывать нам бой на уничтожение. Все люди тешат себя иллюзиями, я не составлял исключения. Меня всё больше опутывала иллюзия, что удастся прорваться без боя.

Час, когда иллюзия рухнула, навеки врезался в мою память. По кораблю разнесся сигнал боевой тревоги, по коридорам зазвучали голоса. Я был с Мэри и Роме-ро в салоне. Они поспешили в обсервационный зал, я — к командиру.

В командирском зале сидели Осима, Тигран и Орлан.

— Начинается, — со злобещей бесстрастностью проговорил Орлан.

На экране передвигались неприятельские огни. Всё было ясно в метании зеленых точек. Флот врага рассредоточивался. Он действовал точно по диспозиции Ор-

лана — охватить нас в сферу, а затем атаковать со всех осей. Добрую половину их кораблей ждала гибель, но они, видимо, заранее мирились с этим — лишь бы нас уничтожить.

Я приказал звездолетам галактов сконцентрироваться потесней, а «Волопасу» выходить вперед. План мой был таков. Галакты защищаются биологически в эйнштейновом пространстве, а «Волопас», оставаясь в сверхсветовом, бурей мчитя вокруг нашей эскадры, аннигилируя корабли врага, попадающие в конус уничтожения.

Историки, в том числе и Ромеро, впоследствии критиковали этот план за отчаянность, граничащую с нереальностью. Но я хотел бы посмотреть на этих мудрых историков в моем тогдашнем положении — один быстроходный корабль против целого флота.

Я и сегодня, через много лет после тех событий, уверен, что нам удалось бы защитить звездолеты галактов от непосредственного удара, а что их орудия сеяли бы среди врагов верную гибель — уверен абсолютно.

Но сражение развернулось совсем по-иному.

— Адмирал, они отступают! — вскричал Осима.

Но разрушители не отступали, жестокая буря трепала их корабли. Зеленые огни трепетали, закатывались в незримость. Даже сверхсветовые локаторы не могли пробиться в ад, забушевавший в том месте, где только что находился неприятельский флот. Корабли швыряло от нас, швыряло один от другого, швыряло один на другой. Они продолжали полет, но траектория, ломаная, запутанная, судорожно меняющаяся, неопровержимо свидетельствовала о смятении и ужасе в стане неприятеля.

Мы когда-то попали в такую же ловушку, и нас тоже терзали опасения и страх, но то, что сейчас пришлось испытать врагам, было стократно умножено. Бездна, которую враги тысячелетия рыли для своих жертв, разверзлась у них под ногами.

— Большие генераторы Станции Метрики работают, — прервал молчание Орлан. — И если я не ошибаюсь, адмирал, Андре задал вражескому флоту направление на Пламенную — под биологический удар ее астероидов. Как разрушители всегда боялись прибли-

зиться к этой страшной сфере уничтожения!.. И вот — финал!

Я оторвался от экрана, где один за другим таяли неприятельские огни.

— Одно ясно, дорогой Орлан: ничто нам теперь не препятствует соединиться с галактическим флотом людей. А что тогда смогут противопоставить разрушители общей мощи человечества, галактов и ваших восстановших планет?

14

Планетолет плавно втянуло в недра «Скорпиона». Я выбежал первый и не сошел по лесенке, а спрыгнул с площадки на причальную площадь.

Я не успел ни крикнуть, ни охнуть, как попал в объятия Аллана. А затем Аллана сменил Леонид, а после Леонида была Ольга, а за Ольгой Вера, а за Верой были еще друзья, бесконечно дорогие лица, крепкие руки, радостно целующие губы... Я что-то говорил, что-то вскрикивал, вокруг меня тоже что-то говорили и кричали — я не слышал ни себя, ни других.

А через некоторое время наступило подобие спокойствия, и я сумел оглядеться. Мэри плакала на плече у Веры, Вера, вся в слезах, обнимала ее. Осима что-то горячо втолковывал Леониду и Ольге, энергичный капитан «Волопаса», похоже, пытался в первой же встрече описать всю эпопею наших скитаний в Персее. Труб то кидался от одного к другому, то проносился сразу над всеми, остервенело ревя, как в рог.

— Эли, кто это? — с испугом спросила подошедшая Ольга. У нее даже лицо перекосилось и побледнело.

Я обернулся, недоумевая, что могло ужаснуть всегда спокойную Ольгу.

На площадку планетолета выбрался Гиг.

Он стоял там, озирая черными глазами толпу людей — огромный, жизнерадостный, хохочущий всем корпусом.

А рядом с ним встали Орлан и Граций с одного бока, Лусин и Тигран с другого. И это соединение людей, галактов и разрушителей было так непредвиденно, что на минуту на всей площади установилась камен-

ная тишина. Люди, цепenea от удивления, глазели на разрушителей и галактов, те с любопытством рассматривали людей.

Только бодрое постукивание костей скелета нарушало тишину.

Я проворно поднялся на площадку и обнял Орлана и Грация, Лусин обнял Тиграна и Гига.

— Друзья мои! — сказал я людям. — Не удивляйтесь, а радуйтесь. То, что вы увидели, не загадочно, а символично. Три величайших звездных народа нашего уголка Вселенной соединяются в братский союз — для блага и процветания всех народов! И если пока еще рано говорить, что все разрушители превратились в созидателей, то первые ласточки, творящие весну, уже появились в воздухе. Вот они, приветствуйте их!

Ликующее «ура!» покрыло мои слова.

Мы сошли вниз и потерялись в толпе. Я сказал «потерялись», и смеюсь. Мы часто разговариваем штампами и мыслим штампами. Я еще мог потеряться, тем более Лусин с его двумя метрами тридцатью сантиметрами. Но оба галакта, почти трехметровые, величественные, сияющие улыбками, возвышались над толпой, как статуи.

Еще меньше мог потеряться Гиг — хохот его разносился по всему звездолету, он шел, и ему почтительно очищали дорогу. А потом к нему подлетел Труб и обнял его крылом — невидимка и ангел, торжествующие и счастливые, шагали среди людей, как новобрачные на свадьбе. И приветствовали их с не меньшим ликованием, чем новобрачных.

— Пойдем в наблюдательный зал, — сказал я Аллану. — Я покажу тебе Оранжевую, где сейчас царит в своей резиденции на Третьей планете Андре Шерстюк. Да, Андре, наш Андре, милый Андре, живой, взбалмошный, деятельный!.. И главное — могущественный! По крайней мере, четверть светил Персея подвластны ему... Куда ты, Аллан?

— Минутку, Эли, одну минутку! — крикнул Аллан, расталкивая сопровождающую нас толпу.

— Что с ним? — спросил я Ольгу в недоумении. — Чем я так испугал его?

— Сейчас узнаешь, Эли, — ответила она. — Не испугал, а обрадовал.

Аллан появился, когда мы входили в обсервационный зал. Он держал за руку молодого человека.

Юноша до того походил на Андре, что я замер. Это был Андре, но не тот, постаревший, нервный, какого мы оставили на Третьей планете, а прежний Андре, друг моей юности, — статный, чарующе прекрасный, с теми же рыже-красными локонами по плечи...

— Олег! — выговорил я с трудом. — Олег, ты?

Юноша робко подошел ко мне. Я крепко обнял его.

— Как ты очутился здесь? — спросил я.

— Три года назад мне разрешили присоединиться к походу, — ответил юноша. — Мама осталась на Оре, а я обещал, что немедленно сообщу ей, если что-нибудь разузнаю об отце.

— Сегодня же пошлешь сообщение, что отец нашелся. Передадим депешу по СВП вне очереди. А сам ты скоро увидишь его: соединенный флот идет на Оранжевую, где командует твой отец.

В обсервационный зал набилось так много народу, что кресел на всех не хватило, пришлось стоять. На полусферах экрана огни звездолетов забивали блеск светил. Зеленые точки кораблей галактов перемешались с красноватыми точками наших кораблей. Я навел умножитель на пару из одной красной и одной зеленой точки. Крейсер галактов в умножителе был огромен рядом с нашим. Я усмехнулся. Нам не приходилось сетовать: в небольших объемах наших кораблей таилась гигантская мощь.

Рассеянные по скоплению остатки флота разрушителей могли бы многое рассказать о нашей мощи.

В разыгравшемся недавно сражении ни эскадры Аллана, ни объединенные силы галактов не утратили ни одного корабля, а разрушители потеряли больше, чем просто треть своих крейсеров, — окончательно лишились надежды на победу.

— Кое-что сделано в Персее, — сказал я вслух. — Кое-что сделано, друзья!

Мне ответил Олег. В его голосе слышалась грусть:

— Всё важное уже сделано вами... А нам, молодежи, остается доделывать.

Сквозь сферу огней соединенного флота людей и галактов проступали звезды скопления Хи Персея, а за

ними выплескивался из берегов Млечный Путь, величественный звездный поток Вселенной.

Нигде он так не прекрасен и не грандиозен, как в Персее, нигде так не грозны пожирающие его ядро туманности.

— Кое-что сделано, — повторил я. — И того, что остается здесь сделать, хватит всем нам на века. Но тебе, Олег, мы поставим иную задачу, вне Персея, лишь вашему поколению она по плечу. Вон где-то там, — я показал на темные туманности, — обитает загадочный и могущественный народ — рамиры. Нужно узнать, кто они такие. Экспедиция в ядро Галактики — вот задача, которую мы поручим поколению сегодняшних юношей, Олег!



*У моря,
где край земли...*



Я убежден, что это было. Ведь это случилось очень давно, еще в детстве, а детство совсем особая страна.

Мы только что переехали в новый кооперативный дом за Черной речкой.

Дядя Вася сказал:

— В этом доме творятся чудеса.

— Какие? — спросил я.

— А каких ты бы хотел чудес?

Я не ответил, думая, что

Геннадий Гор

ИМЯ

фантастическая повесть

I

чудеса случаются только в сказках.

— А еще что в этом доме? — спросил я.

— В этом очень красивом доме, — сказал дядя Вася, — поселились знаменитые люди.

— Кто?

— Бах, Чехов, Бетховен, Николай Коперник, Александр Дюма.

— Не могут они здесь поселиться, — сказал я.

— В другом месте это, действительно, не возмож-

но. Но в этом кооперативном доме творятся удивительные вещи, прямо чудеса.

И действительно, я увидел чудо. Я увидел чудо, может быть потому, что я его сильно хотел.

Однажды мы поднялись с мамой в десятый этаж, где жил электромонтер. Монтера, конечно, не оказалось дома, но зато на дверях соседней квартиры мы увидели медную дощечку, на которой было выгравировано: «Художник Левитан».

По-видимому, в этой квартире поселился однофамилец знаменитого художника.

— Странно, — сказала мама. — Ведь в списке его не было.

— В каком списке?

— В списке пайщиков.

— Но может, он въехал позже или с кем-то поменялся?

— Всё это довольно загадочно, — сказала мама, и лицо ее стало таким, словно она решала в уме задачу.

Мы вызвали лифт, чтобы спуститься в свой этаж. И в лифте мама сказала:

— Какой-то ловкач.

— Но ведь он Левитан, художник!

— Тебе это показалось.

Я отлично знал, что это мне не показалось, но не стал возражать.

Весь день я думал о нем, о знаменитом русском художнике. И даже раскрыл том Большой Советской Энциклопедии на букву «Л», стоявший в отцовском книжном шкафу.

Художник Левитан был один, другого Левитана в энциклопедии не было. Но он давно умер. Кто же мог оказаться в десятом этаже нашего дома?

Этот вопрос меня почему-то очень смущал. И мне было почему-то неловко за незнакомого мне человека, оказавшегося не только Левитаном, но и художником тоже.

Вечером пришел дядя Вася. Он был немножко навеселе и сказал:

— В этом доме живут знаменитые люди: Бах, Бетховен, Есенин, Александр Дюма.

— И Левитан тут живет, — добавил я, — знаменитый русский художник.

— Это не тот Левитан, — вмешалась мама. — Ты, Вася, не знаешь, кто это такой?

— Сотрудник худфонда. Не то художник, не то реставратор.

— А почему он не переименовал фамилию, — спросила мама, — если случайно оказался однофамильцем?

— Фамилию легко переименовать девушке. Для этого ей нужно только выйти замуж. А художнику, наверно, было лень хлопотать. Возможно, он привык к своей фамилии. И она ему полюбилась.

2

Однажды в нашей квартире испортился мусоропровод, и мы с дядей Васей спустились в первый этаж, где жил комендант.

Когда мы пришли, комендант брился электрической бритвой «Харьков». Увидя нас, комендант положил бритву на стол, предварительно сдув с нее остатки своей бороды, и приветливо улыбнулся нам трогательной и немножко печальной улыбкой. Это был очень красивый и очень стройный старик, немножко похожий на богатого иностранца. Таких красивых и стройных спокойно-величавых и медлительных стариков я видел только в заграничных фильмах. И я подумал, что неудобно просить такого красивого и благородного старика, чтобы он исправил мусоропровод. Но дядя Вася не обратил внимания на благородную внешность коменданта и стал ему жаловаться на мусоропровод, а также на стену, которая треснула в непозволительно короткое время.

Комендант внимательно слушал дядю Васю и, держа в руке зубочистку, ковырял в зубах. Я никогда до того не видел зубочисток, а только слышал, что они существовали в древние времена, когда люди очень любили ковыряться в зубах. Комендант слушал с благородным выражением лица, а потом заметил, что мусоропровод испортился потому, что туда бросают очень большие предметы, совсем не считаясь с законами гравитации.

Дяде Васе очень понравилось это выражение «с законами гравитации», свидетельствующее о том, что комендант, по-видимому, имел высшее образование, и дядя

больше не стал говорить о мусоропроводе, а стал рассказывать о том, как он любит заниматься по утрам гимнастикой и как благодаря гимнастике он сохранил свое здоровье.

Расстались мы с комендантом друзьями. Старик достал из кармана какую-то кожаную штучку, похожую на портсигар, и протянул мне и дяде по визитной карточке.

Это очень удивило меня и дядю Васю. Ведь визитные карточки употребляли много лет тому назад, когда существовали зубочистки, извозчики, гувернантки, городовые и всякие другие предметы, которых ни за что не увидишь сейчас. Но когда мы вышли от коменданта и прочли, что было напечатано на визитной карточке, мы удивились еще больше. Там изящным тонким шрифтом было напечатано: «Николай Коперник».

— Разве он Коперник? — спросил я.

— Комендант стал жертвой опечатки, — сказал дядя Вася. — Наборщики неправильно набрали. А старик по рассеянности не заметил. Он произвел на меня очень хорошее впечатление.

— И на меня тоже, — согласился я. — Но что делать с этой визитной карточкой? Может, ее вернуть старику, чтобы он тоже знал, что стал жертвой опечатки?

— Думаю, не стоит этого делать, — сказал дядя Вася.

— Почему?

— Мы и без того его огорчили мусоропроводом и стеной, которая дала трещину.

— А всё же как быть с визитной карточкой?

— Не показывай ее, чтобы не подвести старика. Вот и всё.

— А как ты думаешь, — спросил я дядю Васю, — художник, живущий в десятом этаже, не мог тоже стать жертвой опечатки?

— Не думаю. Хотя в этом доме всё возможно.

3

Для того чтобы в нашу квартиру не мог забраться вор, двери были обиты листовым железом и поставлен хитроумный заграничный замок с секретом. Этот сек-

рет мог понадобиться, когда семья уедет на дачу, а в обычное время им не пользовались и замок работал, как все другие замки. Он закрывал дверь от всех посторонних и подозрительных людей. Теперь, когда нет воров и подозрительных личностей, на дверях нет замков, тем более с секретом, а в то время, о котором я сейчас рассказываю, еще не было ни одной двери без замка и даже существовали еще цепочки, тоже чтобы хулиган или подозрительный человек не мог пройти с помощью хитрости и коварства.

Дядя Вася с его доверчивым характером был против этого замка с секретом, но мама проявила свою обычную настойчивость, и замок врезали в дверь. Мама всегда боялась воров, и особенно тех, кто может подделывать ключ к чужим дверям, но с тех пор, как она поставила замок с секретом, она перестала бояться того, чего всегда боялась и ожидала.

Однажды, когда не было дома ни дяди Васи, ни отца, мама заторопилась и нечаянно повернула ту часть замка, в которой был секрет. Дверь закрылась и теперь ни за что не хотела открыться.

Мама попыталась открыть дверь, но замок не слушался.

Оттого что дверь захлопнулась и не хотела больше открываться, мир изменился, и в первую очередь изменилась наша квартира. Она вдруг стала похожей на испортившийся лифт, застрявший между этажами, а может, даже чем-то на одиночную камеру тюрьмы. Правда, я был в эту минуту не одинок, возле меня стояла мама, но я почему-то почувствовал сильное ощущение одиночества. Квартира отделилась от других квартир, от улицы, от всего мира.

Мама стала нервничать. Ей надо было идти в поликлинику к зубному врачу, а врач был нервный, издерганный торопливыми и нечуткими людьми и очень не любил, когда опаздывали.

Она стала вертеть ту часть замка, в которой был секрет, надеясь не столько на свою ловкость, сколько на каприз случая, который изменит гнев на милость и даст возможность открыться дверям.

— Что же делать? — подумала мама вслух. — Не могу я ждать Васю. Он, наверно, сидит в кино в самом заднем ряду и по обыкновению спит. Он может

проспать и два сеанса. Что делать? Может, позвонить коменданту?

И она позвонила.

Через десять минут комендант стоял уже на площадке и вежливым, полным сдержанного благородства голосом ободрял и успокаивал нас.

У старика был очень красивый мелодичный голос, и нам с мамой казалось, что там стоит не старик, а, наоборот, — юноша.

Своим мелодичным и очень свежим молодым голосом он скрашивал наши неприятные минуты, и квартира уже не казалась мне похожей на остановившийся лифт.

Мама сказала старику через обитую железом дверь:

— Нам очень приятно беседовать с вами через преграду, но было бы еще лучше, если бы вы открыли дверь и зашли к нам в квартиру.

Старик ответил любезно, что он ни о чем сейчас так не мечтает, как о том, чтобы открылась коварная дверь. Но есть только два способа ее открыть — позвать слесаря или обождать, когда придет кто-нибудь из домашних с ключом и попытается открыть дверь снаружи.

Мама, внимательно выслушав коменданта, сказала:

— А не могли бы вы спуститься вниз на улицу? Я выйду на балкон и брошу вам вниз ключ. Может, вам удастся открыть дверь до прихода мужа или брата.

Старик выразил свое согласие тем же мелодичным доброжелательным голосом.

Мы вышли на балкон и увидели, что внизу уже стоит комендант, очень красивый, похожий на иностранца старик, смотрит на нас и улыбается нам трогательно и печально.

Мама подумала немножко, а потом бросила ключ, и он упал к ногам этого величавого старца, бывшего красавца.

Затем бывший красавец поднял ключ и величавыми, торжественными шагами пошел в дом. Он мигом поднялся в наш этаж, сунул ключ в замочную скважину и, слушая советы мамы, повернул ключ столько раз, сколько полагалось, не меньше и не больше. Дверь открылась.

Комендант вошел радостный, сияющий, изящно поклонился, достал из бокового кармана кожаную штучку, похожую на портсигар, и протянул мне и маме по визитной карточке. Потом незаметно исчез.

На визитной карточке изящным шрифтом было напечатано: «Александр Дюма-сын».

Я не поверил своим глазам. Мама тоже не поверила и побежала в спальню за очками.

— Да, — сказала она. — Александр Дюма-сын. Что это значит?

— В прошлый раз он был Коперником. А сейчас он уже Дюма и сын. Не стал ли он опять жертвой опечатки?

Мама рассердилась и порвала визитную карточку. А я спрятал свою в карман, где хранилась прежняя. Теперь две визитные карточки с двумя именами одного и того же лица лежали у меня в кармане.

4

Вечером за ужином отец сказал маме, мне и дяде Васе:

— Он не Дюма-сын и не Коперник.

— А кто?

— Бывший артист, игравший в детских пьесах преимущественно роль доброго волшебника.

— Но ведь жизнь это не сцена! Почему он продолжает играть?

— Но он же играет роль доброго человека. И пусть себе играет.

— Этого нельзя допускать, — сказала мама строго. — Ведь он комендант, а не волшебник.

— Он хочет быть и тем и другим, — сказал дядя Вася, — и комендантом и добрым волшебником. По наивности он не представляет себе, как трудно совмещать эти обязанности.

— Хорошо, — стала возражать мама, — сегодня он только Дюма-сын, а завтра он скажет, что он Лев Толстой и даже сам поэт Евгений Евтушенко.

— Не скажет.

— А я уверена — скажет.

— Ну и пусть говорит. Ему всё равно никто не

поверит. Но все-таки приятно, когда в твоём доме комендант — добрый волшебник.

— Сегодня он добрый, — сказала мама, — а завтра может стать злым. Это часто бывает. Не на сцене, конечно, а в жизни.

— В жизни всё случается, — сказал отец.

Потом, как это часто бывает у взрослых, разговор перешёл на другую тему. Стали говорить о стене, которая слишком скоро дала трещину, а потом вдруг вспомнили итальянский фильм «Затмение».

Дядя Вася стал защищать эту картину, как он только что защищал коменданта.

Я тоже был почему-то на стороне коменданта и картины «Затмение», хотя её и не видел. И по тому, как мама нападала на коменданта и на кинокартину, я подумал, что между картиной и комендантом была какая-то не совсем понятная для меня связь.

5

Новый кооперативный дом оказался очень далеко от той школы, где я раньше учился, и мне пришлось поступить в другую.

Моим соседом по парте был Мишка Авдеев. Он тоже жил в нашем кооперативном доме и был сыном электромонтера, к которому мы с мамой много раз поднимались, но никогда не могли застать дома.

Мишка спросил меня:

— А ты знаешь, кто с нами рядом живёт?

— Кто?

— Левитан.

— Так это ведь не тот, — возразил я.

— В том-то и дело, что тот, — сказал Мишка злое-щим голосом.

— Тот давно умер, — сказал я.

— Знаю.

— А раз знаешь, зачем же говоришь?

— А что мне молчать, что ли? Разве я виноват, что он рядом с нами живёт? Я не напрашивался к нему в соседи, и мой отец тоже.

— Левитан жил в девятнадцатом веке, а ты живёшь сейчас. Вы не можете быть соседями, — возразил я.

— Вот оно что! Мы не можем? — обиделся Мишка. — Мы не можем, а ты можешь?

— Я тоже не могу.

— Ну и черт с тобой, — сказал Мишка. — Ты не достоин, чтобы жить рядом с великим человеком.

— Во-первых, он не великий.

— Это Левитан не великий? А кто же тогда великий?

Мишкины слова меня огорчили и заставили задуматься. Может, я действительно недостойн, чтобы жить рядом с великими или знаменитыми людьми?

Но потом я подумал: это не Левитан. Красивый старик тоже выдавал себя за Коперника и Дюма-сына. А кем оказался? Бывшим волшебником, но не настоящим, а только исполнявшим его роль на сцене.

Возможно, что этот Мишкин сосед повесил дощечку, что он Левитан, чтобы его никто не беспокоил, особенно школьники, которые приходят собирать утиль и бумагу. От этих школьников просто не было отбоя. Они всё время звонили или стучали, требуя бумагу. А я думаю, дело не в бумаге, — им просто понравилось кататься на лифте с первого до двенадцатого этажа. И какой-нибудь угрюмый, не желавший, чтобы ему мешали, человек повесил объявление, что он Левитан. И действительно, кто отважится звонить к знаменитому человеку?

Когда я сказал об этом Мишке Авдееву, он рассмеялся:

— Наоборот, к Левитану каждый захочет позвонить, чтобы узнать, действительно ли он тот самый художник. Особенно, если есть такой удобный предлог, как сбор бумаги и утиля.

— И звонят?

— Еще как! В день по десять раз.

— А он?

— Он ничего. Добрый. Приветливый. Никого не ругает, хотя, наверно, устал открывать и закрывать дверь.

— А чем он занимается?

— Чем? — хмыкнул Мишка. — Старинные картины реставрирует для музеев. Иногда делает и копии. Я видел одну — не отличишь.

Меня немножко смутили слова Авдеева. Раз делает

копии, значит, уже не Левитан. Да и вообще копии — это картины, которые что-то слышали и повторяют, как попугай, не понимая того, что они заучили. Это мне дядя Вася сказал на Невском в антикварном магазине, где на стенах висят картины в шикарных золотых рамах. Дядя Вася сказал, что хотя эти картины и дорого оценены, но им грош цена, потому что они копии.

Я тогда еще не совсем понимал, что такое копия и почему она ценится гораздо меньше, чем оригинал, если она сделана добросовестно, точно и ничуть не хуже оригинала. Но дядя Вася спросил:

— Как по-твоему, попугай — добросовестная птица?

— Вполне, — ответил я.

— Так и копия. Она может быть добросовестнее оригинала. А что толку?

Я, разумеется, всё понял. И с тех пор, как прихожу в чужую квартиру и вижу на стене картину, я всегда спрашиваю — копия это или оригинал? И я уже оцениваю ее, смотря по ответу. Раз копия, значит, это не картина, а попугай.

Но, несмотря на то что живший рядом с Мишкой художник писал копии, мне все-таки хотелось с ним познакомиться. Правда, знакомство пришлось немножко отложить. Произошел один довольно досадный случай, который меня очень огорчил. На стене в столовой, где висел портрет композитора Рубинштейна, мама обнаружила трещину и вызвала по телефону коменданта.

Комендант сразу же пришел, вежливо и величаво поздоровался с нами. Мать привела его в столовую и показала трещину в стене, там, где висел портрет.

Комендант стал рассматривать портрет композитора Рубинштейна, а потом сказал мне и моей маме очень приятным интеллигентным голосом о том, что любит музыку и имеет постоянный абонемент в филармонию.

Мама выслушала эти красивые интеллигентные слова, а потом снова напомнила о трещине и даже показала на нее пальцем.

Комендант улыбнулся понимающей и очень печальной улыбкой, потом взглянул, но не на трещину, а сно-

ва на портрет и сказал, что он пришлет мастера с цементом и к стене вернется ее прежний вид.

— Ну что ж, — сказала мама, — ждали вас, теперь подождем мастера.

Величавый старик поклонился и достал из кармана кожаную штучку, а затем протянул мне и моей маме по визитной карточке.

Мы посмотрели оба на карточки, и мама прочла вслух:

— Леонид Андреев. Писатель.

Она очень рассердилась, порвала карточку и стала стыдить старика:

— Никакой вы не Андреев, а тем более не Дюма-сын. Вы просто самозванец, и вас когда-нибудь привлекут к уголовной ответственности.

Старик улыбнулся и сочувственно посмотрел на мою маму. Он смотрел на нее с таким видом, словно знал то, чего она не знала и никогда не узнает. Возможно, он знал, что один и тот же человек может быть Коперником, Дюма-сыном, Леонидом Андреевым и простым комендантом в новом кооперативном доме. Может, он открыл эту закономерность, оказавшуюся пока не известной никому из ученых, а тем более моей маме, которая была домашней хозяйкой.

Эта мысль пришла мне в голову, когда я смотрел на спокойное и улыбающееся лицо этого удивительного человека, резко отличающегося от всех людей, каких я знал.

— Так кто же вы наконец, — спросила мать, — Коперник, Дюма или Леонид Андреев?

— А кем, по-вашему, я должен быть?

— Самим собой, особенно если вы комендант и вам доверен дом со всем его хозяйством.

— Не понимаю, — сказал величавый старик вежливым и приятным голосом, — разве хозяйство и дом страдают, если я себя выдам за тех, с кем я имею внутреннее сходство?

— Вы так думаете?

— Да.

— А я думаю иначе. Я не могу быть спокойна, когда дом отдан в руки человеку, способному себя выдать за Александра Дюма. А если испортится водопровод, паровое отопление или случится какая-

нибудь другая неприятность, разве я могу надеяться на вас?

— Почему?

— Вы еще спрашиваете? Это и так всем ясно. Вы несерьезный, легкомысленный, а может быть больной человек. Вам надо лечиться.

— От чего?

— Не знаю, как называется ваша болезнь. Вы самозванец.

— Но я не выдаю себя за вашего брата или за члена Союза художников Левитана, который живет в десятом этаже. Я выдаю себя за тех, кого нет, да и то в шутку.

— А зачем вы так шутите?

— Я бы объяснил, но вряд ли вы поймете.

— Почему же? Я имею незаконченное высшее образование, — сказала мама.

— Тут даже и законченное не поможет. Надо иметь другой склад ума. Выдавая себя в шутку за какую-нибудь знаменитость, я хочу понять сущность имени. Имя — что это такое? Его магия, его обаяние, его власть над людьми. И многое другое, чего вам, к сожалению, не понять. Спиноза сказал: «Не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать». Спиноза был не совсем прав. Чтобы понимать, надо смеяться. А вы не умеете. Долгие годы я работал артистом. Играл доброго волшебника. Разве в том, что на моей визитной карточке стоит доброе, но чужое имя, есть что-нибудь злое, нехорошее? Разве это не удивительно?

— Мне не смешно, — сказала мама. — А только досадно.

Комендант поклонился и ушел. А ровно через час пришел мастер с цементом, снял портрет композитора Рубинштейна и стал ремонтировать стену.

— Вот видишь, — сказал я маме, — визитные карточки не помешали коменданту сдержать свое слово.

— И всё равно, — возразила мама. — Я не могу быть спокойна. Возможно, что он даже философ. Но мы не привыкли, чтоб управхозы и коменданты были философами. Нам этого не надо.

Моя мама не любила ничего загадочного и таинственного, и поэтому она не ждала ничего хорошего от нашего коменданта.

Его симпатичная внешность ей казалась подозрительной. И она даже стала жалеть, что мы переехали в этот кооперативный дом за Черной речкой, а не обождали еще полгодика, или год, когда построят новые, еще более красивые дома на том месте, где уже засыпали часть Финского залива и посадили деревья. Она просто не могла видеть этого коменданта и заявила отцу и дяде Васе, что даже его боится.

— Чего его бояться? — сказал отец. — Он совершенно безобиден и безопасен. Здоровье его тоже проверяла комиссия, когда поступила жалоба на его странные поступки.

Мама сказала отцу, что комиссия отнеслась к делу халатно, и, конечно, ошиблась.

Я очень опасался, что она тоже напишет жалобу и бедного красивого старика снова направят на комиссию, где его снова будут осматривать врачи и строго допрашивать, где он заказывает свои визитные карточки и на каком основании он печатает на этих карточках вместо своего имени имена исключительно знаменитых и даже великих людей.

Моя мама жалобу не подала, но добилась на общем собрании жильцов-пайщиков, чтобы старику поставили на вид и указали на недопустимость его поступков, вошедших в противоречие с законами человеческой жизни.

Но хватит о коменданте и о моей матери. Пора перейти к главному лицу, а именно к Левитану. Сначала к тому, чьи картины висят в Русском музее, а потом уже к соседу Мишки Авдеева.

В Русский музей нас повела преподавательница родного языка Варвара Архиповна. Она считала себя большим знатоком живописи, и только мы с ней вошли в тот зал, где висели картины Левитана, как она стала нам объяснять:

— Знаменитый русский художник пытался изобразить. Он хотел отобразить. Он ставил своей целью. Левитан хотел. Он сделал попытку.

И от ее слов в большом высоком зале сразу стало как в классе, всё сделалось обыкновенным и знакомым, словно мы здесь бывали уже сотни раз.

Мишка Авдеев усмехнулся и сказал:

— Мне тот Левитан даже больше нравится, чем этот.

— Какой?

— Тот, что живет в нашем доме.

— Да тот же не Левитан. А какой-нибудь потомок или случайный однофамилец. Он не настоящий.

Мишка Авдеев обиделся:

— Еще неизвестно, который настоящий. По-моему, тот рисует не хуже.

Я подошел к одной картине и стал ее рассматривать.

На картине были изображены березки и речка, а также облака, и мне сразу стало немножко грустно, словно я тут же стоял на берегу речки возле березок, а надо было уезжать домой в город, а уезжать очень не хотелось.

Варвара Архиповна сказала, показывая на картину:

— Знаменитый художник пытался. Он раз и навсегда поставил перед собой цель и всю жизнь добивался.

Потом она стала хвалить березки, небо и особенно речку, но речка сразу стала обыкновенной, и картина словно полиняла от ее слов.

Я думал о том, если Варвара Архиповна сделает паузу — вернется ли в картину, что в ней было до того, как учительница стала всё подробно излагать и объяснять?

Но Варвара Архиповна не сделала паузу или хотя бы короткую передышку, а продолжала объяснять:

— Знаменитый художник очень любил природу, и он всегда добивался. Он хотел. А потом он заболел и вскоре умер, — сказала в заключение учительница.

— Умер? — не согласился Мишка. — Это еще вопрос.

— А ты откуда знаешь? — спросил я.

— Еще бы я не знал. Он живет с нами в одном этаже.

— Там живет другой, а не этот.

— Это еще надо проверить, — сказал с таинственным видом Мишка. — Может, как раз именно этот.

До чего был Авдеев самолюбивый и гордый человек. Себя и свой этаж он ставил выше интересов человечества и хотел мне доказать, что именно с ним рядом живет знаменитый художник.

7

Я позвонил раз и еще раз.

Открыл мне дверь пожилой человек с усталым лицом. Лицо этого человека и особенно черная бородка и большие задумчивые глаза показались мне знакомыми. Я где-то видел раньше этого человека. Где? Может, на лестнице, может, на улице или на странице книги?

— Ты к кому, мальчик? — спросил он.

— Я вообще, а так ни к кому. У вас есть бумага или утиль?

— Сейчас нету. Вчера всё отдал.

Он уже хотел запереть дверь, но тогда я спросил:

— А вы, дяденька, действительно Левитан?

— Да, Левитан, — ответил он задумчиво. — Хочешь зайти? Ну, что ж, проходи.

Я прошел с ним в комнату и оказался как в Русском музее. На стенах висели те же картины. И даже «Золотая осень» висела.

Я еще раз посмотрел и убедился: картины те же самые, что в музее.

— Как они сюда попали? — спросил я. — Может, по случаю ремонта у вас временно повесили?

Человек улыбнулся:

— Это, мальчик, копии. Я реставратор и копиист.

— Копии? А Мишка Авдеев утверждает, что скорее там копии, а здесь настоящие.

— Какой Мишка Авдеев?

— Сын монтера. Ваш сосед.

— Сосед? Тогда другое дело. Соседи всегда всё знают. Они даже знают больше, чем мы сами знаем о себе.

Я стал рассматривать картины и вспомнил слова дяди Васи, что копии — это попугаи. Я вспомнил это и покраснел, словно художник уже догадался, о чем я сей-

час думаю. Он, по-видимому, действительно догадался и сказал:

— Эти картины не просто повторение, мальчик, это продолжение того, что было сказано в другом веке.

— Мишка утверждает, что вы из того века.

— Из какого?

— Ну из того, который был шестьдесят шесть лет тому назад.

— Что ж. Отчасти это тоже верно, мальчик. Но только отчасти.

— Отчасти? — спросил я. — Я не совсем понимаю. Отчасти — это значит вы не Левитан, а только очень хотите им быть?

Художник тихо рассмеялся и кивнул головой.

— Хочу быть, — сказал он. — Но это очень трудно. А ты посмотри внимательно мои картины и скажи — нравятся они тебе или нет? Меня очень интересует твое мнение, мальчик.

Я посмотрел на картины, подумал немножко, а потом сказал:

— Если бы я не знал, что эти картины — копии тех, что висят в Русском музее, они бы мне очень понравились.

— А ты забудь, мальчик, что это копии. Пожалуйста, забудь.

— Как я могу забыть? Ведь вы мне сами сказали.

— А может, я пошутил?

— Но ведь они очень похожи на те, что я видел в Русском музее.

— Возможно, — сказал задумчиво художник. — Все находят сходство, кроме меня. Но ты посмотри на них, мальчик, внимательно, может заметишь и различие.

Я стал внимательно рассматривать картины. И может, потому, что мне в ту минуту никто ничего не объяснял и не втолковывал, картины мне очень понравились. Они были несколько не хуже тех, что висели в Русском музее, и я даже почему-то подумал, что они там больше не висят, их привезли сюда к этому художнику временно, а потом опять увезут.

И у меня было еще такое чувство, что кто-то невидимый и неслышимый, но присутствующий, помогал мне их смотреть и от этого они становились всё лучше

и лучше, хотя содержание не менялось и краски на полотне тоже.

Картины мне нравились всё больше и больше, и я не мог буквально оторваться от них, и мне даже казалось: где-то рядом тихо играет музыка, — так было хорошо и интересно, интереснее еще, чем в музее.

И я подумал, что существуют два необыкновенных художника. Один жил давно, в прошлом веке, а этот поселился у нас, в кооперативном доме, и он, хоть не такой известный, как тот, но рисует, пожалуй, несколько не хуже.

Потом мы попрощались с художником, и я ушел. Дело в том, что пришел комендант, тот самый красивый старик, которого не любила моя мама.

Комендант поздоровался очень вежливо со мной и с художником и, подойдя ближе к картинам, стал внимательно их рассматривать. А несколько минут спустя он сказал Левитану:

— Хорошо, если бы вы дали одну из ваших картин для домового клуба. Ваши картины располагают к тишине, к уюту и навевают доброе настроение.

После этих слов я и ушел, чтобы не смущать художника. Я был почему-то уверен, что Левитан не откажет и отдаст в клуб одну из своих замечательных картин.

8

Старик комендант решил просвещать наш дом и стал устраивать в клубе научные лекции и беседы.

Мы с Мишкой, возвращаясь из школы, увидели афишу и сразу заинтересовались.

Обычно бывает так, что задают вопросы лектору, да и то не сразу, а когда он закончит свою лекцию или доклад.

А тут всё произошло наоборот. Лектор, еще не приступив к лекции, уже задал нам с Мишкой вопрос, написанный большими печатными буквами: «Правильно ли вы выбрали себе родителей?»

Мы долго стояли с Мишкой возле афиши, читая и перечитывая вопрос, который задал всем жильцам нашего дома лектор.

— Как мы можем ответить на этот вопрос? — спро-

сил Мишка. — Ведь не мы выбирали родителей. Скорей, они выбрали нас.

Я на это ответил:

— А может, все-таки мы? Мне всегда казалось, что я живу очень давно. Я, конечно, знаю, что я родился. Но иногда я в этом немножко сомневаюсь. И тогда мне начинает казаться, что я был всегда.

— Ерунда! — возразил Мишка. — У каждого из нас есть метрика. Там удостоверено, кто и когда родился. И в метрике стоит печать.

— А почему тогда лектор спрашивает — правильно ли мы выбрали родителей?

— Это не лектор спрашивает. А комендант ошибся, когда писал афишу. Заторопился, написал одно, а нужно было другое.

— Что?

— Правильно ли родители выбрали нас?

— А разве они нас выбирали?

— Не знаю.

— Что же получается? — сказал я. — Они нас не выбирали, а мы — их, а оказались все вместе благодаря какой-то случайности.

— Тут дело не в случайности, — сказал Мишка.

— А в чем?

— Вот придем на лекцию, тогда узнаем. Но еще сомневаюсь — пустят ли?

На этом и кончился наш разговор. И лифт поднял нас каждого в свой этаж.

Дома никого не было, и я стал, строго обдумывая каждый поворот ключа, тихо и не спеша открывать дверь. Мама опять стала опасаться воров, и мы опять стали пользоваться той частью замка, где был спрятан секрет.

Когда я наконец открыл дверь, разделся и положил на стол портфель, я вдруг почувствовал одиночество. У меня в голове возникла странная мысль, что родителей еще нет, я их еще не выбрал и, несмотря на это, существую. Потом пришла другая мысль, еще более странная: ведь было время, когда не только не было меня и моих родителей, но еще не существовали люди на Земле. Я старался это себе представить и почему-то не мог, как не мог представить родителей без себя. Но себя без родителей я почему-то сразу представил.

Не успел я об этом хорошенько подумать, как пришла мама вместе с дядей Васей.

— Опять он что-то напутал, — сказала мать.

— Кто? — спросил я.

— Александр Дюма-сын.

— Ты насчет афиши с названием лекции?

— Да, — сказала мать.

— А мне очень нравится название, — сказал дядя Вася. — И я непременно пойду на эту лекцию.

— Как можно спрашивать нормальных людей: правильно ли они выбрали себе родителей?

— Это сказано в шутку, — возразил дядя Вася. — Лекцию будет читать генетик, рассказывать о молекулярных болезнях.

— А она очень опасная, — спросил я, — эта молекулярная болезнь?

— Смотря для кого, — ответил дядя Вася. — Для тех, кто болен, она не опасна. Она опасна для их детей и их потомков.

Услышав это, я сразу догадался, почему дети должны выбирать себе родителей. И значит, я не очень ошибся, выбирая себе отца и мать. У них с молекулами всё было в порядке.

9

Теперь я стал заходить к своему новому знакомому, к художнику Левитану. Заходил к нему я не очень часто, чтобы его не беспокоить, но зато без предлога, а просто так, посмотреть картины. Иногда мы заходили вместе с Мишкой Авдеевым, который жил в том же этаже и поэтому набивал себе цену. Он всё время повторял, что Левитан был тот самый и попал к нам из другого века.

— А как он мог попасть? — спрашивал я.

— Благодаря обратному ходу времени, как это описано в фантастических рассказах. Разве не читал?

— Читал я. Но не очень в это верю. Ведь всем, например, очень хочется увидеть Гоголя. Но ведь он сидит там в своем веке, а в нашем ни разу не появился.

— Придет и его очередь, — сказал важно Мишка. —

Для науки нет ничего невозможного. А отсталые люди, разные утильщики и старухи в науку не верят, а только в бога.

— Я верю в науку, — сказал я и добавил: — И в технику.

— А почему же ты тогда сомневаешься, что художник Левитан не мог оттуда попасть к нам, хотя бы на время, как это не раз описывали фантасты?

— Во-первых, он и не похож.

— Это он-то не похож? — рассердился Мишка. Он раскрыл портфель и достал портрет Левитана, вырезанный из «Огонька». — Смотри!

Я посмотрел: действительно, очень похож. Всё, всё то же самое, и глаза и борода.

— Так это, наверно, не тот, — сказал я, — а этот.

— Этот и есть тот, — возразил Мишка. — Он чуточку только постарел.

— Чуточку? — удивился я. — Ведь прошло шестьдесят шесть лет. Он мог постареть и больше.

— Ну и что? А про замедление времени ты слышал? Невежа! Время замедлили, понимаешь, а его отправили сюда.

— Кто отправил?

— Какой-нибудь ученый или изобретатель.

— В жизни этого не бывает, — сказал я.

Мишка посмотрел на меня и покачал головой.

— А чтобы такое сходство и фамилия одна и те же картины — это бывает?

Я промолчал, потому что не знал, что ответить.

Спор наш произошел по дороге из школы домой. Мишка несколько раз вытаскивал портрет Левитана, вырезанный из «Огонька», и, показывая его мне, повторял одну и ту же фразу:

— А ты еще говоришь не бывает. Возьми свои слова обратно.

Я свои слова пока обратно не брал, а только шел и думал об очень странном, почти загадочном факте.

Как я ни старался, я пока не мог объяснить себе этот факт.

Но я надеялся, что со временем он разъяснится и окажется, что этот Левитан взял себе псевдоним и случайно оказался похожим на того, который жил в девятнадцатом веке.

Мы поднялись с Мишкой на десятый этаж и позвонили.

Открыл дверь нам сам художник. Правда, он немножко изменился, сбросил бородку, усы и оттого помолодел. Но глаза остались прежние, печальные и добрые, как на портрете, вырезанном Мишкой из «Огонька».

— Здравствуйте, — сказал Мишка. — Мы ненадолго. Посмотрим картины и уйдем. Дело в том, что ваши картины нам очень нравятся.

Не знаю — понравились или не понравились художнику эти слова. Мишка, так же как Варвара Архиповна, считал себя большим знатоком живописи, а Левитан был тонкий, деликатный человек, и, возможно, Мишка задел своими словами чувство, которое не следовало бы задевать.

— А ты что молчишь, мальчик? — спросил меня Левитан и положил мне на плечо свою легкую красивую руку. — Тебе, наверно, не нравятся мои картины?

— Нет. Почему же? — ответил я. — Но они нравились бы мне еще больше, если бы висели только тут, а не в Русском музее тоже.

— Ничего не могу поделать, мальчик, — сказал Левитан. — Человек не властен над своим прошлым.

— А Мишка считает, что властен. И фантасты тоже.

Левитан промолчал. Мишка Авдеев тоже. А я стал рассматривать картины.

Картины не только нравились мне, но как-то всё меняли вокруг себя и во мне. И мне казалось, не я смотрю на эти картины, а кто-то другой, более умный, чем я, и более чуткий.

Мишка тоже вдруг изменился. На его лице появилось новое выражение, и он стал как-то симпатичнее, чем был вчера и даже сегодня, перед тем как мы пришли сюда.

Изменился вдруг и сам Левитан. И на его лице появилась улыбка и еще что-то неожиданное, и он стал еще больше похож на портрет, вырезанный Мишкой из «Огонька».

Потом Левитан сказал, не то нам с Мишкой, не то самому себе:

— Эти работы еще не закончены.

— А те закончены, — спросил Мишка, — которые висят в Русском музее?

— Видишь, мальчик, — сказал Левитан, — произведение должно быть чуточку незаконченным, чтобы напоминать жизнь.

Я вспомнил школу и учителей и то, что они нам говорили, и подумал, что Левитан неправ. Он ошибается. Школа — жизнь? Жизнь. А там очень не любят, чтобы было недосказано, недописано, незакончено, и за это снижают отметку.

Мишка, судя по его выражению лица, тоже догадался, что художник не совсем прав. Но об этом не сказал, не желая его огорчать. Я тоже промолчал.

— Только смерть ставит точку, — продолжал задумчиво Левитан. — А в жизни точек нет, а только запятые, многоточия, вопросительные и восклицательные знаки.

Я подумал: замечательный русский художник ошибается или немножко преувеличивает. Что касается точки, я ее очень любил и предпочитал всем другим знакам препинания.

Но не хотелось мне спорить с художником. И Мишке тоже не хотелось. Я только спросил:

— А можно, если я в следующий раз приду не один, а с дядей Васей?

— А кто он, твой дядя Вася?

— Геолог. Но в искусстве здорово разбирается.

— Заходите, мальчики, — сказал художник. — С дядей или без дяди. Я свою дверь на запоре не держу.

10

Мы с дядей Васей возвращались из парикмахерской и возле нашего кооперативного дома случайно встретили коменданта.

Бывший красавец улыбнулся нам печальной и чуточку озабоченной улыбкой и, вытащив свою кожаную, похожую на портсигар штучку, протянул нам по визитной карточке.

Мы посмотрели на карточку, думая что наш старик комендант все еще Дюма-сын или Леонид Андреев. Но на обеих визитных карточках мы прочли, что он уже

не Дюма и не Андреев, а всемирно известный изобретатель Эдисон.

Вручив нам карточки, комендант удалился.

Дядя Вася оглянулся и сказал:

— Хорошо, что твоей матери нет поблизости.

— А что?

— Она бы очень расстроилась. Ей не нравится, что этот странный старик хочет быть не самим собой, а тем, у кого громкое имя.

— Но он же не всерьез, а шутя.

— Да, он играет ту роль, которую ему не пришлось играть на сцене. Своими парадоксальными поступками он хочет направить наше внимание на то, что ему кажется значительным.

— А правда, что он философ? — спросил я.

— Несомненно, — ответил дядя Вася.

— Мать и отец смеются, — сказал я. — Они говорят: «Философ — это ответственный человек с ученой степенью. Он обычно читает лекции или числится в каком-нибудь институте. Философ не станет работать комендантом».

— Почему? Спиноза не имел степени, нигде не числился, не читал лекции, а только шлифовал алмазы, живя на чердаке.

— А он тоже был философ?

— Был. В этом ему не откажешь.

А несколько дней спустя после этого разговора дядя Вася принес толстую, напечатанную на машинке рукопись и сказал мне по секрету, что это философский труд и что его написал наш комендант и дал дяде Васе, чтобы узнать его мнение.

Я не удержался и заглянул в рукопись. Название труда — «Онтология имени» — мне было непонятно. Но дядя Вася охотно мне объяснил.

— Онтология, — сказал он, — это раздел философии, изучающий сущность.

Просматривая рукопись, я попытался вникнуть в ее содержание, но хотя слова были понятны каждое в отдельности, но все вместе были очень трудны, и смысл ускользал. Я понял только, что старик комендант, он же философ, хотел объяснить мне, дяде Васе и всем читателям, что такое имя. Меня больше всего удивило и озадачило, что комендант потратил столько труда,

чтобы объяснить то, что и без всякого объяснения всем ясно и понятно. Каждый знает, что такое имя и почему его дают людям и домашним животным. Но комендант, став философом, притворился, что он не понимает того, что понятно даже детям.

Я задумался, и мне пришла в голову неожиданная и очень тревожная мысль. Не для того ли комендант называл себя то Дюма-сыном, то Леонидом Андреевым, то Эдисоном, чтобы примерить к себе чужое великое имя и посмотреть, в какой степени оно соответствует его сущности.

Комендант напомнил мне одного пенсионера, которого однажды я видел в магазине головных уборов. Пенсионер стоял перед зеркалом и примерял шляпы, береты, шапки и, пристально смотря на свое отражение в зеркале, всё никак не мог найти тот головной убор, который бы слился с его лицом и фигурой в одно целое. Этот не вполне красивый старик, наверно, ожидал, что шапка или берет сделают его красавцем.

Очевидно, комендант тоже был глубоко не удовлетворен своим именем и хотел заимствовать имя у тех, кто жил давно. Может, комендант с чужим и знаменитым именем хотел заимствовать нечто более важное, чем имя, — отражение чужой жизни.

Эта мысль показалась мне интересной, и я поделился ею с дядей Васей.

Дядя Вася внимательно выслушал меня и сказал:

— Да, наш комендант своего рода экспериментатор. Он наполнен парадоксальным юмором и вряд ли похож на того пенсионера, который примерял в магазине головные уборы. Пенсионером руководила совсем другая идея. Он хотел купить убор получше и подешевле. А наш комендант — философ, за дешевизной не гонится.

Я согласился с дядей Васей и стал внимательно изучать философскую работу нашего коменданта. При этом я увлекся, проявил неосторожность, и мама увидела толстую рукопись, напечатанную на машинке. Она сразу догадалась, что этот труд написал комендант, и стала ворчать:

— Лучше бы он следил за водопроводом или паровым отоплением, чем портить бумагу и воровать у самого себя время.

О том, что время было действительно драгоценным, я узнал из философского труда, написанного нашим комендантом. Но в этом труде было одно очень сложное и не совсем ясное место, из которого становилось ясно, что наш комендант мог управлять течением времени и действительно попал в наш кооперативный дом не то из другого века, не то с другой планеты. Об этом не было сказано прямо, но вывод напрашивался сам, вытекая прямо из текста.

Дядя Вася сказал мне:

— Это, конечно, метафорическое выражение. И не надо понимать его слишком буквально. Философы иногда пытаются объять одной фразой необъятное.

Я пропустил эти слова мимо ушей. Мне очень хотелось, чтобы комендант оказался пришельцем, как это бывает в фантастических романах. Это бы многое объяснило в его поведении, и стал бы понятным и другой факт — как оказался в нашем доме художник Левитан. Возможно, Мишка Авдеев был прав и оба — комендант и художник — попали к нам из другого времени.

Эта мысль мне очень понравилась. Благодаря ей всё стало понятным, ясным и уже не противоречило ни логике, ни здравому смыслу. В список жильцов кооперативного дома, утвержденный и одобренный, каким-то образом попали два пришельца, которые решили обосноваться в нашем времени. Оба занялись полезным трудом. Один стал писать картины, а также реставрировать старые, а другой взял на себя хлопотливый и неблагодарный труд коменданта. Всё стало на свое место, подтверждая старую и всем известную истину, что чудес на свете не бывает. Но, хотя чудес не бывает, тот, не очень красивый и не очень старый пенсионер, стоя перед круглым зеркалом в магазине и примеряя головные уборы, все-таки ждал и немножко надеялся, что вот сейчас изменится его лицо и он станет красивым, но так, кажется, и не дождался.

Может, и комендант, примеряя к себе знаменитые имена, тоже ждал чуда и надеялся, что он станет Эдисоном или Леонидом Андреевым. Но этого почему-то не случилось. И если не очень красивый пенсионер,

примеряя шапки, гляделся в обычное зеркало, наш философ-комендант гляделся в нечто более глубокое и сложное, чем зеркало: он гляделся в тайну имени, в тайну слова, звучащего названия человека и вещи. Об этом я догадался не сам, а с помощью дяди Васи, когда он мне объяснял трудные и малопонятные места толстой рукописи.

Но, пожалуй, пока довольно о нашем коменданте и его философском труде и о пенсионере, который подбирал себе головной убор. С этим пенсионером я встретился вчера в булочной, где покупатели сами берут себе, что любят, а потом расплачиваются с кассиршей.

Пенсионер с задумчивым и философским видом изучал булки, хлебцы, батоны и не знал, на чем остановить свой выбор. На его голове была морская фуражка, очень молодившая пенсионера и придававшая ему геройски-молодцеватый вид. Но довольно о пенсионере. Пора вернуться к главному герою моего рассказа художнику Левитану.

Левитан жил один, семьи у него пока не было, и он сам вынужден был обслуживать себя, а в свободное время писать картины.

Я все-таки уговорил дядю Васю зайти со мной к художнику и высказать свое мнение о его картинах.

Дядя Вася внимательно осмотрел картины, но художнику свое мнение не сказал, а только мне, да и то когда мы вышли от художника и спустились в свой этаж.

— Всё бы ничего, — сказал дядя Вася, — но уж очень этот Левитан напоминает того, прежнего.

— Так этот и есть тот, прежний.

— Нет, — возразил дядя Вася, — он только однофамилец, но очень уж подражает тому, не заботясь об оригинальности своего собственного лица.

— Но ведь картины-то не виноваты, — сказал я, — что он мало заботится о своем лице. Они хорошие.

— Как тебе сказать? И да и нет. В них нет ничего своего, а всё чужое, занятое у того замечательного художника, который дружил с Чеховым.

— Я уверен, он и дружил.

— Тогда ему должно быть больше ста лет, а на вид ему не больше сорока.

— Следит за собой. Не пьет, не курит. И потому кажется моложе своих лет.

Дядя Вася внимательно посмотрел на меня и подмигнул.

— Я понимаю, — сказал он, — тебе, как этому нашему философу-коменданту, хочется невозможного. А невозможное случается только в сказках.

Меня очень огорчили слова дяди Васи и его не очень высокое мнение о картинах Левитана, не того, а этого. Как будто тот и этот не могли оказаться одним и тем же лицом.

Но потом я стал склоняться к тому, что, возможно, дядя Вася отчасти прав и этот наш Левитан только повторяет сделанное другими. Но в этом я не видел ничего дурного. Скорей наоборот. И картины Мишкиного соседа по-прежнему продолжали мне нравиться.

12

Во всей школе только мы с Авдеевым знали, что в кооперативном доме поселились два пришельца — один художник, а другой комендант, совмещавший свои обязанности с занятиями философией.

Мы с Мишкой часто спорили: откуда эти пришельцы — из прошлого, из будущего или с другой планеты?

— Скорей из прошлого, — настаивал я, — ведь Левитан жил в прошлом.

Но Мишка Авдеев ни за что не хотел этого признать. Его почему-то больше устраивало, чтобы художник явился к нам прямо из будущего, захватив с собой бывшего красавца коменданга. Мишка упирался и ни за что не хотел уступить. Единственно с чем он мог согласиться, что Левитан, возможно, прибыл с другой планеты. А мое предположение, что знаменитый художник — посланец прошлого, его даже обижало. Мишке казалось, что это не только противоречит истине, но в какой-то степени снижает Левитана и его спутника-коменданта: ведь в прошлом царили отсталость, мрак, суеверия, существовал царь и другие пережитки.

Проще было спросить самого художника или его собрата-коменданта. Но ни я, ни даже более бойкий и

отчаянный Мишка Авдеев не решались задать этот вопрос пришельцам, считая, что это их тайна, которую они, естественно, не хотят выдавать, имея на то свои причины.

Подумав и обсудив с Мишкой сложное и запутанное положение, мы решили наблюдать за художником и комендантом, рассчитывая, что рано или поздно они посвятят нас в свою тайну.

Картины же всё еще продолжали нам нравиться. С каждым днем они нравились нам с Мишкой всё больше и больше, и мы долго простаивали перед ними. И когда мы возвращались каждый к себе, всё нам казалось другим, более красивым и значительным, чем раньше. Эти картины, хотя и не умели говорить, висели молча, но, по-видимому, что-то открывали в мире и в нас самих, помогая нам острее чувствовать и понимать всё, что нас окружало.

Когда мы приходили, художник Левитан обычно работал. Работал молча и только изредка бросал два или три слова. Был он по-прежнему ласков и внимателен. И нам очень хотелось спросить его, каким образом он попал в наш кооперативный дом, родившись на другой планете или в другом веке, но мы всё еще не решились.

А потом знаменитый русский художник простудился, схватив воспаление легких, и его увезли в больницу, что недалеко от реки Карповки.

Мишка Авдеев был почему-то этим очень смущен. Ему казалось, что пришелец из будущего, а тем более с другой планеты, не должен болеть, и особенно воспалением легких. Правда, он точно не знал, какими болезнями болеют пришельцы, но был убежден, что у них совсем другие болезни, чем у нас.

Помню, как мы с Мишкой купили килограмм яблок и два маленьких апельсинчика (на третий не хватило денег) и понесли в больницу свою передачу.

Строгая сестра или нянечка переспросила:

— Какому это еще Левитану?

— Тому самому, — ответили мы, — выдающемуся русскому художнику.

Левитан болел, болел, а потом вдруг поправился. И снова принялся за работу.

Однажды я прихожу к нему один, без Мишки, а у

него уже сидит комендант, такой любезный и снисходительный.

Комендант задал мне вопрос:

— Скажи, мальчик, а ты хотел бы побывать на другой планете?

— Хотел бы, — ответил я. — Разве кто-нибудь откажется?

Потом комендант перевел разговор на другую тему, и я так и не узнал, почему он мне задал такой необычный вопрос. Комендант стал жаловаться Левитану на проводку и на плохую изоляцию в доме и на то, что у него много забот и у некоторых жильцов очень плохой характер. А затем комендант посмотрел на меня и спросил:

— Как ты думаешь, мальчик, у разумных существ с других планет тоже дурной характер?

Я ответил:

— Думаю, что не у всех. У некоторых хороший.

И комендант рассмеялся и сказал:

— Точно.

И сказал таким тоном, словно это ему было хорошо известно.

Потом комендант сказал Левитану:

— Ты бы, Исаак, изобразил этого мальчика. Он своим скромным поведением, вероятно, этого вполне заслуживает.

Левитан покачал головой:

— Я изображаю только березы, реки и облака, а также озера. А мальчик, к сожалению, не облако и не река.

Комендант достал из кармана кожаную штучку, и я подумал, что он сейчас даст мне свою визитную карточку, но он карточку не дал, а штучку положил обратно в карман.

Затем комендант спросил меня:

— Как ты представляешь, мальчик, свое будущее?

— Близкое или далекое?

— И близкое и далекое.

— А как вы представляете свое будущее?

— Далекого будущего, мальчик, у меня нет, — сказал комендант.

— Почему?

— Потому что я старик.

— А как вы представляете близкое будущее?

— Близкое будущее я рисую себе так. Я иду по улице и нахожу кем-то оброненный чертеж. Вместо того чтобы сдать его в стол находок, я присваиваю его и совершаю крупное научное открытие. Ну вот и всё, мальчик. Далекого будущего у меня нет. Я старик. И в жизни мне не посчастливилось: я еще не сделал ни одного великого открытия. И, вероятно, никогда уже не сделаю.

Мне стало немножко жалко нашего коменданта, и я сказал:

— Почему? Может, еще совершите.

— Нет, мальчик. Я упустил свое время. У меня было его уйма, так же как у тебя. Но я его упустил. А теперь я старик. И с грустью смотрю на свое прошлое, с которым я поступил так легкомысленно.

Комендант вынул карманные часы, открыл крышку и посмотрел. Затем он любезно раскланялся и ушел. Мы остались вдвоем с художником.

— Вы тоже смотрите с грустью на свое прошлое? — спросил я художника.

— Нет, мальчик, я никогда не грущу о прошлом. Я думаю только о будущем. И для этого я пишу свои картины.

— Но вы же не будущее изображаете в своих картинах.

— Я изображаю, мальчик, природу. А природа это не только прошлое, это и будущее.

— Чье будущее, ваше?

— Нет, твое, мальчик.

13

Мама пришла с рынка очень чем-то взволнованная и довольная.

— Могу сообщить тебе, — сказала она дяде Васе, — приятную новость. Вчера уволили коменданта и на его месте уже сидит другой.

— А за что уволили?

— За эту ужасную привычку совать всем визитные карточки и выдавать себя за тех, кого уже давным-давно нет.

— Только за это?

— А разве этого мало? От такого человека можно ожидать всего.

Мама не сказала, чего можно ждать от коменданта, а скорей ушла в булочную. А дядя Вася стал выражать беспокойство, что комендант не зашел за своей рукописью и теперь, наверно, переехал, не оставив даже адреса.

Меня стала беспокоить судьба не столько коменданта, сколько того, другого, который был с ним связан. Может, и Левитана тоже попросят уехать из нашего дома на том основании, что он лишний. Ведь в прошлом веке был уже Левитан, а в нашем должен быть кто-то другой, совсем на него не похожий. Наш же Левитан очень походил на того, который когда-то жил, и на этом основании его могли попросить вернуться в свою эпоху.

Я забежал к Мишке Авдееву и рассказал ему о судьбе коменданта и о своих опасениях, но Мишка сказал, дожевывая кусок морковки:

— Левитан никуда не уедет. Он тут обосновался. И ему у нас нравится.

— Откуда ты знаешь?

— Откуда? А я был у него вчера, как раз когда заходил прощаться комендант. Комендант сказал, что он уже стар и ему пора на покой, что ему надоели вечные жалобы на водопровод и на отопление.

— А что сказал Левитан?

— Ничего. Он как раз работал. Писал новую картину.

— Дядя Вася говорит, что он новые не пишет, а только повторяет старые.

— Ну и что? Мне старые нравятся даже больше, чем новые.

По правде говоря, мне старые тоже нравились больше, чем новые, но я этого не сказал даже Мишке, боясь прослыть консерватором и невеждой.

Выходя от Мишки, я взглянул на соседнюю дверь — висит ли еще там медная дощечка с фамилией. Всё было в порядке. Дощечка висела на том же месте, извещающая всех, что в этой квартире живет знаменитый художник. А уж тот или не тот это Левитан, подумал я, пусть решают специалисты. Мне казалось, что это был именно тот.

Комендант все-таки зашел к нам, вернее не к нам, а к дяде Васе за своей рукописью. Он вежливо поздоровался, трогательно улыбнулся и попросил дядю Васю высказать свое мнение о рукописи.

Дяде Васе, по-видимому, очень не хотелось огорчать коменданта, и он сказал:

— Мое мнение не имеет значения. Я геолог, а тут речь идет об языке.

— А все-таки, — сказал комендант. — Я буду вам очень благодарен. Мне хотелось бы услышать вашу оценку.

Я не слышал, что сказал дядя Вася коменданту, — меня позвала к себе на кухню мама.

А потом комендант ушел, держа свою рукопись под мышкой, и больше я его никогда не видел, словно он вернулся к себе в прошлое.

Когда комендант исчез, я спросил дядю Васю:

— Что же ты сказал коменданту? Как ты оценил его труд?

И тогда дядя Вася возбужденно стал ходить по комнате из угла в угол и рассказывать мне о том, какое сильное впечатление произвела на него рукопись коменданта.

Что-то случилось с дядей Васей, на щеках его появился румянец, в глазах блеск, а на лице новое, никогда, не виданное мною выражение. Он вдруг спросил меня:

— Как тебя зовут?

— Саша. Александр, — ответил я. — Неужели ты мог забыть мое имя?

— Когда я читал эту рукопись, я попытался забыть все имена на свете, даже свое собственное.

— Почему?

— Я вместе с автором рукописи попытался взглянуть на мир как бы из того времени, когда на Земле не существовало ни одного имени.

— А разве было такое время? — спросил я.

— Было.

— Когда?

— Всего миллион лет тому назад. Тогда еще на Земле не было людей.

— Людей не было, — сказал я, — а этот комендант был, что ли?

— Нет. Он только вообразил, что он был, для того чтобы создать картину мира, где нет языка.

— Для чего?

— Для того чтобы понять самому и объяснить другим, что язык внес в мир.

— А что он внес?

Дядя Вася укоризненно посмотрел на меня и покачал головой.

— С помощью языка всё было названо и обрело смысл.

Я подумал: комендант совершил великое открытие, но никто об этом открытии еще не знает, кроме дяди Васи и меня. Еще вопрос — признают ли открытие великим и когда? Может, много лет спустя. Мне почему-то стало жалко коменданта. Он, судя по его визитным карточкам, очень хотел быть великим, но пока ему это не удавалось.

А дядя Вася ходил из угла в угол и о чем-то думал. Потом он спросил меня:

— Ты можешь представить себя без имени?

— Нет, не могу, — ответил я. — Хотя это и случается, когда едешь в автобусе, в троллейбусе или в трамвае. Толпится много людей, и в это время у них нет имен. Они обращаются друг к другу не называя ни имени, ни отчества: «Эй, гражданин, оторвите, пожалуйста, мне билет». Значит, можно обходиться и без имени.

— Путешествие в автобусе длится минуты, в худшем случае, часы. Но надолго нельзя обойтись без имени.

— А Робинзон же обходился, — сказал я, — когда жил на своем необитаемом острове.

— Нет, — возразил дядя Вася, — не обходился. Он обучил попугая, и тот называл его по имени. Робинзону это очень нравилось. Возможно, слыша свое имя, он как бы видел со стороны самого себя и чувствовал, что он непохож на других.

— А если вместо имен, — спросил я, — были бы номера? Хуже от этого было бы или нет?

— Хорошего в этом мало. Цифры бездушны. Они обозначают количество. А имя — это звук с очень ёмким свойством. Оно как бы вбирает тебя со всеми твоими особенностями и приобщает к миру. Об этом

хорошо пишет комендант, этот непризнанный философ.

— Ну и что ж, — возразил я, — художник Левитан, который живет на десятом этаже рядом с Мишкой, даже очень всеми признан. Но тем не менее тебе его картины не понравились.

— Сколько раз я тебе говорил, что это не тот Левитан. Ты и твой приятель Мишка стали жертвой одной особенности имени. В мире существуют близнецы. Они похожи друг на друга, как кооперативные дома, построенные за Черной речкой. Но кроме близнецов, существуют и однофамильцы, звуковые близнецы. Случай подшутил над этим бедным человеком. Он сделал его однофамильцем знаменитого художника и наделил его талантом. Но талантом он наделил его скупой и сделал как бы копией того, кто был современником Чехова. Искусство, жизнь и природа обладают одним свойством: они не любят копий. Плохо быть двойником, однофамильцем, но еще хуже быть эпигоном. Твой Левитан начисто лишен всякой оригинальности. А значит, как художник он не нужен!

— Нужен! — крикнул я. — Еще как нужен! Ты просто не понимаешь!

Мои слова услышала мама и сделала мне замечание:

— Что с тобой, Александр? Ведь дядя Вася старше тебя на пятьдесят лет!

14

Слова, сказанные дядей Васей о близнецах и однофамильцах, я каждый раз вспоминал на уроках русского языка. Варвара Архиповна рассказывала о великих русских писателях такими словами, словно у них было всё общее и ничего своего отдельного, за исключением того, что они родились не в одно время, как обычно рождаются близнецы.

Сегодня она рассказывала нам про Лермонтова:

— Великий поэт пытался. Он раз навсегда поставил перед собой цель и всю жизнь добивался.

А потом я перестал слушать Варвару Архиповну и стал думать о Левитане — о том знаменитом и о другом, который живет на десятом этаже.

Загадка манила меня. И чувство, вопреки обыденной логике, говорило мне, что двух Левитанов не было, был один и он к нам попал из другого века, как это часто бывает в фантастических рассказах, с помощью науки и техники и их волшебной власти над временем. Мне очень нравилась эта волшебная власть над временем, которая дала возможность современнику Чехова попасть в наш век и поселиться в нашем доме. В результате этой власти над временем возникала необыкновенная и чудесная возможность моего личного знакомства с великим художником, которого все без исключения относили к прошлому времени, не подозревая, что он живет в одном доме со мной.

И думая обо всем этом, я как бы раздваивался на две равные половинки. Одна моя половинка верила во власть над временем, а другая сомневалась. Сомневающаяся половинка словно дразнила меня: «Если в вашем доме сумел поселиться Левитан, почему этого не сделал Чехов, Гоголь и Александр Дюма-сын, и не комендант, а настоящий?»

И чтобы отвязаться от этого внутреннего сомневающегося голоса, я сказал самому себе: «Просто Левитану повезло. И он попал в наш век, а другим пока не удалось».

Из школы я возвращался не спеша. Хотелось побыть на улицах, посмотреть на людей.

В сквере на скамейках сидели несколько старух, пиджон с усами и очень много пенсионеров. Я узнал и того самого, который выбирал себе головной убор в магазине и всё никак не мог выбрать. Он сидел отдельно от всех и, держа в руках газету, словно не читал, а рассматривал ее. Я поздоровался. Он посмотрел на меня и спросил:

— Кто ты такой?

— Гражданин далекого будущего.

— Твое будущее пока меня не интересует, — сказал пенсионер. — Я интересуюсь, кто ты сейчас?

— Школьник.

— А откуда ты знаешь меня?

Я не ответил и прошел мимо. Не мог же я сказать, что видел его в магазине, когда он никак не мог выбрать себе шапку и всё примерял и примерял, словно среди головных уборов, выставленных на продажу,

могла найтись ну, скажем, шапка-невидимка тоже. Если бы я ему об этом напомнил, он, наверно бы, обиделся. Я давно заметил: пенсионеры очень обидчивы.

Потом я подошел к нашему дому и стал смотреть на десятый этаж, где жил художник. Очень уж высоко он жил. И я подумал, что с ним, видно, не очень-то считались, когда распределяли квартиры. Все, кто имел вес, например ученые и артисты, получили в нижних этажах. Но распределявшие, наверно, думали, что это не тот Левитан, а просто какой-то незначительный человек и маленький художник. И они жестоко ошиблись.

Задрав голову, я смотрел вверх. Кто-то меня толкнул. Я оглянулся. Рядом стоял Мишка Авдеев.

— Кого высматриваешь? — спросил он. — Пришелец?

— Левитан не пришелец. Он родился на Земле.

— Это Левитан-то не пришелец? — Мишка рассмеялся. — Мне совершенно точно известно, кто он.

— Откуда?

— Воробушкина знаешь из шестого «Б»? Воробушкин изучил этот вопрос.

— Какой вопрос?

— Ну насчет Левитана и коменданта тоже. Он считает, что это типичные пришельцы из других миров. Один принял образ Левитана, а другой взял сразу себе десяток фамилий и имен. У них на той планете, откуда они к нам явились, существует такой порядок. Наскучит высокоразумному существу свое имя, он берет другое. А вместе с именем меняет и внешность и обстановку. Воробушкин это точно знает.

— Откуда?

— Откуда? Может, комендант ему сказал или Левитан пооткровенничал. Воробушкин очень подружился с комендантом, когда тот еще жил и работал здесь. Комендант ему книги давал читать.

— Какие?

— Ну, научные. И научно-фантастические. Только насчет этого молчи. Никто не должен знать, что они пришельцы. Во-первых, это еще не доказано, а только существует предположение. А во-вторых...

Мишка не сказал, что было во-вторых, а показал

мне на Левитана, который как раз в это время подошел к дому с кошелкой. В кошелке была бутылка молока, кочан капусты и связка баранок.

Баранки-то и привлекли к себе мое пристальное внимание. И я подумал: «Врет этот Воробушкин. Пришелец вряд ли станет покупать баранки. Еще капусту и молоко можно допустить, но баранки скорее настоящий Левитан купит или однофамилец, но не пришелец с другой планеты».

Я это Мишке не сказал, воздержался, потому что заранее знал: Мишка будет доказывать, что баранки — это излюбленная пища инопланетных существ и разных пришельцев.

Мы пошли вслед за Левитаном. Остановившись на площадке возле лифта, он отломил полбаранки и стал есть. Меня почему-то это привело в хорошее настроение. Очень уж мне не хотелось, чтобы знаменитый русский художник оказался инопланетцем. А Мишке было наплевать на художника, его больше интересовали пришельцы и всякие разумные и неразумные существа с других планет.

Потом Левитан вызвал лифт и исчез у себя на десятом этаже.

Всю неделю я думал о пришельцах и забрал в библиотеке все книги, в которых рассматривался этот пока еще не решенный вопрос.

Среди пришельцев действительно попадались и такие, которые брали себе чужую внешность, чтобы не очень выделяться. Было не исключено, что и Левитан воспользовался чужой внешностью, но тогда совсем не понятно, почему он пишет картины и его картины мне очень нравятся.

Вообще об этих пришельцах писали преимущественно фантасты, а ученые говорили о них осторожно и туманно — так, чтобы можно было взять свои слова обратно, если окажется, что этих пришельцев нет.

По правде говоря, мне фантасты нравились больше, они по крайней мере не увиливали и не боялись, что придется брать свои слова обратно. Но все-таки я не хотел, чтобы Левитан оказался пришельцем. Я очень полюбил его картины и его самого, а главное — я ему верил.

Наступили летние каникулы. Отец сразу взял отпуск и уехал вместе с мамой в Евпаторию — отдыхать. Дядя Вася снял на лето комнатку в колхозе за Лугой и взял с собой меня.

Соседом нашим по даче оказался тот самый пенсионер, который любил примерять головные уборы. Ему я обрадовался, но не очень. Но я страшно обрадовался, когда встретил Левитана. Художник тоже снял себе в деревне комнатку у колхозного пастуха Игнаткина и ходил в лес писать этюды.

Знаменитый русский художник меня сразу узнал и, возможно, тоже обрадовался, хотя и не так сильно, как я.

Вернувшись домой после прогулки по лесу, я застал пенсионера, игравшего с дядей Васей в шахматы.

— И Левитан тоже здесь, — сказал я обрадованно дяде Васе.

Пенсионер покосился на меня и сказал строго:

— Ему давно бы следовало переменить фамилию.

— Почему? — спросил я.

— Потому что это нескромно называть себя Левитаном, имея ту же профессию, что и великий русский художник. Я уже писал по этому поводу в газету и в Союз советских художников, но ответили мне бюрократической отпиской. Мол, фамилия это личное дело каждого. А я считаю, что это дело не личное, а общественное.

— А какое вам дело до этого художника? Не он себе выбирал фамилию, а предки. Я делаю вам шах, — сказал дядя Вася.

Пенсионер стал смотреть на доску, выбирая, какой сделать ход. А потом дядя Вася сделал ему еще шах и мат, и пенсионер ушел с обиженным выражением лица. Я был очень рад тому, что он получил мат. Пусть не пишет письма в редакции и не требует от талантливого художника, чтобы он перестал быть Левитаном. Я был уверен, что наш Левитан тоже станет знаменитым и пенсионер пожалеет о своих письмах в редакцию.

Когда пенсионер ушел, дядя Вася сказал:

— Не люблю вот таких, которые суют нос в чужие

дела и целыми днями пишут письма в редакции. Государству приходится содержать людей, которые бы отвечали на их письма. И это очень обременяет наш бюджет.

— А ты не играй с ним. Играй лучше с Левитаном. Как фамилия этого пенсионера?

— Воробушкин.

— Он, наверно, родственник того, который учится в шестом «Б».

И действительно, пенсионер оказался дедушкой Воробушкина. Об этом я узнал через несколько дней, когда Воробушкин приехал к деду жить вместе с Мишкой Авдеевым, который оказался тоже их близким родственником.

Но об этом позже, а сейчас я должен рассказать о художнике и о том, как он ходил в лес писать этюды. Он стал брать с собой и меня, когда убедился, что я могу сидеть тихо и не мешать. Я действительно сидел очень тихо и не шевелясь смотрел, как Левитан работает.

Левитан, держа кисть в руке, рассматривал речку и облака, а потом этой кистью он изображал точно такую же реку и такие же точно облака у себя на холсте.

Мне очень нравилось, как всё двоилось, и мне казалось, что передо мной не один мир, а два. И оба мира были рядом, та река и эта, те облака и эти, которые, так же точно как на небе, плыли на холсте. И мне было очень хорошо, необыкновенно хорошо, словно я был свидетелем возникновения не только этого мира на холсте, но и того, другого, большого, который будто тоже сейчас возник.

Левитан большей частью молчал, если говорил, то самые обычные слова, что с реки дует и у него немножко побаливает спина, наверно, прострел. Но раз он обмолвился и, видно нечаянно, сказал:

— Речка не хочет переселяться на холст. Ей в своем русле вольготнее.

И я подумал, что если бы Левитан был пришелец, он мог сделать чудо и действительно пересадить речку с земли на холст, чтобы она текла, но он не пришелец, а только обыкновенный человек и однофамилец.

Только я подумал это — и тут вдруг на самом деле произошло чудо: речка уменьшилась во много раз и текла на холсте, играя волнами. Только потом я сообразил, что чуда не было, а просто Левитан был очень хороший художник и сумел так изобразить реку, что она была как живая.

И хотя я догадался, но не всё было так просто и понятно, как хотелось и казалось мне, что на холсте течет настоящая река, а та, что бежит под холмом, — нарисованная, хотя и во много раз больше этой.

Потом я подумал: как же Левитан понесет холст? Речка может пролиться, до того она живая, настоящая и красивая.

А Левитан молчал и только подправлял кистью волну, чтобы она бежала немножко потише.

Я сказал Левитану:

— Вы, кажется, немножко недовольны своей новой картиной?

— Немножко? Нет! Я сильно недоволен. Да со мной редко случается, когда я бываю доволен собой и своей работой.

И он взглянул сначала на настоящую реку, а потом на ту, которая текла на холсте.

16

На другой день произошло маленькое происшествие. К пенсионеру приехали гости, его внук Воробушкин из шестого «Б» и Мишка Авдеев.

Они сначала позавтракали, а потом пришли ко мне.

— Отдохнуть приехали? — спросил я.

— Наоборот, — ответил мне Мишка. — Поработать.

Он оглянулся и спросил шепотом:

— Левитан еще тут?

— Тут.

— Это хорошо. Мы получили о нем кое-какие сведения. Он звездный пришелец. Понимаешь? И выдает себя за художника Левитана по ошибке.

— Как это по ошибке? — спросил я.

— Очень просто. Он должен был попасть в девятнадцатый век, но что-то там не сработало, произошла задержка, и он попал к нам. Вот мы и приеха-

ли сюда с Воробушкиным, чтобы проверить эту гипотезу.

Я не стал спорить с Мишкой, а только посмотрел на Воробушкина. Шестиклассник очень походил на своего дедушку-пенсионера и хотя пенсионного возраста еще не достиг, но имел большой жизненный опыт. И выражение лица у него было такое, как у людей, которые много видели и знают. Потом он чихнул и сказал, медленно выговаривая слова:

— Я про этого Левитана наводил справки в худфонде. Мне дали хорошую характеристику.

— Покажи, — сказал я.

— Да нет! Пока не письменную, а только устную. Но никто толком не знает, откуда он родом. Через знакомую паспортистку — она шьет себе пальто в ателье, где работает моя мать, — я узнал, что он родом с Сириуса. Паспортистка думала, что есть такой город Сириус где-то в Молдавии. А я точно знаю, что в Молдавии такого города нет. Сириус находится на большом расстоянии от Земли.

— Сириус не планета, а, кажется, только звезда.

— Ну и что ж что звезда, — сказал Воробушкин. — Может, он из окрестностей Сириуса, а на Сириусе прописан. Но по всем данным, которыми я и Мишка располагаем, он пришелец. А картины он здесь пишет, чтобы иметь свободную профессию. Свободная профессия для пришельца это как раз то, что надо. Он может не ходить на работу, а сидеть дома и делать вид, что пишет картины. Вот он и делает вид.

— Неправда, — сказал я. — Он не делает вид, а пишет картины.

— Мой дедушка лучше знает. Он этого Левитана давно взял на заметку. Но он его, понимаешь, недооценил. Дедушка думает, что он левак.

— А что такое левак?

— Ну человек, который работает «налево», шабашничает или занимается на стороне всякой мелкой халтуркой. Но он не левак и не шабашник, а пришелец.

— Пусть уж лучше пришелец, — сказал я, — чем шабашник или левак.

— И я тоже так считаю, — согласился со мной Воробушкин.

Молчавший Мишка сказал вдруг, показывая на Воробушкина:

— Он привез с собой сюда литературу.

— Какую?

— Научную и техническую. Про пришельцев. И портрет Левитана привез, чтобы сличать. Выясним, что пришелец, и вернемся в город, нам тут делать нечего.

Мне почему-то это всё не понравилось. Сомневался я, что Левитан пришелец и родился где-то в окрестностях Сириуса. И недоволен я был тем, что они привезли с собой литературу и хотят доказать мне, всем, и в том числе самому Левитану, что он не земного, а инопланетного происхождения.

Я решил, когда Мишка и Воробушкин уйдут, поговорить с дядей Васей.

Уходя, они сказали с озабоченным видом:

— Нам предстоит большая и трудная работа.

А когда они наконец ушли, я высказал дяде Васе все свои сомнения.

— Вряд ли он с Сириуса, — сказал я, — и никакой он не пришелец, хотя и не обыкновенный человек.

Дядя Вася, внимательно выслушав меня, усмехнулся и сказал:

— Вот необыкновенного как раз я в нем ничего и не вижу. Типичная посредственность. Сейчас их уйма развелось. И всем им не хватает ни ума, ни культуры, ни чувства современности. На одной серости и провинциализме далеко не уедешь. Твой Левитан просто-напросто эпигон!

— А это очень плохо — быть эпигоном?

— Смотря для кого, — ответил дядя Вася. — Если для художника, то вообще лучше не родиться.

— Значит, этот замечательный художник зря родился? — спросил я.

— Зря! — ответил дядя Вася сердито и отвернулся.

Опечаленный этими мыслями, я пошел по деревне. Мне почему-то очень хотелось взглянуть на тот холст, где Левитан изобразил речку. Эта картина мне очень нравилась. И я был убежден, что ее не мог написать ни эпигон, ни левак-шабашник и даже пришелец с Сириуса.

Левитана я дома не застал. В избе сидел пастух Иг-

наткин и пришивал подошву к валенку. А картина уже висела на стене рядом с умывальником.

Я посмотрел и ахнул. На стене рядом с умывальником текла река, живая, настоящая река с берегами и небом. Она была тут, на холсте, и совсем не походила на картину. Наоборот, на картину походило всё остальное: стены, окна, сам пастух Игнаткин с валенком и толстой иглой. Река была в тысячу раз живее. И я стоял и не мог оторвать от нее глаз. Потом меня кто-то толкнул в бок, я оглянулся. Рядом стояли Воробушкин и Мишка.

Воробушкин сказал:

— Вот это река так река. Сразу видно, что он ее не рисовал, а уменьшил в тысячу раз и приклеил к холсту. Конечно, это мог сделать только волшебник или пришелец. У них там в окрестностях Сириуса и не то могут сделать. Подклеил речку к холсту, а потом небо и березки.

Мишка хотел потрогать волны рукой, но Воробушкин оттолкнул его руку:

— Смотри, еще сам приклеишься к этому холсту и станешь картиной. Нужно действовать осторожно, особенно когда имеешь дело с пришельцем.

Хозяин избы пастух Игнаткин не обращал ни на нас, ни на картину никакого внимания, а продолжал подшивать валенки.

Мы ждали, когда Игнаткин скажет свое мнение. Он долго молчал, немножко посапывая, а потом сказал:

— Эта река иногда шумит.

— Какая река? — заинтересовался Воробушкин.

— Вот эта, — показал Игнаткин иглой на картину. — И даже слегка погрохывает на перекатах.

— Сейчас ведь не слышно, — сказал Мишка, прислушиваясь.

— Будет она шуметь при вас, — усмехнулся Игнаткин. — Она шумит, когда нет никого дома. А на людях она ведет себя тихо, как и полагается картине.

— А это картина? — спросил Воробушкин. — Или настоящая река, благодаря искусству пришельца попавшая на полотно?

Игнаткин подозрительно покосился сначала на Воробушкина, потом на Мишку и сказал:

— На людях она картина, а когда в избе никого

нет, она — река. Сейчас я объясню, как я это дело понимаю. Например, один и тот же человек сразу может иметь два лица. Скажем, у него профессия — артист. Днем он живет как все прочие люди. А вечером играет на сцене, изображая тех, кем он никогда не был. Точно так же и эта река. Днем она течет там на воле, как все реки, а по вечерам забирается сюда в раму и начинает играть. Если хотите знать, эта река тоже артистка.

По тому, как пастух усмехнулся, а также по выражению его глаз, я догадался, что он шутит. Но Воробушкин и Мишка не захотели это принять за шутку. Им хотелось доказать, что Левитан — пришелец с Сириуса, и поэтому для них было лучше, что в раме течет настоящая река, притворяясь изображением.

17

В этот раз дядя Вася играл не с пенсионером Воробушкиным, а с самим художником Левитаном.

Всякий раз, когда дядя Вася играл с пенсионером, мне очень хотелось, чтобы он сделал поскорей пенсионеру мат. Но сейчас — и это было странно — я вовсе не испытывал этого желания. Я считал, что будет нехорошо с дядиной стороны, если он сделает художнику мат, кем бы тот ни был — пришельцем, эпигоном, шабашником-леваком или даже настоящим Левитаном, каким-то чудом попавшим в наш век.

Дядя Вася молчал. Художник тоже. И когда дяде Васе надоело молчать, он вдруг задал Левитану вопрос:

— Скажите, вы случайно не родственник знаменитому художнику?

Левитан немножко подумал, а потом сказал:

— И да и нет.

— Как понять ваши слова? — спросил дядя Вася.

— Избирательно, — ответил художник. — Если вам очень хочется видеть во мне родственника знаменитого художника, скажите себе «да». Если не хочется, скажите «нет». И в том и в другом случае ответ будет неточным.

— А вы сами как отвечаете на этот вопрос?

— Я действительно нахожусь в родстве с художником Левитаном. Но это родство духовное. Понятно?

— Я так и думал, — сказал дядя Вася.

Играли они долго. Потом кончили партию и начали другую. Я вышел во двор. Там стояли Мишка и Воробушкин.

— Ну, кто выиграл? — спросили меня оба.

— Сделали ничью.

— Не понимаю, — сказал Воробушкин. — Чтобы пришелец не мог обыграть обыкновенного человека.

— Мой дядя игрок первой категории. Он и мастеров обыгрывал.

— Всё равно, — не согласился Воробушкин, — пришелец должен играть лучше любого мастера.

— А я думаю, он нарочно поддался, — вмешался Мишка, — для маскировки.

— Вполне это допускаю, — согласился Воробушкин. И задумался.

Мишка и Воробушкин жили в деревне уже третью неделю и всё не хотели отказаться от своей мысли, что Левитан звездный пришелец. Наоборот, с каждым днем они становились всё более убежденными сторонниками своей идеи, для подтверждения которой они тщательно собирали факты. Для этого они изучали литературу о пришельцах, которую привез с собой Воробушкин. Они читали мне те места из привезенных ими книг, которые могли свидетельствовать в пользу их гипотезы. Действительно, как описывалось в книгах, представители инопланетных цивилизаций достигли высокого умения создавать себя заново или принимать облик когда-то живших на Земле людей. Сам собой напрашивался вывод, что кто-то из них принял облик Левитана и научился рисовать, как Левитан. А имея уже такую высокую квалификацию, было совсем не трудно вступить в Союз художников, устроиться на работу в худфонд и по совместительству в Русский музей, а затем, заручившись справкой, получить квартиру в новом кооперативном доме.

Воробушкин очень стройно развивал свою мысль, подтверждая ее многочисленными доказательствами, взятыми из книг о звездных пришельцах. У него даже была специальная тетрадь, куда он выписывал отрыв-

ки. И эти выписанные им цитаты из книг он сличал с Левитаном и его поведением, пока не пришел к окончательному выводу, что Левитан — это пришелец. Эти выписки Воробушкин читал Мишке, мне и даже своему дедушке-пенсионеру. Мишка поддакивал, а пенсионер горячо возражал. Он ни за что не хотел отказаться от своей мысли, что Левитан — это левак и шабашник, обманывающий государство.

Меня отрывки из книг ни в чем не убедили, так же как мнение дяди Васи и пенсионера. У меня было свое мнение о художнике. Я был почти уверен, что он и есть тот самый замечательный художник, неизвестно каким образом попавший в наш век. Убедительным доказательством этого служила река, которую он изобразил на холсте.

Как-то раз, когда я смотрел на нее в присутствии хозяина избы пастуха Игнаткина, я почувствовал, что между картиной и мной существует какая-то странная связь. Чем больше я смотрел, тем сильнее чувствовал радость. Эта радость буквально хмелила меня.

Молчавший Игнаткин вдруг сказал:

— Не картина, а зеркало. А река, обрати внимание, заглядывает, любитесь на себя. До чего живая!

Я согласился с пастухом и продолжал смотреть.

18

Как это ни странно, я искал ответ на вопрос, кто был художник — эпигон, пришелец, левак-шабашник или великий мастер, чудом попавший в наше время, — в магии самого имени.

К этому художнику подходило его имя. Оно, как судьба, выбрало его, не думая о том, что ни люди, ни жизнь не любят повторений.

Да и было ли это повторением? Мне казалось тогда и кажется теперь, что это было не повторение, а продолжение. Мой знакомый продолжал то, что начал в девятнадцатом веке другой. И они как бы протянули друг другу руку через время. Что же касается имени — это не так уж важно. Конечно, было бы лучше, если бы Мишкин сосед взял себе другое. Но он этого не сделал,

не хотел, чтобы в газете было написано, что он, художник Левитан, меняет свою фамилию на фамилию Орлов или Соколов. Может, он примерил к себе это имя — и оно к нему не подошло. И он решил оставить фамилию, которая была в паспорте.

На эту тему мы с ним не говорили. Просто времени не было об этом говорить. Когда Левитан работал, он молчал. Я тоже молчал, чтобы ему не мешать. Только однажды у меня закралось сомнение — правда, не пришелец ли он с другой планеты? Это сомнение возникло оттого, что художник, когда изображал березку или сосну, смотрел на них так, словно никогда их не видел, или, наоборот, пришел с ними прощаться. Вот это меня удивляло, и как-то раз я не удержался и спросил:

— Вы что, собираетесь вернуться туда, к себе?

— Ты имеешь в виду наш кооперативный дом? — ответил он на вопрос вопросом.

— Нет, не дом. А звезду. Вылетело из головы название.

— А при чем тут звезда? — спросил он.

— Да нет. Я так. Мишка и Воробушкин из шестого «Б» считают, что вы не здешний. И прилетели вместе с комендантом.

— Откуда прилетел?

— Ну, словом, оттуда. Вылетело из головы название.

Название от волнения действительно вылетело из головы, и я только вечером вспомнил, что звезда называлась Сириусом.

— Ниоткуда я не прилетал, — сказал художник. — И вообще я не пользуюсь воздушным транспортом. Почему-то не лежит к нему душа. Больше всего на свете люблю ходить. Исходил я действительно много мест. Где только не был!

— А в Париже бывали?

— Нет. За границей не бывал. Извини меня, мальчик, что отвечаю сухо, как на анкету. Люблю я леса. Вот по лесам я и хожу.

— Ну, а там леса есть? Ну на этой звезде. Вылетело из головы название.

— Думаю, что леса есть только на Земле. Но мы их не умеем беречь.

— А на звездах что?

— Не знаю, мальчик. Не бывал. И как-то мало меня это интересует.

— Сейчас много пишут про звезды. И даже есть художники, которые их рисуют. Мишка и Воробушкин из шестого «Б» собрали большую коллекцию открыток.

— Пусть собирают. Это полезно.

— А вы научно-фантастические романы любите?

— Нет. Не очень.

— Почему?

— Потому что в них часто изображают нашу Землю без лесов. А мне такая Земля не нужна. Но, в общем, я в этом плохо разбираюсь, мальчик. Поговорим о чем-нибудь другом.

Но о чем-то другом нам поговорить не пришлось. Начал моросить дождь. Левитан убрал подрамник и холст, и мы пошли из леса в деревню.

19

Детство! Оно сейчас далеко от меня. Ведь месяц назад мне исполнилось пятьдесят девять лет. И когда я мысленно хочу представить себе детство, я смотрю на картину, где течет река, как она текла в те дни, когда я был еще школьником.

Художник подарил мне эту картину. А потом я никогда больше его не видел. Он уехал из кооперативного дома и затерялся в огромном мире. Воробушкин и Мишка были убеждены, что он вернулся к себе на Сириус. А дядя Вася уверял, что он затерялся в неизвестности и что такова судьба всякого заурядного художника и эпилгона, чья участь быть забытым.

Я смотрю на холст почти каждый день и вижу, как течет река и освежает мой внутренний мир. И каждый раз, когда я смотрю на эти облака и на эти волны, я мысленно возвращаюсь в страну своего детства.

Много лет я искал его — этого скромного художника, справлялся в худфонде, в Русском музее, у знакомых художников.

— Левитан? — переспрашивали меня. — Нет, мы

знаем только одного Левитана. О работах однофамильца мы не слыхали.

Иногда мне кажется, что это был сон. Но тогда кто же написал эту картину? Специалисты и не специалисты и равнодушные к искусству люди — все уходили потрясенными, взглянув на нее. И все испытывали то же чувство, что и я, — чувство возвращающейся юности, необычайного покоя и радости, словно на холсте было не изображение природы, а кусок детства, живого и яркого, сверкал в вашей душе.

Эта река течет в моем сознании и тогда, когда я выхожу на Улицу границы двух веков и слышу радиопередачу с Марса, с Луны и со всех космических станций Солнечной системы, музыку самого бытия.

И тогда мне вспоминаются художник, кистью переносивший облака с неба к себе на холст, и величавый старик комендант, примеряющий к себе чужие знаменитые имена, — не для того чтобы присвоить их, а понять, что такое имя и его сущность.



— Сид, — спросила Нина, — неужели социолог догадался?

— Кажется, да. В его анкете был один очень странный вопрос.

— А чем же странный? Неужели он спрашивал тебя, как ты попал в наш век?

— Да.

— И ты ответил?

— Ответил.

— А он повсрился?

— Не знаю. Слово «Бу-

Геннадий Гор

сад

фантастический рассказ

I

дущее» я написал с большой буквы. Он сначала подумал, что есть такой поселок Будущее — где-то на краю Антарктики, что я там родился. Но я ему объяснил.

— Сид, разве можно это объяснить? Ведь социологи признают только факты.

— Но это тоже факт.

— Странный факт. Человек родился в двадцать первом веке, но каким-то образом оказался в двадца-

том. И социолог не потребовал от тебя никаких доказательств?

— Пока нет. За доказательствами он еще придет. Он ищет общего, типичного, подведомственного статистическим закономерностям. А напоролся на такой исключительный случай. Я думал, его хватит удар. Он смотрел на меня, как на сумасшедшего. А потом порвал в клочья свою анкету. Затем он успокоился, и мы разговорились. Он спросил меня, не имеет ли мой ответ метафорический характер? «Нет, ответил я, я родился действительно в двадцать первом веке, и это не метафора». Тогда он сказал, что это чисто философский ответ и все-таки метафора. Но меня удивляет другое, что он в конце концов мне поверил.

— Поверил? А я думаю, что он просто сделал вид. Вряд ли философ поверит в то, что противоречит логике.

— Но он, Нина, оказался доверчивым. Сначала не верил, а потом стал убеждаться. Я ответил на все его вопросы, касающиеся двадцать первого века. Его больше всего почему-то интересовало: что будут пить в двадцать первом веке — чай или кофе? Я ответил: «Кофе». И он сразу повеселел. Но довольно, Нина, о социологе. Хватит. Поговорим о нем потом, когда я закончу работу.

Сид набрасывал силуэт дерева на большом листе бумаги, а Нина покачивалась в качалке и, держа в руке узенькую изящную книжку, читала стихи. Время от времени она смотрела на портрет поэта, напечатанный на оборотной стороне суперобложки. Поэт был похож на Сиду. Так похож, что Нине было не по себе. Но он не мог быть Сидом, а Сид не мог быть им. Поэт родился на два века раньше Сиды.

— Сид, — сказала Нина, — вчера я ночью проснулась, а тебя нет. Где ты был?

— За окном.

— А что ты там делал?

— Ничего не делал. Просто стоял.

— Зачем?

— Сколько раз я тебе говорил, что по ночам я превращаюсь в сад. Меня научили этому там.

— Где?

— В будущем.

— В поселке Будущее?
— Нет, в том будущем, которое будет.
— В сад человек может превратиться только в сказке. А вокруг нас не сказка. Надеюсь, что ты не сказал социологу, что по ночам ты превращаешься в сад?
— Сказал.
— Зачем?
— Социолог хотел знать, что я чувствую, когда пишу свои картины. Он хотел знать всё досконально, что я чувствую, что переживаю, о чем думаю. Социологу очень хотелось попасть в мою душу. И я его туда пустил.

Нина рассмеялась:

— Социолога пускаешь, а жену нет. Уже год, как мы вместе, а я ничего не знаю о твоём прошлом.

— Мое прошлое — это будущее. Я живу не с начала, а с конца. Я ведь не скрывал от тебя этого. В паспорте стоит дата, которая всех смущает.

— Ошибка паспортного отдела?

— Нет. Всего маленькая неточность. Они поставили двухтысячный год, а до двухтысячного года еще два с половиной десятилетия. Я поспешил, Нина, и пришел в мир, не дождавшись той даты, которую мне определил случай. Дело в том, что в мире, из которого я пришел, случай изгнан. Там люди не рождаются случайно.

2

Нина познакомилась с Сидом в саду. Она сидела на скамье и, отложив книгу, прислушивалась к шуму ветвей. Дул ветер. И сад шумел над головой Нины. Вдруг наступила тишина. Это было более чем странно, это было необъяснимо. Ветер дул с прежней силой. Но ветви уже не качались и не шумели. Сад застыл, как отражение в пруду.

Нина услышала шаги. Перед ней остановился юноша. Он держал в руке ветку черемухи полную цветов.

— Здесь нельзя ломать ветви, — сказала Нина строго. — Кто вы такой?

— Кто я сейчас? — спросил юноша. — Или кем я был пять минут назад?

— Неужели за пять минут вы успели измениться?

— Да. Успел. Я очень торопился. Мне хотелось познакомиться с вами. Я очень часто вас вижу здесь с книгой.

— Но почему же я вас ни разу не видела?

— Вы, конечно, видели меня, но не догадались, что это я. Я был не похож на себя.

— Как же вы выглядели?

— Лучше поговорим о чем-нибудь другом. Вы всё равно не поверите мне, если я скажу как я выглядел.

— Почему не поверю? У вас такое правдивое лицо. Вы не похожи на обманщика. Как же вы выглядели?

— Об этом потом, — сказал юноша с досадой. — Важно не то, как я выглядел полчаса назад. Важно, как я выгляжу сейчас.

— Сейчас вы выглядите, как человек, только что сдавший трудный экзамен.

— Вы угадали. Я действительно только что сдал экзамен. Я снова превратился в человека.

— А кем вы были?

— Я был садом, — ответил он тихо.

— Кем?

— Садом.

— Садом? Я не совсем понимаю. Сад не может превратиться в человека.

— Может. Но я не всегда был садом, а только иногда, когда мне очень этого хотелось.

— Вас превращал в сад злой волшебник?

— Нет. Не злой. Скорее, добрый. Но это тайна. И я не имею права ее разглашать. Я дал подписку.

— Кому?

— Директору волшебного-сказочного института.

— А где этот институт?

— Его еще нет. Но он будет. Я тоже только должен быть, но я поторопился и оказался здесь. Я не мог позволить случаю разъединить нас. Я пришел сюда из еще не наступившего столетия. Чтобы ежедневно видеть вас, я превратился в сад. Я стоял здесь в дождь, в бурю, в жару, ожидая вас.

— Может, вы чужак или оригинал? Вы говорите о том, что невозможно.

— Для вас невозможно. Для меня возможно. В волшебном-сказочном институте, о котором я вам говорил, нашли способ превращать людей в явления природы,

как в древних мифах. К тому же я художник. Мне это помогает в моей работе. Я редко изображаю людей. Я пишу пейзажи. В Русском музее скоро откроется выставка моих картин и эстампов. Я пришлю вам билет на вернисаж.

3

Он прислал ей пригласительный билет. Это было целое послание, напечатанное красным и черным шрифтом:

«Ленинградское отделение Союза художников РСФСР и Государственный Русский музей приглашают вас на открытие выставки произведений Сиды Николаевича Облакова».

У него, оказывается, есть имя, отчество и фамилия. Он — Облаков. Как это ему подходит! Кроме того, он член Союза художников РСФСР. Впрочем, что здесь удивительного? Как будто обычный человек может превращаться в сад, а член Союза художников РСФСР не может?

Нина с изумлением рассматривает билет. Живопись, рисунок, акварель, книжная графика, эстамп. Он, оказывается, иллюстрирует книги детских писателей? В издательстве, наверное, никто не знает, что он может превращаться в сад? Если бы там об этом знали, едва ли бы ему доверили детскую книгу.

Нина берет билет и идет в музей. В музее многолюдно. Открывает выставку маститый, седой искусствовед. Он говорит, отчетливо и веско произнося слова:

— Сид Николаевич Облаков, несмотря на свою молодость, уже успел сказать новое слово в искусстве. Его акварели полны обаяния, словно бумага впитала в себя синь неба, блеск облака, свежесть утренней росы...

Облаков стоит рядом с искусствоведом. Вот сейчас можно поверить, что он из другого времени. Он стоит, готовый исчезнуть, и косится на статую, за спину которой, видно, хочет спрятаться от щедрых похвал.

Нина улыбается ему. Но он не видит ее улыбки. Вокруг густая толпа. Миловидная девушка, сотрудница музея, подает маститому искусствоведу ножницы. Маститый искусствовед неумело разрезает ленточку, и толпа вместе с Ниной течет в выставочный зал.

Остановившись возле первой акварели, Нина видит под стеклом свое изображение. Это даже не изображение. Это она сама, но на бумаге и под стеклом, уменьшенная в десять или двадцать раз.

Нина видит себя глазами Облакова. Он соединил на листе бумаги чистые акварельные краски, и ее лицо словно просвечивает сквозь воду деревенского родника. Чистая холодная свежая вода обмывает ее образ, смывает с него всё обыденное, случайное. На акварели она часть природы, часть леса, пруда и облаков, отразившихся в ручье.

Вдруг она слышит чистый голос:

— Это вы? Как я рад, что вы пришли.

Рядом с ней стоял Сид.

— Вы Облаков? — спросила Нина. — Я не знала, что у вас есть имя, отчество и фамилия.

Он улыбнулся:

— Ну да. У сада не может быть фамилии. Сад — природа. А для природы слишком тесны человеческие названия и имена. Но в Союз художников не принимают людей без фамилии и имени. Пришлось пойти в милицию и получить паспорт. Кроме того, садом я являюсь только по совместительству. Это моя вторая профессия. Сад и художник — это почти коллеги.

— Зачем вы выдаете себя за сад? Это так нелепо.

— Не я выдаю себя за сад. Сад выдает себя за меня. Пока я ждал вас, я был садом. Но когда вы пришли, я превратился в человека.

— Вы говорите так странно. В раннем детстве так разговаривала со мной волшебная сказка.

— К вам вернулось детство. И вы попали в мир сказки. В мир, где между вещами, явлениями и человеком нет мысленных преград. Мир стал более пластичным. Но об этом потом. Я хочу, чтобы вы взглянули на мои пейзажи.

Проталкиваясь сквозь толпу, он ведет ее к своим пейзажам. Его все узнают. Она слышит, как один художник за ее спиной говорит другому:

— Он учился в Париже у самого Матисса.

— Как он мог учиться у Матисса? Матисс давно умер.

— Взгляните в каталог. Во вступительной статье сказано, что он ученик Матисса.

Нина спрашивает Облакова:

— Вы учились у Матисса?

— Да, — отвечает он тихо.

— Но ведь Матисс умер раньше, чем вы родились.

— Раньше, позже. Это не так уж существенно. Я родился в будущем и попал сюда, в ваш век. Я посещал и Матисса. Я превращался в сад под его окном. Он меня писал. Мы дружили.

— Зачем вы так странно говорите?

— Я говорю правду. Ее трудно согласовать с логикой жизни, но не трудно с логикой сказки. Мы условились с вами, что попали в сказочную ситуацию. Между нами сказочные отношения. Но об этом не сейчас. Сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели вон тот мой пейзаж. Он называется «Сад». Вы его узнаете?

Она взглянула и узнала сразу. Это был тот самый сад, где они познакомились. Но это был одновременно сад и человек, как в Овидиевых метаморфозах. Юноша, изображенный на нем, был частью природы. Он как бы еще не отделился от нее. Краски были утренни и свежи, как рябь на синей поверхности пруда. Всё это казалось музыкой, превратившейся в чистые несмешанные цвета, выжатые из тюбиков на бумагу, или нет, не из тюбиков, а из ветвей и трав, из зари. На бумаге лежали живые нежные тона самого сада, словно сад был здесь, вместе с утром и ветром.

— Эта акварель, — сказал он тихо, — понравилась Матиссу.

— Матисс умер около сорока лет тому назад.

— Я был и тогда.

— Как вы могли быть тогда? На вид вам не больше двадцати пяти лет.

— Это не существенно. Я могу быть моложе и старше себя. Иногда это у меня получается, а иногда нет. Тогда я чувствую себя бездарным. Вон идет критик. Он проталкивается ко мне. По выражению его лица я не жду от него ничего хорошего.

Нина отошла в сторону. Время от времени она оглядывалась. Обрюзгшее лицо критика становилось всё сумрачнее и сумрачнее. Критик о чем-то вполголоса говорил Сиду.

Нина смотрела на акварель, перед которой остановилась. Было изображено широкое окно, распахнутое

в весну, в лес. По-видимому, где-то близко от окна в лесу, влажно переливая звук, свистела иволга. Художнику удалось передать красками непередаваемое: птичий свист. Потом стала куковать кукушка. Лес отбирал и снова возвращал ей ее звук.

Нина прислушалась. До нее донесся голос, но уже не кукушки, а критика, его раздраженные слова:

— Этюды — это еще не картина! Краски — это еще не сюжет. У вас нет школы. Матисс вас ничему не научил!

4

В загсе Сиды спросили:

— Сид Николаевич, в каком году вы родились?

— В две тысячи третьем.

Служащий загса пошутил:

— До рождества Христова?

— Нет, после рождества.

— Но сейчас только тысяча девятьсот семьдесят пятый год.

— Если не верите мне, посмотрите паспорт.

Молодой человек раскрыл паспорт Сиды и помрачнел.

— Я зарегистрирую вас, товарищ Облаков. Но вы должны переменить документ. Явная описка. Вы не могли родиться в столетии, которое еще не наступило.

— Мог.

— Давайте не будем входить в пререкание. Тут загс.

Что бы случилось с этим вежливым молодым человеком, если бы он знал, что описки не было и что Сид Облаков действительно моложе себя на двадцать лет? Но ни Сид, ни Нина не стали ему объяснять факт, не поддающийся объяснению. Они получили брачное свидетельство и поехали домой.

Шофёр такси нервно и даже с досадой прислушивался к их разговору, через пять минут он стал сильно нервничать и два раза чуть не нарушил правила уличного движения. Он слышал знакомые слова, но не мог понять их смысла. Да и был ли какой-нибудь смысл в том, о чем говорили пассажиры? А шофёр любил порядок, любил, чтобы всё было на своем месте — слова, поступки и даже мысли.

— Я почти стала верить, Сид, — сказала Нина, — что ты родился в две тысячи третьем году. Но как ты попал к нам из будущего?

— Нина, ты неправильно ставишь вопрос. Важно не как, а зачем. Я попал в прошлое, чтобы встретиться с тобой. Я не мог примириться со случаем, с тем, что ты родилась на сорок лет раньше меня. Я увидел твоё изображение в старинном семейном альбоме у своей бабушки и сделал всё, чтобы встретиться с тобой. Как видишь, мне это удалось.

— Почему?

— Ты неправильно ставишь вопрос. Почему с нами разговаривает Пушкин или Шекспир? Потому, что люди нашли способ мысленной одновременности разных поколений. Это изобретение назвали письменностью. Оно несовершенно. Пушкин может разговаривать с нами, но мы с ним не можем. В сказочно-волшебном институте, в котором я работал, нашли способ разговаривать с Пушкиным и Шекспиром не через века, а непосредственно, как я сейчас говорю с тобой. Но я пребываю одновременно и в своём столетии тоже.

— Объясни, Сид, как это тебе удастся?

— Ты неправильно ставишь вопрос. Чтобы ответить, нужно вспомнить то, чего не было и нет, а то, что ещё только будет, не так ли? Но это уже будет не воспоминание, а мечта. Ты хочешь, чтобы я помечтал?

— Хочу, — ответила Нина. — Я так люблю, когда ты мечтаешь.

Машина резко затормозила и остановилась.

— Выходите, — сказал шофёр.

— Разве мы приехали? — удивилась Нина.

— Неважно. Выходите. Дальше не повезу.

— Горючего не хватило?

— Горючего сколько угодно. Выходите. Мечтайте в другом месте, а не у меня. Органически не выношу мечтателей. Извините. Мне надо к Горьковскому метро, в парк.

5

Они поселились в Нининой комнате. Не могли же они жить в саду под открытым небом, где Облаков, по его словам, стоял, ожидая ее.

У него не было собственной площади, он ждал, когда Союз художников выхлопочет ему квартиру. Но он был седьмым в длинной очереди, и она еще не подошла.

Правда, у него была отличная мастерская на набережной Кутузова. Он не только работал в своей солнечной мастерской, но и жил там. Разумеется, в те часы, когда не превращался в сад, а оставался человеком.

Его назначили членом комиссии по отбору картин для весенней выставки, и он забраковал монументальное полотно одного маститого и очень влиятельного человека. После того ничего не изменилось, кроме квартирного списка. Сид вдруг оказался уже не на седьмом месте, а на семнадцатом. По правде говоря, он не очень огорчился. В двадцать первом столетии он оставил отличную квартиру, полную красивых и легких вещей. Он, конечно, мог легко перенестись туда, но он не мог взять с собой туда Нину. На это он еще не получил разрешения.

Влиятельный человек, переместивший его с седьмого места на семнадцатое, каким-то образом догадался, что Сид нуждается в квартире меньше других.

— У вас же есть жилая площадь, — сказал он Сиду, когда Облаков после трехчасового ожидания оказался в его кабинете.

— Но она далеко, — сказал Сид.

— Что значит далеко? Туда скоро проведут линии метро и трамвая.

— Туда не проведут.

— Проведут. Согласно утвержденному проекту.

— Едва ли. Моя квартира не здесь, а в двадцать первом веке.

Влиятельный человек не умел удивляться даже в годы раннего детства.

— Ну вот, отдали родственникам свою площадь, а потом приходите сюда. Не порядок.

На этом кончился их разговор.

В окно Нининой комнаты был виден пустырь. Однажды Нина подошла к окну и вместо пустыря увидела сад. Она догадалась, что это сделал Облаков. Его в тот час не оказалось дома. Нина догадалась, что он превратил себя в сад и теперь стоит под ее окном, поды-

мая толстые упругие ветви, полные листьев, пахнущих поздней весной.

Затем сад исчез. Вместо него снова торчал пустырь с одинокой будкой и унылым продавцом, принимавшим пустые бутылки. Нина догадалась, что Облакову надоело стоять под окном.

Она услышала его шаги на лестнице. Но то, о чем догадалась Нина, не пришло в голову другим жильцам многоэтажного дома на углу улицы Сириуса и проспекта Космонавтов. Жильцы очень обрадовались, когда увидели на пустыре сад. Они подумали, что в управлении садов и парков появился необыкновенно заботливый садовод, который решил продемонстрировать свое искусство. Но они очень огорчились, когда убедились, что сад, постояв несколько часов, исчез с пустыря. Им показалось это противоестественным и даже противозаконным, уголовно наказуемым явлением. Они хотели подать коллективную жалобу в райисполком. Но один пенсионер-старичок, обладавший большим житейским опытом и рассудительным характером, доказал им, что это явление вполне допустимое.

— Ведь это была декорация, — сказал он.

— А куда она, извините, делась?

— Убрали.

— Почему?

— Использовали для нужного эпизода. Засняли. А потом убрали ради режима экономии. Деревья были не настоящие. Надо это понимать.

Нина стала просить Облакова, чтобы он превращался в сад только по ночам, когда все спят. Он на это согласился не очень охотно. По ночам ему хотелось спать, а не стоять под окном в темноте.

Их жизнь шла как у большинства молодоженов. Они скучали друг без друга, когда расставались всего на час, вместе обедали и ужинали в маленьком ресторанчике с поэтичным названием «Палуба». Ресторанчик действительно чем-то был похож на корабль, он плыл в неведомое вместе со своими, покрытыми белыми скатертями, столиками и миловидными официантками, отказывавшимися от чаевых.

Они походили на всех других молодоженов, только с одной существенной разницей. У Облакова была

странная привычка. Все люди обычно вспоминали свое прошлое, а он вспоминал свое будущее.

Нина с интересом слушала, как жили люди в еще не наступившем столетии. Облаков изображал будущее, словно оно не только будет, но уже было. Он рассказывал о нем довольно подробно.

— А ты на самом деле там был? — иногда сомневалась Нина.

— Был, — отвечал он задумчиво и тихо.

— А почему ты рассказываешь о нем с такой грустью? Тебе хочется туда и ты жалеешь, что ты здесь со мной, в моем времени? Тебе хочется вернуться туда? Может, ты забыл туда дорогу?

— Ты неправильно ставишь вопрос. В нем нет никакой логики. Туда, откуда я пришел, нет дорог.

— Объясни, Сид.

— Это пока не поддается объяснению.

6

Социолог приходил к ним с туго набитым портфелем. У него было озабоченное выражение лица. В его портфеле лежало множество анкет. В каждой анкете было множество вопросов.

Анкеты социолога походили на ловушку, на своего рода интеллектуальный силоч, которым он хотел поймать психологическую сущность творческого процесса. Социолог подвигался к этой сущности не торопясь, исподволь. Он подкрадывался, как подкрадывались дикари-охотники к водопою, где стояли чуткие и пугливые животные каменного века.

— Вы утверждаете, — допрашивал он Облакова, — что у вас бывают галлюцинации и в такие минуты вам кажется, что вы и деревья сада — это одно и то же?

— Мне это не кажется. Я в самом деле обладаю способностью превращаться. Иногда мне это удается.

— Вы не можете описать свое состояние?

— Могу.

— Попрошу быть как можно более точным, — сказал одновременно тоном врача и прокурора социолог.

— Я выхожу на этот пустырь под окном и начинаю превращаться в сад. Я стараюсь это сделать сразу,

чтобы никто не заметил, как человек превращается в деревья. Обычно мне это удается, но не всегда. На днях дворничиха уловила то, что я пытался от нее скрыть. «Глядите! Глядите, — закричала она, — что делается с человеком». Собралась негодующая толпа. Но спас положение рассудительный пенсионер-старик. «Надо понимать эти простые вещи, — сказал он толпе. — Киносъемка. Артист исполняет свою роль в сказке. Отснимут, и всё будет как раньше».

— Это не то, — перебил Облакова социолог, — вы описываете, как воспринимают ваше состояние другие люди. Меня пока не интересует эта сторона дела. Меня интересует, что чувствуете вы. Опишите ваше психологическое состояние.

— Мое психологическое состояние, — сказал Облаков, — похоже на поэму. Я чувствую, что мир и я это одно и то же. Как в хорошей поэме, где нет логических перегородок между явлениями, внутренние события текут свободно, как река.

— Вы в это время творите? — спросил социолог.

— Не я творю, а мною движет что-то более сильное, чем я.

— Вы убегаете от моего вопроса. Я хочу знать, какие ощущения вы испытываете. Вам больно или, наоборот, приятно? Вас угнетает это или примиряет с моментом? Вы чувствуете себя утомленным?

— Я чувствую себя как сад. Деревья стоят десятки, а иногда и сотни лет. Вряд ли им хочется изменить свою позу, присесть или прилечь. Они стоят. Я тоже стою. Но в отличие от них я могу уйти. Сознание, что я не привязан к почве, тоже играет роль.

— Мы не понимаем друг друга, — сказал раздраженно социолог. — Вы убегаете от моего вопроса, от железной логики. Отдохните. Покурите. Минут десять посидите в полном покое, соберитесь с мыслями.

Социолог раскрыл блокнот и записал: «Гипертрофированная образность. Мысленное перебрасывание из одной ситуации в другую. Облакову присуще соощущение. Мир его представлений слишком предметен. Эйдетизм? Возможно, Облаков живет в странном промежутке между действительностью и мечтой».

Социолог вздохнул и закрыл блокнот.

Прошел всего-навсего год. Но в жизни Сиды Николаевича Облакова и его жены Нины произошли большие перемены. Во-первых, Облаков перестал превращаться в сад. Понемногу разучился. А потом и совсем отвык. Во-вторых, он перестал вспоминать о двадцать первом столетии. Воспоминания его переместились в прошлое и стали напоминать старинный семейный альбом. Картины его и акварели уже не поражали Нину и ее знакомых своей необычайной свежестью и новизной. Они были выставлены на продажу в магазин худфонда на Невском и висят до сих пор, несмотря на очень умеренные цены.

Директор худфонда сказал Нине:

— Народ избаловался. Все требуют Петрова-Водкина или Тышлера. А где их взять? Обычной продукции у нас скопилось на несколько миллионов рублей. Картины вашего мужа — капля в этом затоваренном море.

Нине стало грустно. Но она ничего не сказала Облакову, когда вернулась домой.

Облаков мирно спал. Нина тихо, на цыпочках, чтобы не разбудить его, собрала пустые бутылки, сложила их в кошелку и пошла на пустырь, в будку бутылочника.

На скамейке грелся рассудительный пенсионер-старичок и пожилая надменная дама, бывшая красавица, заведующая театральным буфетом в отставке.

Бывшая красавица сказала старичку пенсионеру:

— Пустырь, да еще такой неудобный. Хоть бы деревья насадили, цветы. Давно об этом мечтаю.

— А что толку? — возразил пенсионер. — Нам всё равно не дожидаться, когда деревья вырастут. Слишком длинная это процедура.

Нина услышала горькие слова пенсионера, когда сдавала бутылки, и почему-то снова огорчилась. Не то ей было жалко старичка, что он не увидит сада, не то жаль себя за то, что ее жизнь с Облаковым, начавшись так необычно и сказочно, вдруг стала очень обыкновенной.

Вернувшись домой в свою комнату, Нина увидела, что Сид Николаевич уже встал и принялся за работу. Он уже давно писал картину из жизни начинающих

волшебников, которые учились тому, как делать чудеса. Волшебники на картине выглядели довольно прозаично и почему-то имели сходство с тем сумрачным человеком из будки, который принимал пустые бутылки.

Нина осмелилась и спросила робко:

— Сид, почему твои волшебники имеют сходство с продавцом, который только что забраковал у меня две бутылки?

Она надеялась, что, отвечая, Облаков скажет: «Ты неправильно поставила свой вопрос».

Но Облаков давно уже перестал интересоваться логикой. Он ответил, позевывая:

— Я разучился работать без натуры. Я не доверяю фантазии. Фантазия может увести меня от жизни и завести бог знает куда.

— Но это же волшебники!

— Ну и что? От волшебников нет никакого проку. А тот человек в будке делает полезное и интересное дело — он принимает пустые бутылки.

Слова Облакова прозвучали логично, и Нина не нашла, что ему возразить.

— Сид, — спросила она тихо, — а ты не мог бы превратиться в сад, хотя бы на полчаса?

— Зачем?

— Мне очень хочется.

— Глупости. Пустая забава. Высказывать такие желания даже неэтично.

Нина обождала, пока Облаков вымыл кисть и положил ее сушить на подоконник. Потом они пошли в ресторан «Палуба» обедать.

Ресторан уже не походил на корабль и никуда не плыл, а, как и полагалось ресторану, стоял на месте. Скатерти уже не отличались чистотой и официантки подавали, не улыбаясь.

— Сид, — спросила тихо Нина, — ты, кажется, был у начальника паспортного стола в милиции.

— Да, — ответил он лениво.

— Зачем?

— Как зачем? Не могу же я ходить с паспортом, где написано, что я родился в две тысячи третьем году? Согласно моему документу меня еще нет. Где же тут логика?

— Но мне это очень нравилось, Сид, что ты родился в еще не наступившем веке. И мне было так хорошо, что ты умел превращаться в сад.

— Это было дико, Нина! Нелепо!

— Не знаю. Но когда ты превращался в сад, ты был другой и картины у тебя тоже были другие. Тебя как подменили.

8

Социолог пришел в этот раз без портфеля и без анкет. Он был очень взволнован.

— Сид Николаевич, — сказал социолог, не скрывая своей тревоги. — От вашей жены на днях я узнал, что вы перестали превращаться в сад?

— Перестал.

— Почему?

— Мое превращение или непревращение в сад уже самим фактом отрицает причинность. Оно алогично. Его нельзя объяснить с научных позиций вашего времени.

— Вы повторяете те слова, которые я вам говорил, когда изучал вашу психологию.

— Ну и что ж! Я усвоил ваши советы. И стал вести себя вполне обыденно, как ведут себя все остальные люди. Не понимаю, чем вы недовольны?

— А вы не могли бы еще раз превратиться в сад хотя бы на десять минут? Я очень вас прошу. Я был настолько неосторожен, что опубликовал статью о вашем свойстве в одном научно-популярном журнале. Назначена комиссия проверить мой эксперимент.

— Ваш эксперимент?

— Ну, не мой, а ваш. Вернее, вашу способность полиморфизма. Сегодня вечером специальная комиссия придет к вам познакомиться с вашими феноменальными особенностями.

— Я разучился. Отвык. У меня может не получиться без тренировки.

— А вы потренируйтесь. Я засекаю время.

Социолог взглянул на часы.

Облаков ленивой походкой вышел на пустырь. Вдруг стало темно. Ветви внезапно возникшего на пу-

стыре сада заслонили небо. В окно влетел запах сирени и влажных листьев.

— Здорово! — сказал социолог Нине. — Получилось! Сработало! Смотрите! Действительно необычный феномен. Не знаю только, как его теоретически обосновать. Идемте вниз, походим возле деревьев, подышим свежим воздухом, подумаем об этом необъяснимом факте духовного и физического полиморфизма.

Нина и социолог спустились вниз, прошли через дворик и оказались в саду.

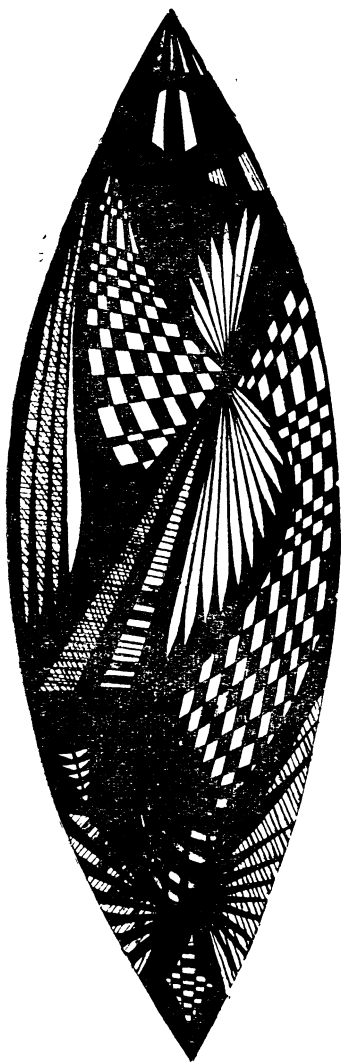
На скамейке сидели бывшая красавица, заведующая театральным буфетом в отставке, и старичок пенсионер.

Бывшая красавица сказала восхищенно:

— Как быстро научились выращивать деревья! Утром был пустырь, а сейчас, смотрите, какой густой сад.

— Он не настоящий, — возразил старичок. — Декорация. Приедут. Произведут съемки. И уберут. Надо это понимать.

...Нина ждала весь день, а потом ночь и утро. И снова наступили сумерки, но сад по-прежнему стоял на пустыре.



Керк возвратился ночью. Моруар ждал его в библиотеке Центра. Заслышав шаги, Моруар вышел в ярко освещенный коридор:

— Удалось?

Керк устало пожал плечами:

— Я опоздал... И, разумеется, это не имело смысла. Наведенная радиация оказалась чертовски интенсивной... Какой-то совершенно неизвестный вид излучения... От него, по-видимому, не существует защиты, в наших условиях, ко-

*Александр
Шалимов*

ПУТЬ В „НИКУДА“

фантастический рассказ

нечно, и на нашем уровне знаний...

— Что они сделали с телом?

— Ты хочешь сказать, с тем, что осталось от тела?... Тау-мезонный распад. Иного выхода не было... Они превратили его в струю мезонов еще до моего приезда.

— Так... Что же это могло быть, Кер?

— Не знаю. Кажется, и Старик не знает... Во всяком случае, он так сказал...

— Может быть, неизвестное излучение — результат слишком резкой деформации поля?

— Мику уже трижды удавалось деформировать поле. И даже получать нечеткие видеосигналы надпространства. Всё шло в соответствии с принципом Парри. Процесс был обратимым, полностью поддавался контролю. И никаких следов неизвестных излучений... Сегодня днем впервые процесс стал неуправляемым. И тогда возникло это излучение.

— Жаль Мика...

— У него был легкий конец, Моруар. Одна стомиллионная доля секунды — и мозг превратился в радиоактивную кристаллическую пыль. Он даже не успел подумать, что происходит.

— Как знать...

— Разумеется, этого мы не узнаем, пока не придет наш черед. Мало кто из наших умирает от старости... Если бы существовала возможность выбора, я предпочел бы такой конец, как у Мика: лучше сразу, сейчас, чем заживо гнить от злокачественных опухолей несколькими годами позже.

— А что сказал Старик? Как с продолжением работ?

Керк зло усмехнулся:

— Уж не воображаешь ли ты, что работы будут продолжаться? Как бы не так: всякий доступ в наш район уже закрыт. На дорогах кордоны. Завтра приезжает специальная комиссия. Нас всех в карантин. Лаборатории опечатывают. Вокруг корпуса, где работал Мик, возведут специальный колпак-экран. Вход туда будет закрыт на десятилетия. Счастье еще, что излучение оказалось направленным, а лабораторный корпус Мика стоит над самым обрывом. Луч ударил в воздух и ушел за пределы атмосферы. А иначе...

— Ужасающая бессмыслица! — вздохнул Моруар. — Остановиться, когда подошли к самому порогу тайны. А Мик даже ступил на него.

— Чтобы не возвращаться. Нет, коллега, назови меня кем угодно, но я даже рад, что работы будут приостановлены. Орешек еще не по зубам. За порогом Парри

притаилось что-то непостижимо страшное. Когда человечество повзрослеет на несколько столетий...

— А ты убежден, что оно ими располагает?

— Атомная война? Нас пугают ею не первый десяток лет. Нет, Моруар, панический страх перед ее последствиями — гарантия, пожалуй, не менее надежная, чем всеобщее разоружение, на которое никто не хочет согласиться. И еще одно, дорогой коллега: надеюсь, ты не думаешь, будто мы рвемся на порог Парри, чтобы начать предсказывать будущее. Для этого нам просто не дали бы денег. Как тебе хорошо известно, четвертое уравнение Парри позволяет подсчитать избыточную энергию деформации гравитационного поля. Источник ее пока непонятен, как, в общем, непонятна и вся теория Парри. Мы ее приняли, она позволила связать в единую систему энергетические процессы макро- и микромира. Однако согласись, что сами процессы от этого понятнее не стали. Парри шагнул гораздо дальше Эйнштейна, но физическая сущность гравитации остается не менее загадочной, чем сто лет назад. Я уже не говорю о физической сущности полей времени... Парри их предсказал, мы подошли вплотную к доказательству их существования, но... Вся беда в том, что Парри сошел с ума раньше, чем проанализировал свои уравнения. Если бы он успел это сделать, он, вероятно, уничтожил бы свою работу, вместо того чтобы рассказать о ней человечеству.

— Ты имеешь в виду четвертый постулат?

— И его тоже, Моруар. Но я рассматриваю этот вопрос шире. Существует категория людей, которые приходят на свет много раньше, чем им следовало бы. Некоторых человечество окрестило гениями. Гении всегда доставляли миру массу хлопот, но в прошлом они не были общественно опасны. С ходом истории положение изменилось. Уже работы Эйнштейна и его современников привели человечество на грань катастрофы. Открытия Парри — начало цепной реакции всеобщего уничтожения: уничтожения человечества, Земли, Солнечной системы, Галактики. Кое-что Парри все-таки успел сообразить — не случайно он помешался. Наш Старик тоже из этой породы — общественно опасных гениальных безумцев...

— Ты переутомился, Кер, и на тебя тяжело подействовала гибель Мика. Тебе необходимо отдохнуть...

— Мы все теперь будем отдыхать неопределенное время, пока не кончится карантин и каждый не найдет себе новой работы.

— Если Центр закроют, для Старика это будет страшный удар. Парри был его другом. Цель его жизни — в продолжении исследований Парри.

— Черт бы их побрал, всех этих фанатиков науки. Ведь Старик-то, во всяком случае, отдает себе отчет, какое употребление собираются сделать из уравнений Парри. Там, наверху, нужна энергия. Энергия, при помощи которой они могли бы уничтожить политических противников. Атомная война — обоюдоострый меч. А если использовать энергию деформации гравитационного поля? Это страшнее и, главное, опасно для того, кто наносит первый удар. Четвертое уравнение Парри, казалось бы, открывает пути к овладению этой энергией, но надо преодолеть порог Парри. Теоретически он преодолим. Нужен лишь поток соответственно ускоренных частиц. Практически же при этих скоростях начинаются деформации полей времени... Исследователь попадает в странный мир, где фантастически взаимодействуют четырех-, пяти-, шестимерные пространства со своими временными полями. Дьявольская вакханалия, в которой нарушается всякая причинность и связи, ход времени перестает быть необратимым, будущее вклинивается в прошлое. Парри сошел с ума от того, что открылось его мысленному взору. А сегодня мы получили наглядное свидетельство сил, таящихся за порогом Парри. Контакт продолжался всего одну стомиллионную секунды. А если бы брешь в надпространство просуществовала более длительное время? Или вообще не закрылась бы?.. Тогда в данный момент нашего земного времени, по-видимому, уже не существовало бы не только нас с тобой, Моруар, но и Земли и Солнечной системы, быть может всей нашей Галактики. Вот что продемонстрировал сегодняшний эксперимент Мика, вот что, по-видимому, кроется за его гибелью. И они там кое-что поняли, поэтому так переполошились, поставили кордоны, приказали Старика приостановить все работы... Нет, нет, не перебивай, Моруар! Я допускаю, что порог Пар-

ри — не окончательный предел, готов допустить, что Мик, как слепой щенок, просто ткнулся не туда, куда следовало... Не исключаю, что порог Парри действительно открывает пути к отдаленнейшим галактикам, в прошлое и даже в будущее... Но я убежден, что земное человечество еще не доросло до подобных открытий. Даже в нашем безумном мире никто не позволил бы трехлетнему ребенку забавляться самой маленькой термоядерной бомбой. Перед явлениями, которые ждут нас на пороге Парри, мы с вами, Моруар, и даже Старик — трехлетние дети, дети, протянувшие руки к самой опасной игрушке, которая когда-либо возникала на пути человечества...

В пустом коридоре послышались торопливые гулкие шаги. Сгорбленная фигура в темном плаще и берете мелькнула за приоткрытой дверью.

Керк и Моруар переглянулись.

— Это Старик, — пробормотал Керк, закусив губы.

— Пойдем...

— Зачем? Пусть побудет один. Мы не нужны ему сейчас.

— Ужасно, всё это ужасно, — покачал головой Моруар. — Неужели нет выхода?.. Развитие науки остановить нельзя. Основная черта разума — стремиться вперед, без конца вперед, навстречу неведомому, навстречу...

— Гибели, — подсказал Керк.

— И гибели тоже... Гибели индивидов... Бессмертие человечества в другом — в передаче эстафеты жизни и... своих стремлений.

— Так было до сих пор, — кивнул Керк. — Но дальше — великая неизвестность и не только для индивидов нашего поколения.

— Возможно, ты прав. И все-таки должен же найтись какой-то выход...

— Выход лишь в продолжении пути, в продолжении исследований, — раздался гортанный хриплый голос. В тишине библиотеки он прозвучал почти как крик.

Керк и Моруар стремительно обернулись.

Старик выглядел страшным. Мутные слезящиеся глаза без ресниц, перекошенные фиолетовые губы, гримаса тоски и боли на желтом пергаментном лице. Пошатываясь, он шагнул к столу. Опустился в кресло.

Дрожащими пальцами шарил у горла, пытался распустить галстук. Моруар хотел помочь. Старик гневно отстранился, замахал руками. Откинувшись на спинку кресла, он некоторое время сидел неподвижно. Тяжело дышал приоткрытым ртом.

Моруар и Керк молча ждали.

— Он знает? — не глядя на них, Старик кивнул в сторону Моруара.

— Да...

— Идемте.

Они молча повиновались.

Спустились в первый этаж, вышли в парк. Старик почти бежал, торопливо поворачивая из одной аллеи в другую. Потом пошел напрямик через освещенные луной газоны.

— Неужели он ведет нас в лабораторный корпус Мика? — шепнул Керк.

Моруар молча пожал плечами.

Когда темные громады лабораторных корпусов появились из-за деревьев, Керк остановился.

— Профессор... — неуверенно начал он.

— Если боитесь, возвращайтесь, — отрезал Старик, не оборачиваясь. — Идемте, Моруар.

— Идем, — Моруар потянул друга за руку. — Он знает, что делает.

— Но это безумие, — крикнул Керк. — Наведенная радиация! Там верная смерть.

— Там нет никакой радиации, — отозвался Старик, не замедляя шагов. — Быстрее, у нас мало времени.

— Но мы даже не захватили индикаторов, — снова закричал Керк. — Зачем так рисковать?

— Повторяю: там нет радиации. Эти глупцы из Верховного надзора ровно ничего не поняли...

— Но зачем сейчас? — Керк рванулся из рук удерживающего его Моруара. — Завтра утром можно всё проверить и тогда...

— Завтра будет поздно. Отпустите его, Моруар. Этот человек трус. Мне стыдно, что он был моим учеником.

— Но, профессор, вместо того чтобы оскорблять меня, лучше объяснитесь...

Не отозвавшись, Старик снова двинулся вперед.

— Профессор!

— Моруар, быстрее, мы теряем время.

Керк почувствовал, что его охватывает гнев:

— Вспомните категорический приказ комиссара Верховного надзора. Если я позвоню ему сейчас, он...

— Подлец! — прошептал Моруар.

Конечно, он прав. Не следовало так говорить. Старик никогда не простит этого. Но там, в этих темных корпусах, их ждет верная смерть. Без сомнения, они уже вступили в зону опасной радиации...

Керк почувствовал головокружение. Может быть, это результат радиации? Что же делать?.. Он замедлил шаги. Расстояние между ним и Моруаром быстро увеличивалось. Старик бежал далеко впереди. Он уже приближался к первому корпусу.

И тут Керка осенило. Ну, конечно, Старик прав. Наружные индикаторы, установленные на стенах лабораторий, не светились. Снаружи радиации уже не было. Но внутри?.. Впрочем, лаборатория Мика еще далеко. Она в последнем корпусе.

Керк догнал Старика и Моруара у массивной двери. Старик торопливо крутил диски, набирая условный шифр. Дверь не отворялась.

«Может быть, он забыл шифр?» — с облегчением подумал Керк.

Однако слышались звонки условного кода, и дверь бесшумно скользнула в сторону. Старик, не оглянувшись, шагнул внутрь. Моруар последовал за ним. Керк подождал несколько секунд. Дверь не закрывалась. Старик давал ему последний шанс. Керк выругался и медленно переступил высокий порог. Сзади прощелестела закрывшаяся дверь.



— Контрольная магнитная запись эксперимента должна сохраниться. — Старик обращался только к Моруару; он делал вид, что не замечает Керка. — Мне пришла в голову одна мысль... Если запись подтвердит ее, мы попробуем исправить то, что натворил Мик. Может быть, удастся вернуть его...

— Что? — это вырвалось у Керка.

— Во всяком случае, надо повторить экспери-

мент, — рассеянно пробормотал Старик, быстро листая свою записную книжку.

— Вот, — он снова обращался только к Моруару. — Это следствие из четвертого уравнения Парри. Смотрите, что получается...

Карандаш Старика быстро забегал по бумаге.

— О, — сказал Моруар.

— А теперь еще вот это...

— Поразительно! — Моруар выглядел взволнованным.

«О чем они?» — думал Керк, вытягивая шею и сясь заглянуть через плечо Моруара. Однако низко склоненные головы заслоняли формулы.

— Надо принести кассеты с магнитными записями, — сказал Старик. — Они должны находиться на месте в шахте «Д». Не думаю, чтобы там что-нибудь пострадало.

«Шахта «Д» — это под лабораторным корпусом Мика, — мелькнуло в голове Керка. — Неужели Моруар решится?..»

Моруар мельком оглянулся на Керка. Их глаза на мгновение встретились. Керк прочел во взгляде друга сомнение и страх.

— Ну, идите же, — нетерпеливо крикнул Старик. — Или оставайтесь, пойду я...

— Иду, — шепнул Моруар не разжимая губ. Его лоб покрылся крупными каплями пота. Одна из них прочертила след по стеклу очков. — Иду, — повторил Моруар. Он выпрямился, откинул со лба волосы и, не взглянув на Старика, быстро вышел из лаборатории.

— Не бойтесь, — крикнул ему вслед Старик. — Мы прикроем вас защитным полем.

— Он пошел на верную смерть, — сказал Керк, сжимая кулаки.

— Чепуха, — презрительно скривился Старик. — Включите главный генератор. Ну, что стоите, быстро!

Керк молча повиновался. Послышалось нарастающее гудение. Замигали цветные сигналы на пульте управления. Старик подошел. Молча следил за указателями.

— Включайте поле блока «Д».

Стиснув зубы, Керк потянул на себя красную ручку. Вспыхнула рубиновая надпись: «Внимание. За-

щитное поле! Включать только в случае крайней опасности».

— Ну!

Керк повернул рукоятку вправо до отказа. Тотчас послышались прерывистые звонки, тревожно замигали красные сигналы и металлический голос бесстрастно произнес: «Тревога. В секторе «Д» включено защитное поле. В секторе «Д» включено защитное поле. Не покидать лабораторий. Не покидать лабораторий»...

— Они всё равно узнают, — упрямо сказал Керк.

Старик не ответил. Он не отрывал воспаленных слезящихся глаз от указателей.

«Это настоящее безумие, — твердил про себя Керк, стискивая зубы, чтобы не стучали. — Старик лишился рассудка после гибели Мика. Мы все обезумели... Кажется, я тоже схожу с ума. Что мы делаем? Чем всё это кончится?»

— Моруар возвращается, — хрипло сказал Старик. — Выключайте поле. Только постепенно. Генератор оставьте включенным...

Звонки затихали, рубиновые сигналы гасли один за другим. Бесшумно отворилась дверь. Вошел Моруар. Он был очень бледен, но казался спокойным. Керк бросил быстрый взгляд на экран индикатора радиации. Экран не светился. Значит, в шахту под корпусом «Д» излучение не проникло? Или это сработало защитное поле? Впрочем, снять наведенную радиацию оно не могло... Неужели Старик прав и радиация уже исчезла? Зачем же тогда он велел включать защитное поле?

— Вот кассеты с записями, — сказал Моруар. — Там всё в полном порядке, но... — он запнулся.

— Но, — повторил Старик, — не тяните. Что вы там обнаружили?

— Какая-то чепуха с отсчетом времени. Все контрольные часы показывают что-то странное. Вот, я записал отсчет.

— Покажите... Интересно... Получается, что все контрольные часы корпуса «Д» ушли вперед на семьсот восемьдесят четыре дня, семнадцать часов, сорок одну минуту и тридцать шесть секунд с какими-то долями. Что я говорю! Превосходно!

— Они вышли из строя, — сказал Керк. — Вышли из

строая в момент эксперимента, в момент... когда... возникло неизвестное излучение.

— Однако они продолжают идти, — возразил Моруар. — Они не остановились и все показывают одно и то же.

— Именно, — сказал Старик. — Они продолжают идти и все показывают один отсчет. Это очень важно... Кстати, Моруар, а что показывают ваши часы?

— Мои? — удивился Моруар. — Я проверял их сегодня вечером. Они... Что такое? — крикнул он, бросив взгляд на ручные часы. — Они... они тоже ушли вперед.

— И, конечно, тоже на семьсот восемьдесят четыре дня, семнадцать часов, сорок одну минуту, не так ли?

— Да, — растерянно сказал Моруар, читая отсчеты на календаре циферблата. — Всё именно так. Неужели я...

— Да. Вы побывали в будущем, Моруар. Благодаря Мику. Ему удалось деформировать поле времени, и деформация сохранилась.

— Но в какой же момент я... — начал Моруар.

— Вы имеете в виду границу? Вы преодолели ее незаметно благодаря защитному полю. Керк включал его в ваше отсутствие.

— Значит, побывав в подземельях блока «Д», я стал старше на два года?

— Вероятно, Моруар. Но это надо еще уточнить. Завтра мы подвергнем вас всестороннему обследованию...

— Однако что произошло в лаборатории Мика? — спросил Керк, покусывая губы.

— Сейчас попробуем установить. Если, конечно, магнитная запись поддается расшифровке... Моруар, включите-ка первую пленку в анализатор. А вы, Керк, следите за режимом главного генератора. Надо выжать из него всё, на что он способен.

— Но, профессор...

— Теперь прошу не перебивать. Мы приступаем к опасному эксперименту. Внимание...

Некоторое время они молча следили за пляской зеленых кривых на вогнутом экране анализатора.

— Кажется, вначале всё шло нормально, — шепнул Моруар. — Вот только эта странная спираль... Получается, что Мик...

Не отрывая взгляда от экрана, Старик яростно потрянул головой. Прошло еще несколько минут. Кривые продолжали свой бесшумный бег. И вдруг на экране что-то произошло. На мгновение изображение замерло, потом дрогнуло и распалось на тончайшие извивающиеся волокна. Потом всё завертелось в ослепляющей спирали. И сразу — тьма.

— Порог Парри, — одновременно вскрикнули Керк и Моруар.

— Параметры, быстро, — прохрипел Старик.

Защелкали самопишущие устройства, выбросили длинную перфорированную ленту, покрытую столбцами цифр. Старик схватил ее, принялся жадно разглядывать. Экран снова вспыхнул, и снова на нем зазмеились кривые.

Теперь Старик не обращал на них никакого внимания. Взгляд его был прикован к перфорированной ленте. Он водил по ней пальцем, что-то бормотал.

Моруар продолжал следить за экраном.

— Странно, — шепнул он Керку, — очень странно. Прорыв неизвестного излучения, которое убило Мика, очевидно, соответствует моменту темноты на экране. По времени всё совпадает. Этот момент зафиксирован контрольными постами нашего центра. Дальше вся аппаратура вокруг вышла из строя, а в эпицентре прорыва под лабораторией Мика приборы продолжали действовать, словно эксперимент еще продолжался. Что это может означать?

— Просто неизвестное излучение оказалось направленным, — сказал Керк. — Кажется, я уже говорил об этом...

— Да, но вот кривая записи биотоков мозга Мика. — А ведь он был уже мертв?

— Действительно странно, — заметил Керк. — Получается, что эксперимент продолжался после прорыва излучения, хотя этого явно не могло быть. Это, конечно, трюк аппаратуры.

— Или времени, — возразил Моруар. — Смотри, ведь здесь уже какая-то иная система отсчета времени. Она совершенно непонятна, но явно это не наше время. Вероятно, поэтому и мои часы...

— А, — с раздражением бросил Керк, — всё это че-

пуха! Излучение вывело из строя аппаратуру, а мы пытаемся теперь искать смысл в бессмыслице.

— В записи, которая проходит сейчас перед нами, бессмыслицы не больше, чем во всей физике высоких энергий. В конце концов что такое теория Парри, как не попытка внести какой-то смысл в чудовищное нагромождение бессмысленностей.

— Вот на экране кривая биотоков Мика. Не станешь же ты убеждать меня, что это реальная кривая реальных биотоков. Ведь Мика уже не существовало.

— Ты забываешь об относительности времени, Кер. Запись сделана после того, как порог Парри перейден. Мы ничего не знаем о закономерностях, которые царят там. Ведь даже Парри не дал теории надпространства. Он постулировал его, и всё.

— Уж не хочешь ли ты сказать...

— Перестаньте спорить. — Старик поднял голову от записей и глянул на экран. — Кажется, всё так и есть, как я предполагал. Сейчас мы всё выясним. Если, конечно, хватит мощности генераторов...

— Что вы хотите сделать? — спросил Керк.

— Исправить с вашей помощью ошибку Мика.

— Каким образом?

— Мы повторим его эксперимент.

— Сейчас?

— Разумеется; завтра мы не сможем это сделать.

— Это же безумие.

— Не большее, чем всё то, чем мы занимались до сих пор.

— Но в этой лаборатории нет необходимых установок.

— Мы будем экспериментировать отсюда на установках корпуса «Д».

— Вы, вероятно, забыли, профессор: там всё разрушено. Радиоактивный труп Мика через крышу был выброшен в парк. Его нашли в ста метрах от лаборатории.

— Да-да... Радиоактивный труп! Глупцы!.. Они поторопились! Эта торопливость может дорого обойтись. Полностью уравновесить процесс теперь не удастся... Но все-таки мы должны попробовать. Вы согласны, Моруар?

— Да, — ответил Моруар, не поднимая глаз.

— Вы, Керк, не согласны, я знаю, но и вам придется принять участие в эксперименте. Я вас не выпущу отсюда, тем более что там, в надзоре, уже знают... Знают, что вопреки приказу я нахожусь сейчас в лаборатории высоких энергий Центра. Знают, что включалось защитное гравитационное поле над корпусом «Д». Они еще только не догадываются, что я хочу предпринять. Вы можете даже поговорить с ними, Керк: для этого я включу на минуту переговорный канал. Вы можете им сказать, что находитесь тут вопреки своему желанию. Это облегчит вашу участь, если мы выйдем отсюда живыми.

«Он выключил переговорные устройства и видеофоны, — мелькнуло в голове Керка. — И, конечно, изменил шифр на автоматических замках выходных дверей. Теперь без него отсюда не выйти. И не войти... Все лабораторные корпуса построены из сверхпрочного терранит-бетона. Только энергия, прорвавшаяся сегодня в ходе эксперимента Мика, смогла разрушить часть корпуса «Д».

— Так включить переговорный канал? — спросил Старик, в упор глядя на Керка.

Керк пожал плечами. Он вдруг ощутил страшную усталость. Ему всё стало безразлично. «Судьбы мира в руках безумцев», — кто это сказал? А впрочем, не всё ли равно. Сначала Парри, теперь — Старик... «Судьбы мира в руках безумцев...» В конце концов ему, Керку, некого винить... По своей воле стал физиком. По своей воле вошел сюда сегодня ночью вслед за Стариком и Моруаром.

— Перестаньте глупить, профессор, — тихо сказал Керк. — Мы не дети. Я всё понимаю. Я шесть лет был вашим учеником. Верил вам... Это всё гибель Мика. Она у всех у нас выбила почву из-под ног. Лучше идемте теперь, а завтра...

— Вы разговариваете со мной, как с идиотом, — усмехнулся Старик. — Вы ошибаетесь, Керк. Я в здравом уме, и никогда память моя не была столь емкой и ясной, как сейчас. Я действительно хочу повторить эксперимент Мика; более того — я считаю себя обязанным сделать это. Не скрою, вероятность успеха не особенно велика, но она существует. Разумеется, мы можем и погибнуть, но ведь мы — экспериментаторы. В общем, ре-

шайте: или вы остаетесь здесь с нами, или спуститесь в шахту, под этим корпусом, где стоит контрольная аппаратура. Минуту вам на размышление. А пока послушаем, что происходит за стенами этого здания...

Старик нажал кнопку переговорного устройства. И тотчас гул голосов наполнил лабораторию. Потом на его фоне послышался резкий властный голос:

— Профессор, обращаюсь к вам в последний раз. Вы не можете нас не слышать. Приказываю покинуть лабораторию. В противном случае я вынужден буду связаться с президентом и попросить разрешение уничтожить корпус, в котором вы сейчас находитесь. Я жду вашего ответа. Отвечайте немедленно.

— О, — пробормотал Старик. — Сам председатель Верховного надзора! Он уже здесь... Они здорово переполошились... Я слушаю вас, господин председатель, — громко произнес он, обращаясь к экрану переговорного устройства, — что вам угодно?

Гул, доносившийся с экрана, затих. Потом прозвучал голос председателя:

— Включите видеофон, я хочу знать, что вы сейчас делаете и кто с вами.

— Видеофоны не работают. Я здесь один. Это всё, что вас интересует?

— Нет. Зачем вы включали защитное гравитационное поле над местом катастрофы?

— Я проверял аппаратуру.

— Вы лжете, профессор. Почему вы нарушили мой категорический приказ?

— Никто не имеет права запрещать исследователю проведение экспериментов.

— Если эксперименты не угрожают человечеству.

— Человечеству, — насмешливо повторил Старик. — Вы, значит, печетесь о благе человечества. Это для меня новость.

— Прекратим бессмысленную пикировку, профессор, — жестко произнес невидимый голос, — отвечайте, согласны вы покинуть лабораторию?

— Чтобы очутиться в руках ваших молодчиков?

— Да, я арестую вас... до завтрашнего утра.

— Я должен подумать.

— Сколько времени вам надо на раздумье?

— Минут пятнадцать...

Переговорный экран умолк. Видимо, люди, собравшиеся перед лабораторным корпусом, совещались.

— Хорошо, даю вам пятнадцать минут, — послышался голос председателя, — но предупреждаю, если вы...

— Я вам ровно ничего не обещаю, — прервал Старик, — а теперь не мешайте мне думать. И советую уйти от дверей лабораторного корпуса. Лучше подождите в библиотеке Центра. Я оставил ее открытой... Обещаю вам, что не убегу. А теперь, простите, шум, доносящийся с экрана, мешает мне думать...

— Ну вот, — сказал Старик, выключая переговорный экран. — У нас пятнадцать минут, этого должно хватить. Тем более, что главный генератор уже включен.



— Всё готово, — крикнул Моруар. — У нас остается еще семь минут.

— Только бы хватило мощности генераторов, — ворчал Старик. — По существу, всё это чертовски просто... Уравнивание полей времени. Гравитационный эффект Парри позволяет осуществить его в пределах замкнутой системы. Замкнутую систему мы создадим при помощи усиленного защитного поля... Эти глупцы сейчас опять переполошатся...

— Но может быть, кто-то из них остался у входа в лабораторию, — осторожно заметил Моруар.

— Что ж, тем хуже для тех, кто остался. — Надеюсь, успеют скрыться в убежищах. У нас нет иного выхода. Керк, включайте защитное поле над корпусом «Д». Так... Теперь предельно сконцентрируйте его. Внимание! Переключаю поток энергии на гравитаторы корпуса «Д»...

Керк в оцепенении следил за пляской огней на пульте управления. В последний момент до его сознания дошло: аппаратура корпуса «Д» сейчас окажется под нагрузкой. Там всё разрушено прорвавшимся излучением. Сейчас весь чудовищный заряд энергии главного генератора ударит в разрушенную лабораторию, прорвет защитное поле... Это конец — для них, для города, может быть даже для всей страны.

Он откинулся в кресле и зажмурил глаза. Слышно было, как пощелкивали счетчики гамма-излучения.

Стиснув зубы, Керк считал про себя:

— Один, два, три... десять.

— Всё, — послышался голос Старика. — И, кажется, удалось. А вы оба молодцы.

Керк открыл глаза. Огни на пульте гасли один за другим. Старик приблизился, протянул костлявые пальцы к рукояти защитного поля. Медленно поворачивал ее.

Керк встал. Пошатываясь, подошел к Моруару. Тот сидел, низко склонившись над освещенным видеоэкраном.

— Как ты думаешь, почему он все-таки не переключил энергию на корпус «Д»? — шепнул Керк.

Моруар обернулся. В его взгляде Керк прочел изумление.

— Он всё переключил вовремя. И всё удалось. Блестяще удалось... Смотри.

Моруар отстранился от экрана. Керк увидел на ярко освещенном видеоэкране лабораторию Мика. Там всё было на месте, в полном порядке. А в кресле перед экранами гравитаторов сидел Мик. Он был в том самом белом халате...

Мик сидел, низко опустив голову, потом шевельнулся, встал, огляделся с недоумением, бросил взгляд на часы и заторопился к выходу.

— Сейчас он придет сюда, — сказал Старик. — Смотрите, о той истории ему ни слова.

Керк ошеломленно тер лоб, пытаясь сообразить, что происходит.

— Галлюцинация? — пробормотал он наконец.

— Никакой галлюцинации, — рассердился Старик. — Сейчас он войдет, и вы убедитесь. Эффект «запечатанного времени». Парри предсказал его, но обосновать не успел. Нам удалось «распечатать время», уравнивать его поля. Сегодня мы доказали еще одно положение Парри... А Мик, скорее всего, ничего не помнит. Воображает, что заснул. Заснул во время эксперимента.

— А как же тот... радиоактивный труп? Это был труп Мика, я сам видел...

— Тсс, он сейчас войдет. Это случайное совпаде-

ние... Во время эксперимента, преодолев порог Парри, он случайно попал на момент своей смерти. Будущей смерти, конечно. Мик погибнет через два года с небольшим во время какого-то эксперимента. Помните, на счетчике времени: семьсот восемьдесят четыре дня... Кто мог бы предполагать такое совпадение. Ведь вероятность его совершенно ничтожна. Но именно оно и привело к эффекту «запечатанного времени». А вот и Мик... Включите видеофоны, Керк, а то председатель Верховного надзора еще подумает, что я обманул его...



Когда до поверхности осталось около полутора тысяч километров, Сергей Волохов еще не мог сказать определенно, обитаема планета или нет. Три малых спутника, мимо которых он проскочил, были похожи на искусственные, но и тут он не мог сказать ничего определенного.

Прежде всего сесть, а там будет видно.

Волохов задал программе своему кибер-дублеру: три витка и посадка на во-

Ольга Дарионова

у моря, где край земли...

рассказ

ду в экваториальной зоне. Это если что-нибудь случится с ним, Волоховым, но его корабль еще будет способен подчиниться воле и расчету автомата. Мало ли что бывает, когда садишься на незнакомую планету, пусть вроде бы и похожую на Землю, но всё же — чужую, да еще садишься в первый раз, если не считать вынужденных учебных посадок на Регине-дубль. Да еще у тебя не работает метеоритный локатор и нет связи, а сам ты далеко, не-

мыслимо далеко, так далеко, как никто еще не бывал, потому что бывали самое большее — в шестой зоне дальности, а ты сейчас — в седьмой.

Корабль шел по тугой спирали, он не сделал еще и одного витка, но Волохов уже знал, где он попытается сесть. Вон там, на западной оконечности экваториального материка. Там, где желтый язык пустыни выползает к самому океану, размыкая тонкую зеленоватую полосу прибрежной растительности. Удобное место. Если у тех, кто там, внизу, нет еще космодромов, надо будет предложить им построить первый именно здесь.

Волохов усмехнулся — ох, уж эти контакты, вожденные контакты, которыми бредят первокурсники астронавигационных школ. Вот так именно и бредят: сяду, мол, и тут же объединенными усилиями начнем строить космодром... Но ведь прежде всего надо сесть.

Волохов пошевелил плечами, проверяя в последний раз, удобны ли крепления, и резко бросил машину вниз. Нечего крутить лишние витки, можно сесть и на втором.

Планета была молодчиной: она даже не имела ни одного пояса радиации, и обидно было бы нарваться на какую-нибудь каверзу вот сейчас, когда до поверхности каких-нибудь полтора витка, и машина медленно входит в ночь, и ночь эта выгибает навстречу свой пятнистый горб, испещренный мутными растекающимися огнями больших городов.

Вот те на, спохватился вдруг Волохов, а ведь это и вправду города! Огромные, четко спланированные, сытые энергией города! Хорош бы я был, если бы сунулся сюда, на ночную сторону, не имея запаса высоты. Надо вылезать на свет. И поскорее, потому что локаторы полетели к чертям.

На дневную половину он выскочил внезапно и тут же повел машину вниз. Вот-вот должен был начаться тот пустынный, хорошо прожаренный экваториальный материк, который он облюбовал для посадки. Волохов снизился до трех тысяч метров и тихо пополз над проступившей под ним землей. Здесь она казалась необитаемой.

Всё это было прекрасно: он сядет в укромном уголке

и мирно починит свои локаторы и фон межпланетной связи, а к тому времени его, по всей видимости, найдут аборигены, и он-таки посоветует им построить свой первый космодром на этом узком песчаном языке, замыкающем зеленую прибрежную кайму и жадно тянущемся к океану.

Волохов сбавил скорость. Если у них имеются средства надземного сообщения, то, возможно, они захотят познакомиться с ним еще в воздухе — хотя бы для того, чтобы указать ему путь на свою посадочную площадку. Так, во всяком случае, поступили бы мы. Правда, засечь его могли бы только радары: над пустыней висела довольно плотная облачная дымка. Искусственный климат? Гм...

Волохов покосился на заглохшие локаторы, потом отсоединил от них противометеоритную защиту и перевел ее на ручное включение. Все-таки спокойнее. И нырнул еще на пятьсот метров вниз.

Тонкая пелена облачного марева осталась над ним, и Волохов понял, что желтовато-песчаный массив, растилающийся под ним, мог быть чем угодно, но только не пустыней. Прежде всего, эти многочисленные темные полосы, не четкие, а какие-то дымные, расплывчатые. Овраги или каналы. Причудливый геометрический рисунок, в который они складываются, не оставляет сомнений в том, что они созданы не природой. И это вообще не песок. Это желтая растительность, напоминающая земные саванны. Материк, отведенный под плантации, — вот это что! О посадке здесь не может быть и речи, придется тянуть до самого океана и, скорее всего, садиться на воду.

Вдали, у самого горизонта, неясно обозначилась зеленая прибрежная полоса, и Волохов включил антигравитаторы. Машина медленно пошла вниз, и Волохову стало ясно, что он ошибся и во второй раз: под ним были не саванны, а огромный, раскинувшийся на весь материк город. Невысокие, причудливо распланированные здания, в плане напоминающие иероглифы, соединялись друг с другом; но главное, сбившее его с толку, — это был странный, висячий покров, лежащий на этих домах, перекидывающийся через площади и улицы, сливающийся с безукоризненными прямоугольниками бледно-желтых садов. Это, несомненно, была какая-то

цепкая, невероятно живучая и жадная до тропического солнца форма растительности. Было весьма разумным укрыть таким легким, золотистым тентом весь этот материк, если...

Если только это не было одичанием, запустением мертвого мира. Золотые джунгли, погребаящие под собой брошенные города... Волохов фыркнул — распустил фантазию, как фазаний хвост. О посадке надо думать, о посадке. Загадки вымерших материков будут решать те, которые прилетят сюда после него, прилетят в том случае, если он благополучно плюхнется на эту зеленую низину и сумеет починить аппаратуру дальней связи. Волохов снова прибавил скорость, чтобы скорее выйти к океану, но бесконечный изумрудный луг уныло тянулся под брюхом его машины, и он уже начал думать, не свернуть ли ему круто на юг, как вдруг увидел белую полосу прибоя и застывшие в невидимом с высоты движении пепельно-черные волны океана.

Волохов посадил машину метрах в ста — ста пятидесяти от черты прибоя. Около получаса он настороженно ждал, не осадет ли под ним грунт, но приборы упрямо фиксировали и безупречность грунта, и безупречность воздуха, и вообще невероятную кучу безупречностей. Планета, кажется, решила быть умницей до конца. Не торопись, сказал себе Волохов, вот тут-то самое время остановиться и не поверить. Судя по приборам, можно было выходить и без скафандра, да он бы так и сделал, будь он на корабле не один; но теперь, когда посадка прошла так гладко, он не хотел рисковать даже в том случае, когда приборы твердили, что риск этот равен нулю. Все-таки...

Волохов еще раз оглядел всю рубку, выключил освещение и выбрался в шлюзовой отсек. Там, за титанитовой дверцей наружного люка, всё благополучно, — говорил он себе, примеривая защитный биокостюм. Всё слишком благополучно... Он отложил биокостюм, достал синтериклоновый скафандр высокой защиты. Эластичная ткань скафандра казалась податливой и непрочной на вид, но Волохов знал, что ни ацетиленовый резак, ни ультразвуковой нож, ни прямой разряд лазера не в состоянии пробить эту гибкую, полупрозрачную пленку. Там, где шлем соединялся с воротником, шло

жесткое кольцо, и Волохов старательно проверил прочность шва. Соединение было безупречным, но Волохов педантично проверил всё еще раз, и еще, пока не убедился в абсолютной своей неуязвимости.

Корабль его не был десантным ботом. Это был маленький, но добротный разведывательный звездолет системы Колычева, способный спускаться на планеты земного типа, но не более. Вездехода он нести не мог, даже самого портативного. Поэтому Волохов твердо решил от корабля никуда не отходить, а только постоять немного на чужой планете. В конце концов кто бы на его месте отказал себе в этом? Он не стал налаживать систему выносного лифта, а просто спустил аварийную лесенку, по которой и добрался до поверхности приютившей его планеты.

Поверхность эта была ничего себе. Занятная. Насколько занятыми могут быть огромные дюны чистейшего изумрудного песка. Ай да материк, подумал Волохов, ай да расточитель! Груды золота лежат, и мне лишь одному они принадлежат. Это, конечно, не настоящий изумруд, но соединений меди в этом минерале предостаточно. И какой коэффициент внутреннего преломления! Глаза слепит. И какой нежный, совершенно живой цвет! Надо только быть осторожным со здешней водой — вон ведь сколько меди. И сколько, должно быть, полиметаллов! Странно даже, что при таком богатстве они не додумались до простейшего летательного устройства. И при таких городах... Ну, ничего! Мы еще построим им гигант металлургии. И все-то надо для этого — починить фон межпланетной связи.

Волохов повернулся, чтобы забраться обратно на корабль, и увидел, что с дюны, со стороны океана, увязая по щиколотку в зеленом песке, к нему идет босая девчонка. Вся одежда ее состояла из двух кусков белой ткани, скрепленной на плечах камнями, за которые в древние времена на Земле, не задумываясь, предлагали половину царства; платье было подхвачено травяным плетеным пояском. На Земле ей дали бы лет пятнадцать.

Она остановилась прямо перед Волоховым и что-то проговорила тоненьким сердитым голоском. Волохов улыбнулся. Она снова заговорила; теперь это были

отдельные слова, каждое звучало вопросительно. По всей вероятности, она спрашивала, откуда он пришел.

— Со звезд, — сказал Волохов и указал рукой прямо вверх. Девочка тоже посмотрела вверх и нахмурилась, что-то вспоминая.

— Зендзи? — спросила она неуверенно.

Волохов стоял в нерешительности. Может быть, «зендзи» — это означало «дух», «божество», а может быть, она просто попыталась повторить его же собственные слова и нечаянно исказила их. Волохов не знал, как объяснить ей, чтобы она позвала кого-нибудь постарше. Не одна же она на этом пустынном берегу, в самом деле. Но она с упорством ребенка пыталась понять самостоятельно, что же это за странный человек, одетый с ног до головы в такую жару. Настойчиво и назидательно, как говорят с куклами, она повторяла два слова. Вероятно, это были одни и те же слова, но каждый раз она произносила их на разном языке. И так раз десять. Девчонка, знающая десять языков?.. Нет, что-то тут не то.

Односторонний разговор явно ей надоел. Она досадливо махнула рукой и вдруг, шагнув к Волохову, обняла его за шею. Волохов оторопел. Пальцы ее были влажны, и от их прикосновения синтериклон космического скафандра тоненько закрипел, как стекло.

И тут Волохов почувствовал, как густой и жаркий воздух ворвался под колпак шлема. Руки его невольно дернулись вверх, но девочка его опередила — она поднялась на цыпочки, потянулась и стащила с него шлем.

Волохов потрогал скафандр. Тонкая, жесткая пленка. Выше — соединительный рубец, который расходится только под действием особого импульса. Но стык этот цел. Зато еще выше он нащупал тонкий и острый край — синтериклон был разрезан. Синтериклон, который не берет ни алмаз, ни лазер.

— Что у тебя в руках? — крикнул Волохов, совершенно забыв, что она не может его понять, и смешно задирая голову, чтобы не обрезать подбородок о затвердевший по линии разреза край скафандра.

— М? — спросила она.

— Руки! — снова крикнул Волохов и показал ей свои руки — ладонями вверх.

Девочка с любопытством посмотрела на его руки, потом точно таким же жестом протянула свои ладошки.

В руках ее ничего не было.

— Ру-ки! — вдруг четко и с той же требовательной интонацией повторила она. — М?

Она подняла одну руку.

— Рука, — сказал Волохов. — Одна рука.

Девчонка кивнула, потом поднесла руку ко рту и поспешила палец. Волохов не успел и глазом моргнуть, как она снова стремительно шагнула к нему и двумя пальцами провела по скафандру — сверху вниз. Скафандр медленно раскрылся и начал опадать на землю. Волохов вытащил одну ногу, другую — скафандр остался на песке.

— М-м, — удовлетворенно сказала девочка. — Рука. Руки.

— Нога, — отважился Волохов, — ноги. Голова, глаз, рот, нос.

Девочка серьезно повторила. Волохов оглянулся.

— Скафандр, — сказал он, указывая на лоскутья синтериклона. — Или, вернее, то, что было скафандром.

Девочка поморщилась. Потом у нее снова появилось то сосредоточенное и упрямое выражение, какое бывает у пай-девочек, разыгрывающих взрослых перед своими куклами. Она протянула руку, и у Волохова шевельнулось опасение — не вздумает ли она еще что-нибудь с него снять? Но девочка просто дотронулась до его волос и вопросительно глянула на него.

— Волосы, — называл Волохов, — ухо... рубашка... палец... шея... шнурок... часы...

Она уже не повторяла за ним. Рука ее быстро и, казалось, бездумно перепрыгивала с одного предмета на другой, но ни на чем она не остановилась дважды. Вскоре части тела и нехитрая одежда были названы; проверить, запомнила ли девочка этот урок, Волохов не решался. Надо было как-то объяснить ей, чтобы она привела взрослых, но тут Волохов зашел в тупик. Может быть, следовало просто прогнать ее, тогда она

волей-неволей вернется туда, откуда пришла, и, естественно, всё расскажет. Но игра с незнакомым существом ей, совершенно очевидно, нравилась, и уходить она не собиралась. Волохов решил, что игру придется продолжить. А там будет видно.

— Стоять, — сказал он и вытянулся по стойке «смирно».

— Сидеть, — сказал он и плюхнулся на песок.

— Лежать, — он продемонстрировал.

Девочка смотрела на него, немного склонив голову набок, потом быстро показала на себя, на него и снова вопросительно хмыкнула:

— М?

Волохов встал. Не понимает. Этого она не понимает. Он стряхнул песок с колен, на всякий случай сказал:

— Чиститься. — Поскреб в затылке. Она снова хмыкнула. — Нет, нет, это я не для демонстрации. Это я думаю.

— М! — сказала она сердито. Кажется, она сердилась каждый раз, когда он произносил что-нибудь, не объясняя на пальцах значения. Нарушал правила игры.

Он решил сделать последнюю попытку.

— Идти, — сказал он и пошел по склону дюны. — Бежать.

Она побежала рядом. До берега, оказывается, было совсем недалеко — песчаные холмы закрывали его, а он был совсем рядом.

— Океан, — сказал Волохов и протянул руку.

Девочка опять рассердилась.

— Ты чего? — спросил Волохов. — Я, кажется, правил не нарушал. Это действительно океан. По-нашему.

Девочка зафыркала, как рассерженный зверек, и замахала на него руками. Потом сделала несколько четких демонстративных шагов.

— А, — сказал Волохов, — я вышел из последовательности. Мы проходили глаголы. Идти. Я иду, — он сделал два шага, — ты идешь, — он ткнул в нее пальцем. — Мы идем. — Он сделал жест, как бы объединяя их обоих.

Она остановилась.

— Стоять, — сказала она, опуская руки и забавно задирая подбородок. — М?

— Я стою, ты стоишь, мы стоим, — Волохов усердно тыкал пальцем.

— М, — сказала она удовлетворенно. — Я сидю, ты сидишь, мы сидим. Скафандр?

— Скафандр лежит, — сказал Волохов. После того что она сделала со скафандром, он уже ничему не удивлялся. — Он лежит,

— Я, ты, мы, он. Ты — м?

Волохов понял:

— Волохов. Я — Волохов.

— Фират, — сказала она просто.

Она повернулась и пошла к воде. Она села так, что босые ноги ее протянулись на полосу влажного, омываемого морем песка; в луночках вокруг пяток начала собираться вода.

Волохов сел рядом. Что-то переменялось. Переменялось с того самого мига, как она назвала свое имя. До этого момента Волохов думал только о том, что нужно чинить фон межпланетной связи и девочке нужно внушить, что ему хочется говорить не с ней, а со взрослыми аборигенами, поэтому пусть она идет и позовет их.

И еще он старался не думать о своем разрезанном скафандре. А теперь он поймал себя на том, что фон может и подождать, и разговор со взрослыми, разговор по строго выработанной программе, на невероятном гибриде всех земных языков и математики, в муках произведенном неисчислимыми лабораториями «теоретиков первого контакта», — всё это неважно, и всё это подождет.

А самое важное и самое интересное — это кулачок Фират, в который она что-то успела набрать. Кулачок медленно раскрылся — на смуглой ладошке лежала кучка зеленоватого песка.

— Песок, — несколько разочарованно проговорил Волохов. Он ждал чего-то необычного и теперь досадовал на свое ожидание.

Фират быстро сжала кулачок и снова его открыла. Песок, видимо, высыпался, и на ладошке остался спрятанный до сих пор камешек. Обыкновенный, серый. Сухой.

— Камень. — Волохов понял, что это просто продолжение урока.

Фират еще раз сжала и раскрыла кулачок — вместо камня лежала раковина.

Волохов заставил себя предположить, что ракушка эта была внутри камня и Фират, сжимая кулак, счистила палипшую на нее шелуху песчаника. Конечно, заставить себя поверить во что угодно здесь, на этом берегу, нетрудно.

Но все-таки камень был куда меньше, чем раковина. Он заставил себя не удивляться, и не удивился, когда вместо ракушки на ладони появился дохлый высушенный краб, обрывок водоросли синего цвета и, наконец, маленькая золотая рыбка, пугливо подрагивающая плавничками. Он так и назвал ее — «золотая рыбка», и Фират тут же превратила ее в черную, потом в белую, и рыбка терпеливо прошла через весь солнечный спектр и в награду была отпущена в море. Затем пришел черед маленьким, не больше мизинца, человечкам; угловатые и условные, они напоминали рекламных гномиков и не имели ничего общего с тем, каким представлялся Волохову мальчик с пальчик.

Фират разгладила складки платья и высыпала человечков себе на колени. Они засуетились, и Волохов с трудом успевал комментировать их действия. Фират ничего не повторяла, только время от времени указывала пальцем на ту или другую фигурку. Если только она действительно запоминала всё, что он ей говорил, то у нее должен был составиться небольшой, но весьма причудливый словарь.

А может быть, она ничего не запоминала? Может быть, она просто показывала ему свои игрушки?

А если она запоминала его язык, то почему же она не сделала ни одной попытки познакомить Волохова со своим языком?

Этого минутного раздумья, этой крошечной остановки было достаточно, чтобы почувствовать вдруг бесконечную усталость. Волохов вдруг понял, что он уже страшно долго сидит на этом пустынном берегу, обманутый медлительностью здешнего солнца, которое всё еще лениво лезло в зенит, в то время как дома, на Земле, уже давно наступил бы вечер.

Он провел рукой по лбу. Это же сумасшествие —

столько часов провести под палящим солнцем. Да еще чужим, с неизвестным спектром излучения.

— Жара, — сказал он, обращаясь к Фират, — надо идти в тень. Тень, — повторил он, указывая на синеватый силуэт, разлегшийся на песке.

Фират посмотрела внимательно, потом обвела пальцем контур собственной тени и удовлетворенно кивнула.

— Тень. Хорошо. Вот такая тень, хорошо? — Она раскинула руки, словно размахнула крылья, и часто-часто ими замахала.

— Хорошо, — сказал Волохов, далеко не уверенный в том, что она правильно его поняла.

— Зеленая тень — хорошо? — продолжала допытываться Фират.

— Зеленая — хорошо, и синяя — хорошо, и черная тоже хорошо...

Фират посмотрела на него так удивленно, что Волохов окончательно уверился во взаимном непонимании. Между тем Фират быстро вложила два пальца в рот и пронзительно свистнула. Волохов невольно ухмыльнулся — так это было по-мальчишески, по-земному.

Что-то зеленое поднялось из-за дальней дюны и стремительно понеслось к ним. Сначала Волохову казалось, что это маленький летательный аппарат, затем — что это птица. Когда же оно приблизилось, Волохов увидел существо, напоминавшее ската, — узкое тело змеи, небольшой изящный клюв и метровые полотнища полупрозрачных плавников, превращавших его в плоский четырехугольный коврик с трепещущей бахромой.

Существо неуверенно застыло метрах в двух от них, но Фират похлопала себя по коленке, как это делают, подзывая собаку.

Существо жалобно пискнуло.

— Он боится, — сказала Фират, обернувшись к Волохову, и засмеялась. — Он боится ты.

Она стала что-то говорить на своем языке, говорить ласково и наставительно, как всё это утро она говорила с Волоховым.

Существо еще чаще замахало краями своих плавников — Волохов не решился назвать это крыльями — и,

робко приблизившись, повисло над головами сидевших, отбрасывая на них прохладную зеленую тень.

Сразу стало легче дышать.

— Это хорошо, — сказал Волохов, — но мне нужно на корабль. Чиниться.

— Чиниться? — переспросила Фират, недовольно наморщив лоб. — Говори понятно.

Волохов беспомощно оглянулся по сторонам. Какая-то палочка, наверное выброшенная морем, валялась на песке. Волохов подобрал ее.

— Мой корабль, — повторил он, разравнивая песок и рисуя на нем вполне правдоподобные контуры звездолета, — он сломался.

Он поднял палочку до уровня глаз и демонстративно разломил ее надвое. Фират испуганно посмотрела на сломанную палочку в руках Волохова, потом быстро обернулась туда, где над песчаными дюнами подымался титанитовый корпус корабля.

— О, — сказала она, — он сломался, он...

Она выхватила из рук Волохова обломок ветки и начала быстро дорисовывать вокруг контура корабля пунктирные расходящиеся линии. Казалось, нарисованный корабль встряхнулся, словно утка, и во все стороны разлетелись сотни маленьких песчаных брызг.

— Радиация? — догадался Волохов. — Нет. Не бойся. Радиации нет. Не тот принцип действия. А может, ты боишься не радиации, а чего-нибудь другого?

Фират внимательно слушала его, сдвинув густые, недетские брови, потом уверенно и спокойно подтвердила:

— Боюсь.

Она поднялась на ноги и гортанно, протяжно крикнула, как кричат люди, которые хотят, чтобы зов их разнесся как можно дальше и шире, потому что тот, кого они зовут, может находиться и там, и там, и там. И тот, кого она звала, поднялся из-за крайней прибрежной дюны и размашистой рысью двинулся прямо на них. Волохов вскочил и невольным движением заслонил собою девочку.

Это был белый медведь, округлой длиннотухой мордой напоминавший собаку, или, скорее, огромный

нюфаундленд, белоснежной шерстью смахивавший на полярного медведя. Во всяком случае, кто бы это ни был, узкий, раздвоенный на конце язык и тройной, как у акулы, ряд зубов отнюдь не делали его добродушным.

Зверь остановился прямо перед Волоховым, всё еще самоотверженно заслонявшим собой Фират, потом склонил мохнатую голову набок и рассмеялся. Это был искренний, беззлобный человеческий хохот, и золотые черти плясали в смеющихся глазах зверя, и раздвоенный язык, вобравшийся в пасть, нежно и беспомощно грепетал за тройным рядом страшных зубов.

— Фу ты, черт, — сказал Волохов и тоже засмеялся. Он чувствовал себя дураком, хотя ничего глупого или хотя бы нелогичного не сделал.

Фират вылезла из-за его широкой спины и что-то сердито проговорила. Волохов не понимал ее языка, но всё это звучало так, словно она хотела сказать: ничего смешного нет, и надо делать дело, а не развлекаться.

Она сказала еще что-то и коротким жестом указала на корабль. Зверь посмотрел по направлению ее руки, потом перевел взгляд на Волохова, разинул пасть и отчетливо, членораздельно произнес несколько слов. Потом сорвался с места и огромными скачками помчался к кораблю. В каждом своем прыжке он распластывался в воздухе, и только тогда было видно, каким же легким и поджарым было его тело, скрытое невероятно длинной и пушистой шерстью.

Зверь скрылся за дюнами.

— Вот так плюшевая игрушка, — сказал Волохов. — Он умеет говорить?

— Конечно, — несколько удивленно ответила Фират.

— Каким образом? — не унимался Волохов.

Фират пожала плечами.

— Я говорю, ты говоришь, он говорит.

Было ли это ответом?

Зверь вернулся. Он ничего не сказал, только кивнул, словно давая понять, что идти к кораблю можно.

Фират взяла Волохова за руку, и они двинулись к звездолету. Зверь, размеренно, как верблюд, покачивая

головой, пошел рядом с Фират. Некоторое время она шла, положив руку на его мохнатую голову, но скоро ей это надоело, и она легко вспрыгнула на спину зверя. Тот шагал как ни в чем не бывало.

— Отец, — сказала Фират, и тут же Волохов увидел людей, выходящих ему навстречу из-за блестящей туши корабля. Тот, что шел впереди, ускорил шаги и подошел к Волохову. Они встретились у самых ступеней трапа.

Человек этот, смуглый и чернобровый, напоминал хорошо выбритого ассирийца и был похож на Фират в той же степени, как и все остальные его спутники, такие же смуглые и схожие между собой, словно пингвины — для людей и, наверное, люди — для пингинов.

Человек, подошедший первым, держал в руках гибкую желтую ветвь с едва заметными листочками. Наверное, это и было то самое растение, что покрывало огромный город, раскинувшийся на весь материк. И, между прочим, росло оно не меньше чем в двухстах километрах отсюда. Человек кивнул Фират, и она низко наклонила голову. Потом он потрепал по голове белого зверя и точно таким же жестом дотронулся до плеча Волохова. По-видимому, лишние слова, вроде приветствий, были здесь не приняты, поэтому Волохов наклонил голову, как это сделала Фират, и предоставил хозяевам первым задавать вопросы.

Но вновь прибывшие вопросов не задавали. Они подходили по очереди, касались плеча Волохова и только дружески, необыкновенно широко улыбались. Волохов поискал глазами того, что пришел первым и которого Фират назвала отцом, и вдруг увидел, что тот уже поднимается по свисавшей лесенке на корабль. Он шагнул вперед, намереваясь последовать за ним, но почувствовал, что цепкие пальцы Фират крепко обхватили его запястье. Он резко обернулся.

— Не надо, — сказала девочка. — Ты не надо. Они не понимают ты.

— Миленькое дело. — Волохов пожал плечами. — Что же они тогда вообще поймут?

— Они поймут твой корабль. Язык корабля поймут все.

— Но ты же понимаешь меня!

— Они нет времени понимать ты.

— Понимать тебя, — поправил Волохов.

— Понимать тебя, — послушно повторила она. — У меня было время понимать и...

Она беспомощно оглянулась, словно то, что она пыталась сказать, было где-то здесь, под рукой, нужно было только это найти. Но она не нашла и досадливо сморщилась.

Волохов не понял, что она хотела сказать.

— Ладно, — сказал он, — вернемся к кораблю. Ты думаешь, что они поймут что к чему и починят?..

Фират досадливо поморщилась, словно хотела сказать: ну, что повторять одно и то же? Раз сказано — починят, значит, сиди и жди.

Фират подозвала своего зверя, и тот, бесшумно приблизившись, растянулся у самых ее ног. Фират улеглась на песок, откинув голову на белую спину зверя. Ей, наверное, было очень удобно. На Волохова она не смотрела и больше не заговаривала с ним, словно разом забыв о его существовании. Он решил подождать, во что же всё это выльется, и, отойдя в короткую зеленоватую тень, отбрасываемую кораблем, принялся вышагивать по песку взад и вперед, насколько позволяли границы этой тени.

Так прошло около получаса.

Вдруг нижние ступени лестницы закачались, и Волохов, глянув вверх, увидел, что добровольные его помощники быстро спускаются вниз. Волохов торопливо направился к Фират: надо же как-то остановить их, попросить обождать, а он слезает за таблицами, книгами, они установят контакт, обменяются... чем там положено обмениваться по теории первого контакта с гуманоидами. Фират поможет.

Но они его опередили, старший — отец, по-видимому, хотя Волохов так и не научился отличать его от остальных, — сказал Фират несколько отрывистых, повелительных фраз. Девочка выслушала его, сложив руки и низко опустив голову. Потом все они по очереди подошли к Волохову и с дружескими, несколько плакатыными улыбками снова потрепали его по плечу. Сначала его, потом белого зверя Фират. И друг за другом исчезли за изумрудной песчаной дюной.

— Всё, — сказала Фират, — ты можешь лететь.

Корабль не был сломан. Он просто... не слушался. Это прошло. Улетай.

В голосе ее не было ни грусти, ни горечи, она повернулась и тихо пошла к морю.

Он знал, он чувствовал, что его не обманули, что корабль исправен и он может сейчас же, сию же минуту лететь домой, к Земле, — и не мог этого сделать. Белая фигурка медленно брела к морю, и что-то было не так, чего-то он не понял, недоделал, и, сам не зная зачем, он крикнул: «Фират, погоди!» — и побежал к ней.

Он догнал ее у самой воды. На его крик она не обернулась.

— Погоди, Фират, — сказал он, переводя дыхание. — Так же нельзя, в самом деле. Ведь я сейчас улечу, и мы можем никогда больше не встретиться...

Она спокойно смотрела на него. Ну, да, он улетит, они действительно никогда больше не встретятся, но ее это не тревожит. Что ей-то до этого?

— Погоди, Фират. Ведь ты даже не спросила, откуда я. Может быть, твой отец или те, что были с ним... кто-нибудь захочет прилететь к нам, на Землю... на ту планету, откуда я родом? Ведь вы можете это?

Фират медленно покачала головой.

— Они все очень заняты. Там, — она махнула рукой в сторону материка, где раскинулся желтый город. — И там, — она вытянула руку вверх, указывая прямо в небо.

В первый раз в ее ровном голосе он почувствовал едва уловимый оттенок горечи — они все очень заняты...

— А может быть, ты, когда подрастешь?..

Она снова покачала головой:

— Твоя планета нам не нужна. Ведь вы даже не умеете...

Она снова досадливо поморщилась, как бывало каждый раз, когда она не знала необходимого слова. Она пощелкала пальцами, как делают это люди, припоминая что-нибудь, и вдруг у нее из-под пальцев начали выпархивать огромные, величиной с крупную лилию, мохнатые снежинки. Они таяли, не долетев до песка, а пальцы Фират начали приобретать бронзовый отблеск — и вдруг засверкали нестерпимым блеском на-

стоящего червонного золота; она ударила в ладони — и над песками прокатился оглушительный, стозвучный удар огромного гонга. И тут же руки девочки стали прежними.

— Вы не умеете так, — тихо, словно извиняясь, проговорила Фират. — Вы не умеете...

— Творить чудеса, — подсказал Волохов. — Этого мы и вправду не умеем. И всё же, если вы только можете, — прилетайте к нам на Землю. Чудес у нас нет. Но у нас есть солнце, не такое, как у вас — бледненькое, словно мелкая серебряная монетка, — нет, наше солнце золотое, как твои ладони пять минут назад, как цветок одуванчика, а цветок одуванчика вот какой, — и он рисовал на влажном и плотном песке, какой же это цветок, и в узких бороздках рисунка тотчас же набиралась вода, — оно желтое, как новорожденный цыпленок, а цыпленок вот какой; оно жаркое, рыжее, нестерпимое...

Они тихо шли по узенькой полоске омываемого водой песка, и Волохов всё говорил, и нагибался, и рисовал что-то, они тут же переступали через этот рисунок и шли дальше, и он снова говорил о Земле, о ее морях, умеющих быть любыми — от пурпурных до молочно-белых, о лиловых вершинах гор, о зеленых лунных ночах над стоячей водой уснувших рек, о тонкой яблочной прозрачности предутреннего неба, о чеканной бронзовой дорожке, по которой можно добежать до самого солнца, если оно не успеет спрятаться за море; он рисовал на песке маленьких, не больше суслика, кенгуру, и огромных, величиной с утку, божьих коровок. В стройную шеренгу знаков Зодиака вклинивались колдовские пентаграммы морских звезд и курчавые пеньки актиний, а у самой-самой воды, прикрыв морду хвостом, свернулся калачиком абстрактный кот — так, во всяком случае, закончилась попытка Волохова изобразить всю нашу Галактику. Крошечная точка, обозначавшая Землю, приютилась с краешку, где-то на хребте условного кота.

— Волохов, — сказала вдруг девочка, останавливаясь. Она в первый раз обращалась непосредственно к нему. — Не надо. Улетай.

Да, конечно, ведь так можно говорить, и говорить, и говорить, но он ничего не изменит. Фират никогда

больше не встретится ему на пути. Земля не нужна им, она сказала. Но то, что он так долго говорил ей о Земле, вернуло его к прежней уверенности в себе, и теперь, когда ему оставалось только повернуться к кораблю, вдруг стали неважны все эти ее чудеса, разрезанный скафандр, золотые ладошки и всё такое, — она была просто босоногой девчонкой Фират, которую он оставит здесь, у моря, на краю неведомой земли, чтобы никогда больше не увидеть. Волохов наклонился над нею, и она поступила так же, как это сделала бы на ее месте любая девушка на Земле: она закрыла глаза.

Губы у нее были шершавые и сухие. Такие шершавые и такие сухие, что потом захотелось потрогать их пальцем, проверить, точно ли они могли быть такими. Но он только провел рукой по ее спутанным волосам, отделил тонкую длинную прядку и захлестнул ее вокруг смуглой шеи. Глаз она так и не открыла.

Волохов отступил на шаг, повернулся и пошел к кораблю. За его спиной, опустив руки и не открывая глаз, так и стояла Фират.

Солнце стало голубовато-серым и, не дойдя до горизонта, начало медленно растворяться в пепельном мареве, подымавшемся ему навстречу с поверхности остывающего к вечеру океана. Песок под ногами стал совсем темным. Фират сделала еще несколько шагов и остановилась. Нет, не может так быть, не должно так быть, просто невероятно, чтобы она этого не нашла.

Она опустилась на колени и принялась шарить рукой по влажному песку. Волны бесшумно подкрадывались и касались ее пальцев. Шаги она слышала, только когда они были уже совсем рядом. Тогда она подняла голову и увидела отца.

— Почему ты не вернулась в город? — спросил он.

Она только покачала головой. Острые крупные песчинки больно врезались в коленки.

— Этот, — отец указал на дюны, где днем возвышался матовый конус корабля, — этот улетел?

Фират только наклонила голову.

— Так что же?

Фират медленно встала.

— Зачем ты отпустил его, отец? — спросила она. — Как ты мог просто так отпустить его? Как ты, мудрый и опытный, ты, знающий всё, не понял, что это был такой же человек, как ты и я? Мне легко было ошибиться, я так мало еще знаю. Я приняла его за разумного зверя, такого же, как все мои говорящие звери, да и сам он сказал, что не умеет... Он назвал это — творить чудеса. Он сам сказал мне, что не умеет творить чудеса...

Фират плакала.

— А потом он говорил мне о той планете, с которой он прилетел, но я не помню, совсем не помню, о чем же он говорил. Я всё понимала тогда, но сейчас не помню ни единого слова. Когда я впервые увидела его, я обратилась к нему на языках десяти звезд, но ни одного из них он не знал. Его корабль перестал повиноваться ему, и я подумала, что он просто не умеет заставить его слушаться. Я думала, что он ничего не может, а он просто ничего не хотел...

— Что же он может? — спросил осторожно отец.

Фират еще ниже опустила голову.

— А когда пришло время ему улетать, он наклонился надо мной, положил мне руки на плечи, и тогда солнце, наше маленькое белое солнце стало вдруг огромным и совсем золотым, словно собрало в себе всё золото звезд, оно было таким жарким и нестерпимым, что зеленый песок пустыни стал тоже золотым, как цветы когоройи, покрывающие наш город, а далеко-далеко, по самому горизонту, поднялись невиданной высоты лиловые горы, легкие, как облака, с алыми сияющими вершинами. Золото нашего солнца затопило пустыню, но бывшая зелень ее песков не исчезла, а собралась в одну огромную, неуловимо текущую реку, бесшумно впадающую в океан; зеленое светило, которого не было на небе, отражалось в этой реке. Может быть, оно в ней родилось. А небо и море стали совсем одинаковыми, неразделимыми в какой-то яростной, пронзительной голубизне, и белые птицы с узкими, как руки, крыльями одинаково принадлежали и этому морю, и этому небу... И не было в мире, во всем этом огромном мире ничего, что бы осталось прежним, отец!

— Что же было потом? — спросил он.

— Потом это солнце погасло, и наступила ночь...

Было уже совсем темно, и невидимые волны подбирались к ногам Фират. Начался прилив.

— Летим домой, — неожиданно мягко проговорил отец. — Летим.

— Нет, — сказала Фират. — Где-то здесь, на песке, он нарисовал мне, как найти его звезду. На песке, у самой воды.

Она протянула руку, и на ее ладошке вспыхнул неяркий зеленоватый светлячок. Она подула на него, чтобы ярче горел, и, подняв над головой, пошла дальше по влажной дорожке гладкого песка, вылизанного приливом.



*Братски ваи
герберт уэллс...*

Юрий Ковалев

уэллс в петербурге и петрограде

Интерес к России сопровождал Уэллса на протяжении почти всей его творческой жизни. Он возник, по-видимому, в 1905 году в связи с событиями первой русской революции. Знакомство с Горьким, которое состоялось в Америке в том же году, укрепило заинтересованность Уэллса в жизни и судьбе русского народа. Уэллс трижды приезжал в Россию. У него было множество русских друзей. Среди них крупнейшие советские писатели — М. Горький, А. Толстой, К. Чуковский; ученые — И. П. Павлов, С. Ф. Ольденбург; советский посол в Англии И. М. Майский. Уэллс был женат на русской женщине — Марии Игнатьевне Закревской. Неудивительно, что среди героев Уэллса иногда попадаются русские, а действие некоторых его романов протекает в России.

Но важно, пожалуй, даже не это. История России двадцатого века — войны, разруха, голод, революционные битвы, строительство Советской власти, героический пафос пятилеток, борьба за построение социализма — всё это были факторы, оказавшие самое прямое и непосредственное воздействие на творческое сознание Уэллса. Размышления о судьбах России и в связи с этим о судьбах человечества — постоянный мотив публицистики Уэллса 1920—1930-х годов.

В этой связи особый интерес представляет исто-

рия поездок Уэллса в Россию, до сих пор должным образом не изученная.

Всех, кто сталкивался с Уэллсом во время его пребывания в России в 1920 году или читал его книгу «Россия во мгле», поражала, в первую очередь, острая наблюдательность писателя, его способность во многом верно оценивать необыкновенно сложные, запутанные обстоятельства трудной жизни молодой Советской республики. Многие подчеркивания и пометки, сделанные Лениным на английском экземпляре книги Уэллса, относятся именно к тем местам текста, в которых обнаруживается проницательность и справедливость суждений автора.

Однако титанические усилия, прилагаемые большевиками в их отчаянно трудной борьбе за построение нового Советского государства, невозможно было постичь с помощью одной только наблюдательности и проницательности. Тем более что в 1920 году Уэллс пробыл в России менее двух недель. Едва ли он сумел бы разглядеть и понять всё то, что он увидел и понял, если бы не имел возможности сравнивать Россию 1920 года с Россией дореволюционной. В этом плане весьма важной представляется короткая поездка, которую он совершил в 1914 году в самый канун первой мировой войны.

Уэллс приехал в Россию без какой бы то ни было миссии. Он мало встречался с русскими литераторами или общественными деятелями. Петербургские и московские газеты почти не откликнулись на визит знаменитого английского писателя, который к этому времени был уже широко известен в России. Русские читатели имели в своем распоряжении два собрания сочинений Уэллса, не считая многочисленных журнальных публикаций и отдельных книг.

Уэллс прибыл в Россию инкогнито. Он был гостем секретаря русского посольства в Лондоне Бенкендорфа, который пригласил писателя провести несколько дней в Петербурге и Москве. Уэллс предполагал придать своему визиту совершенно частный характер и тем самым избежать официальных встреч и газетных интервью. Это, однако, не вполне ему удалось.

На четвертый день пребывания Уэллса в Петербурге инкогнито его было раскрыто. Произошло это при

довольно комических обстоятельствах. Узнав о приезде знаменитого писателя, репортеры петербургских газет отправились в английское посольство и потребовали, чтобы им сообщили, где остановился Уэллс. Сотрудники посольства охотно пошли навстречу прессе и дали адрес штабс-ротмистра П. П. Родзянко, в доме которого, по их словам, остановился именитый англичанин. К вечеру толпа репортеров вторглась в жилище штабс-ротмистра и набросилась на его английского гостя. Гость был любезен, скромен, охотно отвечал на вопросы. Было в его поведении что-то странное. Он, например, упорно не желал говорить о своих научно-фантастических романах и неукоснительно сводил интервью к вопросам охоты на хищных зверей.

На следующий день в утреннем выпуске «Биржевых ведомостей» появилась заметка «Писатель Уэллс в Петербурге», подписанная инициалами Е. И. Она повергла читателей в недоумение.

«Цель приезда к нам известного английского писателя, — сообщал репортер, — охота на медведя, которую и предлагает ему завтра штабс-ротмистр в своем имении Витебской губернии.

Как писатель-беллетрист, как изобразитель могущества знания и побежденных человеком сил природы, как социальный мечтатель, Герберт Уэллс достаточно известен, поэтому об этой стороне его деятельности мы не будем распространяться. Но помимо своих литературных занятий английский писатель пользуется заслуженной репутацией путешественника и бесстрашного охотника.

...Герберт Джордж Уэллс с целью охоты изъездил всю Африку вдоль и поперек, Северную Америку, Австралию, побывал в Новой Зеландии и, наконец, совершил путешествие из Шанхая в Омск через пустыню Гоби».

Далее следовал подробный рассказ об охотничьих подвигах Уэллса, о путешествии через пустыню Гоби, о сочинениях Уэллса, посвященных охоте, и, наконец, приводились высказывания английского писателя о русской литературе.

Все усилия репортеров заставить Уэллса говорить о его романах оказались тщетными. «Г. Уэллс упоминал о них лишь мимоходом и снова пускался в описание

подробностей своих путешествий и охот...» Отсюда корреспондент «Биржевых ведомостей» сделал вывод: «Уэллс производит в общем впечатление человека до крайности скромного. Этим я объясняю себе, что он избегал говорить о своих произведениях, несмотря на то, что они составили ему мировую известность».

На следующий день стало ясно, что «Биржевые ведомости» оскандалились на всю Россию. У штабс-ротмистра Родзянко гостил вовсе не Уэллс, а известный охотник Уайнс, автор нескольких книг об охоте. Многие газеты не упустили случая позлорадствовать над столичными коллегами, допустившими грандиозный «ляп». «Одесский листок», который никак не откликнулся на приезд Уэллса, целиком перепечатал заметку, в которой «Биржевые ведомости» пытались оправдаться перед читателями, и снабдил ее ехидным заголовком: «В погоне за Уэллсом».

Еще через день столичным репортерам удалось сыскать настоящего Уэллса, который тихо жил в «Астории», и получить у него краткое интервью.

Отправляясь в свою первую поездку по стране, которая по разным причинам давно его интересовала, Уэллс имел довольно смутное о ней представление. Это представление он почерпнул из единственной беседы с Горьким, которая состоялась в 1906 году в Америке, из романов Тургенева и из многочисленных книг и статей о России, которые буквально наводнили Европу вскоре после первой русской революции. В своем очередном письме «Из Англии», опубликованном в восьмой книге «Русского богатства» за 1905 год, Дионео (И. В. Шкловский) сообщает, что в течение мая—июня в Англии и Франции появилось около 120 новых книг о России. Большая часть этой «руссианы» не отличалась достоверностью и содержала самые фантастические сведения, почерпнутые из бог ведает каких источников. Шкловский цитирует два сочинения Карла Жубера, который уверял читателей, что провел в России девять лет и знает страну вдоль и поперек. В частности, ссылаясь на личное знакомство с Горьким, Жубер пытался убедить читателей, что Горький «человек без всякого образования и язык его состоит не более как из двухсот слов». Желая приобщить читателя к рус-

скому колориту, Жубер упоминает о русской народной песне «Вниз по матушке по Волге», название которой он переводит примерно так: «Пока мы плывем по матушке Волге, наши мысли уносятся домой к нашим друзьям».

Очевидно, что мы напрасно стали бы ждать от Уэллса хотя бы приблизительно правильного представления о России. Да и сам Уэллс не строил на этот счет каких-нибудь иллюзий. В авторском предисловии к первому русскому собранию своих сочинений он писал: «Когда я думаю о России, я представляю себе то, что читал у Тургенева и у друга моего Мориса Беринга. Я представляю себе страну, где зимы так долги, а лето знойно и ярко; где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей; где деревенские улицы широки и грязны, а деревянные дома раскрашены пестрыми красками; где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых; где много икон и бородатых попов; где плохие пустынные дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам. Не знаю, может быть, всё это и не так; хотел бы я знать, так ли это».

Эти строки были написаны в 1909 году, а в 1914-м Уэллсу предоставилась возможность узнать — «так ли это».

Первая поездка Уэллса в Россию не оставила заметного следа в его публицистике и переписке. Может быть, поэтому о ней мало помнят. Между тем никак нельзя сказать, чтобы она вообще прошла бесследно.

Во второй части известного «воспитательного» романа Уэллса «Джоан и Питер» имеется целый раздел, специально посвященный России 1914 года и представляющий собой своего рода лирический путевой дневник. Этот раздел принадлежит к числу лучших в романе и наряду с поэтическими описаниями содержит много острых суждений о политической, общественной и культурной жизни России.

Уэллс заставляет своих героев повторить собственный маршрут: «Петербург — тогда еще Петроград — погостили у знакомых около Валдая, провели суетливую неделю в Москве и окрестностях и вернулись через Варшаву». Однако русские разделы этого романа

не содержат подробного отчета о передвижениях и встречах Уэллса. Общую картину России и русской жизни Уэллс рисует отдельными штрихами, как бы не имеющими внутренней связи, но, в сущности, не случайными, а тщательно подобранными: «...серые, но поражающие широтой пейзажи России, петербургские улицы с черно-золотыми магазинами под вывесками с яркими изображениями продаваемых товаров — для неграмотного населения; ночная толпа в Народном доме; десятиверстный переезд в санях по замерзшей реке, деревянный помещичий дом за каменными воротами, и компания веселых гостей, выбежавших после ужина поваляться в рыхлом снегу и полюбоваться сквозь ветви деревьев звездами... высокие красные стены Кремля, вздымавшиеся над Москвой-рекой; пестрое великолепие Троицкого монастыря; старик с котомкой и котелком, без смущения молившийся в Успенском соборе; бесконечное число бородатых священников, татары-лакеи в малиновых кушаках... тысяча подобных картин, четких, ярких и живых на фоне белого снега...»

Уэллс не случайно заканчивает свою мозаику общим планом. Этот общий план — зимний ландшафт «с болотами и лохматыми перелесками серебристых берез, приземистые деревянные селения с куполами церквей, непроложенные случайные дороги...» — не только объединяет отдельные наблюдения, создавая тем самым цельную картину, — он постепенно входит в повествование основной частью этой картины, ее духом, ее смыслом, и неожиданное потрясение героев величием страны не кажется противоестественным: «Отсюда и до Северного полюса — Россия и Великое пространство, голодный север, мерзлая тундра и пустыня, пределы человечества... Отсюда и до Владивостока, Россия и вся Азия. К северу, к западу, востоку и югу тянутся бесконечные просторы».

В повествовании Уэллса имеется несколько великолепных литературных ландшафтов, полных поэтического настроения: Москва, увиденная в лучах солнечного заката с Воробьевых гор, когда сверкающие позолотой кресты кажутся бледным пламенем; зимняя дорога от Вержболова до Москвы и т. д. Но они, как и всё остальное на «русских» страницах этой книги, окраше-

ны стремлением постичь великую загадку «таинственной» страны.

Уэллс воспринимал Россию не только непосредственно, но и через призму набивших уже оскомину, широко распространенных в Европе представлений о «святой Руси», вдохновлявшейся Великой Русской Идеей, каковая гнездится где-то в мистических глубинах души русского мужика. Он заставляет своего героя произнести несколько философических фраз, без которых в начале XX века редко обходилось какое-либо сочинение о России: «Азия надвигается на Европу — с новой идеей... Когда видишь это, лучше понимаешь Достоевского. Начинаешь понимать эту Святую Русь, и она представляется чем-то вроде страдающего эпилепсией гения среди народов — вроде его Идиота, добывающегося нравственной истины, протягивающего крест человечеству... Христианство для русского означает — братство».

Однако эти привычные представления о России, к возникновению которых немало усилий приложили и русские интеллигенты, не увели Уэллса в сторону от важных и острых моментов русской общественной жизни. Россия была для него не просто загадочной и варварской страной. Она была страной жестоких контрастов, острых противоречий, страной, задавленной царским самодержавием, темнотой и нищетой. Со страниц романа встает облик земли, где правит произвол, где всё продается и покупается, где благоденствующие, ленивые и бесчестные процветают, а честные и деятельные голодают, сидят по тюрьмам и каторгам. Вторая часть русского раздела романа закономерно завершается символической картиной. Герой смотрит на портрет российского самодержца, висящий в Государственной думе: «Перед ним стояла фигура самодержца, с длинным неумным лицом, в четыре раза больше натуральной величины, одетая в военный мундир и высокие кавалерийские сапоги, приходившаяся прямо под головой председателя думы. Портрет этот был таким же явным оскорблением, вызовом самоуважению русских людей, каким был бы грубый шум или непристойный жест.

«Вы и вся империя существуете для меня», — гово-

рило глупое лицо этого портрета в сдвинутой набекрень папаше и с лежавшей на рукоятке сабли дряблой рукой...

И верноподданности вот этой-то фигуре требовали от молодой России».

Портрет царя, равно как и московские кресты, был для Уэллса символом, олицетворявшим «жестокую и насквозь подкупленную систему репрессий». Уэллс ничего не говорит здесь о грядущей революции, но некоторые строки этой книги дышат предчувствием великих потрясений.

Семь лет спустя в этом же зале Таврического дворца заседал Петрогубсовет. Зал был набит матросами, рабочими, солдатами. Портрета царя не было и в помине, а с трибуны «товарищ» Уэллс обращался к тем, кто сбросил царя, и говорил о мировой республике.

Особое место в поездке 1914 года занимают впечатления Уэллса от спектаклей Художественного театра. Там он увидел «мыслящую Россию». Не ту, которая молится, не ту, которая, наевшись за помещичьим столом, валяется в снегу и гоняет на тройках. Он увидел Россию, которая бурлит и ищет новых путей.

Уэллс высоко оценил искусство мхатовцев, которое он назвал «алмазом совместных усилий и плодотворной организации». Но главное его внимание на спектаклях привлекала публика. Вот где он, как ему казалось, увидел молодую Россию. «Художественный театр, — писал он, — словно магнит притянул к себе свой элемент из огромной варварской смеси западников, крестьян, купцов, духовенства, чиновников и ремесленников, заполнявших московские улицы».

Контраст между мрачными символами самодержавия и зрелищем этой энергичной и деятельной молодежи толкал Уэллса к не вполне осознанному, может быть, предчувствию кровавой революции. Вот почему Уэллс, всегда питавший отвращение к кровопролитию и насилию, даже если оно совершалось в революционных целях, заставил своего героя содрогнуться от «мрачного предчувствия трагедии всей этой пламенной жизни, вырастающей в тисках гигантской политической системы и медленнодвигающейся к своему концу...»

Он не понимал еще тогда, что история предоставила этой «пламенной жизни» только один путь — сломать тиски.

В истории первой поездки Уэллса в Россию имеется одно обстоятельство, которое до последнего времени оставалось не вполне ясным. Уэллс, как мы теперь уже знаем, побывал в Петербурге, в Москве и в каком-то поместье под Петербургом. Но вместе с тем он сумел получить довольно четкое, хоть и поверхностное представление о жизни русского крестьянства. Из его сочинений начисто исчезли «дома, раскрашенные пестрыми красками», «беззаботные, веселые и набожные мужики» и т. д.

Где, при каких обстоятельствах мог познакомиться Уэллс, хотя бы бегло, с жизнью русской деревни?

Долгое время никто не мог дать вразумительного ответа на этот вопрос. Лишь в мае 1965 года кое-что стало проясняться. Газета «Новгородская правда» опубликовала фотографию Герберта Уэллса, сделанную зимой 1914 года в деревне Вергежа Чудовского района. Фотография эта вызвала целый ряд откликов. Откликнулись, в частности, две женщины, которые были очевидцами пребывания Уэллса в деревне Вергежа. Они рассказали, что Уэллс был гостем известного революционера-семидесятника А. В. Тыркова. Хозяин и гость обошли всю деревню, заходили в избы, беседовали с крестьянами.

В апреле 1966 года автор этих строк выступил по ленинградскому радио с небольшой юбилейной речью об Уэллсе, где, между прочим, говорил: «Пока еще мы не знаем, каким образом Уэллс попал в Вергежу, как он познакомился с Тырковым. Но теперь уже ясно, что на эти и многие другие вопросы можно будет со временем ответить».

Возможность эта открылась почти немедленно. На радиопередачу отозвался один из дальних родственников А. В. Тыркова. Он рассказал следующее.

А. В. Тырков, народоволец, проходил по делу Софьи Перовской. Он был вторым метателем в террористической группе. Суд приговорил его к пожизненной ссылке.

Однако после двадцати лет, проведенных в Сибири, он получил разрешение вернуться в свое имение в Вер-

гежу, где и жил безвыездно в то время, когда Уэллс впервые посетил Россию.

У А. В. Тыркова была сестра Ариадна Владимировна, женщина смелых взглядов, разносторонних интересов, наделенная завидной энергией. Каким-то образом она была замешана в деле о «Выборгском воззвании». Причем настолько серьезно, что ей пришлось бежать за границу.

В Париже она познакомилась с Гарольдом Вильямсом, английским журналистом, уроженцем Новой Зеландии, и вышла за него замуж. Вильямс, со своей стороны, был хорошо знаком с Уэллсом и познакомил с ним свою жену.

К сожалению, ни Вильямса, ни Ариадны Тырковой нет более в живых, нет возможности установить что-либо о характере взаимоотношений Уэллса и Вильямса. Вильямс умер в 1929 году в Англии, его жена скончалась в возрасте 92 лет в Нью-Йорке уже после окончания второй мировой войны. Известно, однако, что в 1912 году Вильямс приехал в Петербург в качестве корреспондента одной из английских газет; он был довольно популярен среди русской интеллигенции и в либеральных кругах был известен под именем Гарольд Васильевич. Ариадна Тыркова приехала вместе с ним. Теперь она была женой английского подданного и могла не опасаться ареста.

Именно она, разумеется с согласия брата, пригласила Уэллса в январе 1914 года побывать в имении А. В. Тыркова в Новгородской губернии. Весьма вероятно, что в деревне Вергежа Уэллс соприкоснулся не только с жизнью русского крестьянства, но и с какими-то идеями Народной воли, и это могло наложить определенный отпечаток на его последующие русские впечатления.



Во второй раз Герберт Уэллс приехал в Россию ранней осенью 1920 года.

Страна переживала тяжелые времена. Она напрягалась из последних сил, чтобы совладать с разрухой, не погибнуть голодной смертью, не замерзнуть от холода, чтобы отбиться от интервентов и белогвардейцев. Стра-

не нужна была передышка, чтобы хоть немного прийти в себя. «Правда» в передовых статьях звала «На борьбу с голодом». Крупными буквами через полполосы печатался заголовок: «На пана и барона». Под этим заголовком помещались сводки с наиболее опасных фронтов — польского и крымского. Информация о военных действиях на других фронтах шла под рубрикой «Оборона Советской России». Экономическая жизнь страны, напряженная до предела, тоже была своего рода фронтом. Газеты так и называли ее — «Бескровный фронт». Слово «фронт» встречалось почти в каждом газетном заголовке. Существовали военные фронты, «бескровный фронт», «продовольственный фронт», «трудовой фронт», «мировой пролетарский фронт». Названия эти отнюдь не были свидетельством журналистского пристрастия к броской фразе. Тут действительно шла борьба не на жизнь, а на смерть.

По городам и деревням России шел сбор одежды для Красной Армии. Близилась зима — армия была раздета. На субботах, воскресниках и средниках заготавливали дрова. В газетах регулярно появлялись объявления, указывающие номера купонов, по которым население могло получить соль, селедку, нитки и спички. Это было всё, что получало население, кроме голодного хлебного пайка да ордеров на починку обуви.

Приглашение посетить Россию было передано Уэллсу через советскую торговую делегацию в Лондоне. Сейчас трудно установить, было ли это приглашение следствием просьбы самого писателя или результатом инициативы Горького. Не исключена возможность, что мысль пригласить Уэллса, с тем чтобы он впоследствии информировал английскую и мировую общественность о положении России, была высказана Владимиром Ильичем Лениным.

Получив приглашение, Уэллс тотчас согласился. Он живо интересовался положением России. Это неудивительно. Писатель был глубоко убежден, что старый капиталистический мир, с его бесплановым, дезорганизованным хозяйством и противоестественным, с точки зрения Уэллса, общественно-политическим устройством, обречен на гибель.

В своих очерках о России он писал впоследствии: «...самое важное — угрожающее и тревожное — состоит

в том, что рухнула социальная и экономическая система, подобная нашей и неразрывно с ней связанная».

Уэллса занимали, в первую очередь, два обстоятельства: причина гигантского краха и, главное, характер новой общественной структуры, рождавшейся на развалинах Российской империи. Позднее, в беседе с советским послом в Англии И. М. Майским, Уэллс рассказывал: «...после большевистской революции мне стало казаться, что именно в России возникает кусок того планового общества, о котором я мечтал. Меня тоже очень интересовала партия, созданная Лениным».

Газетные сообщения и многочисленные памфлеты, к которым, несомненно, обращался Уэллс, не могли дать ему ясного представления о русских событиях. Крупицы истины терялись в потоке дезинформации. На одно правдивое сообщение приходились десятки ложных, на одну честную книжку — десятки клеветнических. Отличить истину от вымысла было невероятно трудно и в то же время — страшно важно. Вот почему Уэллс ухватился за предложение, сделанное ему Л. Б. Красиным, и при первой же возможности сам отправился в Советскую Россию — в Петроград и Москву.

Новый русский опыт Уэллса начался от самой русско-эстонской границы, которую поезд пересек у Ямбурга. Уэллс дважды пересекал русскую границу в 1914 году. Он хорошо помнил грозных жандармов, под взглядом которых даже не повинные ни в чем люди чувствовали себя преступниками, дотошных таможенных чиновников, строгие шлагбаумы. Теперь ничего этого не было. Граница только что установилась. Пограничных войск и таможни не существовало. Охрану пограничных пунктов несли небольшие красноармейские наряды во главе с младшими командирами.

В Ямбурге поезд застрял: то ли дров на паровозе не было, то ли путь оказался неисправен. Уэллс вышел на платформу, и тотчас вокруг него столпились красноармейцы. Им интересно было посмотреть на живого английского писателя. Они пытались завязать с ним разговор, нещадно коверкая русский язык в надежде, что так иностранцу будет понятнее. Уэллс что-то отве-

чал по-английски. Бог ведает каким способом, но им удалось понять друг друга.

Было одиннадцать часов утра. Уэллс с его английской привычкой к регулярному питанию начал проявлять признаки беспокойства. Он стал настойчиво расспрашивать сопровождающих относительно завтрака. Сопровождающие чувствовали себя неловко: какой там завтрак! Шел двадцатый год, выдавали по осьмушке хлеба на человека, да и то не всем и не каждый день. Начальник пограничного наряда младший командир Борискин поинтересовался, в чем дело. Ему объяснили. Была напряженная тишина. Потом красноармейцы дружно расхохотались. Их смех долго еще стоял в ушах Уэллса, который никак не мог понять, что необычного и странного может заключаться в желании человека позавтракать. Потом понял. Понял, что страна голодает.

Собственно говоря, он знал об этом, слышал. Но то было абстрактное, отвлеченное знание. Теперь он столкнулся с этим на практике. Правда, он долго не мог понять, отчего красноармейцы смеялись.

— Было бы естественно, если бы они нахмурились, отвернулись, выругались. Но почему они смеялись? — спрашивал Уэллс.

Потом он понял и это.

Между тем, Борискин отнесся к сложившейся ситуации с полной серьезностью.

— А как же, — сказал он. — Писателю обязательно надо закусить. Он же в гости приехал. Сейчас мы это наладим.

Через полчаса Уэллс и его сын в компании красноармейцев ели прославленную «блондинку» и запивали ее немислимым мутным самогоном. Уэллс оценил и меру своей бестактности и меру красноармейского радушия.

Приехав в Петроград, Уэллс был потрясен. Всего шесть лет прошло со времени его первого визита в российскую столицу. Тогда это был город купцов, чиновников, придворной аристократии, блистательных гвардейцев и лощеных дипломатов. Рабочий люд селился по окраинам, поближе к заводам, и был незаметен. Уэллс хорошо помнил столичную толпу, магазины с черно-золотыми вывесками, офицеров, мчавшихся по

Невскому на лихаках, роскошные царские дворцы, нарядную публику у театральных подъездов.

Теперь, осенью 1920 года, Уэллс испытал странное ощущение, будто он совершил путешествие на им же самим придуманной машине времени. Город был тот же. Те же улицы, площади, мосты, здания. Но и только. Всё остальное неузнаваемо изменилось. Уэллс остановился у Горького, отклонив предложение поселиться в особняке III Интернационала, где ему было отведено специальное помещение. Стремясь как можно ближе познакомиться с жизнью России за те две недели, что ему предстояло провести в Петрограде и Москве, Уэллс отказывался от всяких «особых» условий. Это, кстати, совпадало и с пожеланиями Советского правительства. Незадолго до его приезда в Петрограде было получено указание Ленина: показывать Уэллсу всё, что возможно, знакомить его с русской жизнью как можно обстоятельнее. Это указание было выполнено буквально. Уэллс стоял в очередях за хлебом. Он питался в столовых и уже больше не спрашивал, когда же подадут завтрак. Его водили в баню, где одежду нельзя было оставлять в предбаннике, а приходилось связывать в узел и нести с собой в мыльную. Он жил, как все, и ел, как все. Он старался сразу приспособиться, и это ему почти удалось.

Через день после своего приезда в Петроград Уэллс присутствовал на заседании Комиссии по улучшению быта ученых (КУБУ), председателем которой был Горький. Комиссия эта занималась не только вопросами быта. Покуда ее возглавлял Горький, ее правильнее было бы называть Комиссией спасения ученых и содействия развитию русской науки.

Заседание, на которое пришел Уэллс, было вполне рядовым и к тому же весьма характерным. В повестке дня смешивались самым удивительным образом вопросы быта ученых, организации науки, научной пропаганды и так далее. Обсуждались заявления ученых с просьбой о предоставлении им продуктового пайка, необходимость расширения научно-просветительской деятельности Дома ученых, проект организации международного съезда ученых в Петрограде, открытие га-loшно-починочной мастерской при Доме ученых и так далее — всего четырнадцать пунктов.

Участие в одном таком заседании давало достаточно материала, чтобы составить себе некоторое представление о положении ученых в Петрограде. Неудивительно, что Уэллс был потрясен: люди, умирающие от истощения, замерзающие в холодных домах, обсуждают проект созыва международной конференции ученых. Всемирно известный писатель Максим Горький, академики Ольденбург, Ферсман, Манухин, Тонков — все ученые с мировыми именами — тратят время и силы на организацию галошно-починочной мастерской. От таких контрастов захватывало дух и становилось не по себе. Особенно Уэллса поразило, что ученые гораздо больше страдали не от голода, а от недостатка научной литературы и лабораторного оборудования. Они могли не есть, но не могли не работать. В своих очерках о России Уэллс писал впоследствии: «Наша блокада отрезала русских ученых от иностранной научной литературы. У них нет новой аппаратуры, не хватает писчей бумаги, лаборатории не отапливаются. Удивительно, что они вообще что-то делают. И всё же они успешно работают. Павлов проводит поразительные по своему размаху и виртуозности исследования высшей нервной деятельности животных; Манухин, говорят, разработал эффективный метод лечения туберкулеза, даже в последней стадии, и так далее... Дух науки — поистине изумительный дух... В Доме литературы и искусств мы слышали кое-какие жалобы на нужду и лишения, но ученые молчали об этом. Все они страстно желают получить научную литературу; знания им дороже хлеба».

Уэллс выступил на этом заседании КУБУ и предложил организовать доставку научной литературы из Англии. Его предложение было тут же принято.

Пожалуй, ни в чем другом Уэллс не проявил столько энтузиазма и энергии, как в своем стремлении поддерживать русскую науку.

Вскоре после его отъезда из России в Петроград стала поступать научная литература в весьма значительном количестве. При Доме ученых удалось даже устроить специальный читальный зал для работников Академии наук, университета и других научных учреждений Петрограда. Русская наука обязана Уэллсу по меньшей мере признательностью. Он поддержал пе-

петроградских ученых в трудное для них время тем, что было для них «дороже хлеба».

За десять дней, проведенных в Петрограде, Уэллс побывал в нескольких школах и рабочих университетах, принял участие в обсуждении проспекта издательства «Всемирная литература», познакомился с работой института экспериментальной медицины, посетил Академию наук, Дом ученых. Он осматривал коллекции Эрмитажа и слушал Шаляпина в опере. В Петрогубкоммуне он внимательно изучал «постановку продовольственного дела в Петрограде». «Уэллсу, — сообщает «Петроградская правда», — были продемонстрированы картограммы и диаграммы, наглядно изображающие организацию снабжения и распределения продуктов среди петроградского населения. Писатель наиболее заинтересовался разработанной в настоящее время системой продзнаков, которые предполагается ввести в Петрограде взамен карточек. Уэллс посетил коммунальные столовые и предполагает ознакомиться также с хлебозаводами и другими предприятиями Петрогубкоммуну».

Об интересе Уэллса к организации народного хозяйства в России свидетельствует и К. Габданк, исполнявший в 1920 году обязанности председателя коллегии «Продпути», случайно оказавшийся в одном вагоне с Уэллсом, когда тот ехал в Москву, чтобы встретиться с Лениным.

Может быть, одним из самых значительных событий, связанных с пребыванием Уэллса в Петрограде было его участие в заседании пленума Петроградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Он выступил с короткой речью, о содержании которой бегло упоминает в «России во мгле». Эта речь представляет достаточный интерес, чтобы привести хотя бы отрывки из нее. Текст ее был опубликован в «Петроградской правде».

Как сообщает газета, «Совет устраивает Уэллсу шумную овацию. Товарищ Уэллс произносит свою речь на английском языке. Ее переводит товарищ Зорин. Речь эта буквально гласит следующее:

„Я очень польщен оказанным мне приемом. Было бы сомнением думать, что такой сердечный прием

оказан мне как личности. Я считаю, что честь эта оказана мне не как представителю страны или правительства, но как представителю свободной мысли Англии и Америки...

Я и единомышленники мои преследуем те же задачи, которые преследуете вы, а именно — всемирное государство социальной справедливости...

Условия жизни на Западе — иные, чем в России, а разные условия жизни порождают разные приемы борьбы. Но конец будет тот же: всемирное государство, которому каждый будет служить по мере своих сил и которое будет обслуживать каждого, соответственно его потребностям.

Мы, на Западе, всеми силами стараемся добиться мира с Россией, — мира, при котором вы получите возможность продолжать в более легких условиях гигантскую работу создания нового политического и социального строя, среди полного разорения страны, доведенной до этого состояния милитаризмом и военной авантюрой царизма. Вы стоите перед созидательной работой, изумительной своим бесстрашием и силой.

Она не имеет себе равной в истории человечества. В ней — выражение той гениальной способности России, которая давно проявлена в русской литературе, — я говорю о бесстрашной мысли и безграничном напряжении сил...

Россия и Англия, несмотря на все взаимные прегрешения, могут любить и понимать друг друга и вместе работать для человечества и для того нового мира, который рождается среди мрака и бедствий. Дайте мне еще раз сказать вам, что английский народ хочет мира, добьется мира и не успокоится, пока не добьется его»).

Особенно интересовался Уэллс литературной жизнью России. Ежевечерне он встречался и разговаривал с писателями в квартире Горького. Огромное значение имели для него беседы с самим Горьким, который лучше, чем кто-либо другой, был осведомлен обо всех литературных начинаниях.

По-видимому, самым интересным эпизодом, связанным с литературной жизнью Петрограда, было для Уэллса посещение издательства «Всемирная литература». Он присутствовал на редакционном заседании,

попросил экземпляр каталога книг, предполагавшихся к изданию, и основательно над ним поработал. По свидетельству К. И. Чуковского, Уэллс сделал множество дополнений и поправок, с которыми Горький, очевидно, посчитался. К сожалению, экземпляр каталога с пометками Уэллса утрачен. Его присвоил и увез с собой некто мистер Кини из «Американской администрации помощи» (АРА).

Проект «Всемирной литературы» поразил Уэллса. Россия, жившая в титаническом напряжении всех сил, голодающая и обороняющаяся от многочисленных врагов, затевала литературное предприятие, равного которому не было ни в одной другой стране мира. «В этой непостижимой России, — писал Уэллс, — воюющей, холодной, голодной, испытывающей бесконечные лишения, осуществляется литературное начинание, немыслимое сейчас в богатой Англии и богатой Америке... сотни людей работают над переводами; книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой России такое знакомство с мировой литературой, какое недоступно ни одному другому народу».

В разговорах с писателями Уэллс интенсивно и широко интересовался русской литературой, обнаружив при этом хорошую осведомленность в творчестве русских писателей: Толстого, Тургенева, Лермонтова, Гончарова, Лескова и других. Но он хотел знать больше и задавал своим собеседникам бесчисленное количество вопросов.

Сейчас трудно восстановить во всех деталях картину пребывания Уэллса в Петрограде. Немного осталось людей, встречавших английского писателя в 1920 году.

Память человеческая — этот капризный инструмент — сохранила лишь отдельные, порой случайные эпизоды, связанные с петроградской жизнью Уэллса. Кое-кто помнит, например, бурное восхищение Уэллса шалыпинским мастерством перевоплощения.

Однажды вечером Уэллс слушал «Вражью силу» в Михайловском театре. На следующий день в этом же театре он слушал «Дон-Кихота». Увидев на сцене длинного, тощего, костлявого рыцаря из Ламанчи, Уэллс отказывался верить, что это Шалыпин, хотя сидел он у самой сцены в директорской ложе. Только в антракте,

когда Шаляпин пришел в ложу поздороваться, он повесил и восхитился.

Другой эпизод связан с именем артиста Монахова. Как-то вечером в квартире Горького Монахов произнес длинный тост. Это был набор русских слов с потрясающе точным английским акцентом. Уэллс внимательно слушал, а потом сказал своему соседу: «Он несомненно говорит по-английски, но что это за диалект? Я слышу его в первый раз».

Подобные воспоминания, несомненно, оживляют картину пребывания Уэллса в Петрограде, но, к сожалению, дополняют ее не слишком существенно. Газетные материалы тоже мало помогают делу. На фоне грандиозных и нередко трагических событий того времени приезд Уэллса выглядел малозначительной деталью. Вероятно поэтому информация об Уэллсе ограничивается несколькими весьма скудными заметками.

Тем не менее, объединив воспоминания современников, газетную информацию и рассказ самого Уэллса, мы получаем достаточно точную и подробную картину, на основании которой можно судить о том, что привлекало внимание писателя в Петрограде, какова была его реакция на увиденное и какие цели он преследовал в своей поездке.

Во время своего кратковременного пребывания в Петрограде Уэллс поразил многих встречавшихся с ним людей особым даром интенсивного восприятия. Его интеллект работал со сверхъестественной энергией. Он мало говорил, но очень внимательно слушал, вглядывался, расспрашивал, впитывая, как губка, всё новую и новую информацию. К. И. Чуковский рассказывает, что Уэллс даже пытался понять своих собеседников по тону, по жесту, по выражению лица. Он не мог, не хотел ждать, пока переводчица переведет их реплики на английский язык.

Критика нередко говорит об ошибочных впечатлениях и выводах Уэллса относительно жизни революционного Петрограда. Ошибок действительно много. Они были неизбежны.

Но, может быть, стоит обратить внимание и на другую сторону дела: Уэллс за несколько дней сумел увидеть и понять столько, сколько другим не удавалось за несколько месяцев и даже лет.

Из Петрограда Уэллс отправился в Москву, где, как известно, встретился с Владимиром Ильичем Лениным. Рассказ о беседе Ленина с Уэллсом мог бы составить предмет специальной статьи. Впрочем, история встречи выдающегося фантаста с руководителем первого в мире социалистического государства хорошо известна. О ней писали неоднократно историки, публицисты, поэты и драматурги. О ней подробно рассказал сам Уэллс в одной из глав своей книжки «Россия во мгле», написанной тотчас по возвращении в Англию в октябре 1920 года.

Григорий Мишкевич

три часа у великого фантаста

В конце июля 1934 года английский писатель Герберт Уэллс приехал в Ленинград, где провел несколько дней. До этого он путешествовал по стране, побывал, в частности, на Днепрогэсе, присутствовал на физкультурном параде на Красной площади в Москве. Известно также, что английский романист беседовал с И. В. Сталиным, Максимом Горьким, встречался с советскими учеными, писателями, деятелями искусств.

Пребывание Уэллса в Ленинграде было сравнительно недолгим, но весьма насыщенным: он виделся с И. П. Павловым, Л. А. Орбели, А. Н. Толстым, посетил Петергоф, Пушкин, побывал в Эрмитаже. Но, вероятно, мало кто знает о встрече группы ленинградских писателей и популяризаторов науки с маститым британским литератором.

Автор настоящих воспоминаний работал тогда в Ленинградском отделении издательства «Молодая гвардия». В комнате на третьем этаже знаменитого Дома книги, где находилась редакция научно-популярной литературы, часто можно было встретить видных ученых и писателей: А. Е. Ферсмана, Я. И. Перельмана, А. Р. Беляева и других. Горячо обсуждались не только планы новых книг, но и рукописи (например, роман Александра Беляева «Прыжок в ничто»), спорили о новинках зарубежной научно-фантастической и научно-популярной литературы.

Когда в конце июля 1934 года стало известно о приезде в Ленинград Герберта Уэллса, в редакции собрался почти весь «синклит» авторов и было решено: ни в коем случае не упустить возможности встретиться с английским писателем и просить Ленинградское отделение ВОКСа устроить такую встречу. Решили преподнести Уэллсу подарок: по экземпляру всех его книг, изданных в СССР после Октябрьской революции. Побутно замечу, что из этих двух забот, выпавших на мою долю, выполнение второй оказалось едва ли не самой трудной. Пришлось обрыскать буквально всех букинистов и (увы, теперь уже не существующие, к сожалению!) книжные развалы... Кое-кому пришлось расстаться с собственными экземплярами (особенно Якову Исидоровичу Перельману, в богатейшей личной библиотеке которого имелись все книги Уэллса, изданные после 1917 года Сойкиным и Госиздатом). Наконец все книги — несколько десятков — были бережно упакованы в две объемистые пачки, оставалось лишь преподнести их автору...

Встретиться с Гербертом Уэллсом, против всяких ожиданий, оказалось совсем не так уж сложно. В ВОКСе сразу вняли нашей слезной просьбе, но посоветовали ждать.

Ожидание тянулось несколько дней. Лишь 30 июля позвонил работник ВОКСа Андриевский и сказал: «Всё в порядке! Герберт Уэллс согласился принять небольшую группу ленинградских писателей и ученых. Первого августа, в шесть вечера, он просит быть у него».

И вот, еще задолго до назначенного часа, в холле гостиницы «Астория», около кадки с пальмой, начали появляться участники «депутации».

Первым пришел профессор-геофизик Борис Петрович Вейнберг — невысокий и, несмотря на полноту, весьма подвижный человек, с лукавой усмешкой, таявшей в бороде. Сын знаменитого литературоведа и переводчика Гейне, Борис Петрович был выдающимся ученым и, кроме того, немало потрудился на поприще научной популяризации. Его перу принадлежала (например, книга «Снег, иней, град, лед и ледники», выдержавшая несколько изданий. Борис Петрович хорошо владел английским и согласился быть нашим переводчиком.

Затем пришел Яков Исидорович Перельман — о нем говорит уже само его имя, — патриарх советской (да и не только советской!) семьи «занимательщиков».

Вслед за ним показалась плотная фигура Николая Алексеевича Рынина, профессора Института путей сообщения, автора известного курса «Начертательная геометрия» и не менее известного капитального труда о межпланетных перелетах — этой своеобразной и уникальной в своем роде энциклопедии по истории авиации, астронавтики и астронавигации.

Наконец пришел Александр Романович Беляев — крупнейший советский писатель-фантаст. Опираясь на палку (он был человеком болезненным) и дружелюбно поглядывая сквозь толстые стекла пенсне, он уселся рядышком с Вейнбергом.

Таков был состав «депутации», пришедшей в «Асторию», чтобы побеседовать с признанным королем научной фантастики.

Мы сидели на диване, обсуждая в оставшиеся четверть часа возможные детали встречи. Каждого занимала мысль о том, какое впечатление произвела на Герберта Уэллса наша страна. По этому поводу уже в вестибюле разгорелись жаркие дебаты.

— Бьюсь об заклад, — горячился Вейнберг, — что Уэллс находится в состоянии полной растерянности! Если он хороший наблюдатель, то всё видел и должен отказаться от своих прежних мнений о России.

— Разумеется, — заметил деликатнейший Яков Исидорович Перельман. — Уэллс, как настоящий художник, не может равнодушно воспринимать перемены, которые бросаются всем в глаза.

— Нет, Яков Исидорович, — возразил Рынин. — Такие люди, как Уэллс, не так-то просто расстаются со своими прежними убеждениями и представлениями. Не забывайте, что Уэллс художник не просто с буржуазным, а с британским — я подчеркиваю это — мировоззрением! Англичане упорны в своих взглядах!

В разговор вступил Александр Беляев:

— Меня лично интересуют взгляды и позиция Уэллса как писателя-фантаста. За последние десятилетия научно-фантастическая литература за рубежом невероятно деградировала. Убогость мысли, низкое профессиональное мастерство, трусость научных и со-

циальных концепций — вот ее сегодняшнее лицо... Любопытно, что́ думает по этому поводу Уэллс? Ведь он по-прежнему остается властителем дум в этой области литературы...

— Одним словом, — заключил Борис Петрович, — Уэллсу предстоит жаркий разговор, если, конечно, он не увильнет от него чисто по-английски.

Наша беседа была прервана приходом Андриевского.

— Герберт Уэллс просит вас к себе в номер, — сказал он. — Прошу не очень утомлять его расспросами, так как он устал после поездки в Колтуши. — Андриевский сделал небольшую паузу, а потом добавил: — Уэллс, кажется, чем-то раздражен...

— Ага! — усмехнулся Борис Петрович. — Вероятно, Иван Петрович поговорил с ним по душам...

— Но я надеюсь, — улыбнулся Беляев, — мы не станем его подробно расспрашивать об этом?..

В номере люкс навстречу нам поднялся высокий худощавый человек с седым коротким бобриком на голове, с глубоко посаженными внимательными, добрыми, но очень усталыми глазами. Борис Петрович Вейнберг после нескольких вступительных слов Андриевского представлял нас всех поочередно, и Уэллс, крепко пожимая каждому руку, приговаривал по-русски:

— Очень, очень приятно!

Он пригласил нас к круглому столу, уставленному вазами с фруктами, сэндвичами и бутылками с прохладительными напитками, придвинул ящик с сигарами. Все уселись, и при посредстве Бориса Петровича Вейнберга началась беседа. Тон, характер и содержание беседы лучше всего передать, если попытаться воспроизвести ее так, как она происходила, то есть «в лицах»:

УЭЛЛС. Я очень рад представившейся мне возможности встретиться со своими коллегами по профессии. Это, кстати, одна из главных целей моей поездки в Советский Союз. Дело в том, что после смерти Голсуорси я был избран президентом сообщества писателей «Пенклуб». В Москве я виделся с Максимом Горьким, с которым обсуждал вопрос о вступлении Союза советских писателей в «Пенклуб». Но Горький решительно отклонил мое предложение на том основании,

что «Пенклуб», не делая никаких политических различий, в число своих юридических членов принял корпорации писателей гитлеровской Германии и фашистской Италии. Я лично был весьма огорчен, услышав из уст Максима Горького отказ...

ВЕЙНБЕРГ. Это произошло потому, что некоторые писатели Германии и Италии не хотят служить гуманизму, предпочитая поддерживать сумасбродные геополитические устремления своих диктаторов...

УЭЛЛС. Писатель, мой дорогой профессор, должен стараться по возможности быть вне политики. В противном случае его творчество может оказаться не свободным от влияния тенденции...

БЕЛЯЕВ. Мистер Уэллс, позвольте спросить, были ли вы как литератор абсолютно свободны от влияния тенденции, когда писали свой, я сказал бы, зловещий роман «Джоан и Питер»? От сюжетной концепции веет ужасом и безысходностью: в середине шестидесятых годов нашего столетия — новая мировая война... Бомбами чудовищной силы города расплавлены, человечество уничтожено. И от всей человеческой цивилизации уцелел лишь сломанный велосипед... И двое молодых людей, словно Адам и Ева, начинают новый человеческий род на развалинах старого мира. Разве этот роман не тенденциозен?

УЭЛЛС. У нас, любезный коллега, совершенно разные подходы к оценке сюжета. Я исхожу из всечеловеческого добра. Вы видите во всем лишь классовую борьбу...

ПЕРЕЛЬМАН. Я опасаясь, что ваш превосходный роман «Борьба миров» в подтексте тоже имеет в виду классовую борьбу.

УЭЛЛС. Возможно, возможно... Простите, не вы ли тот самый Джекоб Перлман, который столь своеобразно интерпретировал мои произведения? Я читал вашу «Удивительную физику» — так она именуется в английском переводе.

ПЕРЕЛЬМАН. Тот самый...

УЭЛЛС (смеясь). ...который так ловко разоблачил моего «Человека-невидимку», указав, что он должен быть слеп, как новорожденный щенок... И мистера Кейвора за изобретение вещества, якобы свободного от действия земного тяготения...

ПЕРЕЛЬМАН. Каюсь, было так, было... Но ведь от этого ваши романы не стали хуже.

УЭЛЛС. А я, признаться, так тщательно старался скрыть эти уязвимые места моих романов от взора читателей! Как же это вам удалось разгадать мои секреты?

ПЕРЕЛЬМАН. Видите ли, моя специальность — физика. Кроме того, я еще и популяризатор.

Когда смех, вызванный этой мирной перепалкой, утих, я преподнес Уэллсу обе пачки книг. Вручая подарок, я передал ему также и справку Всесоюзной Книжной палаты о тиражах его книг в СССР (они перевалили за 700 000 экземпляров!).

УЭЛЛС. Благодарю вас за очень приятный для меня сюрприз. Это гораздо больше, чем издано в Англии за то же время. Весьма приятный сюрприз!

РЫНИН. Как видите, вас охотно читают у нас, потому что любят и знают вас как признанного мастера научной фантастики.

БЕЛЯЕВ. У нас охотно читают и других иностранных фантастов. Читают ли у вас, в Англии, произведения наших писателей?

УЭЛЛС. Я по нездоровью не могу, к сожалению, следить за всем, что печатается в мире. Но я с огромным удовольствием, господин Беляев, прочитал ваши чудесные романы «Голова профессора Доуэля» и «Человек-амфибия». О! Они весьма выгодно отличаются от западных книг. Я даже немного завидую их успеху!

ВЕЙНБЕРГ. Чем именно отличаются, позвольте спросить? Мы будем весьма признательны, если вы хотя бы кратко охарактеризуете общее состояние научной фантастики на Западе. Ведь этот род литературы — один из самых массовых, а кроме того, он особенно близок нам.

УЭЛЛС. Мой ответ на ваш вопрос, господин профессор, будет кратким. В современной научно-фантастической литературе Запада невероятно много буйной фантастики, и столь же невероятно мало подлинной науки и глубокой мысли. Научная фантастика, как литературный жанр, вырождается, особенно в Соеди-

ных Штатах Америки. Она постепенно становится суррогатом литературы. Внешне занимательная фабула, низкопробность научной первоосновы и отсутствие перспективы, безответственность издателей — вот что такое, по-моему, наша фантастическая литература сегодня. Она не поднимается выше тривиальных сюжетов о полетах в далекие небесные миры. Между тем, задача всякого литератора, особенно работающего в научно-фантастическом жанре, — провидеть социальные и психологические сдвиги, порождаемые прогрессом цивилизации. Задача литературы — усовершенствование человечества... Впрочем, может быть, я слишком субъективен в своих суждениях? Но в нашей профессиональной среде я могу высказать эти наблюдения, не рискуя быть понятым превратно. Не так ли?

БЕЛЫЕВ. Благодарим вас, всё сказанное вами чрезвычайно интересно и важно! Мы можем лишь искренне радоваться тому, что наши мнения по этому вопросу полностью совпадают.

ПЕРЕЛЫМАН. Нас очень интересуют ваши личные творческие планы. Над чем вы работаете в настоящее время, над чем размышляете?

УЭЛЛС. Мне сейчас шестьдесят восемь лет... А это означает, что каждый англичанин в моем возрасте должен подумать над тем, зажжет ли он шестьдесят девятую свечу в своем именинном пироге... Поэтому меня, Герберта Уэллса, в последнее время всё чаще интересует Герберт Уэллс. Но, несмотря на это, я продолжаю работать над книгой, в которой стремлюсь отразить некоторые черты нынешней смутной поры, чреватой военными потрясениями.

БЕЛЫЕВ. Мы знаем вас как противника фашизма, и нас очень радует, что вы не остаетесь в стороне от общей борьбы против губителей цивилизации. Правильно ли я вас понял?

УЭЛЛС. Более или менее правильно.

ВЕЙНБЕРГ. Мы надеемся, мы верим, что вы окажетесь на той же стороне баррикады, на которой будем и мы в случае, если грянет новая борьба миров...

УЭЛЛС. Мой дорогой профессор! Боюсь, что из меня выйдет неважный баррикадный боец... Да и кроме того, когда заговорят пушки, вряд ли нужны будут перья, к тому же писателей-фантастов.

РЫНИН. Не скажите, не скажите... иное перо много сильнее пушек.

Уэллс не ответил на эту реплику. Он внимательно оглядел всех нас и, помолчав, тихо произнес что-то по-английски. Мы вопросительно посмотрели на Бориса Петровича. Тот встал и сказал:

— Герберт Уэллс сердечно благодарит всех за приятную и полезную беседу и сожалеет, что не в состоянии продолжать ее, так как у него разболелась голова.

Уэллс крепко пожал нам всем руки, мы раскланялись и вышли из номера.

Часы в холле показывали ровно девять.

Ленинград, ноябрь 1966

Лев Успенский

братски ваш герберт уэллс...

совершенно фантастично

В моих руках библиографический справочник. Издательство «Книга», Москва, 1966 год. На обложке: «Герберт Уэллс».

А на странице 131-й статья, озаглавленная так: «Уэллс и Лев Успенский».

Как это понимать? «Шекспир и Константин Фофанов», «Гомер и...»

К немалому моему смущению, Лев Успенский — я. Необходимо объясниться, а для этого надо начать очень издавна.

Да, так случилось. В разгар войны, в 1942 году, советский писатель с ленинградского фронта обратился с письмом к одному прославленному собрату. Письмо затрагивало вопрос, который в те дни представлялся нам вопросом номер два, если под номером первым числить самоё войну. Вопрос об открытии союзниками Второго фронта. Оно было адресовано: Лондон, Герберту Уэллсу.

Фантастика? Конечно, но более или менее правдоподобная.

Письмо было направлено через Совинформбюро. Шесть месяцев спустя в блокадном Ленинграде советский литератор Успенский получил от английского литератора Уэллса ответ.

Это уже показалось и ему самому и всем его окружавшим — фантастикой на пределе.

Ответ имел вид телеграммы на семи страницах писчей бумаги обычного формата. Читать его было не легко: на каждой строчке написано буквами: «комма», «стоп», а то и «стоп-пара», что, оказывается, значит: «точка-абзац». Но за этими знаками препинания бились живые и напряженные мысли, чувствовалась искренняя приязнь и дружба.

Не буду спорить: эти мысли были мыслями человека, но не политика, не социолога. Однако они были мыслями пережитыми, откровенными до предела, выстраданными за долгую жизнь вдумчивого художника.

В статье «Уэллс и Лев Успенский» говорится, будто я получил этот ответ только по окончании войны. Нет, Совинформбюро прислало его копию мне в Ленинград, на Пубалт, в августе того же сорок второго года.

Подобно ракете, эта копия пронеслась перед глазами удивленного до предела командования. Неделю или две спустя два бравых лейтенанта-штабиста, печата шаг, вошли в ту комнату опергруппы В. В. Вишневского, где, проездом на фронт, жил я. «Интендант Успенский — вы? Пять минут на сборы! У комфлота четверть часа времени; он требует вас немедленно!»

Когда Кейвора вызвали на прием к Великому Лунарию, он трепетал. Так как же должен трепетать интендант III ранга, когда его вызывают к командующему флотом? «Успенского? К Трибуцу? А что он надеялся?»

Часа полтора — и вот это было уже суперфантастикой! — за закрытыми дверями кабинета я гонял чай с Владимиром Филипповичем Трибуцем. Генштабисты и крупные морские начальники почти всегда люди широких горизонтов, по-настоящему образованные. Мы беседовали обо всем: об этой войне и о «Борьбе миров», об Уэллсе и о Невской Дубровке, о марсианах и о нашем детстве; мы были почти сверстниками. Вот от моего детства мне и приходится сейчас повести речь,

плюсквамперфектум

1909 год. Я ношу фуражку с ярко-зеленым околышем: учусь в Выборгском восьмиклассном коммерческом училище.

Опять фантастика: странен смутный мир девяти-сотых годов. Училище Выборгское, но находится в Петербурге. Оно восьмиклассное, но работают только пять или шесть классов; старших еще нет. Оно ни с какой стороны не коммерческое, и вот почему.

Под рукой Министерства просвещения немыслима никакая прогрессивная школа. Там министром — А. Н. Шварц, ДТС (действительный тайный советник), сенатор, профессор. У Саши Черного есть стихи о нем:

У старца Шварца ключ от ларца,
А в ларце — просвещение.
Но старец-Шварец сел на ларец
Без всякого смущенья.

Чтобы не лезть в ларец, группа передовых педагогов схитрила. Они сбежали в торговлю и промышленность. И тамошние Шварцы — не золото, но торговать и промышленлять приходится не на латинском языке! Тамошние — либеральнее.

Это училище задалось целью сделать из нас не «коммерсантов», а людей. Для этого оно применяло всевозможные приемы.

Был и такой: «уроки чтения». Раз в неделю Елена Валентиновна Корш, классная дама первоклассников, на ходу приспособливая текст, читала нам что-нибудь «старшее».

Начала она с «Дэвида Копперфилда»; Диккенс не произвел на меня тогда ни малейшего впечатления. Затем мы прослушали «Джангл-Бук» Киплинга. По гроб жизни я благодарен за это маленькой грустноглазой женщине со смешной брошью в виде пчелы на бархатной блузке.

А потом настал день, которого я не забуду никогда. Е. В. Корш вынула из сумочки желтенький пухлый томик, величиной с ладонь: «Универсальная Библиотека», издание Антика. «Дети! Я попогобую почитать вам очень стганный гоман очень стганного писателя. Если будет тгудно или скучно, сразу же скажите мне...»

Стояла питерская зима, самые короткие дни. В классе горела керосино-калильная лампа, чудо техники, с «ауэровским колпачком». На подоконнике желтело чучело тюленёнка-белька: до этого был предметный урок — «Как сделали твой ранец?» Всё было знакомо, просто, обыденно — как всегда. И вдруг...

«Маленькая обсерватория астронома Огильви. Потайной фонарь бросает свет на пол. Равномерно тикает часовой механизм телескопа. В поле зрения трубы — светлый кружок планеты среди неизмеримого мрака мирового пространства...» Кто это вспоминает — он или я?

«...В ту ночь поток газа оторвался от далекой планеты. Я сам видел это... Я сказал об этом Огильви, и он занял свое место. Ночь была жаркая; мне захотелось пить. Я побрел к столику, где стоял сифон с содовой водой...»

Даже сахарская жажда не заставила бы рослого толстого мальчишку куда-нибудь побрести ни в тот день, ни во все последующие пятницы. Неделю за неделей, каждую пятницу, он сидел на том же месте в левой колонке парт, рядом с Асей Лушниковой, за Юриком Добкевичем, не отводя глаз от читавшей, шесть дней мечтая о волшебном седьмом дне, когда опять приоткроется это.

К весне это пришло к концу. Я не мог так просто оторваться от него. Я должен был еще раз, один, без помех, повторить мучительный и чудесный путь; еще раз увидеть, как под тонким молодым месяцем майский жук перелетает дорогу над Рассказчиком и Викарием, точно в тот миг, как «ближний марсианин высоко поднял свою тубу и выстрелил с грохотом, от которого содрогнулась земля»... И как пылал под действием теплового луча Шеппертон. И как героически погиб миноносец «Громящий» («Тандерер»; это в традициях Флота Ее Величества, а не «Дитя Грома» нынешних переводов!)...

Я жаждал вторично пройти в страхе по мертвым улицам Лондона и услышать душу выматывающее «улля-улля!» последнего оставшегося в живых чудища. И, задохнувшись, взбежать на Примроз-хилл, и

оттуда, в лучах восходящего солнца увидеть станцию Чок-Фарм и Килбери, и Хемпстед и башни Хрустального Дворца — «с сердцем, разрывающимся от великого счастья *избавления...*»

Педагоги, даже лучшие, — странные люди. Я умолил Е. В. Корш дать мне на неделю маленький желтый томик, ковчег небывалого. Она вручила мне его, аккуратно перевязав красной ниточкой несколько страничек в конце. «Я прощу тебя, Лёвушка, не читать этого. Там говорится о взгослых вещах, котогых ты еще не поймешь...»

С великим трудом, напросвет, держа книжку над головой, по-всякому, я исследовал странички, которых я почему-то «не пойму». Странное дело: я всё понял.

Там говорилось, что марсиане размножались бесполом путем, посредством деления. Один детеныш-почка возник на теле родителя даже во время межпланетного пути.

Я пришел в недоумение.

В те годы я был страстным биологом. Книжка Вагнера о простейших не сходила с моего стола. Амебы и вольвоксы были моими ближайшими знакомыми. Все размножались точно так же — почкованием, делением; о других, более совершенных способах размножения, я имел весьма смутное представление.

Я вернул книжку учительнице; она не заподозрила моего вероломства.

...Весной того года — года перелета Блерио через Ламанш — я добыл «Машину Времени» в одном переплете с чудесной «Волшебной лавкой». Потом «Невидимку», потом «Войну в воздухе».

Когда никто не видел, я лил тайные слезы: ведь «маленькое тельце Уины осталось там, в лесу...» Ведь медленно, начиная с красноватой радужины, как фотонегатив «проявлялось» обнаженное тело альбиноса Гриффина, лежащего мертвым на свирепой земле собственнической Англии.

Как пришибленный, целыми часами, вглядывался я в трагически медленный закат огромного тускло-красного солнца над Последним Морем Земли. И сейчас, как самое страшное видение мира, мерещится мне в тяжелых волнах этого моря «нечто круглое, с футболь-

ный мяч или чуть побольше, со свисающими щупальцами, передвигающееся резкими толчками» — последняя ставка жизни, проигранной уэллсовским человечеством...

данте и виргилий

Как передать всю силу воздействия, оказанного им на мое формирование как человека; наверное — не на одно мое?

Порою я думаю: в Аду двух мировых войн, в Чистилище великих социальных битв нашего века, в двусмысленном Раю его научного и технического прогресса, иной раз напоминающего катастрофу, многие из нас, тихих гимназистиков и «коммерсантиков» начала столетия, задохнулись бы, растерялись, сошли бы с рельс, если бы не этот Поводырь по непредставимому.

Нет, конечно, — он не стал для нас ни вероучителем, ни глашатаем истины; совсем не то! Но кто его знает, как пережили бы юноши девятисотых годов кошмар первых газовых атак под Ипром или «на Бзуре и Равке», если бы у них не было предупреждения — мрачных конусов клубящегося «черного дыма» там, в «Борьбе миров», над дорогой из Санбери в Голлифорд.

Как смог бы мой рядовой человеческий мозг, не разрушившись, вместить Эйнштейнов парадокс времени, если бы Путешественник по Времени, много лет назад, не «взял Психолога за локоть и не нажал бы его пальцем маленький рычажок модели»...

«...Машинка закачалась, стала неясной. На мгновение она представилась нам тенью, выхорьком поблескивающего хрусталя и слоновой кости, и затем — исчезла, пропала... Филби пробормотал проклятие...»

А Путешественник? «Встав, он достал с камина жестянку с табаком и принялся набивать трубку...» Точно такая же жестянка «Кепстена» стояла на карнизе кафельной печки в кабинете моего отца; такая же трубка лежала на его столе.

И этой обыденностью трубок и жестянок он и впечатывал в наши души всю непредставимость своих четырехмерных неистовств.

Он не объяснял нам мир, он приуготавливал нас к его невообразимости. Его Кейворы и Гриффины расчищали далеко впереди путь в наше сознание самым сумасшедшим гипотезам Планка и Бора, Дирака и Гейзенберга.

Его Спящий уже в десятых годах заставил нас сделать выбор: за «людей в черном и синем», против Острога и его цветных карателей, распевających по пути к месту бойни «воинственные песни своего дикого предка Киплинга». Его алои и морлоки, с силой, доступной только образу, раскрыли нам бездну, зияющую в конце *этого* пути человечества, и доктор Моро предупредил о том, что́ будет происходить в отлично оборудованных медицинских «ревирах» Бухенвальда и Дахау.

Что спорить: о том же, во всеоружии точных данных науки об обществе, говорили нам иные, во сто раз более авторитетные, Учителя. Но они обращались прежде всего к нашему Разуму, а он взывал к Чувству. Мы видели в нем не ученого философа и социолога (мы рано разгадали в нем наивного социолога и слабого философа); он приходил к нам как Художник. Именно поэтому он и смог стать Виргилием для многих смущенных дантиков того огромного Ада, который назывался «началом двадцатого века».

я вижу его

Был январь девятьсот четырнадцатого. Мы с Димой Коломийцовым шли в Городскую думу за билетами на какой-то концерт или лекцию. Возле мехового магазина Мертенса... Нет, скорее — у магазина дорогого белья «Артюр». Невский, 23, — чего-то ожидала дюжина любопытных. Чуть поодаль ворковали два «мотора»; слово «автомобиль» было еще редким. Люди, вытягивая шеи, смотрели на дверь. Остановились и мы.

— Да графиня эта, Брасова! — сердито буркнул не нам, соседу, хмурый енот в запотевшем пенсне. — Ну, морганатическая! Жена Михаила... Да уж до вечера не будет в лавке сидеть, и...

Он не договорил. Из магазина — несколько ступенек приступочкой; там и сейчас продают мужские ру-

башки — выпорхнула прелестная молодая женщина в маленькой шляпке, в вуалетке, поднятой на ее мех и еще чуть влажной от редкого снега, в чудовищно дорогой и нарядной шиншиловой жакетке. За ней — одна рука на палаше, в другой маленький пакетик — поспешал юный гвардейский офицер, корнет. Второй пакет, куда больший, на отлете, как святые дары, нес кланяющийся, улыбающийся то ли хозяин, то ли старший приказчик. Ах, как он был художественно упакован, этот августейший пакетик!

Они только сошли на панель, дверь магазина, легонько присвистнув (пневматика!), открылась вторично, и — я забыл про всех морганатических... Из двери вышел плотный, крепкий человек, конечно — иностранец, нисколько не аристократ. Несомненный интеллектуал-плебей, как Пуанкаре, как Резерфорд, как многие. Его умное свежее лицо было довольно румяно: потомственный крикетист еще не успел подвднуть на злом солнце невероятных фантазий. Аккуратно подстриженные усы лукаво шевелились, быстрые глаза, веселые и зоркие, оглядели сразу всё кругом... Как я мог не узнать его? Я видел уже столько его портретов!

За его плечами показался долговязый юнец, тоже иностранец, потом двое или трое наших. Он задержался на верхней ступеньке и потянул в себя крепкий морозный воздух пресловутой «рашн уинтэ» — русской зимы. С видимым удовольствием он посмотрел на лихачей — «Па-ади-берегись!», снег из-под копыт, фонарики в оглоблях, — летящих направо к Казанскому и налево — к Мойке, на резкий и внезапный солнечный свет из-за летучих облаков, и, чему-то радостно засмеявшись, бросил несколько английских слов своим спутникам. Засмеялись и они: кто же знал, что только шесть месяцев осталось до роковой грани? Потом все сели «в мотор» и уехали. И больше я его не видел никогда.

Во второй его приезд, осенью двадцатого, я воевал на польско-балаховичском фронте, в Полесье. До нас не дошли известия о его встрече с Лениным: нам было не до Уэллсов.

Четырнадцать лет спустя он снова появился в Москве. Было похоже — фантазер из Истен-Глиба едет посмотреть, что выросло из замыслов того, кого он звуч-

но и благожелательно — но как неверно! — окрестил «мечтателем из Кремля». Ну, что же, он увидел: то, что ему казалось «грезами», превратилось в величайшие в мировой истории дела.

Он имел мужественную честность признать себя неправым; нелегкое решение для того, кого весь мир привык именовать первым своим прозорливцем!

С четырнадцатого года он прошел долгий и нелегкий путь. Он не только писал книги, но стал активным болельщиком за будущее человечества. Как пропагандист он был вовлечен в участие в первой мировой войне. Теперь всё с большей настороженностью вглядывался он в Грядущее — не столь далекое, как то, куда он забросил Путешественника по Времени, но не менее тревожное.

Его исповеди и призывы выходили в свет неустанно, и, хотя не все они и не так быстро, как хотелось бы, достигали нас, мы видели ясно: почва ускользает из-под ног мудрого Поводыря по Аду. Виргилий останавливается и неуверенно нащупывает: куда же идти?

Реальный мир катился к катастрофе по предсказанным им рельсам. Но мир этот решительно отказывался внять совету и перевести стрелки. Он не желал слушать фабианских проектов переустройства. Он смеялся над пророчествами английской Кассандры.

Что день яснее сквозь благообразные черты великого романиста проступал растерянный облик созданного его же воображением мистера Барнстэйпла — прекраснодушного и глубоко подавленного редактора никем не читаемого, еле сводящего концы с концами журнальчика «Либерал», умницы, на которого смотрят свысока даже собственные футболисты-сыновья.

Прозорливец явно терял ясность взгляда, метался и мучился, потеряв надежду, что мир может быть спасен *извне*, бескровно и бесслезно, то ли волшебным газом чудотворной кометы, то ли бактериями, способными, не спрашиваясь людей, уничтожить грозящую им опасность. И вот чаще и чаще взгляд Проводника стал обращаться к Компасу, имя которого Коммунизм.

К сороковым годам можно было сказать твердо: там, в Англии, у нас есть друг, нерешительный, слишком мягкосердечный, но верный и искренний до глубины души. Его имя — Уэллс.

мой соавтор — франческа гааль

Справедливость превыше всего: не вмешайся *она*, мое письмо ему не было бы написано.

В отличной статье, с упоминания о которой я начал, говорится: писатель Успенский написал его весной сорок второго года, во фронтовой землянке, куда как-то попали два романа Уэллса — «Война миров» и «Люди как боги».

Тут не всё точно. Мне не случилось на фронте жить в землянках. Ни одной книги Уэллса у меня не было; не было их — не знаю уж почему — и в богатых библиотеках балтийских фортов, в десятке километров от меня.

Я жил в описанном Н. К. Чуковским большом кирпичном «офицерском доме» в Лебяжьем, в доме, пустом, как Бет-Пак-Дала, и холодном, как Антарктида. Жил и работал — нет, не «как зверь», а как военные корреспонденты в те годы.

Трудно вспоминаются эти месяцы — конец осени, начало зимы сорок первого года. Сводки мрачнее ночи. Враг всё ближе к Москве. Сейчас не каждый поверит, но было так: мы жили только глубокой, почти иррациональной уверенностью в грядущей победе. Мы знали: она не слетит с неба сама — надо работать, надо драться за нее. И вот мы работали. Времени у меня было ни минуты: я писал, но — какие тут послания на Запад! Изо дня в день заметки для газеты района, для ленинградских, для флотских газет... Нет радиостанции — сам лови ночью сводку. Ослабел типографский рабочий — крути плоскую машину. Не прислали клише из города — отрывай кусок линолеума от пола и режь сам. Времени не было.

И тут пришла на помощь она, Франческа.

В ноябре—декабре над Финским заливом темнеет рано и глухо. В крошечной зимней тьме по поселку всюду вырубали свет. Всюду, кроме матросского клуба. Там начинались лекции, доклады, танцы и главное — кино.

Перед вами — альтернатива: сидеть, волком вой, в чернильном мраке три или четыре часа, или пойти в клуб. Кто как, а я шел в клуб, хотя мне, сорокалетнему командиру, не по мыслям, не по чину, не по

возрасту было фокстротировать с юными краснофлотками. Я садился в зале в кресло, и читал, до фильма.

До фильма! Обстрелы, двойная блокада, ледостав — мы были нацело отрезаны от сокровищницы кинопроката. «Ораниенбаумская республика» жила фильмами, блокированными с нею с начала сентября. К этому времени сохранился, по-видимому, один: «Маленькая мама».

Первые пять раз я смотрел Франческу Гааль миролюбиво. Полюбовавшись на нее в двадцатый или двадцать седьмой раз, я изнемог. Почувствовал себя морально надломленным. Люди железной воли — работники Политотдела, редактор Женя Кириллов, секретарь редакции «Боевого залпа» Жора Можанет мужествовали сильно. Они стояли насмерть. Они уговаривали меня: «Лев Васильевич, идемте!» Я не мог.

Я оставался в редакционной тьме, ложился в черном мраке на черный топчан, и — что было мне еще доступно? — думал, думал, думал...

Вот в этой-то пахучей типографской черноте, в шуме высоченных сосен над крышей, в холодном свете звезд, если выйдешь наружу, в еще более холодном — мертвенном — мерцании панических фашистских ракет за фронтом немцы и привиделись мне марсианами.

«Маленькая мама» вышла замуж в тридцатый или сороковой раз. Лампочка надо мной обозначилась тускло-рдяным волоском, вспыхнула, как «новая звезда», пригласла и пошла мигать и помаргивать на экономическом «режиме имени инженер-капитана Баширова»: он ведал нашей тощей энергетикой.

Я встал, нарезал газетной бумаги, заложил первый листок в машинку и начал:

«Итак, глубокоуважаемый мистер Уэллс, катастрофа, которую вы предсказывали полстолетия назад, разразилась: марсиане вторглись в наш мир...»

Книги? Не нужны мне были книги: седоголовый интендант на лебяженском «пяточке» был когда-то тем подростком, которому Елена Валентиновна Корш обрушила на голову великую тяжесть уэллсовских фантазий. Образы Уэллса — живые, движущиеся, дышащие — всё время жили у него в памяти. Он мог цитировать без книг,

из лебяжьего в лондон

Я писал его не от себя — ото всех тех, рядом с кем мне выпало на долю стоять на ораниенбаумском «пятачке». Я не могу повторить (или — хуже — изложить!) то, что вырвалось тогда из самого сердца. Но, перечитывая сейчас то, что было написано тогда, мне не хочется изменить в нем ни одной строчки.

Я писал *ему*, и мир рисовался мне в *его* образах. Я думал о предательстве западных политиканов и вспоминал речи лентяя и бездельника — но далеко не дурака! — артиллериста из «Борьбы миров»:

«Они превратят нас в скот, рабочий и убойный. И станут откармливать нас, чтобы пожирать. И найдутся ведь такие людишки, которые станут еще лебезить перед ними, чтобы добиться лучшего места у кормушки...»

«К стыду человечества, Вы и в этом правы, мистер Уэллс: в Виши, в Осло, в других местах мира — они нашлись», — так писал я.

Я думал о разгромленном Лондоне, и видел «птицелицега» немца, офицера с дирижабля из «Войны в воздухе», того, что таскался со своими легчайшими несесерами, уступая место работяге Смоллуэйсу, которого приняли за изобретателя Беттериджа, Смоллуэйсу, потом встретившемуся с ним в последнем бою над Ниагарой.

«Не награжден ли теперь он Железным крестом за бомбежку Ковентри или Саутгемптона?!» — спрашивал я.

«Разве до Ваших ушей не доносится сквозь грохот взрывов жалобное бление, мистер Уэллс? Уж не подает ли то голос из будущего тощая коза этого самого Берта Смоллуэйса, коза возвратившегося варварства, коза великого запустения?»

Тот, кто читал «Войну в воздухе», помнит эту козу: ее невозможно забыть. Тех марсиан, вымышленных, бросил на человечество космос; за их приход не отвечал никто. Коричневых гадин, с которыми мы сражались теперь, выпестовала, выносила у груди своей западная цивилизация. Мы, люди, были ответственны за их появление: наш прямой долг был — уничтожить их. Чтобы призвать к исполнению этого тяжкого кровавого

долга Англию, и стучала в Лебяжьем моя колченогая машинка над замерзшим, усеянным ледовыми дотами Финским заливом. Но я знал, что добрая старая Англия — не едина.

Да, там обитали простодушные и отважные Берты Смоллуэйсы. Когда их припрет к стенке, они знали, что надо делать, как и там, на уэллсовом «Козьем Острове».

«Спустив на землю подобранного в руинах котенка, он вскинул винтовку с кислородным патроном и непроизвольно спустил курок.

Из груди принца Карла Альберта вырвался ослепительный столб пламени... Что-то горячее и мокрое ударило Бертю в лицо... Сквозь смерч слепающего дыма он увидел, как падают на землю руки, ноги и растерзанное туловище...» Я знал: есть в Англии такие смиренные Берты.

Но ведь там живут и другие люди — и в романах Уэллса и в Англии. Там катался в роскошной серой машине промышленный магнат Барралонг со своей любовницей Гритой Грей, из романа «Люди как боги», и его приспешник — министр Руперт Кэтскилл и философ Беркли с очаровательной леди Стэллой и самоуверенные лакеи, шоферы Ридли и Пенк... Попав уэллсовским чудом в мир «людей-богов», в мир коммунизма, они объявили ему идиотскую и кровожадную войну. Бесильные, они рвались уничтожить светлый мир, превратить в колонию, населить ханжами, гангстерами и проститутками, построить биржами, борделями, полпивными, загадить и замусорить... Они ненавидели свет ядоносной пресмыкающейся ненавистью... А сколько таких в реальной Англии?

Между теми и другими стоял мистер Барнстэйпл, помощник редактора в «Либерале», этом «рупоре наиболее унылых аспектов передовой мысли» Англии. Он тоже попал в страну людей-богов. Он заранее, в мечтах, любил эту страну, но и опасался ее... Мистер Барнстэйпл, воплощение английской порядочности; куколка, так причудливо напоминающая мистера Уэллса; ласковая, но и ироничная самопародия, может быть совсем непреднамеренная.

Оказавшись среди людей-богов, он нашел в себе силы стать на их сторону и отречься от «своих», стать

на сторону Утопии. Решительно, до конца, до самоотречения.

Мне было нечего терять: я и начал с той анатомии Англии, которую нашел в творчестве самого Уэллса. «Мы знаем, — писал я, — тысячи тысяч добрых, умных, безукоризненно честных Барнстэйплов двадцать четыре года смотрят со своего острова на Восток, на ту страну, где живем мы, как на мир, населенный привлекательными и опасными, потому что не до конца понятными, «людьми как боги»... Они защищали нас от нападков шиберов и джингоистов, как Ваш Барнстэйпл у «Карантинного утеса» Утопии. Но им всё время казалось: наши пути никогда не сойдутся.

А вот они сошлись, дорогой мистер Уэллс (простите, я чуть было не написал, почтительно и с великой приязнью, «дорогой мистер Барнстэйпл!»), и теперь предстоит решить, как же поступить целой стране добрых, прямодушных, прекраснодушных Барнстэйплов перед лицом общей трагедии? Позвольте же через Ваше посредство обратиться к ним от нас, в надежде, может быть несколько опрометчивой, помочь нашему общему делу...»

ОНИ И МЫ

В те дни я жил образами Уэллса, но ведь не только ими. В те месяцы все мы, люди фронта особенно точно и живо ощутили себя в почетном ряду русских, всех русских настоящего и прошлого: и латников Куликова поля, и гренадеров Багратионовых флешей, и солдат Танненберга и Сольдау. Блоковские скифы стучали в наши души: «Когда б не мы, не стало б и следа от ваших Пестумов, быть может...» Эти Пестумы Европы, увитые розами Возрождения, звенящие терцинами Данте и сонетами Петрарки, снова попали под угрозу, страшнейшую из всех. И сознание высокой «должности» народа нашего, столько раз «державшего щит» между варварством и цивилизацией, столько раз проливавшего кровь лучших сынов своих, чтобы Чосер мог спокойно писать «Кентерберийские рассказы», а Эразм «Похвалу глупости», пока ханские баскаки собирали дань с наших прадедов.

Всё родственней и дороже становилась нам великая

культура, заложенная Грецией и Римом. Сотни лет мы держали ее на плечах, как Атлант свод небесный. Мы строили ее на равных правах, — мы с нашим «Словом о полку», с нашим Андреем Рублевым, с нашим Толстым и Менделеевым, Ломоносовым и Ковалевскими, с нашими двумя Софиями и Василием Блаженным. Мы знали каждый штрих ее, от альфы — античности, до омеги — двадцатого века. И снова — в который раз — мы поднялись на ее защиту. А «они», люди Запада — так же ли, с той же вековой приязнью любили они нас, так же знали нас, так же ли готовы были помочь нам в беде, как мы им?

Я напоминал ему то, что он должен был знать и сам, — нашу историю, предмет нашей законной гордости и славы. То время, когда князь Ярослав опутал весь Запад паутиной брачных связей, нежной прелестью дочерей Руси. Когда одна Ярославна стала Анной-региной, супругой короля Франции, другая — женой Гаральда Норвежского, когда Гаральд искал в Киеве защиты и приюта, а внучка Ярослава Евпраксия, побывав супругой императора Германии и изгнанницей в Каноссе, став героиней западных саг и легенд, вернулась в вишневые сады Киева, чтобы лечь тут в русскую землю.

И то время, когда под нашим прикрытием распускались в Италии сады треченто и кватроченто, когда мыслители мыслили, ученые испытывали естество потому, что на Востоке русские защищали их покой в борьбе с Азией.

И начало XIX века, нашу титаническую борьбу с последним Цезарем. И Марну, выигранную потому, что пролилась наша кровь среди сосновых перелесков и болот Пруссии. Я смело говорил ему *о нашем*, потому что всё время передо мною стояло всё созданное *ими*.

Звучит слово «Англия», и тотчас оно раскрывается перед нами в образах. Мы *знаем* ее лиловые вересковые поляны: мы бродили по ним с Чарлзом Дарвином в поисках глубинных тайн природы; потом Кейвор, смешно жужжа, открывал над ними секрет своего кейворита. Потом Невидимка встретился на них с мистером Томасом Марвелом. Нам ведомы переулки ее выморочных городков, заваленные первым снегом: следы Гуинплена-ребенка пересекаются там со следами того

же Гриффина, загнанного, окровавленного, озлобленного Искателя. Вот забавный полустанок среди газонов и живых изгородей юга; может быть, его имя «Фремлингем-Адмирал» обозначено Киплингом на вывеске, под которой пчелы жужжат над цветами дрока, а возможно на его платформу вышел из вагона, растерянно держа в руке сияющий плод с дерева познания, самый юный и самый жалкий из барнстэйпλικов Герберта Уэллса.

Да разве только Англия? А прелый запах золотой листвы в лесах Эдирондека, сбереженный *для нас* Сэттоном-Томпсоном? А маслянистая вода Сены у набережной Букинистов или возле Гренульер, завещанная нашей памяти Анатолем Франсом, Мопассаном, Ренуаром? И синие холмы над Верхним озером, какими с берегов Мичигана видел их рыболов Хемингуэй... Разве всё это — не наше, не дорого нам почти так же, как «Невы державное течение» или ночной костер на зеленой траве Бежина луга, там, «во глубине России»?

Мы помним наизусть и строфы сонетов Шекспира, и канцоны Мистрала, и «Песнь о Роланде», и баллады о Робине Гуде. Знаете ли вы так нашу «Задонщину», нашего Пушкина, нашего Лермонтова, как мы знаем содания ваших гениев?

«Сколько раз в детстве и юности, — писал я ему, — каждый из нас по планам ваших городов разыскивал какую-нибудь забвенную Катлер-Стрит или переулок Кота-Рыболова, известные не каждому лондонцу, не всякому парижанину. Сколько раз мы брели с чартистами по пыльным дорогам вслед за Барнеби Раджем, сопровождали Корсиканца от Гренобля до сердца Франции вместе со Стендалем, спускались по Миссисипи на плоту Гека Финна, шли у стремени Алонзо Кихады по равнинам Ламанчи, входили с Лермонтом-Певцом в древние леса, распростертые «от Кедденхэда до Торвудли», плыли в одной лодке с телеграфистом Бенони по шхерам Финмаркена? Разве не для нас написан «Замок Норама» вашего Тёрнера, нежные пленэры барбизонцев, тревожные небеса Гоббемы?

Мы плавали, бродили, странствовали среди ваших ландшафтов то с Тилем Уленшпигелем, то с Жан Жаком Руссо; мы садились в Ярмуте на корабль с Робин-

зоном Крузо и подстерегали рыжих сфексов среди песков горячего Прованса с Фабром, волшебником и мудрым пасечником Природы. Мы вдыхали воздух вашего прошлого и вашего настоящего. Мы вглядывались в смутную дымку вашего будущего. Всё, созданное вами, стало нашим, ибо по глубокому и крайнему разумению русского человека, всё, что создано людьми, принадлежит Человечеству.

Вот почему в июне сорокового года мы оплакивали Лондон, как если бы немцы бомбили Москву. Вот почему год спустя мы почувствовали с удовлетворением, что сражаемся в великой битве за Грядущее в одном строю с вами, и стали, как свойственно русским, насмерть на наших общих рубежах.

А теперь настал срок воззвать к вам: готовы ли вы к подвигу? Понимаете ли вы, Барнстэйплы и Смоллуэйсы, что настали сроки, когда за жизнь приходится платить не нефтью, не золотом, не биржевыми чеками, а кровью; когда вся ненависть мира должна сосредоточиться на «марсианах», засевших в ямах Берлина и Берхтесгадена, но в то же время и на ваших собственных Полипах из «Министерства околичностей», сегодня (сегодня, мистер Уэллс!), как и во времена Диккенса, продолжающих размышлять «как бы не делать этого».

Узнайте нас, как мы вас знаем, и вступайте на наш страдный, тяжкий, но победоносный путь, локоть к локтю, безоговорочно, как братья!»

Вот этот десяток пожелтевших листков той газетной бумаги, на которой был написан черновик письма, — он передо мной. Письмо кончалось так:

«Я прервал изложение моих мыслей, дорогой мистер Уэллс, потому что прозвучал сигнал тревоги. Зенитки открыли стрельбу. Два марсианина на узких крыльях маневрируют над заливом, уклоняясь от разрывов... На юге гремит канонада. На железной дороге дымит бронепоезд. Мы боремся и победим. А вы?

Есть две возможности. Или, раздавив ваших алоев и полипов, вы, как Смоллуэйс, схватив «кислородное ружье», броситесь в бой рядом с нами. Или, подобно мистеру Моррису из вашего «Грядущего» (его имя изящно выговаривалось «Мьюррэс», помните?), «надев на лысеющую голову модный головной убор с присос-

кой, напоминающий гребень казуара», предпочтете звонить телефонным звонком — дабы не страдать излишне, дабы «не делать этого» — Агента Треста Легкой Смерти...

Что ж, вызывайте. Но предупреждаем вас: на этот раз смерть не окажется легкой!

Нет, я верю, что будет не так! Вы уже кинулись в один бурун с нами. Мы умеем плавать. Опирайтесь на наше плечо, но не цепляйтесь судорожно за спасающего. Гребите вместе с нами к берегу: с каждым взмахом он — ближе. Готовьтесь отдать всё, и тогда вы всё сохраните. Будьте готовы разить, а не только подписывать чеки. И тогда — час настанет.

Тогда высоко над окровавленной Европой стаи ворон полетят терзать вялые щупальца последних марсиан. Тогда деловитые саперы начнут подрывать уже не страшные мертвые цилиндры. Тогда еще раз разнесется над старым материком отчаянное «улля-улля!» погибающего среди всечеловеческой радости чудища. И все мы — вы и мы — скажем в один голос и с равным правом: «Человечество и человечность спасены нами!»

Но чтобы так случилось — надо спешить».



Ярким апрельским днем я принес конверт с письмом на нашу полевую почту. Техник-интендант, сидевший там, вчитался в адрес: «*Совинформбюро. Т. Лозовскому. Город Куйбышев*». Он посмотрел на меня: «Ого! Далековато хватили, товарищ начальник!»

Если бы он знал, куда я на самом деле «хватил»!



Летом того года командование наградило меня великой наградой — месячной поездкой в тыл, «в эвакуацию», на Урал, к семье. Вернулся я в августе. Всё, всё было фантастикой. Утром — Москва, гостиница «Якорь», метро, беготня по издательствам. Потом — три или четыре часа полета на бреющем, волны Ладоги под самым брюхом самолета (мы летели с Ю. А. Эшманом, он помнит это всё), потом — куда более

трудная задача — добраться от аэродрома до Петроградской стороны, и, наконец, в тиканье метронома, в глухих раскатах обстрела, улица Попова, Пубалт. Другой мир.

В большой комнате писательского общежития к вечеру никого не было. За ширмочкой в углу похрапывал лейб-шофер Вишневого Женья Смирнов. А на моем столе, прижатая осколком зенитного снаряда, лежала длиннейшая, на семи листах писчей бумаги, телеграмма. Телеграмма с латинским шрифтом. Откуда? Что?

Я торопливо «затемнился», зажег свет.

1. 0020 17 K C BACI

ELT — LEV USPENSKY

London june 1942 dear kommander Uspensky comrade literature and in our fight from ample life for all man...

Скажу честно, сердце мое дрогнуло. Нет, не оттого, что — Уэллс, просто потому, что бумажная пачка эта как бы материально воплотила в себе много нематериального. Мое письмо дошло — туда, через целый океан смерти и хаоса. И донесло до великого англичанина слово русского человека и солдата. И этот первый и лучший из Барнстэйплов Англии — не только прочел мои слова, он продумал их, он отвечает. На столе лежал какой-то клочок дружбы народов, интернациональной общности литераторов, что-то очень большое и дорогое...

Я быстро перелистал страницы. Да, он:

And so I subscribe myself most fraternally yours, for the all human culminating world Revolution Herbert George Wells.

Я не такой знаток английского, чтобы так вот, взять тогда и прочесть все семь страниц телеграфного текста, со всем его лаконизмом, с его «комма», «стоп» и «стоп-пара». Но в Пубалте нашлись англо-русские словари.

Я сидел над письмом добрые полночи. За окном гроыхало, лампочки то меркли, то разгорались. Была тревога: командиров попросили в убежище. Моя дверь была закрыта, я сидел тихо, как мышь; Женю Смирнова — все знали — разбудить угрозой бомбежки немислимо. К утру я перевел всё.

Его ответ состоял из двух неравноправных частей. Старый больной писатель, едва выкарабкавшись из

«брэйддауна», из тяжкого упадка сил, получив мое письмо, разволновался чрезвычайно. Оно наступало на самые болезненные мозоли его мыслей; оно было «оттуда», из России; оно показывало, что черные опасения и тревожные мысли его известны и понятны в этой стране, которую он так давно любил и ценил.

И, видимо, там, в России, его слышат и понимают лучше, чем тут, на родине, — как свободного мыслителя, как великого болельщика за будущее человечества, как поборника вольного содружества вольных народов.

Он не мог в те дни сесть к столу и с обычной своей живостью отклика ответить, сказав от души всё, чего я ожидал от него. Но он не мог и промолчать.

Он только что закончил «Феникс» — книгу, в которой в последний раз сделал смотр своим уэллсовским (и барнстэйпловским!) заветным мыслям, свел воедино мрачные предчувствия и робкие надежды. Ему — Кассандре мира, но не его Гектору, пророку, но не бойцу — захотелось воспользоваться моим письмом, как перекинутым над бездной легким тросиком, чтобы с его помощью перетащить через бездну тяжкие блоки его, уэллсовских, утопических чаяний.

Три четверти своей великанской телеграммы он отвел на изложение той, составленной им в последние годы «Декларации прав человека, как индивидуума, и его обязанностей, как гражданина», которая всё еще казалась ему победой разума, чем-то новым и свежим на пути борьбы за Будущее, которая радовала его и мучила, представляясь то достижением, то просто очередным «прожектом».

А она и не могла стать ничем иным.

Много раз в этом письме он подчеркивал: наши мысли — его, Уэллса, и мои, его корреспондента, — совпадают. Ну, что же? Они и впрямь совпадали где-то, в самом зерне, в искреннем с обеих сторон стремлении к тому, чтобы Будущее стало светлым и прекрасным. Он провозглашал «права», которые считали естественными и необходимыми и мы: право каждого человека на жизнь, право любого дитяти на защиту и помощь, «даже если это — сирота»; право каждого члена общества на знание, на труд, на свободное передвижение, на охрану от насилия, равную для всех, одинаковую повсюду, безотносительно к широте и долготе места, к

цвету кожи, к интеллекту и социальному положению «индивида».

Всё это уже много лет возглашали и мы.

Но если раньше ему казалось, что все эти великие блага — сколько столетий мечтало о них человечество! — могут быть получены им бескровно и безбедно, то ли в тот блаженный миг, когда Земля пройдет сквозь хвост благой кометы и «отравленный» — великолепно отравленный! — его газами человек вдруг станет иным, добрым, бескорыстным, евангельски незлобивым, то ли после того, как над миром пронесется коричневая туча марсианского нашествия, и сама Природа спасет его для лучшей жизни, взяв на помощь ничтожнейшие твари, бацилл, — то теперь он вообразил себе, что все эти великолепные «дезидерата» сами по себе, помимо воли людей, классов, государств, созрели на древе жизни и чтобы они упали и насытили алчущую человеческую Ойкумену, нужен только легчайший порыв ветра... Нужно, чтобы люди — от английского лорда до индокитайского кули — сами захотели стать людьми.

В этом и была невидимая ему разница. Мы утверждали, что на могучее дерево истории нужно взбираться, кровавая руки и ноги, надо обламывать его страшные сучья, не боясь ран, надо сражаться с химерами, живущими в его листе и тяжким трудом, суровой отвагой, жестокой, может быть, настойчивостью, в смертельной борьбе добыть миру Счастье; а он, фабианец, никак не способный полностью разделаться со сладкими иллюзиями, всё еще призывал нас верить в то, что сладкие пуддинги совершенства сами свалятся нам в рот, без драки, без крови, и — самое главное, без тех революционных неистовств, какие он с барнстэйпловским ужасом наблюдал в прошлом.

«Феникс говорит совершенно то же, что говорите Вы. Мировая Революция уже произошла и только должна быть реализована. Она не может не произойти, если мы все решим, что она должна произойти. Она уже свершилась, и обсуждать тут больше нечего».

И еще: «Заметьте дальше: мировая революция не подразумевает атаку на какое-нибудь существующее правительство, конституцию, политическую организацию: ведь условия, сделавшие ее неизбежной, сло-

жились на протяжении последних сорока лет, когда эти правительства и организации были уже созданы...»

Видите, как просто? Нужна не вооруженная борьба, нужна — пропаганда «Декларации». «Пусть каждый, мужчина и женщина, кто поймет это, приступит сейчас же к формированию пропагандистских кружков. Британский маршал авиации может заставить людей обсуждать права человека. Японский крестьянин может добиться точно того же...» И когда это произойдет — наступит воцеленная эра Разума и Счастья.

Как цепки в душах даже самых талантливых, самых лучших людей мира, истинных людей доброй воли их маниловские мечты, их евангельские грезы! А ведь даже тот, о ком говорит Евангелие, твердил: «Я принес вам не мир, а меч!». Нет, британские и американские, французские и немецкие маршалы не только не хотят обсуждать эти права, они и сегодня сбрасывают напалм и фосфор на тех, кто готов эти права отстаивать.

В 1942 году Уэллс еще оставался Уэллсом, фабианцем, возлагавшим все надежды на внутреннюю революцию души, сопряженную с революцией научной и технической.

Сейчас было бы как-то даже неловко публиковать здесь всю эту беспомощную, хотя и благородную по чувствам, часть его письма. Как ни печально, она прозвучала бы словно «Проект о введении единомыслия» (единомыслия весьма похвального), как розовые грезы Манилова, о которых Гоголь с тихой грустью сказал: «Впрочем, все эти прожекты так и оканчивались одними только словами».

У самых больших людей есть свои слабости, и я не хочу выставлять тут напоказ хорошо нам известную фабианскую слабость Уэллса.

Я хочу напечатать здесь только вступительную часть его письма. Это — не декларация. Это — живое слово живого человека, семидесятишестилетнего мыслителя и поэта, гражданина мира, ошибавшегося, но искреннего, темпераментного, горячего и ироничного на восьмом десятке лет жизни, как на третьем.

Я получил его письмо именно с таким началом, и я горжусь этим.

«Дорогой командир Успенский, сотоварищ по перу и по нашей общей борьбе за изобильную жизнь всего человечества! У меня нет сейчас возможности ответить на Ваше чудесное письмо. У меня полный упадок сил на почве переутомления, и хотя физическое состояние мое улучшается, я могу писать только понемногу и с трудом.

Ваше знание написанного мною поразительно! Чтобы понять некоторые из Ваших намеков и ссылок, я вынужден был перечитать «Люди как боги».

Перечитывая свои старые книги, то и дело натыкаюсь на опечатки и неудачные выражения. Я никогда не перечитываю самого себя, разве уж когда это совершенно необходимо.

Мне пришлось всё же перечесть «Люди как боги», потому что я начисто забыл всё, что касается мисс Гриты Грей. Воспоминания же о мистере Барнстэйпле, как по кабелю, передали мне ту тоску по Утопии, которую оба мы, Вы и я, ощущаем с такой остротой.

Утопия может стать нашим близким будущим, но может отодвинуться от нас и на дистанцию бесчисленных поколений. Перед моим заболеванием я как раз закончил книгу «Феникс», которую пошлю Вам, как только она выйдет в свет.

Дело в том, что Барнстэйпл вернулся в этот мир преображенным и принес Утопию с собой. Его история как бы предвосхитила то, что случилось со мной самим. В «Фениксе» я стараюсь показать, что для каждого, кто способен это ощутить, объединение нового мира уже наступило.

Нынешняя война точь-в-точь такова, как та, что кипела вокруг Карантинного Утеса, это война между древними обычаями империалистического насилия, тлетворной заразой мертвого национализма и конкуренции с одной стороны и светлой разумностью равноправного всечеловеческого братства с другой.

В «Фениксе» говорится в точности так, как и Вы об этом говорите, что мировая революция наступила; ее надо немедленно реализовать. Если все мы осознаем что это так, — так оно и будет. Много ли людей уже понимает это — вопрос чисто количественный: он должен быть решен арифметически.

В час, когда Революция окончательно свершится,

тройной целью ее будет всемирное разоружение, утверждение свободы и достоинства каждой человеческой личности, освобождение Земного шара от частной и государственной экспроприации, с тем чтобы все земли мира использовались только для общечеловеческого блага.

Спорить больше не о чем. Революция должна выполнить свои задачи, пользуясь техникой, созданной в предыдущие годы, и современными способами массового распространения идей.

Чтобы добиться решения этой основной задачи, революция создаст, где только возможно, образовательные кружки и ячейки. Основным содержанием пропаганды будут права человека, вырастающие на базисе трех главных целей ее.

Эти права опираются на основные требования, предъявляемые Человеком от своего имени и от имени Человечества. Без них на Земле никогда не водворится мир, не наступит век свободы, единства и изобилия.

О каждом правительстве, о каждом, кто стремится стать лидером, о каждом государстве, о любой организации должны будут впредь судить только на основании того, подчиняют ли они свою деятельность задачам Революции: она определит их работу и станет их единственной целью.

Этот важнейший труд по пробуждению Нового Мира надо вести на всех языках Земли. Коммунисты уже сто лет назад проделали во всемирном масштабе такую работу, хотя у них было несравненно меньше возможностей. Сегодня мы должны заново выполнять ее, используя все доступные средства.

Отбросим в сторону громкие имена и самих вождей: основой и существом пропаганды отныне да станут права человека, сформулированные во всей их нагой простоте и ясности.

Вот такой исходный образец для этого предлагаю я...»

Дальше следовал очень длинный, очень подробно разработанный проект «Декларации», о котором я уже говорил, и под ним короткое заключение:

«Когда я пишу это, я не более чем повторяю, подобно эху, Ваши великолепные мысли на своем английском языке. Я рад этой возможности. Пользуясь Вашим

выражением, мы встали плечом к плечу не для того, чтобы разрушать, но для того, чтобы спасти. Вот почему я и подписываюсь тут, как

Братски Ваш во имя достигающей своих вершин всечеловеческой революции во всем мире

Герберт Джордж Уэллс.

Темной осенней ночью — блокадной ночью — я перевел последнее слово. (Этот перевод — он и сейчас передо мной.) Тревога кончилась. Во мраке грохотали только редкие разрывы немецких снарядов, оттуда, от Дудергофа, из-за Лигова. Я сидел и думал.

Он не ответил мне ничего на мое прямое и настойчивое требование, ни слова не сказал, что он думает о втором фронте.

Но разве я был так наивен, чтобы ожидать этого? Тот, кто хотел бы получить такой ответ, должен был писать не Герберту Джорджу Уэллсу, а Уинстону Леонарду Спенсеру Черчиллю, «сыну предыдущего», как его титуловал когда-то всеведущий «Брокгауз и Ефрон». Но навряд ли и Черчилль ответил бы на этот вопрос быстро и прямо.

Нет, я не ждал этого. Я думал — думаю и сейчас, — что честное и откровенное обращение русского литератора к писателю-англичанину в такие дни, на таком пределе мировой напряженности, на таком историческом рубеже, не останется неслышанным в Англии. Я думал, что факт такой переписки, а также и содержание такой переписки, независимо от того, кто писал, но принимая в расчет, к кому он обращался, принадлежит к фактам, которые уже нельзя бывает «вырубить топором» из однажды бывшего. Я думал — тогда мечтая, теперь, в реальной жизни, — что, когда говорят о «контактах» представителей двух наших миров, то, вероятно, и такая форма их имеет свой глубокий смысл и свое существенное оправдание.

И кто еще знает — когда, на каком другом историческом повороте, эти два письма могут сыграть свою, пусть не большую и не громкую, но благоприятную для нашего дела роль?

Два «больших дня» состоялись за всю мою долгую жизнь в моем общении с одним из величайших писа-

телей Англии (да и всего мира, если говорить о первой половине нашего века!). Тот день, когда на плечи девятилетнего школьника свалился впервые груз его сложного, противоречивого, пленительного и нелегкого таланта, и тот, когда сорокадвухлетний командир Балт-флота увидел его телеграмму на своем столе.

Между этими датами протекла не только бóльшая половина моей жизни, протекли величайшие в истории мира годы.

Я счастлив, что был их современником и свидетелем. Я рад, что сегодня могу открыть перед читателями эту страничку своей личной летописи: в ней отразился огромный мир, огромный век, тот размах гигантских событий, о котором так много думал, который так глубоко переживал, в котором так страстно хотел до конца разобраться «братски наш Герберт Джордж Уэллс».

Содержание

Е. Брандис, Вл. Дмитриевский	
Мир, каким мы хотим его видеть	5

Сергей Снегов

ЛЮДИ КАК БОГИ

Р о м а н

Книга вторая. В звездных теснинах

Часть первая. Вторжение в Персей	35
Часть вторая. Великий разрушитель	95
Часть третья. Мечтательный автомат на Третьей планете	151
Часть четвертая. Гонимые боги	241

У МОРЯ, ГДЕ КРАЙ ЗЕМЛИ...

Геннадий Гор. Имя Фантастическая повесть . .	309
Геннадий Гор. Сад Фантастический рассказ . . .	358
Александр Шалимов. Путь в «никуда». Фантастический рассказ	375
Ольга Ларионова. У моря, где край земли... Фантастический рассказ	392

БРАТСКИ ВАШ ГЕРБЕРТ УЭЛЛС...

Юрий Ковалев. Уэллс в Петербурге и Петрограде	415
Григорий Мишкевич. Три часа у великого фантаста	435
Лев Успенский. Братски ваш Герберт Уэллс... .	443

„Вторжение в Персей“
Сборник фантастики

*Составители Е. Брандис
и Вл. Дмитриевский*

*Редактор
Н. А. Чечулина*

*Художники
Я. А. Веньковецкий
и С. А. Остров*

*Художник-редактор
О. Н. Маслаков*

*Техн. редактор
Г. В. Шиманарева*

*Корректор
А. А. Милитаури*



*Сдано в набор 17/VIII 1967 г.
Подписано к печати 27/XII 1967 г.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂
Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 24,78
Уч.-изд. л. 24,4 Тираж 100 000 экз.
М-59053. Заказ № 1089
Работа объявлена в Т. п. 1967 г., № 177
Лениздат, Ленинград,
Фонтанка, 59. Типография им. Володарского
Лениздата, Фонтанка, 57
Цена 86 коп.*

Л Е Н И З Д А Т

Выходят из печати:

Яков Ильичев

„ДОБРЫЕ ГЛАЗА ВЕКА“

Роман

Валентин Пикуль

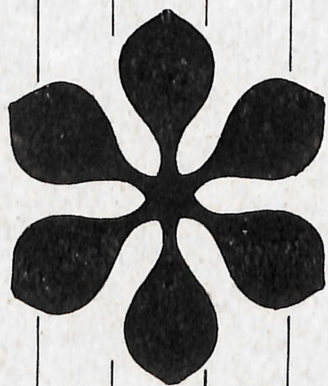
„ИЗ ТУПИКА“

Роман

Юрий Слепухин

„ТЬМА В ПОЛДЕНЬ“

Роман





86 коп.

Лениздат • 1968